

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1970

1



1970

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 1

Январь, 1970 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Академик А. М. РУМЯНЦЕВ — В. И. Ленин — ученый, революционер и государственный деятель	3
М. ИСАКОВСКИЙ — Всерьез и в шутку, стихи	24
А. ТВАРДОВСКИЙ — Михаилу Васильевичу Исаковскому (К его семидесятилетию)	28
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Белый пароход (После сказки)	31
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ — Три стихотворения	101
РАСУЛ РЗА — Песни города, стихи. Перевела с азербайджанского М. Павлова	103
ФРАНСУА МОРИАК — Подросток былых времен, роман. Перевела с французского Р. Линцер	105

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Г. СОФРОНОВ — Незабываемые дни	197
--------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

В. БАРДИН — День на острове Святой Елены	207
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. БОРИСОВА — Вступление (О творчестве Виктора Астафьева)	220
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	237
В. Швейцер. Прожить жизнь человеком... — А. Лебедев. Новая книга по эстетике. — С. Кайдаш. В. Даль и его биограф. — Т. Шах-Азизова. Новое о театре. — О. Чайковская. Внятный голос прошлого. — Т. Мотылева. Три книги о Чапеке.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	262
К. Тарновский. «Коллективный организатор» революционного подполья.— Л. Лазарев. Пусть читатель думает.— В. Кобрин. Русская реформация.— А. Кондратов. Ключ к мириадам шедевров.— Г. Цварава. Науковедение: проблемы и исследования.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	277
КОРОТКО О КНИГАХ — Т. Смирнов — М. Д. Гарин, А. И. Друзенко, М. И. Овчаров. Какая же нынче пошла молодежь? ● А. Сергеев— Михаил Лоскутов. Немного в сторону. ● А. Иглицкий— Будущее науки. Международный ежегодник. ● Ник. Смирнов — М. В. Не- стеров. Из писем. ● Вл. Ковалев — М. П. Николаев. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский. ● Л. Рошаль — Ю. Ханютин. Предупреж- дение из прошлого. ● В. Портнов — С. Брахман. «Отверженные» Виктора Гюго. ● В. Владимиров — Л. Е. Родин. По южным странам. ● С. Щеглов — К. Рэнд. Кембридж — научно-технический центр США	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Академик А. М. РУМЯНЦЕВ

★

В. И. ЛЕНИН — УЧЕНЫЙ, РЕВОЛЮЦИОНЕР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

В дни приближающегося столетия со дня рождения В. И. Ленина, памяти которого уже сегодня так или иначе отдают дань едва ли не все виды и жанры советской и мировой научной, художественной и всякой другой литературы, невольно хочется начать разговор о Ленине с небольшого пояснения. Почему, уже будучи главой Советского правительства и заполняя анкету переписи, Ленин в графе «профессия» назвал себя «литератором»? Некоторые из пишущих о нем склонны объяснять этот факт исключительной ленинской скромностью. С таким объяснением отчасти можно согласиться, если под скромностью понимается правдивая самооценка, осознанное стремление держаться просто, продиктованное воспитанием или принципом. Но если бы Ленин назвал себя «литератором» только из скромности, это было бы жестом, чем-то искусственным, нарочитым, то есть Ленину абсолютно чуждым.

Бесспорно, всем стилем своей личной жизни и поведения Ленин производил на всех окружающих привлекательное впечатление скромности, но дело-то в том, что сам он никогда не думал о производимом им впечатлении, о необходимости не выпячивать свою роль. Он оставался самим собой вплоть до бытовых мелочей. Например, когда революция ввела в моду сурово-демократическую униформу кожанок и толстовок, шинелей и сапог, он неизменно носил «старорежимный» галстук и жилетку. Он просто жил в согласии со своими привычками, впрочем, мало отличавшимися от привычек его старых товарищей по борьбе, и был во всяком случае далек от какого-то самопринижения.

Нет, Ленин по-деловому заполнил анкету, ибо слово «литератор» сохранило тогда в русском языке особое значение, неизвестное в языках западноевропейских. Со времен Радищева быть литератором на Руси значило бороться за социальный прогресс. Звание это требовало общественного служения, и недаром Салтыков-Щедрин в предсмертном письме сыну наказывал: «Звание литератора предпочитай всякому другому»¹.

Само литературное творчество Ленина — это процесс непрерывного соединения публичного слова с непосредственно политическим, в том числе и государственным делом.

Доклад на международной встрече журналистов, посвященной столетию со дня рождения В. И. Ленина.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений. Государственное издательство «Художественная литература», 1937, Т. XX, стр. 404.

В. И. Ленин считал себя партийным литератором, он впрямь был литератором номер один большевистской партии. В пятидесяти пяти томах его сочинений крупные научные труды — плод долгих изысканий — соседствуют с газетными статьями, откликавшимися на неотложнейшую злобу дня. В этих научных, публицистических работах разных жанров — не только общие принципы, но и конкретные факты сплавления слова и дела, науки и политики, теории и практического действия.

* * *

В философско-историческом смысле единство революционной теории и практики является, согласно Ленину, объективным требованием всей человеческой, общественной деятельности. Но это единство настолько же легко провозглашать, насколько трудно реализовать. Дело в том, что в самой деятельности политика (имея в виду серьезного политика-мыслителя) есть не только много общего с деятельностью ученого, но есть и существенное различие. Политик обречен на поражение, если отстает от жизни, но вместе с тем он не может забегать слишком вперед, иначе ему грозят отрыв от действительности и крах его начинаний; ученый же обязательно опережает достигнутый уровень мысли и знания. Без практического, осязаемого, сегодняшнего успеха политик не может обойтись, ибо в этом состоит условие его дальнейшего пребывания у руководства. Грядущие события могут подтвердить его дальновзоркость и правоту, но пока это произойдет, он может оказаться вытолкнутым из гущи массового действия.

В самой природе научной мысли, если это действительно глубокая мысль, заложено свойство открытия, способность опережать реальность, в конечном счете — предвидеть будущее. Ученый в состоянии продолжать заниматься своим делом, даже будучи не понят современниками. Он творит в упорядоченной сфере логики и, исходя из фактов, из реальности, выявляет в чистом виде основные тенденции социальных процессов, конструирует их обобщенные модели. Политик же имеет перед собою неочищенную эмпирию, массовую стихию, в которой тысячи индивидуальных феноменов противоречиво и, так сказать, «нелогично» сплетаются в непрерывно меняющихся зигзагах, трудно уловимых комбинациях, где какой-то момент, какая-то деталь, подчас не обязательная и случайная с точки зрения основных линий мировой истории, может оказаться вдруг решающей. Ученый не имеет права на компромиссы; политик должен владеть этим искусством.

Из этого различия очевидно вытекают и определенные трудности и даже опасности, с которыми сталкивается в равной мере и тот и другой. Как ученому не оторваться от исследуемого им реального исторического движения, не превратить стройность своих принципов в догматическую окостенелость? И как политику не погрязнуть в мелком политиканстве, не перейти грань, отделяющую реализм и гибкость как средства осуществления принципов от беспринципности?

Согласовать высокие идеалы и деловитое, будничное, успешное продвижение вперед, рекомендации теории и настроения масс, последовательность мысли и политическую выгоду — это действительно сложнейшая задача. Ленин великолепно сознавал ее и, как никто, умел решать. Он любил говорить, что с а м а я в ы г о д н а я для нас политика — это принципиальная политика. Но принципиальная политика — это политика, в которой ценностные, нравственные установки совпадают с научной доказательностью. Такая политика приближает мысль к действительности, соединяет логику теории с интересами широчайшей массы трудя-

щихся путем неустанного включения их в русло осознанного и организованного революционного преобразования жизни. Возможно, именно способ тройственного сочетания — взаимопроникновения научной, логической глубины и последовательности, революционной гуманистической устремленности и делового политического реализма — составляет тайну и привлекательность ленинской деятельности. Только тот, кто сам следует этим принципам, имеет право считать себя ленинцем.

Ленин вслед за Марксом и Энгельсом ставил перед собой задачу выразить интересы массы через теорию, не принося, однако, интересы массы в жертву «чистой» теории. Это важнейший принцип именно марксистского воззрения и политики, имеющий под собой глубокое основание.

Всякая научная теория по самой своей природе требует внутренней целостности, системности, логической закругленности внутри себя, стремится, так сказать, к замыканию. Это объективная тенденция. Она не сводится к чьему-то доктринерскому складу ума или злой воле. Она особенно усиливается и приобретает специфический характер, когда социальная теория становится идейной основой функционирования политических институтов и организаций и приобретает нормативное значение для их существования.

После прихода коммунистов к власти, как подчеркивал Ленин, возрастает опасность чрезмерной замкнутости теории в своих рамках и потому также возрастает требование постоянного соотношения теории с жизнью, собственным опытом масс.

Накануне Октября Ленин писал: «Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Это вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это покажет лишь опыт миллионов, когда они возьмутся за дело»¹. Ленин не уставал издеваться над людьми, которые думают, что революции могут делаться по книжкам. Этим людям, писал Ленин, «не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых населением и неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий странах Востока будут преподносить им, несомненно, больше своеобразия, чем русская революция». И далее: «Слов нет, учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками»².

Кое-кто ехидно может спросить: а как обстоит дело с любым учебником, написанным по Ленину?.. Что же, тот, кто в наши дни стал бы отрицать новые идеи и решения только на том основании, что у Ленина об этом ничего не сказано, показал бы, что он ничему не сумел научиться у Ленина. Принятие политических решений на основании научной теории Ленин никогда не понимал как «подгонку» политики под те или иные отдельные положения марксистской теории. Такая «подгонка» и означала бы догматизм, столь чуждый ленинскому мышлению.

Блистательным образцом творческого, а не догматического подхода к решению сложнейших задач является ленинское отношение к вопросам аграрной политики, имевшим, как нетрудно понять, особое значение для России. Совсем не случайно одним из первых декретов советской власти был Декрет о земле, включивший в себя «Крестьянский наказ о

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 116.

² Там же, т. 45, стр. 381, 382.

земле», составленный еще до революции на основании 242 местных крестьянских наказов.

Ленин, как известно, подчеркивал двойственность этого наказа, отражавшего подлинные крестьянские чаяния, но включавшего в себя и иллюзорные, утопические элементы. Эти элементы были связаны с мелкобуржуазной верой в возможность с помощью уравнительного землепользования устранить имущественное неравенство, эксплуатацию и разорение массы крестьян.

Подлинный путь, по мнению марксистов, лежал в превращении частного производства в общественное. Но Советское правительство во главе с Лениным, отнюдь не закрывая глаза на утопичность ряда положений крестьянского наказа, приняло его целиком и полностью, превратило в государственное установление. Поступить иначе значило бы лишиться пролетарскую революцию поддержки крестьянства и обречь ее на провал, ради сохранения «чистоты марксистской политики» отречься от будущего революции.

Однако принятие крестьянского наказа не означало перехода на позиции сугубого прагматизма. Если бы Ленин, если бы партия приняли этот наказ, умалчивая о принципиальной ошибочности, иллюзорности ряда его положений, если бы они «притворились» безоговорочными сторонниками этого наказа, это бы превратило их деятельность в чистое политиканство. Но коммунисты открыто заявили о своей позиции. Выступая на II Всероссийском съезде Советов при обсуждении Декрета о земле, Ленин говорил: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда... Жизнь — лучший учитель, а она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке революционного творчества, в выработке новых государственных форм»¹.

Когда Ленин говорил о взаимном сближении теории и интересов масс, это не было риторическим приемом или просто тактическим маневром. Это — принцип, которому он неизменно следовал. Пожелания масс, по мысли Ленина, вовсе не являются каким-то нежелательным, несоциалистическим элементом ситуации (даже если они действительно далеки от научно-социалистического проекта), а таким компонентом процесса, из которого тоже может и будет расти социализм, пусть вопреки «правилам».

Для нас, современников многих иногда неожиданных процессов и событий (ими был особенно богат 1968 год), поучительно потрясающее ленинское умение вглядываться в бесконечно сложную мозаику событий и находить там нечто, обещающее развиться, умение давать точную оценку происходящему с точки зрения конечных интересов социализма, вовремя принимать меры, чтобы поддержать новое, внести необходимые корректировки в противоречивые процессы, дать решительный отпор враждебным тенденциям.

Догматизм в политике — это не только некритическое следование устаревшим, не соответствующим более потребностям и условиям жизни, установкам и положениям. Догматизм — это и прямолинейное выведение политических решений из отдельных, хотя бы и совершенно правильных (правильных не только вчера, но и сегодня) теоретических по-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 27,

ложений, взятых самих по себе, без учета их взаимосвязей и взаимозависимостей с реальной ситуацией.

Ленин никогда не считал, что коммунисты владеют уже всей истинной во всем ее объеме, что речь может идти только о пересмотре позиций другими, но не коммунистами. Ленин умел отказываться от положений, ошибочность которых показывал ход революции.

Еще весной 1921 года партия выдвигала ортодоксальную идею организации прямого безденежного обмена продукции крестьянских хозяйств на продукты промышленности. Осенью того года Ленин писал: «Предполагалось более или менее социалистически обменять в целом государстве продукты промышленности на продукты земледелия... Что же оказалось? Оказалось... что товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, что он вылился в куплю-продажу»¹.

Итак, только в ходе практической деятельности крестьянство, с одной стороны, убедилось в том, что мелким хозяйством ни при каких условиях нельзя выбиться из противоречий товарного производства, ведущего в конечном счете к появлению капиталистов-эксплуататоров и эксплуатируемых наемных рабочих, а с другой стороны, научная теория, которой руководствуется Советское государство, обогатилась учением о необходимости широкого использования товарно-денежных отношений для социалистического преобразования сельского хозяйства. Сегодня мы можем добавить: и для обеспечения нормального и эффективного функционирования самой социалистически уже преобразованной экономики.

Но и сегодня находится немало людей — и на Западе, и на Востоке, и у нас, — в сознании которых понятия «прибыль» и «социализм» сочетаются не лучше, чем «вода» и «огонь». Таким людям кажется, что наша экономическая реформа есть отступление, ведущее нас к сближению с капитализмом. По этому поводу одни радостно толкуют о «конвергенции», а другие называют нас «правыми ревизионистами». Почти полвека тому назад Ленин издевался над этими беспочвенными надеждами и этими паническими криками. В этом случае, как и в столь многих иных, суждения Ленина звучат сегодня действительно и своевременно.

Но не менее существенна и другая сторона этого вопроса. Не раз приходилось читать и слышать от иных «знатоков» марксизма, что принятие Декрета о земле, как и многие другие шаги того же рода, было лишь тактическим маневром, а не искренней принципиальной позицией. При этом исходят как из чего-то само собой разумеющегося, что принципиальная позиция и тактический эффект — две вещи несовместимые, как гений и злодейство. В сфере политиканства это действительно так. В сфере большой политики, в сфере революционного действия, как их понимал Ленин, нет ничего губительней подмены ума хитростью, подмены политики игрой в политику, противоречия между социалистической целью и несоциалистическими средствами. Средства, употребляемые Лениным, никогда не были просто и только тактическими, потому они и оказывались неизменно самыми удачными и в тактическом отношении. Они вели к цели, потому что открыто и честно исходили из нее.

Перед политиком, ведущим корабль партии или государства через бурное море жизни, всегда вырастают, как Сцилла и Харибда, две опасности — догматизм и прагматизм. Слепое и упрямое следование раз и навсегда принятым установкам влечет за собой неминуемое крушение. Но такой же финал ждет и того, кто послушно ради минутной выгоды подчиняет судно всем капризам течений и ветров. Казалось бы, эти два типа политиков — политик-догматик и политик-прагматик —

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 207.

как нельзя более чужды друг другу. Но история неоднократно показывала нам образцы с удивительной легкостью совершавшихся превращений закоренелых догматиков в беспринципных прагматиков, и наоборот. Если вдуматься, то в этих метаморфозах нет ничего удивительного. Крайности, противоположности сходятся и легко переходят друг в друга. При всем видимом различии, у догматизма и прагматизма есть общая основа (если можно отсутствие чего-либо назвать общей чертой): и здесь и там политика не базируется на научном фундаменте.

Вот пример изумительного дара органично и естественно соединять в своей деятельности научную объективность с политическим реализмом и революционной принципиальностью, дара, позволявшего Ленину подняться и над прямолинейным, кичащимся своей ортодоксальностью догматизмом, и над узкоделаческим подходом, чуждым всякой революционной романтике. Я имею в виду выработанный им внешнеполитический курс молодого Советского государства в период Генуэзской и Гаагской международных конференций 1922 года.

Отгремели битвы гражданской войны. То, что еще совсем недавно казалось немислимым — существование социалистического государства в капиталистическом окружении, — стало фактом и в политическом, и в военном, и в экономическом отношении.

В начале 1922 года Советская Россия получила приглашение на международную конференцию, призванную обсудить положение и перспективы развития послевоенной Европы. В этих условиях естественно возникал вопрос о том, какой линии следовало придерживаться первому в мире рабоче-крестьянскому государству перед лицом мощного, но далеко не единого лагеря окружающих стран.

Существовавшие внутри нашей правящей партии «левые» (а их было в то время немало) советовали оставаться на непримиримо «принципиальных» позициях, не приносить коммунистическую идею в жертву временным материальным выгодам от соглашения с капиталистическими странами и выступить на предстоящей конференции с разгромными речами по адресу буржуазных пацифистов, подчеркивая неизбежность насильственного свержения буржуазии, новых империалистических войн и т. д. С другой стороны, нашлись и такие члены партии (их называли тогда «правыми»), которые настаивали на «примирении» с враждебным миром ценой любых уступок, любого беспринципного сговора с буржуазными политиками.

Ленин рассуждал иначе. Разумеется, мы остаемся на точке зрения принципов коммунизма, говорил он. И мы были бы плохими коммунистами, если бы забыли о непримиримости противоречий между трудом и капиталом. Конечно, империализм в целом реакционен и агрессивен, и забвение этих азбучных истин партийной программы совершенно недопустимо. Но почему мы должны закрывать глаза на то, что среди буржуазии есть и крыло, тяготеющее к военному решению вопроса, и крыло, тяготеющее к пацифизму, будь оно самым что ни на есть плохоньким и несостоятельным с нашей, коммунистической точки зрения? Разве нам безразлично, имеем ли мы дело с буржуазными пацифистами или с откровенными ультрареакционерами? Почему мы не можем попытаться разъединить в Генуе страны окружающего нас лагеря, выделить его пацифистское крыло и вступить с ним в переговоры?

Говорят, что буржуазные пацифисты предлагают лишь ряд паллиативов и мелких реформ, безвредных для капитализма, писал Ленин. Да, мы не очень верим в эффективность их программы. Она почти бесполезна, ибо для решения основных проблем, стоящих перед Европой, нужны радикальные перемены. Но при известных условиях эта программа могла бы все же облегчить тяжелое положение народов. Так вправе ли мы

не испытать эту пусть проблематичную, туманную возможность более легкого, мирного выхода человечества из того тупика, в который загнал его империализм? Вправе ли мы сознательно смиряться с кровавыми жертвами, которые несет война, если есть хотя бы один шанс из тысячи избежать их? Нет, такого права у нас нет. Мы все сделаем, что только в наших силах, чтобы это бедствие предупредить, пойдем на всякие уступки и жертвы, чтобы предотвратить новую войну, говорил Ленин. Вот почему мы должны объявить допустимым, с нашей точки зрения, и желательным торговлю и соглашение с пацифистским крылом буржуазии как один «из немногих шансов мирной эволюции капитализма к новому строю, чему мы, как коммунисты, не очень верим, но... испытать согласны и считаем своим долгом...»¹ (разрядка моя.— А. Р.), — указывалось в написанном Лениным проекте постановления ЦК РКП(б) о задачах советской делегации в Генуе.

А это значит, подчеркивал Ленин, что не нужно произносить на конференции «страшные слова», не нужно подробно излагать там нашу программу и сбиваться на агитацию за коммунизм (это было бы лишь напрасной тратой времени), больше того — советским делегатам предстояло самим выступить с буржуазно-пацифистской программой, включив ее в свои предложения, чтобы усилить левое, реформистское крыло буржуазии и увеличить ее шансы в борьбе с консерваторами.

Выступить с «буржуазно-пацифистской программой»? Это казалось непостижимым. Ленин, заклеивший в годы первой мировой войны буржуазный пацифизм с его лозунгом мира и разоружения в десятках статей и речей, предлагает идти в Геную с пацифистской программой?! Даже Г. В. Чичерин, выдающийся дипломат XX века и один из самых блестящих умов ленинского Совнаркома, человек, может быть, более других внутренне подготовленный к восприятию этой ленинской идеи, на какой-то момент пришел в растерянность. «Всю жизнь я ругал мелкобуржуазные иллюзии, и теперь на старости лет Политбюро заставляет меня сочинять мелкобуржуазные иллюзии. Никто у нас не умеет сочинять таких вещей, не знает даже, на какие источники опираться»², — писал он Ленину.

— Но где, кто, когда отрицал использование пацифистов для разложения врага, буржуазии? — отвечал ему Владимир Ильич.

Разумеется, наша уступчивость не беспредельна, и глубоко ошибаются те, кто собирается диктовать Советской России условия как победенной стране, подчеркивал Ленин. Но тем, кто готов вести с нами деловые переговоры, мы можем уступить: признав при известных условиях часть старых государственных долгов, предоставив иностранным капиталистам выгодные концессии и т. д. И обязательно подчеркивать, что «мы считаем своим долгом в целях достижения желаемого нами экономического соглашения сделать все зависящее от нас для возможно более широкого выполнения хотя бы известной доли этой пацифической программы»³.

И такая программа, включавшая в себя и конкретные предложения о сокращении вооружений, была представлена советской делегацией в Генуе. Ленинская политика мирного сосуществования государств с различными социальными системами, которую Советская Россия неизменно проводила с первых же дней своего существования, еще раз продемонстрировала свою жизненность — об этом свидетельствовал Рапалльский

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 407.

² Цит. по кн.: С. Зарницкий и А. Сергеев. Чичерин. М. 1966, стр. 146.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 64.

договор с Германией, заключенный как раз во время работы Генуэзской конференции.

Ленинские идеи, нашедшие отражение в целом ряде документов, написанных главой Советского государства во время подготовки и проведения Генуэзской встречи и являющиеся прямым продолжением и развитием тех мыслей, которые были высказаны им еще в период Брестских мирных переговоров 1917—1918 годов, лежали в основе миролюбивой внешней политики СССР и при возникновении антигитлеровской коалиции в годы второй мировой войны. Всего за несколько лет до войны самая возможность союза нашей страны с крупнейшими капиталистическими державами — США и Англией представлялась утопией очень многим людям, и притом не только в буржуазном мире. А для того, чтобы эта «утопия» стала реальностью, надо было увидеть, то есть теоретически осознать глубокий сдвиг, который произошел в политическом развитии мира. Для этого надо было понять, что фашизм не просто разновидность военной диктатуры, но что он грозит гибелью демократии, порабощением жизнеспособных государств, истреблением целых народов, а в конечном счете — вырождением и одичанием всего человечества. Мы заключили союз с буржуазной демократией против фашизма и этим спасли человеческую цивилизацию, в том числе и буржуазную демократию.

Урок второй мировой войны весьма актуален и сегодня, забывать его непозволительно. Верность ленинской традиции воплощена ныне в принципе мирного сосуществования, неотделимого от борьбы против того же «грубо-буржуазного, агрессивно-буржуазного, реакционно-буржуазного», как называл его Ленин, лагеря международной буржуазии. И в этой борьбе мы готовы на сотрудничество со всеми общественными силами, выступающими против империалистического разбоя, за удовлетворение коренных требований всех народов, каким бы величайшим грехом ни выглядела такая позиция в глазах «левых» авантюристов, готовых во имя догмы принести в жертву миллионы человеческих жизней.

Заметим, что указание Ленина на необходимость дифференцированного подхода к различным элементам капиталистической системы в полной мере распространяется и на духовную сферу, где было бы особенно нелепо говорить о какой-то единой «буржуазной» культуре, не выделяя в ней прогрессивной, гуманистической и демократической струи, отмечая по методу анархического насилия все без исключения завоевания человеческой мысли.

Конечно, Ленин отдавал себе отчет в том, что пацифизм — это не просто выдумка либеральной буржуазии, а реальный исторический фактор, выражающий — пусть в незрелой, достаточно иллюзорной форме — настроения и основные интересы широчайших масс. Ленин допускал возможность «мирного» — пусть шансов на это немного — пути к новому строю. Во внешней политике его метод был тем же, что и в политике внутренней, и между столь отдаленными вещами, как стихия европейского пацифизма и стихия русского крестьянского уравниательства, как советская позиция на Генуэзской конференции и принятие Декрета о земле, есть глубокое сходство в самом способе подхода революционера и социалиста к «незапланированному» своеобразию потоков истории.

* * *

Ленин рассматривал революционное социальное творчество как точку пересечения научного проектирования и стихии. В устах разносчиков науки термин «стихия» чаще имеет резко выраженный негативный привкус. Все, что стихия, считается плохим. Зачастую так оно и есть. Однако Ленин смотрел на стихийные процессы гораздо шире.

В XX веке было немало лидеров, которые клялись именем народа, боясь на деле любых идей и действий, идущих «снизу», не введенных в чиновничьи берега. Ленин смотрел на вещи совсем иначе. Организуя, например, в начале двадцатых годов самую решительную борьбу со стихийными силами, враждебными революции, например со спекулянтами, взяточниками, бюрократами, он в то же время видел в стихийных процессах и народную инициативу — ростки нового, живительного, особенно если создать условия, способные направлять такие стихийные процессы по нужному руслу. Эта готовность увидеть в спонтанном развитии новые, еще никому не известные элементы, неразрывно связана с глубокой верой в неиссякаемые творческие потенции и мудрость народных масс.

Вспомним, с какой прозорливостью Ленин увидел в стихийно возникших Советах новые, невиданные формы власти, с какой энергией он поддержал коммунистические субботники. Ленинские письма и статьи переполнены настоятельными призывами к самым разнообразным начинаниям, починам, инициативе.

В. И. Ленин был далек вместе с тем от всегда имевшей и сейчас имеющей место готовности апологетически относиться к любому стихийному движению, в котором участвуют массы. Он публично разоблачал тех, кто пытался эксплуатировать отсталость, необразованность ради того, чтобы получить сомнительную выгоду в корыстных политических целях, видя огромную опасность, таящуюся в подобных действиях.

Верно, по Ленину, нельзя приносить массы в жертву теории, но это вовсе не значит, что теория должна приноситься в жертву массе. В статье «О смещении политики с педагогикой» он пояснял, что ради агитационного эффекта, ради доступности и расхожести теоретических формул, ради немедленного успеха у массы нельзя приспособляться и снижать теорию до азбучного уровня. Если массы не доросли до теории, это не дает основания ни третировать массы, ни третировать теорию, что, впрочем, всегда две стороны одной медали, ибо доктринеры не уважают ни интересы массы, ни интересы истины.

Горький говорил, что «должность честных вождей народа нечеловечески трудна». Она трудна, потому что требует не только добрых намерений, но и интеллектуального бесстрашия, демократизма по сути, а не только по форме. Демократизм по сути требует, с одной стороны, как формулировал Ленин:

«Жить в *гущ*е.

Знать *настроения*.

Знать *все*.

Понимать массу.

Уметь подойти.

Завоевать ее **абсолютное доверие**¹. С другой же стороны, необходима не менее трудная способность говорить массам подчас горькую правду, уметь идти против течения, уметь обновлять себя и свои идеи в процессе их претворения, действия, борьбы, не цепляясь самолюбиво за выстраданные теории и формы, которые были верны вчера, уметь сказать себе и всем участникам движения, что сегодня эти теории и формы действия неверны.

Ленин это умел. Достаточно было бы напомнить о такой сложнейшей полосе нашего развития, какой явился переход от гражданской войны, военного коммунизма в политике и идеологии к ленинской новой экономической политике.

В речи на XI съезде Владимир Ильич, говоря о переходе от рево-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 497.

люционного насилия, от победоносного сокрушения буржуазии к будничной, кропотливой культурно-хозяйственной работе, дабы уметь «некоммунистическими руками строить коммунизм», говоря об инерции партии, которая, выиграв гражданскую войну, должна была теперь вести неизмеримо более трудную войну с российской отсталостью, нищетой и бескультурьем, он требовал перестать жить в «традициях 1918 и 1919 годов. То были великие годы, величайшее всемирное историческое дело. А если смотреть назад на эти годы и не видеть, какая теперь задача на очереди, то это была бы гибель, несомненная, абсолютная гибель, и весь гвоздь в том, что сознать этого мы не хотим»¹. И еще: если мы научились «...беспощадно ошибки наши вскрывать и говорить о них... тогда нет ни тени сомнения, что мы их преодолеть сумеем»². Эти мысли, ярко характерные для Ленина, для большевиков, прекрасно освещают природу неиссякаемой бодрости и оптимизма Владимира Ильича, оптимизма, я бы сказал, делового и основанного на научном расчете, а не только на вере и эмоциях, оптимизма драматического и трудного, оттого и несокрушимого. Не это ли, в частности, имел в виду Горький, говоря о нечеловечески трудной должности честных вождей народа?

Конечно, эта нечеловеческая трудность связана не только с умением выработать верную, научную ориентацию в теории и увлечь ею передовые общественные силы. Сама выработка этой ориентации в современную эпоху, когда управление обществом уже немислимо без широкой образованности, культуры, овладения научным инструментарием, всякий раз ставит государственного лидера перед неотвратимой дилеммой: либо с головой погрузиться в водоворот событий, лишаящий возможности отдавать львиную долю времени научным занятиям, либо запереться в стенах ученого кабинета и тогда отгородиться от этих событий.

И в прошлом, и в наше время каждый политический деятель разрешал эту дилемму по-своему — в зависимости не только от своих, так сказать, физических возможностей, сил и способностей, но и от обстоятельств. В качестве историка и журналиста Черчилль предавался изысканиям в области международных отношений преимущественно в свободные промежутки от деятельности на посту премьер-министра Англии и после окончательного устранения от общественной деятельности. Другая доля выпала выдающемуся деятелю национально-освободительного движения в Индии, революционеру и мыслителю Неру, который написал несколько своих историко-философских работ в годы тюремного заключения и ссылки.

Как ученый и революционер, призванный всегда вносить социалистическое сознание, последнее слово науки в стихийное движение рабочих и крестьянских слоев населения, Ленин занимался научной работой систематически и непрерывно — на свободе и в ссылке, в изгнании и на посту главы правительства. Для иллюстрации этого факта позволю себе несколько цифр. Только за пять послереволюционных лет, когда Ленин с головой ушел в государственно-практическую работу, им было написано 917 страниц — статей, заметок, исследований.

История знает немало опытных и волевых политических деятелей, умевших трезво оценить происходящие события и раньше других предвидеть наступление новых событий.

В распоряжении этих политических деятелей было два орудия: здравый смысл, опирающийся на жизненный опыт, и интуиция. Стоит ли говорить, что к этим инструментам познания нужно относиться с уваже-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 99.

² Там же, стр. 130.

нием? Ведь нередко встречаются деятели, лишенные и того и другого. Но для руководства социалистическим движением и государством этих качеств мало.

Любопытно, перечитывая знаменитое ленинское «Письмо к съезду», поразмыслить над тем, какие качества Ленин считал решающими недостатками социалистического политика, вождя, государственного деятеля и какие требования он в этом отношении выдвигал. Во-первых, Ленин предостерегал против самоуверенности, грубости, честолюбия, подчеркивая, что для руководителя необходимы лояльность, терпимость, вежливость, внимание к товарищам, отсутствие капризов и т. д. Иными словами, нужна нравственная высота, то есть выдержка, принципиальность, человечность — вообще те свойства характера, которые помогают спланировать вокруг себя людей, а не разобщать и восстанавливать их друг против друга. Во-вторых, Ленин предупреждал против чрезмерно догматического склада ума, склонного к подмене марксистской диалектики схоластикой, против недостатка теоретической широты и гибкости. В-третьих же, и главным образом, Ленин усматривал опасность в «чрезмерном увлечении чисто административной стороной дела». Ленин полагал (обращаясь к этой теме в другом случае, в связи с необоснованными нападками на Кржижановского и Чичерина), что вообще умение приказывать, заставлять, волевая административная хватка — достоинства достаточно распространенные — нужны для политического руководства лишь во вторую очередь, а обнаруживаясь в избытке, извращают саму суть социалистической государственности. «Я замечал у некоторых из наших товарищей, способных влиять на направление государственных дел решающим образом, преувеличение администраторской стороны, которая, конечно, необходима в своем месте и в свое время, но которую не надо смешивать со стороной научной, с охватыванием широкой действительности, способностью привлекать людей и т. д.»¹.

Конечно, речь у Ленина идет здесь не о психологических нюансах, а о понимании сути политики и сути социалистического управления. Политика — это не социальное манипулирование, не умение хорошо смазывать бюрократический механизм, издавать декреты и бросать лозунги. Политика — это открытая сфера самой истории, ее закономерного движения, слагающегося в громадном сочетании жизни, интересов, и действий миллионов людей. Быть государственным деятелем — значит охватывать эту широкую действительность, по-деловому изучать ее материал, владеть высокой культурой мышления и организации, это значит исходить из «стороны научной» и уметь убеждать людей в эффективности теоретических рекомендаций. Руководство государством нельзя путать с административной властью, состоящей лишь из необходимого дополнительного элемента руководства, состоящего прежде всего в способности связать научное знание с деятельностью масс.

Выступая в последний раз с политическим отчетом на партийном съезде, Ленин говорил: «...не отрывать администрирования от политики, — вот в чем задача. Ибо наша политика и администрирование держатся на том, чтобы весь авангард был связан со всей пролетарской массой, со всей крестьянской массой. Если кто-нибудь забудет про эти колесики, если он увлечется одним администрированием, то будет беда»².

В гениальности Ленина выразился новый, марксистский тип политика-ученого: сочетание, конечно, весьма редкое в одной лично-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 351.

² Там же, стр. 107.

сти, но характерное и обязательное для деятельности марксистской партии, для коллективного руководства социалистическим государством.

Научная концепция вырабатывается Лениным всегда в гуще борьбы, в разгар событий огромного масштаба, событий, в которых он непосредственно, активно участвует, на которые он накладывает отпечаток собственной личности. Но политическая активность не только не мешает Ленину сосредоточиться на важной научной проблеме, эта деятельность раскрывает перед его сознанием всю настоятельность решения определенной теоретической задачи, ибо самое рассмотрение и разрешение этой проблемы теории всегда теснейшим образом связаны с практической деятельностью его как политического вождя, государственного деятеля. Именно поэтому Ленин — величайший революционер в политике — выступает в качестве новатора в теории. Его наука — вся — ответ на потребности политики, его политика вся пронизана наукой.

Бесспорно, осью этого гармоничного взаимодействия, этой непрерывной «обратной связи» у Ленина была именно политика. Но это вовсе не означает, что его научная работа была «подчинена» политике в смысле плоского инструментализма. Ленин был ученым, а не человеком, прагматически «использующим» науку. Никто лучше него не сознавал и не уважал суверенитет научного исследования, теоретизирования в самом лучшем смысле слова. Ленин стократно подчеркивал, что права истины должны быть свято оберегаемы независимо от того, приятна и выгодна ли эта истина для нас, на руку ли нам она. Выводы науки всегда «выгодны» для настоящих революционеров-политиков, ибо, только будучи суверенной, самоценной, полной, точной, правда науки может послужить революционной политике.

О том, как интенсивно и кропотливо работал Ленин над своими научными исследованиями, могут дать некоторое представление следующие цифры. При подготовке книги «Материализм и эмпириокритицизм» им было изучено примерно триста пятьдесят иностранных и русских книг по философии общим объемом более пяти тысяч страниц. Работа над книгой «Империализм как высшая стадия капитализма» потребовала основательного ознакомления приблизительно с четырьмястами книгами и статьями на немецком, английском и французском языках, причем только выписки составили пятьдесят печатных листов.

Однако сказать, что Ленин был великим ученым, значит еще сказать далеко не все. Среди крупных государственных деятелей нашего века немало таких, которые были причастны отдельным областям науки — от ботаники и математики до юриспруденции и социологии. Первый канцлер Австрийской Республики в 1919—1920 годах и ее президент в 1945—1950 годах, один из идеологов социал-демократии австромарксистского вида Карл Реннер был историком; премьер-министр Франции в 1924—1925 годах Эдуард Эррио — публицист, историк, литературовед и музыковед; двадцать восьмой президент США Вудро Вильсон занимался проблемами права и государства; нынешний президент Сенегала Леопольд Сенгор причастен не только к поэзии, но и к философии и пр.

Но Ленин — не просто ученый в ряду других государственных мужей, а исследователь в сей той области общественной жизни, в которой непосредственно действовал практически. Жизнь сталкивала его с проблемами социологии, философии, политики, идеологии, экономики, культуры, и он комплексно рассматривал эти аспекты социальной действительности. Задачи руководства обществом в исторический момент перехода его от одной общественной формации к другой исключали выделение какого-либо отдельного аспекта, на котором можно было бы сосредоточить все внимание, перед Лениным-политиком вставала

неслышанно сложная задача руководства обществом как целым.

Комплексность научно-общественной деятельности Ленина, синтетичность его подхода к самым жгучим социальным проблемам диктовались, с одной стороны, обстановкой, которой было необходимо овладеть, политической, экономической, культурной отсталостью России, с другой же стороны, потребностями общественного предвидения. Если прежние буржуазные революции завершались захватом политической власти, то Великая Октябрьская социалистическая революция с захвата власти пролетариатом только еще начиналась. Ленин должен был всесторонне обдумать перспективы дальнейшего пути и возглавить разработку научно обоснованных планов и прогнозов всего развития советского общества. Такая задача не была бы по плечу специалисту — экономисту или технику, военному теоретику или просветителю, — ее мог разрешить лишь ученый синтетического склада, вооруженный передовым мировоззрением и свободно ориентирующийся во всех отраслях социального знания. Если задуматься над вопросом, по каким отраслям знания читал Ленин литературу при подготовке своих научных работ, то мы найдем среди изученных им произведений книги по политической экономии, конкретной экономике, статистике, экономической географии, философии, социологии, психологии, логике, истории, этнографии, праву, теологии, искусствоведению, литературоведению, военному искусству. Но дело, конечно, не только в колоссальной эрудиции Ленина. Главное — в его необычайной способности делать оригинальные обобщения на основании проработанного и переосмысленного материала и поставить его на службу своей революционной идее. Это же объясняет нам и долговечность многих, даже небольших, чисто журналистских статей Ленина, интерес, который сохраняют его высказывания по самым частным и давно канувшим в Лету поводам.

Журналистика, происходящая по самому своему названию от французского «jour» («жур») — один день, — является однодневкой, служит сегодняшнему дню. История журналистики знает много имен в свое время популярных публицистов, которых ныне уже не читают и не помнят. Едва ли даже профессионалы-журналисты помнят теперь имена своих коллег, исключительно популярных в 1920—1930 годах, — американцев У. Дюранти и Ю. Никербокера, англичанина, писавшего под псевдонимом Авгур, француза Пертинакса, немцев Ф. Клейна и Керра, австрийца Бенедикта и др. Эти имена, хорошо известные людям моего поколения, встречаются ныне, как правило, лишь в энциклопедиях.

Проблема бессмертия для журналиста решается, конечно, труднее, чем для писателя. Но в каких случаях газетная или журнальная статья все же может продолжительное время привлекать интерес? Видимо, тогда, когда она представляет собой продукт глубокого научного проникновения в жизнь, когда ее автор за сменяющимися ликами действительности способен уловить долговременные, коренные тенденции.

Прежде чем развить это соображение, позволю себе привести некоторые примеры.

Первый из них касается не статьи, а фрагмента из уже цитированного доклада Ленина на XI съезде. Фрагмент этот, однако, является по существу законченной «вставной новеллой», блестящим политическим фельетоном на злобу дня. В ответственной отчете, формулирующем генеральную линию партии, Ленин вдруг начинает рассказывать довольно длинную историю о... закупке партии французских консервов. Это история некоего междуведомственного конфликта, волокиты, безалаберности в работе тогдашних Московского потребительского общества и Наркомата внешней торговли. История эта в докладе представлена во

всех подробностях, в лицах, колоритно, живо, умно, зло, саркастично, с мастерством, которому позавидовал бы любой журналист.

Незначительная и тогда, когда она рассказывалась, эта история сейчас, спустя почти полвека, казалась бы, должна навевать скуку. Но она и сейчас вызывает у читателя напряженные раздумья. Дело в том, что Ленин увидел в этой маленькой капельке воды отражение всего комплекса задач, стоящих тогда перед страной. История бюрократической закулки партии консервов оказалась в связи с проблемой сути и стиля советского аппарата, советского государственного руководства, в связи с проблемой выхода России из общей культурно-хозяйственной отсталости, в связи с «задачей постройки фундамента социалистической экономики» — короче говоря, в связи с коренными практическими и теоретическими вопросами социализма.

Другой пример: маленькая статья «Странички из дневника», написанная несколькими месяцами позже, когда Ленин был уже прикован к постели. Ленин начинает статью со статистической таблицы грамотности населения России за 1897 и 1920 годы. Сразу же следует утверждение: «В то время, как мы болтали о пролетарской культуре и о соотношении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, показывающие, что даже и с буржуазной культурой дела обстоят у нас очень слабо»¹. Далее следуют вполне конкретные соображения о финансировании Наркомпроса, снабжении учителей хлебом, бюджетной политике, формах шефства рабочих над деревней и т. д.

Это только с одной стороны. Но с другой стороны, замечания о мелочах текущего дня слиты с «основным политическим вопросом» о влиянии рабочего класса, города на деревню, о «полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор и не можем выбраться без серьезных усилий, хотя имеем возможность выбраться». И о политических возможностях «на почве наших пролетарских завоеваний» «достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы», дабы шагнуть благодаря сочетанию этого объективного уровня и советской политической власти к более высокой, социалистической цивилизации. Статья, непосредственно посвященная нескольким статистическим цифрам, оказывается написанной ради стремления «выставить во всем объеме эту гигантскую всемирно-историческую культурную задачу».

Ленинская заметка «Странички из дневника» датирована 2 января 1923 года. 4—6 января была продиктована статья «О кооперации», которую, без преувеличения, должен знать каждый интересующийся историей XX века. 16—17 января была создана статья «О нашей революции» — внешне по столь же частному поводу. В сумме все эти статьи, как всегда у Ленина, проникнуты проблемой поистине глобального размаха и непонятны вне системы его научных взглядов. Они, обладая всеми приметами первоклассной журналистики, будучи неотделимы от политической повседневности «исторической минуты», принадлежат вместе с тем к сфере высокотeorетического анализа проблемы века.

Конечно, сама проблема, о которой шла речь в только что названных статьях Ленина, отнюдь не устарела и даже только в последние два десятилетия впервые встала перед многими народами мира. Но еще более существенны масштабы и метод мышления Ленина, мышления революционно-научного, то есть не просто стремящегося понять наличное бытие, а рассматривающего его как момент становления будущего, момент движения, процесса, ведущего к пока еще скрытым горизонтам всемирной истории.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 363.

Дело здесь не в простом «соединении» научности и революционности, «объяснения» мира и его «изменения», как часто толкуют соотношения теории и практики в известных Марксовых тезисах о Фейербахе. Суть в том, что сама марксистско-ленинская наука революционна и по способу «объяснения» — ее социальные проекты органически включают в себя преобразования наличного в коммунистическом направлении, то есть способ «объяснения» включает в себя и «изменение». Сила Ленина-политика (а заодно и секрет долголетия его журналистики) именно в революционности — не в смысле революционного пафоса, гнева, ценностных установок и т. д., а прежде всего в революционности самого способа анализа. Иными словами, в Ленине не просто соединились политик, революционер и ученый — важнее, что в нем эти различные грани тождественны.

Это вместе с тем общая черта большевистской партии и большевистского руководства, в котором рядом с Лениным трудилось немало умных ученых, блестящих людей сходного склада. Быть признанным лидером таких людей чрезвычайно трудно, но Ленин занимал это место с полнейшей естественностью и неоспоримостью. Это не мешало соратникам Ленина спорить с ним и сохранять интеллектуальную самостоятельность: без этого они не могли бы быть соратниками Ленина.

Интуиция и чуткость Ленина-тактика к мельчайшему факту, к деталям ситуации, к быстротекущим минутам политики есть функция от его научной концепции, позволяющей видеть лес за каждым деревом и интересоваться любой частностью в связи с целым. Все это насквозь политика, Ленин ею пропитан, но это такая политика, которая вытекает из глобального подхода и научно выверенных принципов и идеалов. Это политика, охватывающая и историю с закупкой партии консервов, и все будничные детали государственного быта, и историю мировую. Это политическая наука и научная политика в их революционном, новом по типу единстве.

Соединением в одном лице ученого и журналиста Ленин явил пример знаменательный не только для соотношения науки и политики, но для проявления их обеих в той особой профессиональной сфере деятельности, какой является журналистика. Служение практике, в частности и в особенности политической, стало в наше время не только чертой социальной науки, но и свойством отдельных ее представителей. Те из них, кто отличается склонностью к синтетичности, как правило, все более активно проявляют свое участие в общественной деятельности своими выступлениями в периодической печати. Какой бы характер и формы ни принимало публичное выражение современными учеными своих взглядов — это путь, который, по собственному выражению многих из них, был указан примером Ленина.

«Можно полагать, — писал Бертран Рассел, — что наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось завершить огромную работу синтеза, одному — в области мысли, другому — в действии. Ленин казался мировой буржуазии разрушителем, но не разрушение сделало его известным. Разрушить могли бы и другие, но я сомневаюсь, нашелся ли бы хоть еще один человек, который смог бы построить так хорошо заново. У него был стройный творческий ум. Он был философом, творцом системы в области практики...

Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не больше чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть равного ему»¹.

¹ Сб. «Политики и писатели Запада и Востока о В. И. Ленине». М. 1924, стр. 54.

Однако отношение советских людей, всех коммунистов мира к Ленину чуждо всему тому, что названо «культом личности». Известно, как сам Ленин относился к обожествлению выдающихся личностей. Собрание в честь своего пятидесятилетия Ленин использовал для того, чтобы в своей речи честно и сурово призвать партию к деловитости и самокритичности, самокритичности в первую очередь! Прочитывая слова Каутского о великих ожиданиях международного пролетариата, возлагаемых на русскую революцию (сказанные еще в 1902 году), Ленин заявил: «Эти слова наводят меня на мысль, что наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение,— именно, в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное и смешное. Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало такое состояние, в котором эти партии имели возможность зазнаться». Ленин закончил речь пожеланием, «чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии»¹.

Не «зазнаться» — это означает не утратить чувства реального и возможного, то есть определяемого общественным положением и самосознанием массы. «В народной массе,— говорил Ленин,— мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает»².

Необходимо создать условия и для того, чтобы объяснить массам политику партии и правительства, и для того, чтобы всегда иметь точную картину общественного мнения по самым разнообразным проблемам, большим и малым. Осуществление этих двух функций Ленин возлагал на средства массовых коммуникаций, в частности на печать.

Ленину неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда те или иные лица, руководствуясь нередко самыми лучшими мотивами, обосновывали необходимость той или иной модификации информации в интересах дела. Ленин относился к проблеме объективности информации с огромным вниманием. Он, конечно, превосходно понимал, что информация является мощным орудием в классовой борьбе, в конфликте двух социальных систем. Как ответственный государственный деятель, он считал неизбежными определенные ограничения в разглашении информации. (В ленинских материалах можно найти немало свидетельств о том, как Ленин умел беречь государственную и партийную тайну и как он этого требовал от других.) Однако, не сбрасывая со счетов это крайне важное обстоятельство, Ленин решительно боролся с теми, кто его толковал чрезмерно расширительно и нарушал принцип гласности, которым так дорожил Владимир Ильич.

Ленин никогда не забывал и о том, что информация о наших недостатках используется антисоветской пропагандой. Но он полагал, что это обстоятельство не должно влиять на нашу критическую работу, что в конечном счете нам гораздо важнее ход нашего строительства, чем временные пропагандистские «успехи» реакционных идеологов.

Вслед за Лениным мы полагаем, что средства информации тогда наилучшим образом служат нашему делу, когда это служение, олицетворенное в журналистах, инициативно и основано на осознанном, личное осознанном понимании сути, перспектив нашего и всемирного развития, то есть свободно от того, что называют «конъюнктурщиной», зависимостью от дурно воспринятой злобы дня.

Сейчас часто говорят о всемогуществе средств информации. Они, конечно, могущественны, но не всемогущи. Было бы опасной иллюзией считать, будто журналисты могут по мановению пера вызывать

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 326—327.

² Там же, т. 45, стр. 112.

к жизни исторические перемены, определять общую направленность политической ситуации. Сила слова есть функция, производная от его правдивости, его соответствия реальному историческому движению своего народа и всего человечества, движению, которое действительно в этом случае может многократно усилить и ускорить общественный процесс.

И в этом отношении все, кто работает на благородном и ответственном поприще массовой информации, просвещения народа, все, кто связан с современным социальным знанием, находят в деятельности Ленина высокий образец не только бесстрашия перед фактами, но и умения через частный факт, ограниченный временем, условиями того или иного региона, окрашенный национальной спецификой, увидеть самое важное для всех людей — подлинно общечеловеческое.

* * *

Тема отношения научной мысли и интернациональной политики, как понимал это Ленин, настолько грандиозна, что ее не охватить в одной статье. Я позволю себе остановиться лишь на одном ее, в высшей степени близком нашей современности аспекте — соотношении всемирного и национально-особенного.

Для Ленина это одна из краеугольных проблем теории. Это тема, проходящая через все его творчество. И вместе с тем, можно сказать, кровная, «личная» тема, идущая из самых глубин мироощущения человека, унаследовавшего от своих демократических и социалистических предшественников глубочайшую убежденность в равенстве всех народов, в равном праве их на свободу и независимость и в ответственности их всех за исход общей освободительной борьбы, за революционное преобразование мира.

Выросший в самом сердце России, на берегах самой русской из всех наших рек — Волги, Ленин был глубоко русским по самому складу своего характера и мышления. «Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством — отзвук глубоко открытой, радостной любви к рабочему народу»¹, — вспоминал Горький.

Можно десятки раз перечитывать короткую ленинскую статью «О национальной гордости великороссов», статью, написанную в первые дни мировой империалистической войны, дни шовинистического угара, — и неизменно восхищаться, поражаться своевременностью, силой и точностью мысли, противопоставившей псевдонациональному сознанию подлинный патриотизм революционера. Ленин говорил о двух Россиях — одной, царистской, которая в течение целого столетия являлась жандармом всей Европы, и о другой России, выдвинувшей из своих глубин отважных борцов против этого внутреннего и общеевропейского тирана. Ленин подчеркивал, что способность русского народа подняться на борьбу с самодержавием и составляет предмет величайшей национальной гордости великороссов. Он делал, наконец, главный вывод из сказанного: «Мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великой России, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий»².

Именно поэтому для Ленина была необычайно характерна какая-то особая, концентрированная ненависть ко всякому национализму и вели-

¹ М. Горький. Сочинения, т. 17, стр. 39.

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 108.

кодержавности, и прежде всего к шовинизму господствующей нации — великороссов. Эта ненависть прошла красной нитью через многие работы Ленина по национальному вопросу, но, может быть, наиболее сильно прозвучала она в короткой фразе из его записки, датированной октябрём 1922 года: «Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть»¹. Именно так, не на жизнь, а на смерть, боролся Ленин до Октября с варварским, преступным, как он называл, отношением царизма к населявшим Россию угнетенным народам. Именно потому с такой беспощадностью бичевал он в последние годы своей жизни любые проявления великодержавности, грозившей вызвать в виде ответной реакции новое обострение национализма в бывших колониальных районах Российской империи и подорвать основы содружества братских советских республик.

И в том и в другом случае Ленин продолжал, в сущности, одну линию — линию, связывающую классовое и национальное чувство на единственно возможной — интернационалистской основе.

Россия постоянно находилась в центре внимания Ленина, являлась главным звеном его теоретической концепции. Но за Россией Ленин умел видеть весь мир, и это в свою очередь помогало ему лучше увидеть и понять Россию. Мы теперь хорошо знаем (наши историки немало сделали для этого своими исследованиями), что в российский действительности начала XX века получили отражение многие социальные процессы, типичные для в с е й эпохи империализма, для различных стран и континентов, процессы, делавшие революционную Россию «мостом» от Запада к Востоку, средоточием проблем мирового социального освобождения. И в этом заключается секрет того, что ленинская мысль, будучи вполне конкретной и, так сказать, глубоко «русской» по своей направленности, несла вместе с этой конкретностью и подлинную всеобщность.

На русском материале Ленин приходил к решению таких проблем, которые имели не только русское, а поистине международное значение. И хотя он, несомненно, гордился тем, что на долю России выпало первой начать серию глубочайших революционных преобразований и показать всем странам кое-что, и притом весьма существенное, из того, что им неизбежно придется пережить в недалеком будущем, Ленин никогда не придавал русскому опыту какого-то универсального значения, исключающего возможность других вариантов решения тех же проблем. Ленину был глубоко чужд всякий национальный мессианизм, всякая вера в то, что сама судьба избрала Россию для того, чтобы предначертать путь других народов к их национальному и социальному освобождению, всякое славянофильское или иное пусть субъективно и искреннее, даже благородное, но по способу мышления в конечном счете неизбежно ретроградное направление, то, что в истории русской мысли выражается словом «почвенничество».

Не хочу нагромождать цитат, подтверждающих, что Ленин с огромным интересом и сочувствием относился к пробуждению Востока, связывал с включением в мировую историю миллиардных масс, сбрасывающих оковы колониализма, будущее человечества. Не стану также напоминать известные всем факты, свидетельствующие, что Ленин неизменно отдавал дань высокому уважению и признания пролетарской, социалистической традиции Запада, что он видел в достижениях развитых, «цивилизованных» (по его любимому выражению) странах Европы и Северной Америки тот уровень всемирного прогресса экономического, технического, культурного, без «подтягивания» к которому всех остальных народов,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 214.

включая народы отсталой в прошлом, дореволюционной России, нечего и мечтать о движении к социализму.

Эта связь конкретности и всемирности, актуальных тактических и более отдаленных стратегических задач позволяла Ленину нащупывать в решении чисто русских на первый взгляд задач те их стороны, которые имели значение для всего международного рабочего движения. Так, в процессе исследования российской действительности и ее активного преобразования Ленин накапливал материал, включавшийся в движение его теоретической мысли, а это последнее в свою очередь подготавливало своеобразный «задел» для решения новых задач — притом уже не в масштабах одной страны, а в масштабах всего мира.

Как известно, в годы первой мировой войны Ленин выдвинул тезис о возможности победы социалистической революции первоначально в одной, отдельно взятой капиталистической стране. И вместе с тем именно Ленин постоянно подчеркивал, что эта первая пролетарская революция будет только исходным моментом, только началом целой эпохи антиимпериалистических революций, сочетающей в себе борьбу за социализм, революционное движение трудящихся масс развитых капиталистических стран и национально-освободительные революции угнетенных народов. С этих позиций подходил Ленин и к оценке Октябрьской революции в России, видя в ней базу и опору для будущих социалистических и демократических революций в других странах.

При этом Ленин считал, что долг революционеров-интернационалистов обязывает русских коммунистов сделать максимум возможного в своей стране, чтобы облегчить развитие международной революции. «...пролетарский интернационализм требует, во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе; во-вторых, требует способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала»¹ — так формулировал Ленин основные принципы пролетарского интернационализма. И этими принципами большевики последовательно руководствовались на всех этапах своей деятельности.

Ослепленная ненавистью к большевизму, буржуазия делала ставку на то, что ленинская концепция революции даст трещину именно в том ее звене, которое должно было соединить национальные и интернациональные интересы трудящихся. Любопытно, что один из лидеров кадетской партии, Маклаков, выступая в июне 1917 года на неофициальном совещании членов Государственной думы, говорил: «Когда вы Ленину противопоставите государство и Родину, когда ленинской агитации противопоставите государственную власть и государственное управление, которые он должен уважать, ибо они — воля страны, тогда вы будете сильны в борьбе с его учением»². (Разрядка моя.— А. Р.) Русская буржуазия в конечном счете более всего и надеялась на то, что в эти критические для нее месяцы и дни народные, особенно крестьянские массы пойдут не за интернационалистом и «пораженцем» Лениным с его «туманными», по их мнению, рассуждениями о мировой революции, классовой солидарности трудящихся, а за теми, кто выбросит привычное, освященное вековой традицией «национальное» знамя.

Однако трудящиеся массы России обманули эти ожидания. Они пошли за «утопистом» Лениным, ибо их коренная социальная потребность совпадала с позицией Ленина, большевиков. Ибо именно Ленин указал народу выход из того тупика, в который загнала его империали-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 166.

² Сб. «Буржуазия и помещики в 1917 году». М.—Л. 1932, стр. 115.

стическая война,— путь к спасению от грозившей стране национальной катастрофы, путь к подлинному возрождению и величию, которое столь же неотторжимо от пролетарской революции, сколь и противоположно национальному чванству и великодержавности, колонизаторским притязаниям и империалистическим, а также разной окраски шовинистическим притязаниям на мировое господство и гегемонию.

* * *

Влияние Ленина на ход мировых дел неотделимо от его интеллектуального наследства. С годами интерес к мысли Ленина во всех уголках земли не уменьшается. По данным ЮНЕСКО, автором, произведения которого больше всего переводили на иностранные языки, был Ленин, опередивший в этом отношении не только Толстого, Шекспира и Бальзака, но даже и Библию. Работы Ленина изданы на 117 языках в пятидесяти странах мира. По неполным сведениям, труды Ленина издавались (до 1968 года включительно) в Японии — 201 раз, в США — 198 раз, во Франции — 164 раза, в Англии — 162 раза, в Италии — 142 раза.

Какова природа этого интереса к Ленину, меняющего с ходом событий окраску, акценты, но не интенсивность? Это прежде всего интерес к нашей революции, к советскому опыту, к проблемам, заполнившим собою XX век. Ведь Ленин, как ни уникальна его фигура, лишь выразил наиболее характерно новый стиль мышления, новый тип исторического деятеля и свойства нового движения, изменившего бытие сотен миллионов людей. «...Я питаю к Ленину чувство крайнего восхищения,— говорил Ромен Роллан.— Я не знаю другой столь же могучей личности в Европе нашего века. Он так глубоко, так мощно направил руль своей воли в хаотический океан мягкотелого человечества, что борозда его долго, долго не изгладится в волнах,— несмотря на все бури, корабль несется на всех парах к новому миру»¹.

Не поняв Ленина, нельзя понять целую эпоху, в которой, в известном смысле, мы продолжаем жить и сегодня, нельзя понять многие существенные черты нашей современности. Не удивительно, что это задача не только крайне трудная, но и всякий раз встающая и решаемая заново. Всякий раз приходится соотносить научно-политические уроки Ленина с собственной практикой ради поиска не готовых формул, а опоры для самостоятельного движения мысли и для собственных ответов на вопросы, возникающие в очень изменившемся после смерти Ленина мире. Ленинская мысль крайне неподатлива для составителей цитатников. Она непригодна для зазубривания, она для этого слишком гибка, многозначна, диалектична. Ее нельзя ухватить по кусочкам, она неделима, потому что заключает в себе естественно развивающуюся и строгую систему взглядов, научный метод, который присутствует в самых, казалось бы, мгновенных и блестящих импровизациях Ленина-политика, непревзойденного мастера революционной тактики и стратегии, величие которого в этом отношении признают даже его противники.

Одно из многих свидетельств тому, которое мне хотелось бы привести в заключение,— слова известного общественного и государственного деятеля Франции Эдуарда Эррио: «Нет нужды указывать, как далек я был от ленинского учения, но я всегда восхищался его исключительными дарованиями государственного человека, его решительностью, энергией и действительно энциклопедической образованностью»².

¹ Сб. «Политики и писатели Запада и Востока о В. И. Ленине». М. 1924, стр. 50.

² Там же, стр. 43.

* * *

Столетний ленинский юбилей, который готовится отмечать вместе с советским народом все передовое человечество, есть дальнейшее утверждение авторитета великого ученого, революционера, государственного деятеля. Но мы прославляем в Ленине не просто авторитет имени, но авторитет идеи, передовой общественной науки, сумевшей соединить себя с могучим порывом миллионов, с самой прогрессивной объективной тенденцией движения человечества к общественной и личной свободе, к свету и знанию — к социализму.



М. ИСАКОВСКИЙ

★

ВСЕРЬЕЗ И В ШУТКУ

С ПРЕЖНИМ ДРУГОМ Я СВИДЕЛСЯ...

С прежним другом я свиделся,
Сел с ним рядом за стол...
Но и этот обиделся
И с обидой ушел.

Прежний друг, без сомнения,
Хмурым стал оттого,
Что в свое сочинение
Не вписал я его;

Не назвал я той местности,
Где он сызмальства жил,
И оставил в неизвестности
Все, что он совершил;

Не увидел я доблести,
Что пылала огнем,
А заметил лишь проблески
Этой доблести в нем...

И сижу я, расстроенный...
Впрочем, я ль виноват,
Что казаться героями
Все почти норовят?

Не таланты, не гении —
Жаждают все же блеснуть,
Чтоб травую забвения
Не покрылся их путь;

Чтоб хоть малость упрочиться,
Хоть на несколько б лет...
Всем бессмертия хочется,
А бессмертия — нет.

1969.

В БОЛЬНИЦЕ

— Вы больной невставальный? — спросила няня, входя в палату.

— Невставальный, — ответил я.

(Из больничных разговоров)

Что-то грустно мне стало.
День и вправду печальный, —
Няня верно сказала:
Я — больной невставальный.

Весь я словно побитый,
Вялы ноги и руки.
Но ведь я — под защитой
Медицинской науки.

Я ей верю всецело,
А в науке — дерзают.
Ведь не зря ж в мое тело
Сестры иглы вонзают.

И такой у них навык,
Что я просто немею,
Если даже пиявок
Поят кровью моею.

И врачи меня смотрят,
Проверяют давление.
Раза по два и по три
В день дают наставленья.

Говорят, утешают:
«Пусть болезнь — не конфетка,
Но теперь воскрешают
Даже мертвых нередко.

Ну, а вы-то не мертвый,
Вы на них не похожи.
Правда, малость потертый
И поношенный тоже,

Только все же — мужчина,
Не лысеющий даже.
И у вас медицина
Днем и ночью — на страже.

Нет, не зря мы пророчим, —
Ваша песня не спета...»
Я и сам, между прочим,
Понимаю все это.

Пусть я нынче на ложе
Распростерт госпитальном, —
Не в с т а в а л ь н ы й — так что же? —
Скоро буду в с т а в а л ь н ы м.

Встану, право же, встану —
И живой и живущий:
Мне разыскивать рано,
Где там райские кущи.

В этих кущах, признаться,
Было б очень погано.
Лучше здесь отлежаться —
Во владеньях Хримляна¹.

ОБ ОДНОМ ПОЭТЕ

(А может быть, и не об одном)

Он думает, что и больших и малых —
Всех превзошел он, всех до одного.
И потому он ходит в генералах,
И потому в газетах и журналах —
Везде стихи, везде стихи его.

И пусть они ничем не знамениты
И никому, пожалуй, не нужны;
Пусть строчки в них — то гвоздиками сбиты,
То белой ниткой, как попало, сшиты,
То клейстером друг с другом скреплены, —

А вот, поди ж, и кстати и некстати
Куда ни глянь — красуются в печати.

И автор их, конечно же, кичится:
Мол, я в стихах — превыше всех верхов!..
А между прочим, лучше б полечиться
Ему от недержания стихов.

ПОДРАЖАНИЕ СТАРИННОЙ ПЕСНЕ

По Муромской дороге
Стояли три сосны.
Прощался со мной милый
До будущей весны.

(Из старинной песни)

Дорога ты, дорога,
Стальная колея!
Старинный город Вязьма,
Где счастье встретил я.
Свое я встретил счастье,
Но не узнал его.
И я ушел, уехал
От счастья своего.

¹ А. И. Хримлян — главный врач больницы.

Пусть даже из Байкала
Теперь я воду пью,
А все ж забыть не в силах
Садовую скамью, —
Садовую скамейку,
Платок твой расписной...
Далекий город Вязьма,
Всегда ты предо мной.

Я столько там оставил,
Что не сочтешь потерь...
Чего ж я ожидаю,
Чего ищу теперь?
Я сам во всем виновен,
Я сам сказал: забудь!..
Но ты мне, город Вязьма,
Ответь хоть что-нибудь!

1968.



МИХАИЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ИСАКОВСКОМУ

(К его семидесятилетию)

Дорогой друг!

Я не стану избегать этих слов из пустого опасения, что они стерты, обезличены и совпадут с формой предпраздничных приветствий, какие мы с тобой получаем от Союза писателей.

Слова эти незаменимы на своем месте, и, обращаясь к тебе, дорогой мой друг Михаил Васильевич, надеюсь, что они не прозвучат каким-нибудь подобием юбилейных стандартов.

Я знаю тебя со времен, когда ты еще знать не знал обо мне, когда я в середине двадцатых годов в своем Загорье читал твои стихи и любил тебя, еще не смея думать о дружбе с тобой. Впрочем, об этом я уже писал в моих статьях о твоей поэзии.

Принято почему-то в поздравлениях, адресованных юбилярам, сообщать виновникам торжества факты и события их жизни если не общеизвестные, то по крайней мере известные им самим более, чем авторам этих посланий.

Я постараюсь не делать этого, и, может быть, мне удастся сказать по случаю твоего юбилея то главное, что даже и не зависит от этого случая.

Мне смолоду везло на друзей, хотя, понятно, не обошлось без утрат и разочарований,— везло уже одним тем, что большею частью они были лет на десять, а то и на все двадцать старше меня,— их образованность или жизненный опыт обязывали меня прислушиваться к ним. Были и увлечения, и мальчишеская влюбленность в старших, и стремление подражать им вплоть до почерка, до характерных словечек и интонаций голоса.

Я долго был в кругу друзей младшим, это преимущество с годами утрачивалось, но в свое время я так или иначе не мог им не попользоваться — и спасибо большое на том.

А среди всех моих старших друзей ты, Михаил Васильевич, наиболее испытанная временем моя привязанность с самой зеленой юности и по сей день, когда уже и я в том возрасте, какой вежливые люди называют зрелым. В самом деле, с первой нашей встречи в редакции смоленского «Рабочего пути», куда я отважился зайти к тебе со стихами, прошло уже сорок лет с гаком. У меня нет среди литераторов более длительного знакомства, к тому же перешедшего затем в настоящую дружбу.

Я могу только повторить здесь свое давнишнее признание, что твоя поэзия послужила для меня в молодости образцом, большим, чем чья-нибудь иная из современных поэтов. Меня неотразимо прельщало в ней совпадение ее с деревенской действительностью тех лет, окружавшей

меня, но — казалось, еще не имевшей права по своей неустоявшейся новизне — на поэтическое изображение.

Живейшим образом отозвались в моей душе запечатленные тобой картины родной смоленской природы; раздумчивая неторопливость, даже деловитость лирической интонации; простые, житейского обихода слова, которые под твоим пером обретали несомненность более высокого строя поэтической речи, не утрачивая простоты; и доброе лукавство немногословного народного юмора, проглядывающее сквозь нарочитое простодушие.

Но не об этом теперь, на пороге твоего семидесятилетия, я хочу говорить, а о том нравственном человеческом влиянии, которое не могла не оказать на меня многолетняя дружба с тобой, обмен суждениями и мнениями, взаимное редактирование новых вещей, активная переписка на протяжении десятилетий.

Оглядываясь на эти десятилетия, начиная со Смоленска, с двадцатых и особенно тридцатых годов, с предвоенных испытаний, на годы Отечественной войны и последующих перемен, я назвал бы нашу дружбу не просто везеньем, а особо удачным для меня оборотом судьбы.

Для меня прежде всего была образцом — путь не всегда достигаемым — твоя редкая среди нашей братии, почти беспримерная, как бы врожденная правдивость. Правдивость до невозможности солгать — не то что в чем существенном, но даже в самом малом, в любом случае, не представляющем для иных ни малейшего затруднения. Исказить что-нибудь в своем пересказе, приукрасить хоть отчасти изложение — для тебя дело запретное, невысказанное, даже если б это было к явной твоей невыгоде. В этом ты неизменен и в изустной беседе, и в письмах, и в твоих статьях и заметках о литературе. Я уже не говорю о твоей поэзии.

Не одному мне известно твое отвращение ко всякой похвальбе, скромность до застенчивости, сердечная доброта, участливость не на словах, на деле, только при твоем немногословии выглядевшая порой скрытностью и обманчивым угрюмством.

Наконец, скажу и о твоей редкостной обязательности во всем, даже в бытовых делах, часто настигавшей нас упреком без каких бы то ни было назиданий с твоей стороны.

Вспоминая давнюю, довоенную еще, совместную нашу поездку в твои родные места, в бедную из бедных деревень Смоленщины Глотовку, читая с пристрастием как редактор «Нового мира» твои «Автобиографические страницы», я думаю о тебе, о твоем складе характера и, кажется, угадываю, откуда такая удивительная его цельность, ясность и — где надо — неуступчивость.

Я знаю отца твоего, Василия Назаровича, только по страницам твоей книги и изустным рассказам, но сохранил в памяти живой образ твоей матери, Дарьи Григорьевны, у которой мы в то лето 1936 года гостили. Это — образ старой крестьянки, почти неграмотной женщины, немногословной, как ты сам, но очень доброй и исполненной своеобразного достоинства и понятий чести, свойственных добропорядочному крестьянскому дому. Эти понятия и заветы не уронят себя ни перед какими лишениями и бедами бытия: стерпеть, обойтись без посторонней помощи, не опуститься, не жаловаться.

Я думаю, что не ошибаюсь, относя твою неукоснительную правдивость, справедливость и неуступчивость — при всей доброте сердечной — к неписаным заветам именно трудовой крестьянской семьи в ее, так сказать, идеале.

Правда, с юных лет ты живешь в городах, стал одним из крупнейших поэтов нашего времени, добрался, доискался, в сущности самоуком,

до познаний, навыков мастерства и общей культуры, несравнимых с кругозором крестьянского дома.

И вряд ли нужно говорить о том, что унаследованные тобой эти задатки и навыки выступили в сочетании с новыми приобретениями крестьянского сына, для которого в Великой нашей революции не было, не могло быть вопроса о том — с ней или не с ней он пойдет по пути, открытому перед ним.

Не было, не могло быть иного пути у тебя, сельского грамотея, законника и правдолюбца, воодушевленного с первых дней советской власти ленинской идеей союза рабочих и крестьян.

Эта идея выражена в сюжете и языке твоей ранней поэмы «Докладная записка», остающейся одним из лучших произведений ленинской темы.

Да и вообще эта идея, недаром подчеркнутая в твоих стихах еще А. М. Горьким, издавна присуща всему важнейшему, что выходило и выходит из-под твоего пера.

Так, сочетание унаследованных и вновь приобретенных черт счастливым образом определило все развитие твоей личности и поэтической природы.

И вот что еще я позволю себе сказать.

В своей последней статье «Лучше меньше, да лучше» В. И. Ленин возлагал особые надежды на людей, «за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести». Я думаю, что ты и ныне вполне подходишь для этой ленинской характеристики своими понятиями о чести и достоинстве литератора-коммуниста.

Прости, мой юбилейный монолог затянулся, и, как всегда, в конце чувствуешь, что сказано не все и не с той, может быть, праздничностью, какая была бы к лицу на юбилейном торжестве.

В «Новом мире» все поздравляют тебя и благодарят за стихи для этой книжки журнала. Нас прежде всего радует, что, выражаясь словами одной из твоих давних песен, «каким ты был, таким остался». Та же добрая живучесть юмора, вопреки даже твоим недугам, те же совсем простые, а на поверку и мудрые слова «музы Исаковского», которую не спутать ни с чьей другой.

Крепко обнимаю тебя, Михаил Васильевич, Миша и, как мы тебя ласково в глаза и за глаза называли еще в Смоленске, М и х в а с, то есть опять же Михаил Васильевич.

Будь здоров, живи долго,— ты не одному мне нужен, хоть я и заявляю на тебя столь обширные права дружбы, дорогой мой поэт, дорогой человек.

Твой А. Твардовский.



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

(После сказки)

I

В него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой.

Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-защелкой, проскальзывающим под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.

Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.

Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался в верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка наведывалась и к лесникам.

Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.

— Едет! — кричал он, подбегая к дверям и окошкам. — Машина-магазин едет!

Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом — летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там на дороге всегда все видно как на ладони — и пеший, и конный, и, уж конечно, машина.

В тот раз — а это случилось жарким летом — мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает, может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нем убиваться — потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось. А случись, кто знает, — бабка, может, и вправду не кинулась бы спасать. Еще был

бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой — всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой... А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?

Но об этом — потом, и о запруде дедовой тоже потом...

Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и сам, мокрый еще, посиневший — вода в реке холодная, — побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки.

Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, и нигде не задержался ни на секунду — ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом», — бросил он на ходу «лежащему верблюду» — так он назвал рыжий горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего «верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина, — так, небрежно, походя: ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу. Был у него валун «седло» — наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «волк» — очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень — это «танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется «танк» с берега, и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду — и пошел. Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу «танк», готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие — «вредные» или «добрые» камни и даже «хитрые» и «глупые».

Среди растений тоже — «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например, — главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню. Но конца этой войне видно не было — бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные, — самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают — что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки, только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные... И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи — и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?

Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины — верные друзья. Особенно если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное — они не заслоняют неба. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделять наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе

уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали: исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты ни захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только видеть, что изображают облака.

А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнущие горячими соснами...

И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудачки — ковыли! Ветреные головы. Их мягкие, шелковистые метелки без ветра жить не могут. Только и ждут — куда дунет, туда они и кланяются. И кланяются все, как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят... Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру — куда ветер, туда и они...

Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет — в автолавке!

Когда мальчик добежал до дома, автолавка уже подъезжала ко двору сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки сразу от размытого яра круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один — сзади домов. Не добеги мальчик вовремя — никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.

Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:

— Приехала! Машина-магазин приехала!

Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, одна обгоняя другую. Бабка и та его похвалила:

— Вот он у нас какой глазастый!

Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные — глаза разбегались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бекей — сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула, и жена подсобного рабочего Сейдахмата — молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.

Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз спрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот... Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.

Продавец хмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль, по горам?

Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться — то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет — товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей — самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает: ведь тетка Бекей его, дедова, дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря и напрасно — самой же хуже будет. Бабка не удержалась.

— Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? — зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.

— Сама знаю,— коротко отрезала тетка Бекей.

— Ну и дура,— еще тише, но с злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются же...

Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.

Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», как сказал продавец, и разошлись по домам. Ну разве это торговля! Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.

— Ты чего, ушастый? — спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая круглая голова.— Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?

Продавец спрашивал так просто, от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:

— Нет, дядя, денег нет,— и помотал головой.

— А я думаю, есть,— с притворным недоверием протянул продавец.— Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками... А в кармане у тебя что, разве не деньги?

— Нет, дядя,— по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)

— Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал. Найдешь.

Они помолчали.

— Ты чей будешь? — снова стал расспрашивать продавец.— Старика Момуна, что ли?

Мальчик кивнул в ответ.

— Внуком ему доводишься?

— Да,— мальчик опять кивнул.

— А мать где?

Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.

— Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать? Не знаешь сам, что ли?

— Не знаю.

— А отец? Тоже не знаешь?

Мальчик молчал.

— Что ж это ты, друг, ничего не знаешь,— шутиливо попрекнул его продавец.— Ну, ладно, коли так. Держи.— Он достал горсть конфет.— И будь здоров.

Мальчик застеснялся.

— Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать.

Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул с собой Балтека, страшно ленивого лохматого пса. Орозкул все грозился пристрелить

его: зачем, мол, держать такую собаку. Да дед все упрашивал повременить: надо, мол, завести овчарку, а Балтека увезти куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего: сытый — спал, голодный — вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим, без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был пес, Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бежать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть, все-таки собака...

Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри,— предупредил он пса,— долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал: ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету: можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.

И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку. С пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, пока не уехала автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.

Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момун, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть маломальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И, однако, усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из рода Бугу — а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников — ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко, и главное — не отлынивал, как другие. Аильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:

— Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун?

И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления, а Момуну хоть бы что.

И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям — на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни,— Момун отвечал:

— Покойный был моим братом. (Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились «братьями» и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей — Рогатой Матери-оленихи. А она, пречудная Мать-олениха, завещала нам дружбу и в жизни и в памяти...

Вот такой он был, Расторопный Момун!

И старый и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить — старик безобидный; с ним можно было и не считаться — старик безответный. Не зря, говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел.

Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдоправом был — тогда еще, когда помоложе был, такие скирды в колхозе ставил, что

жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатной ложился. В войну трудармейцем в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома рубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет — тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином... За скотом Момун ходил, на пасеке работал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.

Да и наружность Момуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагоприятное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым!» — а он на беду свою остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбочивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали: «Что тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты мне только скажи, в чем твоя нужда...»

Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький старичок, как подросток.

На что борода — и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые. Вот и вся борода.

То ли дело видишь вдруг — едет по дороге осанистый старик, борода, как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное — чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то...) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неумной, снедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым, решительным?..)

А Момун был не таким. Он был чудачком, и относились к нему, как к чудачку.

Одним можно было сильно обидеть Момуна — позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок... Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его — на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал, — а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.

Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.

Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу:

— Ассалам алейкум, большой купец! — сказал он полушутя-полусерьезно. — В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? — Весь сияя, Момун тряс руку продавца. — Сколько воды утекло, как не виделся. Добро пожаловать!

Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом — все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа, — отвечал Момуно:

— Караван в целости. Только вот получается — купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.

— Не взыщи, дорогой,— смущенно извинялся Момун.— Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку...

— Сказывай,— перебил его продавец.— Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом — за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна...

— Ей-богу, нет таких денег,— оправдывался Момун.

— Так уж я и поверю. Скарденничаешь, старик. деньгу копишь. А куда?

— Ей-богу, нет, клянусь Рогатой Матерью-оленихой!

— Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьешь.

— Взял бы, клянусь Рогатой Матерью-оленихой...

— Э-э, да что с тобой толковать,— махнул рукой продавец.— Зря приехал. А Орозкул где?

— С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов...

— Гостит, стало быть,— понимающе уточнил продавец.

Наступила неловкая пауза.

— Да ты не обижайся, милый,— снова заговорил Момун.— Осенью, бог даст, продадим картошку...

— До осени далеко.

— Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.

— Не за тем я приехал,— отказался продавец.

Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать за машиной:

— Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?

Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то он да купит у настырного автолавочника и внуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.

— А верно ведь,— засуетился Момун,— я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже... Иди-ка сюда,— позвал он внука.

Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку. Давно она, наверно, была у него, слезалась уже.

— Держи, ушастый.— Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель.— Теперь учись. А не осилишь грамоту — останешься с дедом навек в горах.

— Осилит! Он у меня смысленый,— отозвался Момун, пересчитывая сдачу. Потом глянул на внука, неловко держащего новенький портфель, прижал его к себе.— Вот и добро. Пойдешь осенью в школу,— негромко сказал он.

Твердая, увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика. И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло, и остро ощутил худобу деда, привычный запах его одежды. Сухим сеном и потом работающего человека пахло от него. Верный, надежный, родной. Быть может, единственный на свете человек, который в мальчике души не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали Расторопным Момуном... Ну и что ж? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед.

Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих пор он не думал о школе. До сих пор он только видел детей, идущих

щих в школу,— там, за горами, в иссык-кульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков.

А с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке— вот, мол, дед купил! — потом тетке Бекей. Она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика.

Редко, когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаще, мрачная и раздраженная, она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды. Бабка говорит: были бы у нее дети, совсем другой женщиной была бы она. И Орозкул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Момун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери — тетка Бекей да еще мать мальчика, младшая сестра,— а все равно плохо; плохо, когда нет своих детей, еще хуже, если у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее...

После тетки Бекей мальчик забежал показать покупку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос к Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня «верблюд», и опять не было времени похлопать его по горбу, мимо «седла», мимо «волка» и «танка», а дальше все по берегу. По тропе через облепиховый кустарник. А потом по длинному прокоосу на лугу он добежал до Сейдахмата.

Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Орозкула. И сено уже свезли они — бабка с теткой Бекей сгребали, Момун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды. Дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как гребнем очесанные скирды. Каждый год так. Орозкул сено не косит, все на тестя валит — начальник как-никак. Захочу, говорит, в два счета повыгоняю вас с работы. Это он на деда и Сейдахмата. И то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без деда! В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит: лес не отара овец, не разбредется. Но присмотрю за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит — дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет, где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропадало. А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смирный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничество. Дед говорит, такие парни в совхозе машины гоняют, на тракторах пашут. А Сейдахмат на огороде своим картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управляться с огородом.

И с началом покоса Сейдахмат затянул. Даже дед позавчера заругался на него. «Зимой прошлой, говорит, не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитываешь на мое стариковское сено, то сразу скажи, я за тебя накошу». Проняло, с утра сегодня махал Сейдахмат косой.

Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки:

— Ты чего? Зовут меня, что ли?

— Нет. У меня портфель. Вот. Дед купил. Я в школу пойду.

— Из-за этого и прибежал? — Сейдахмат хохотнул.— Дед Момун такой,— повертел он пальцем возле виска,— и ты туда же! А ну, что за портфель? — Он пощелкал замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой.— Постой,— воскликнул он,— в какую же школу ты пойдешь? Где она, твоя школа-то?

— Как в какую? В ферменскую.

— Это в Железесай ходить? — подивился Сейдахмат.— Так туда через гору километров пять, не меньше.

— Дед сказал, что будет меня возить на лошади.

— Каждый день туда-сюда? Чудит старик. В пору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки — и назад! — Сейдахмат покатывал себя со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Момун сидит с внуком за школьной партой.

Мальчик озадаченно молчал.

— Да я это так, для смеха! — объяснил Сейдахмат.

Он небожно щелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, стыдился ее («Что я, начальник какой-нибудь? Я свою киргизскую шапку ни на какую другую не променяю»). И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» ак-калпак — белый колпак, отороченный черным облезлым сатином по полям, а зимой тоже допотопный овчинный тебетей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку.

Мальчику не понравилось, что Сейдахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб, и когда Сейдахмат еще раз хотел щелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся:

— Не приставай!

— Ох ты, сердитый какой! — усмехнулся Сейдахмат. — Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо. — И потрепал его по плечу. — А теперь валяй. Мне еще косить и косить...

Поплевав на ладони, Сейдахмат снова взялся за косу.

А мальчик бежал домой, опять по той же тропе и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель — вещь серьезная.

Мальчик любил разговаривать сам с собою. Но в этот раз он сказал себе, портфелю: «Ты не верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый, и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с Караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой — как потащит, не удержишь его, — а вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова его мать, и ей не жалко молока, Понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Гульджамал так говорит, у нее своя девочка... Скоро корову будут доить, а потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы ползем на Караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое — я, ты и бинокль...»

Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот разговор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот. Из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Орозкул. Он тоже возвращался домой. Серый конь Алабаш, на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить, был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем, со звякающими серебряными подвесками.

Шляпа Орозкула сбилась на затылок, обнажив красный, низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Совсем еще недавно сидел в гостях, пил кумыс, ел мясо до отвала.

С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабаны и табунщики частенько зазывали Орозкула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с расчетом. Орозкул — нужный человек. Особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах: стадо не бросишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь, и в первую очередь лес. А угодишь Орозкулу — смотришь, из заповедного леса два-три бревна на выбор и увезешь. А нет, так будешь век скитаться со стадом в горах, и дом твой век будет строиться...

Подремывая в седле, отяжелевший и важный, Орозкул ехал, небрежно упираясь носками хромовых сапог в стремяна.

Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем:

— Дядя Орозкул, у меня портфель! Я пойду в школу. Вот у меня портфель!

— О, чтоб тебя! — испуганно натягивая поводья, выругался Орозкул.

Он глянул на мальчика красными спросонья, набухшими пьяными глазами:

— Ты чего, откуда?

— Я домой, у меня портфель, я показывал его Сейдахмату, — упавшим голосом сказал мальчик.

— Ладно, играй, — буркнул Орозкул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше. Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбой, если бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета...

Орозкул засопел, всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко было себя, жалко было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. Это все она, проклятая, вот уже столько лет ходит порожня...

«Уж я тебе!» — мысленно пригрозил Орозкул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что придет и будет бить ее. Так случалось всякий раз, когда Орозкул напивался: этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы...

Мальчик шел по тропинке следом и удивился, когда вдруг впереди Орозкул исчез. А тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Орозкул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.

«Наверно, у него голова разболелась от жары», — решил мальчик, увидев, что делает Орозкул. Он не знал, что Орозкул плакал и никак не мог остановить рыданий. Плакал оттого, что не его сын выбежал ему навстречу, оттого, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хотя бы несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.

II

С макушки Караульной горы открывался вид на все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им премировали деда за долгую службу на кордоне. Старик не любил возиться с биноклем: «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его полюбил.

В этот раз он пришел на гору с биноклем и с портфелем.

Вначале предметы прыгали, смещались в круглом оконце, затем вдруг обретали четкость и неподвижность. Это было интересней всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушить найденный фокус, любовался картиной, точно бы он ее сам сотворил. Потом он переводил взгляд

на другую точку, и снова все смещалось, фокус рушился. Мальчик снова принимался крутить окуляры.

Отсюда все было видно вокруг. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных,— лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху — темным сосновым бором. И горы Кунгеи, обращенные к солнцу; на склонах Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро,— просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в долину, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, сады, селения... Сквозь зелень посевов уже проступала разводящими желтизна — близила жатва. Как мыши, бегали по дорогам крошечные автомашины, а за ними вились длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались. И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижное, сияющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя.

Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход еще не появился,— сказал он портфелю.— Давай еще раз посмотрим на нашу школу».

Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома, под окном.

Лощина Джелесай была безлесной, лишь кое-где остались после порубок старые одинокие сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядыми скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь держали на вырост племенной молодой молочной фермы. Тут же, неподалеку от скотных дворов, примостилась куца улочка — поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка. На самом краю улочки, в конце ее, стоял маленький дом нежилого вида. Это и была школа-четырёхлетка. Ребята старших классов уезжали учиться в совхоз, в школу-интернат. А в этой учились малыши.

Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной надписью на фанерной вывеске: «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся, щербатые доски веранды. Он представил себе, как он придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А что там, что будет там, за этой дверью?

Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз, под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины серебрилась бурная, порожистая река. Вместе с рекой вилась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Сан-Ташский заповедный лес, уходящий высоко в горы, под самые снега. Выше всех взбирались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей.

Мальчик насмешливо рассматривал дома, саран и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном

дальше по берегу он различил свои знакомые камни. Все они — «верблюд», «волк», «седло», «танк», всех их он впервые разглядел отсюда, с Караульной горы, в бинокль, тогда же дал им названия.

Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же, на горе. Мальчик снова сел на место и принялся разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы в меньшие — дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной — воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и, быстро перевернув бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казались, уперлись лбами в стекла бинокля. «Верблюд», «волк», «седло», «танк» были такие внушительные: в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишай по бокам, и главное — действительно очень похожи были на то, что увидел в них мальчик. «Ух ты, «волк» какой! А «танк» — вот это да!..»

За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убегала снова в стремнину. Вода на отмели доходила до колен, но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик ухватывался за прибрежный тальник — куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке, — и окунался в воду. Ну что это за купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько, ругани! Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пеняет на себя — пальцем не шевельну. Больно нужен. Отец-мать родные бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет».

Что ей скажешь? Старая вроде и верно говорит. Но и парнишку жалко: река ведь рядом, почти у дверей. Как ни страшала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Момун соорудить на отмели запруды из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски.

Сколько камней перетаскал старик Момун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течением их не укатило. Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и так же свободно вытекала. Смешной, тощий, с реденькой своей бородашкой, в мокрых, облипших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась всюю:

— Малый дурак — он и есть малый, а что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра..

Как бы то ни было, а запруда на отмели получилась отличная. Теперь мальчик купался, не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми потому, что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И уплыть.

Глядя сейчас в бинокль на запруды, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и голый, поеживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как, держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом. Как с шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчанье. И он, тараща глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам боль-

но, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде. Это он бабке. Пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз. Хоть сто раз в день готов он купаться в дедовой запруде. До тех пор, пока в конце концов не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало хотелось стать рыбой...

Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, прислоненный к чурбаку, дымящийся самовар и разные разности на подворье сделались такими невероятными большими, так близко они находились, что мальчик невольно протянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых размеров бурого теленка, спокойно жующего развешанное на веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ — так ему хорошо было жевать бабкино платье в полную пасть.

— Ах ты, дурак! — Мальчик привстал с биноклем и замахал рукой. — А ну, прочь, слышишь, убирайся прочь! Балтек, Балтек! (Пес в объективе лежал себе преспокойно под домом.) Куси, куси его! — в отчаянии приказывал он собаке. Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе как ни в чем не бывало в тени.

В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками. Схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью пошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был рядом с ней, и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое, в тяжелых складках лицо. Как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее шербатые, редкие зубы. Что выкрикивала старуха, не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо под ухом. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал: «Ну, подожди. Вернешься. Уж я тебе. И на деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход, чтоб он сгорел, чтоб он потонул...»

Мальчик на горе тяжело вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть телка...

Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гульджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше. Потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый темный кулак угрожающе маячил перед окулярами: «Нашел себе забаву. Чтоб провалился он, чертов пароход. Чтоб он сгорел, чтоб он потонул...»

Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром. И тут спать началось. Бабка чуть не в нос совала ей свое изжеванное платье. На, мол, смотри на проделки твоего племянничка!

Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорила. Примерно то же, что и прежде: «Успокойтесь, энеке¹. Мал еще, несмышлениш — какой с него спрос. Один он тут, дру-

¹ Энеке — матушка.

зей нет. Зачем кричать, зачем страх наводить на ребенка?» На что бабка несомненно отвечала: «Ты мне не указывай. Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодной...»

Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертво посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась и как — он точно знал, чем должна была отплатить тетка, — она выпалила в лицо мачехи: «А ты сама-то, старая ведьма, скольких сыновей да дочерей вырастила? Ты сама-то кто есть?»

Что тут началось! Бабка взвыла от обиды. Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку, хотела увести ее домой, но та распалаясь все больше, мечась по двору, как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипятком, почти бегом унесла его в дом. А бабка устало опустилась на колоду. Рыдая, горько жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт, теперь доставалось самому господу-богу и всему белому свету. «Это я-то? Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? — возмущалась бабка вслед падчерице. — Да если бы не наказал меня бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал восемнадцать лет под пулей на войне, если бы старик мой, ненаглядный Тайгара, не замерз в буране с отарой овец, разве же была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, нерождаящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым Момуном? За какие грехи-провинности наказал ты меня, распроклятый бог?»

Мальчик отнял бинокль от глаз, печально опустил голову. «Как мы теперь вернемся домой? — тихо сказал он портфелю. — Это все из-за меня и из-за теленка-дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход. Ты тоже виноват».

Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы — скалы, камни, леса. С высоты, с ледников, бесшумно падали сверкающие ручьи, и только здесь, внизу, вода будто обрела наконец голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы.

Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые, короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножью гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход.

Мальчик направил бинокль к самому дальнему видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу: там, впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля, появился белый пароход. Выплыл. Вот он! С трубами в ряд, длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки, еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый вспененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо откуда и неведомо куда.

Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу...

Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец — иссык-кульский матрос — плавает именно на этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось.

Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами.

Дед Момун как-то ездил в тот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабушке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике ткачихой. У нее новая семья — две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнатке, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут — войдут к себе и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер, возит в автобусе народ по улицам. Уходит с четырех утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все плакала, прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получают — неизвестно. Но когда получают, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просила старика пока подождать. Дед Момун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила, остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. «Пока я жив, мальчишку никому не отдам, а умру — бог его поведет, живой человек найдет свою судьбу...» Слушая старика, тетка Бекей и бабушка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе.

Вот тогда как раз, за чаем, и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все так же матросом служит на каком-то пароходе и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое. Живут возле пристани. Будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть, — думал мальчик, — они встречают вот этот, его пароход...»

А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу-мальчика.

Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбье — тело, хвост, плавники, чешуя, — и только голова у него оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они при этом были не совсем такие, как есть, а глядели, как рыбы.

Ресницы у мальчика длинные, как у телки, и все время хлопают отчего-то сами по себе. Гульджамал говорит, вот бы и ее дочке такие, какой бы она красавицей выросла! А зачем быть красавицей? Или красавцем? Очень нужно! Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть.

Превращение должно было произойти в дедовой запруде. Раз — и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку, прямо в бурлящую стремнину, и пошел бы вниз по течению. И дальше так — выпрыгивая и оглядываясь по сторонам: неинтересно ведь плыть только под водой. Он несется по быстрой реке вдоль большого красноглинистого обрыва, через пороги, по бурунам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами: «До свидания, «лежащий верблюд», до свидания. «волк», до свидания, «седло», до свидания, «танк». А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавни-

ком деду: «До свидания, ата, я скоро вернусь». Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал с дочкой — все стояли бы, разинув рты. Где это видано, чтобы голова была человечья, тело рыбье! А он им машет плавником: «До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа-матрос». Балтек, наверно, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не видела. И если Балтек решится броситься к нему в воду, он крикнет: «Нельзя, Балтек, нельзя. Утонешь!» — а сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста, и дальше — вдоль прибрежных тугаев, и потом вниз по грохочущему ущелью выплывет прямо в Иссык-Куль.

А Иссык-Куль — это целое море. Проплывет он по волнам иссыккульским, с волны на волну, с волны на волну, — и тут навстречу белый пароход. «Здравствуй, белый пароход, это я! — скажет он пароходу. — Это я всегда смотрел на тебя в бинокль». Люди на пароходе удивились бы, сбежались смотреть на чудо. И тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын. Я приплыл к тебе». — «Какой же ты сын? Ты же полурыба, получеловек!» — «А ты возьми меня к себе на пароход, и я стану твоим обыкновенным сыном». — «Вот здорово. А ну, попробуем». Отец бросит сеть, выловит его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом, потом...

Потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь. Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, — с открытыми глазами...

Расскажет, конечно, как ему живется у деда Момуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека Расторопный Момун, так значит он плохой. Такого деда нигде нет, самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому все смеются над ним. Потому что он совсем не хитрый. А дядя Орозкул, так тот и покрикивает на него, на старика! Бывает, и при людях накричит на деда. А дед, вместо того чтобы постоять за себя, все прощает дяде Орозкулу и даже работает за него в лесу, по хозяйству. Да что там работает! Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так вместо того, чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, ссаживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бекей неродящая. А почему так, папа? Было бы лучше: хочешь — роди, не хочешь — не надо. Деда жалко, когда дядя Орозкул бьет тетку Бекей. Лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бекей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает: «Не лезь, говорит, сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». — «Так ведь дочь она моя!» А бабка: «А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь!»

Бабка, про которую говорю, — это не та, которая была. Ты ее, папа, наверно, и не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная — то ясно, то пасмурно, то дождь да град. Вот и бабка такая непонятная. То добрая, то злая, то совсем никакая. Когда злится — заест. Мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пой, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая, она потом пришла к нам. И стала называть меня чужим.

Зимой у нас снега наваливает мне по шейку. Ох, и сугробы наме-

тает! Если в лес, только на сером коне Алабаше и проедешь, он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные, на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится с боку на бок,— знай, что наш ветер сан-таш качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Сан-Таша такой ветер подул, что враги не усидели в седлах. Послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сек им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал оглянуться, не давал остановиться и выгнал их с Иссык-Куля всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру! От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже.

Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно у нас совсем — не то что летом, когда приходят кочевья. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь люди с отарами или табунами. Правда, утром они уходят в горы, но все равно — хорошо с ними. Их ребята и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроятся немного, мы с дедом идем поздороваться. Здравуемся со всеми за руку. И я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку старшим. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом, дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Пророк — это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю: если так, то почему этот пророк не скажет, что он пророк, и мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется: в том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк,— он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно.

А когда на луг мы приходим с дедом, тогда я не стесняюсь.

«Добро пожаловать на летовки отцов и прадедов! В благополучии ли скот и души, в благополучии ли детвора?» — это дед так говорит. А я только здороваюсь за руку. Деда все знают, и он всех знает. Ему хорошо. У него свои разговоры, он спрашивает приезжих и сам рассказывает, как мы живем. А я с ребятами не знаю, о чем говорить. Но потом мы начинаем играть в прятки, в войну и так разыграемся, что не хочется уходить. Вот если бы всегда было лето, если бы всегда играть с ребятами на лугу!

Пока мы играем, загораются костры. Ты думаешь, папа, от костров становится совсем светло на лугу? Вовсе нет! Только у огня светло, а за кругом света темнее прежнего. А мы играем в войну, в этой тьме прячемся и наступаем, и кажется, что находишься в самом кино. Если ты командир, все тебя слушаются. Хорошо, наверно, командиру быть командиром...

А потом луна выходит над горами. При луне играть еще лучше, но дед уводит меня. Мы идем домой через луг, через кустарник. Овцы тихо лежат. Лошади пасутся вокруг. Мы идем и слышим — кто-то песню запеваёт. Чабан молодой, а может быть, и старый. Дед останавливает меня: «Слушай. Такие песни не всегда услышишь». Мы стоим, слушаем. Дед вздыхает. Кивает песне головой.

Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: «Если желаешь — будешь жить у меня рабом, или я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя». Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня, но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха». — «Зачем он тебе?» — «Хочу услышать перед смертью, как он

поет». Дед говорит: за родную песню люди жизнь отдают. Какие это такие люди, увидеть бы их. Наверно, живут в больших городах?

А слушать хорошо. Дед говорит: это старинные песни. «Какие люди были, а! — шепчет дед.— Какие песни пели, бог ты мой...» Не знаю почему, мне становится так жаль моего деда и я так люблю его, что хочется плакать...

Рано утром на лугу уже никого нет. Угнали овец и лошадей дальше, в горы, на все лето. Вслед за ними приходят другие кочевья, из других колхозов. Днем не задерживаются, проходят мимо. А на ночь останавливаются на лугу. И мы идем с дедом здороваться с людьми. Очень он любит здороваться с людьми, и я от него научился. Может быть, когда-нибудь я поздороваюсь на лугу с настоящим пророком...

А зимой дядя Орозкул и тетка Бекей уезжают в город, к доктору. Говорят, что доктор может помочь, лекарства такие дать, чтобы ребенок родился. Но бабка всегда говорит, что лучше всего съездить на святое место. Это где-то там, за горами, где хлопок растет на полях. Так вот, есть там на ровном месте, на таком ровном, где, казалось бы, и горы не должны быть, есть там такая гора святая — Сулейманова гора. И если зарезать черную овцу у подножья и помолиться богу, идти в гору и на каждом шагу кланяться и молиться богу да попросить его хорошенько, он может сжалиться и дать ребенка. Тетка Бекей очень хочет съездить туда, на Сулейманову гору. А дядя Орозкул не очень. Далеко. Денег, говорит, много надо. Туда ведь только самолетом через горы можно попасть. А до самолета сколько ехать, и тоже деньги...

Когда они уезжают в город, мы остаемся на кордоне совсем одни. Мы и соседи наши — дядя Сейдахмат, его жена Гульджамал и их маленькая девочка. Вот и все мы.

Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь. Ветер ходит злощий. Самые великие горы и те в такие ночи робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел из дома. Я бы им громко сказал, горам: «Не робейте, горы! Я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель, я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу». Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реку — и в лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу и каждое дерево похлопал по стволу, чтобы им не так страшно было. Наверно, те деревья, что весной не зеленеют, — это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова.

Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Он долго рассказывает. Разные есть — смешные есть, особенно про мальчика с пальчик по имени Чыпалак, которого проглотил волк-жадюга на свою беду. Нет, сначала его съел верблюд. Уснул Чыпалак под листом, а верблюд бродил вокруг, хап — и съел его вместе с листом. Потому и говорят: верблюд не знает, что он глотает. Стал Чыпалак кричать, на помощь звать. Пришлось старикам зарезать верблюда, чтобы выручить своего Чыпалака. А с волком приключилось еще того чище. Тоже проглотил он Чыпалака по глупости своей. А потом плакал горькими слезами. Наткнулся волк на Чыпалака. «Что за козявка под ногами путается? Слизну я тебя одним мигом». А Чыпалак говорит: «Не трогай меня, волк, а то сделаю тебя собакой». — «Ха-ха,— хохочет волк,— где это видано, чтобы волк становился собакой. За дерзость твою я тебя съем». И проглотил его. Проглотил и позабыл. Но с этого дня лишился он жизни волчьей. Только волк начинает подкрадываться к овцам, а Чыпалак кричит у него

в животе: «Эй, пастухи-и, не спите! Это я, серый волк, крадусь, чтобы овцу уволочь!» Волк не знает, как быть. Кусает себя за бока, катается по земле. А Чыпалак не унимается. «Эй, пастухи, бегите сюда, бейте меня, лупите!» Пастухи с дубьем на волка, волк от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума спятил волчище, сам бежит и сам кричит: «Догоняйте меня, братцы, бейте, не жалейте!» Пастухи со смеху падают, а волк-волчище тем временем ноги уносит. Но от этого ему не легче. Куда ни сунется, везде его подводит Чыпалак. Везде его гонят, везде над ним смеются. Отощал волк от голода, кожа да кости остались. Зубами шелкает, скулит: «Что же это за наказание мне такое? Почему я сам кличу на себя беду? Одурел на старости лет, ум отшибло». А Чыпалак шепчет ему на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жирные! Беги к Баймату, у него собаки глухие. Беги к Эрмату, у него пастухи спят». А волк сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше пойду к кому-нибудь в собаки наниматься...»

Правда ведь, папа, смешная сказка? Есть у деда и другие сказки, грустные, страшные, печальные. Но самая любимая моя сказка про Рогатую Мать-олениху. Дед говорит, что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать эту сказку. А не знать — грех. Может быть, ты ее знаешь, папа? Дед говорит, что все это правда. Что так было когда-то. Что все мы — дети Рогатой Матери-оленихи. И я, и ты, и все другие...

Вот так мы живем зимой. Долго тянется зима. Если бы не дедовы сказки, очень мне скучно было бы зимой.

А весной у нас хорошо. Когда совсем потеплеет, снова приходят в горы чабаны. И тогда мы в горах не одни. Только за рекой дальше нас никого нет. Там только лес и все, что в лесу. Для того мы и живем на кордоне, чтобы никто туда ногой не ступил, чтобы никто не тронул ни одной ветки. К нам даже приезжали ученые люди. Две женщины, и обе в штанах, старичок и еще один молодой парень. Парень этот у них учится. Целый месяц жили. Травы собирали, листья и ветки. Они сказали, что таких лесов, как у нас на Сан-Таше, осталось на земле очень мало. Можно сказать, почти нет. И поэтому надо беречь каждое дерево в лесу.

А я думал, что дед наш просто так жалеет каждое дерево. Он очень не любит, когда дядя Орозкул дарит на бревна сосны...

III

Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труб. Скоро он скроется из виду. Мальчику теперь пора было придумать конец своего плавания на отцовском пароходе. Все получилось хорошо, а вот конец не удавался. Он мог легко представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что рассказывает он отцу. Но дальше дело не клеилось. Потому что вот, к примеру, уже виден берег. Пароход направляется к пристани. Матросы готовятся сходить на берег. Они пойдут по домам. Отцу тоже надо уходить домой. Жена и двое ребятишек ждут его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его с собой? А если возьмет, жена его спросит: «Кто это такой, откуда он, зачем он?» Нет, лучше не идти...

А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая поверхность озера.

Пароход ушел, исчез. Вот и кончилась сказка о белом пароходе. Надо домой.

Мальчик поднял портфель с земли, зажал бинокль под мышку. С горы спускался быстро, змейкой бежал со склона. И чем ближе под-

ходил к дому, тем тревожней становилось на душе. Предстояло отвечать за изжеванное телянком платье. Уже ни о чем, кроме наказания, не думалось. Чтобы не совсем пасть духом, мальчик сказал портфелю: «Ты не бойся. Ну, поругают нас. Ведь я же не нарочно. Я просто не знал, что теленок убежал. Ну, дадут мне подзатыльник. Стерплю. А тебя если швырнут на пол, ты не пугайся. Ведь ты не разобьешься, ты портфель. Вот если бинокль попадет в руки бабки, ему не поздоровится. Мы сначала спрячем бинокль в сарае, а потом пойдем домой...»

Так он и сделал. Боязно было перешагнуть порог.

Но в доме стояла настораживающая тишина. На дворе было так тихо и безлюдно, точно люди покинули это место. Оказывается, тетку Бекей опять бил ее муж. И опять деду Момуну пришлось унимать одуревшего зятя, опять пришлось старику умолять, упрашивать, виснуть на кулачищах Орозкула и видеть весь этот позор — избитую, растрепанную, вопящую дочь. И слышать, как при нем, при отце родном, последними словами бранят его дочь. Как обзывают ее сухой бесплодной, трижды проклятой яловой ослицей и разными другими словами. И слышать, как диким, обезумевшим голосом кляла дочь судьбу свою: «Разве я виновата, что бог лишил меня зачатия! Сколько баб на свете рожают, как овцы, а меня проклало небо. За что? За что мне такая жизнь? Лучше убей меня, изверг! На, бей, бей!..»

Старик Момун скорбно сидел в углу, все еще тяжело дыша, смежив веки, и руки его, лежащие на коленях, дрожали. Он был очень бледен.

Момун глянул на внука, ничего не сказал, снова устало прикрыл глаза. Бабки не было дома. Она ушла мирить тетку Бекей с мужем, наводить у них порядок, подбирать разбитую посуду. Такая она вот, бабка: когда Орозкул бьет жену, бабка не вмешивается и деда удерживает. А после драки идет уговаривать, успокаивать. И за то спасибо.

Больше всего мальчику жалко было старика. Всякий раз в такие дни старик чуть не умирал. Как оглушенный сидел он в углу, никому не показываясь на глаза. Никому, ни единой душе не высказывал он то, о чем думал. А думал Момун в такие минуты, что стар уже он, что был у него один сын, да и тот погиб на войне. Уже никто и не знает о нем, никто и не помнит. Был бы сын, может, и не так сложилась бы судьба. Тосковал Момун и о жене своей умершей, с которой прожил весь век. Но самой большой бедой было, что дочерям его не выпало счастья. Младшая, бросив ему внука, ушла в город и мыкается теперь там с большой семьей в одной комнате. Вторая мучается здесь с Орозкулом. И хотя он, старик, при ней и хотя он все перетерпит ради дочери, счастья материнского ей все нет да нет. И уже много лет, как она живет с Орозкулом. И уже опостылела ей жизнь с ним, а куда денешься?.. И что будет потом, неровен час помрет сам, стар ведь уже, — как-то тогда придется ей, разнесчастной дочери?

Мальчик наскоро похлебал из чашки кислого молока, съел кусок лепешки и притих подле окна. Зажигать лампу не стал, не хотел тревожить деда, пусть себе сидит и думает.

Мальчик тоже думал о своем. Не понимал он, зачем тетка Бекей ублажает мужа водкой. Он ее кулаком, а она потом еще пол-литра достает...

Эх, тетка Бекей, тетка Бекей! Сколько раз избивал ее муж до полу-смерти, а она все прощает ему. И дед Момун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек. Не нужен он здесь. И без него обойдемся.

Ожесточенное детское воображение живо рисовало мальчику картину справедливой кары. Все они набрасывались на Орозкула и тащили его, толстого, огромного, грязного, к реке. И потом, раскачав, бросали

его в самые буруны. А он просил прощения у тетки Бекей и деда Момуна. Ведь он не мог стать рыбой...

Мальчику становилось легче. Ему даже было смешно, когда он в своих мечтах видел, как барахтается Орозкул в реке и как рядом плывет его вельветовая шляпа.

Но взрослые, к великому огорчению, не поступали так, как считал справедливым мальчик. Они делали все наоборот. Приедет Орозкул домой уже подвыпивший. Его встречают как ни в чем не бывало. Дед коня примет, жена бежит самовар ставить. Все вроде только его и ждали. А он начинает куражиться. Сначала грустит, плачет. Как же так, мол, каждый человек, даже самый никудышный человечиска, такой, что и руку ему не обязательно подавать, имеет детей, сколько его душа пожелает. Пять и даже десять. А чем он, Орозкул, хуже других? Чем он не удался? Или по должности не вышел? Так, слава богу, старший объездчик заповедного леса! Или он бродяга какой-нибудь? Так ведь у цыгана полно их, цыганят, хоть отбавляй. Или он безвестный какой, или уважения нет к нему? Все есть. Всем взял. И конь под седлом, и камча в руках, и встречают с почетом. Так почему же сверстники его детям своим уже свадьбы справляют, а он? Кто он без сына, без семени?

Тетка Бекей тоже плачет, суетится, хочет как-то угодить мужу. Достает припрятанную поллитровку. И сама выпивает с горя. Дальше — больше, и потом вдруг Орозкул звереет, и тогда всю свою злобу он вымещает на ней же, на жене своей. А она все прощает ему. И дед тоже прощает. Никто не вяжет Орозкула. Протрезвеет он, а утром жена, хотя и в синяках, самовар уже поставила. Дед коня уже овсом накормил, оседлал. Напьется Орозкул чаю, сядет на коня — и опять он начальник, хозяин всех лесов на Сан-Таше. И никто не догадается, что такого, как Орозкул, давно уже пора бросить в реку...

Было уже темно. Ночь стояла на дворе.

Так заканчивался тот день, когда куплен был мальчику первый школьный портфель.

Укладываясь спать, он не мог придумать места для портфеля. Наконец положил его рядом с собой в изголовье. Мальчик не знал еще, узнает потом, что такие в точности портфели будут почти у половины класса. Но и это все равно не смутит его, его портфель останется необыкновенным, совсем особенным портфелем. Он не знал также, что его ждут новые события в его маленькой жизни, что наступит день, когда он останется один на всем белом свете и с ним будет только портфель. И причиной всему явится его любимая сказка о Рогатой Матери-оленихе...

И в этот вечер ему очень хотелось еще раз послушать эту сказку. Старый Момун сам любил эту историю и рассказывал ее так, будто сам все видел, вздыхая, плача, умолкая и думая о своем.

Однако мальчик не посмел тревожить деда. Он понимал, что деду не до сказки. «Мы попросим его в другой раз, — сказал мальчик портфелю. — А сейчас я сам расскажу тебе о Рогатой Матери-оленихе, слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит, а ты слушай. Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. Так вот. Дед говорит, что все это правда. Так было...»

IV

Случилось это давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энесай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На

коне туда три года и три месяца скакать. Теперь эта река зовется Енисей, а в ту пору она называлась Энесай. Потому и песня была такая:

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай.
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай.

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай.
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай.

Вот такая она была, река Энесай.

Разные народы стояли тогда на Энесае. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянной вражде. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие, то киргизы сами ходили в набег на других, угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Убивали всех, кого удавалось убить, — такие были времена. Человек не жалел человека. Человек истреблял человека. Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом: пришел, убил, забрал. А за убийство надо отвечать еще большей кровью и за месть — еще большей мезтью. И чем дальше, тем больше лилось крови. Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перепить чужое племя до последней души, захватить стада и богатства.

Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человеческим жалобным голосом, приговаривала, перелетая с ветки на ветку: «Быть великой беде! Быть великой беде!» Так оно и случилось, настал тот страшный день.

В тот день киргизское племя на Энесае хоронило своего старого вождя. Много лет предводительствовал батыр Кульче, во многие походы ходил, во многих сечах рубился. В боях уцелел, но настал час его смертный. В великой печали пребывали соплеменники два дня, а на третий собрались предать земле останки батыра. По давнему обычаю, тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энесая, по обрывам и кручам, чтобы с высоты простилась душа умершего с материнской рекой Энесай, ведь «эне» — это мать, а «сай» — это русло, река. Чтобы душа его пропела в последний раз песню об Энесае.

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай.
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай.

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай.
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай...

На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему четыре стороны света: «Вот твоя река. Вот твое небо. Вот твоя земля. Вот мы, рожденные от одного с тобой корня. Мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно». В память далеким потомкам на могиле батыра ставилась каменная глыба.

В дни похорон юрты всего племени расставляли в ряд по берегу, чтобы каждая семья могла проститься у своего порога с батыром, когда будут пронести его тело на погребение, склонить к земле белый флаг скорби, голосить и плакать при этом и затем идти дальше вместе со всеми к следующей юрте, где опять будут причитать и плакать и склонять белый флаг скорби, и так до конца пути, до самой погребальной сопки.

Утром того дня солнце уже выходило на дневной путь, когда закончены были все приготовления. Вынесены бунчуки с конскими хвостами на древках, вынесены бранные доспехи батыра — щит и копье. Конь его был покрыт погребальной попоной. Трубачи приготовились играть в боевые трубы — кернеи, барабанщики — ударить в барабаны-добулбасы так, чтобы тайга закачалась, чтобы птицы тучей взлетели к небу и закружились с гамом и стоном, чтобы зверь бежал по чащам с диким храпом, чтобы трава прижалась к земле, чтобы эхо зарокотало в горах, чтобы горы вздрогнули. Плакальщицы распустили волосы, чтобы воспеть в слезах батыра Кульче. Джигиты опустили на одно колено, чтобы на крепкие плечи поднять его брненное тело. Все были наготове, ожидая выноса батыра. А на опушке леса стояли на привязи девять жертвенных кобылиц, девять жертвенных быков, девять девяток жертвенных овец на поминальную тризну.

И тут случилось непредвиденное. Как бы ни враждовали энесайцы между собой, но в дни похорон вождей не принято было идти войной на соседей. А теперь полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погруженное в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, так что никто не успел сесть в седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончить с дерзким племенем киргизов. Убивали поголовно всех, чтобы некому было помнить об этом злодеянии, некому было мстить, чтобы время занесло сыпучим песком следы прошлого. Было — не было...

Человека долго рожать и растить, а убить — скорее скорого. Многие уже лежали порубленные, утопая в лужах крови, многие кинулись в реку, спасаясь от мечей и копий, и потонули в волнах Энесая. А вдоль берега, вдоль круч и обрывов пылали на целые версты киргизские юрты, обьятые пламенем. Никто не успел убежать, никого не осталось в живых. Все было порушено и сожжено. Тела поверженных сбросили с круч в Энесай. Враги ликовали: «Теперь эти земли наши! Теперь эти леса наши! Теперь эти стада наши!»

С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса двое детей — мальчик и девочка. Непослушные и озорные, они еще утром тайком от родителей побежали в ближайший лес драть лыки на лукошки. Заигрались они, не заметили, как зашли глубоко в чащу. А когда услышали шум и крики побоища и кинулись назад, то не застали в живых ни отцов, ни матерей своих, ни братьев, ни сестер. Остались дети без роду, без племени. Побежали они с плачем от пепелища к пепелищу, и нигде ни единой души. Осиротели в час. В целом свете остались одни. А вдаль клубилась туча пыли, враги угоняли в свои владения табуны и стада, захваченные в кровавом набеге.

Увидели дети пыль копытную и пустились вдогонку. Вслед за лютыми врагами бежали дети с плачем и зовом. Только дети могли так поступить. Вместо того чтобы скрыться от убийц, они пустились их догонять. Лишь бы не оставаться одним, лишь бы уйти прочь от погромленного, проклятого места. Взявшись за руки, мальчик и девочка бежали за угоном, просили подождать, просили взять с собой. Но где было услышать их слабые голоса в гуле, ржанье и топоте, в жарком беге угона!

Долго в отчаянии бежали мальчик и девочка. Но так и не догнали. А потом упали на землю. Боялись оглянуться вокруг, боялись шевельнуться. Жутко им было. Прижались друг к дружке и не заметили, как уснули.

Недаром говорят — у сироты семь судеб. Ночь прошла благополучно. Зверь их не тронул, лесные чудовища не уволокли. А когда проснулись, было утро. Солнце светило. Птицы пели. Встали дети и снова по-

бредли по следу угона. Собирали по пути ягоды и коренья. Шли они и шли, а на третий день остановились на горе. Смотрят — внизу на широком зеленом лугу великое пиршество идет. Сколько юрт поставлено — не счесть, сколько костров дымят — не счесть, сколько народу вокруг костров — не счесть. Девушки на качелях качаются, песни поют. Силачи на потеху народу, как беркуты, кружат, кидают друг друга наземь. То враги праздновали свою победу.

Стояли на горе мальчик и девочка, не решались подойти. Но очень уж хотелось очутиться возле костров, где так вкусно пахло жареным мясом, хлебом, диким луком.

Не выдержали дети, стали спускаться с горы. Удивились хозяева пришельцам, окружили их кучей:

— Кто вы? Откуда?

— Мы голодные, — отвечали мальчик и девочка, — дайте нам поесть.

Те догадались по их речи, кто они такие. Зашумели, загалдели. Стали спорить: убить их, недобитое вражеское семя, тотчас же или к хану вести? Пока спорили, какая-то сердобольная женщина успела сунуть детям по куску вареной конины. Их тащили к самому хану, а они не могли оторваться от еды. Повели их в высокую красную юрту, у которой стояла стража с серебряными топорами. А по становищу пронеслась тревожная весть, что неизвестно откуда появились дети киргизского племени. Что бы это значило? Все побросали свои игры и пиршество, сбежались огромной толпой к ханской юрте. А хан в тот час восседал на белой, как снег, кошме со своими знатными воинами. Пил кумыс, подслащенный медом, песни слушал хвалебные. Когда узнал хан, зачем к нему явились, в страшную ярость он пришел: «Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили мы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Энесая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй, Рябая Хромая Старуха, — крикнул хан. И сказал ей, когда она выступила из толпы: — Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы в помине его не было, чтобы имя его забылось вовеки. Ступай, Рябая Хромая Старуха, сделай так, как я велю...»

Молча повиновалась Рябая Хромая Старуха, взяла мальчика и девочку за руки и повела их прочь. Долго шли они лесом, а потом вышли к берегу Энесая, на высокую кручу. Здесь Рябая Хромая Старуха оставила детишек, поставила их рядышком на краю обрыва. И, перед тем как столкнуть их вниз, проговорила:

— О, великая река Энесай! Если гору сбросить в твою глубину, как нет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки — двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их, унеси их. Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве, с чистыми душами, с совестью детской, не запятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтобы не знать им людского страдания и самим не причинять муки другим. Возьми их, возьми их, великий Энесай...

Плачут, рыдают мальчик и девочка. До речей ли им старухиных, когда вниз с обрыва страшно взглянуть. В глубине волны ярые перекачиваются.

— Обнимитесь, детки, напоследок, попрощайтесь, — сказала Рябая Хромая Старуха. А сама рукава засучила, чтобы сподручней было бросать их с обрыва. И говорит: — Ну, простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хотя и не по своей воле совершу я сейчас это дело, но для вашего блага...

Только сказала она эти слова, как рядом раздался голос:

— Обожди, большая мудрая женщина, не губи безвинных детей.

Обернулась Рябая Хромая Старуха, глянула, диву далась: стоит перед ней олениха, matka маралья. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматки, брюхо бурой шерсткой подбито, как у малого верблюжонка. Рога же — красота одна: развесистые, будто сучья осенних деревьев. А вымя чистое да гладкое, как груди женщины-кормилицы.

— Кто ты? Почему ты говоришь человеческим языком? — спросила Рябая Хромая Старуха.

— Я Мать-олениха, — отвечала ей та. — А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не слушаешься.

— Чего ты хочешь, Мать-олениха?

— Отпусти детей, большая мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.

— Зачем они тебе?

— Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.

— Ты хочешь их выкормить?

— Да, большая мудрая женщина.

— А ты хорошенько подумала, Мать-олениха? — засмеялась Рябая Хромая Старуха. — Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.

— Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят, — отвечала ей matka маралья. — Я им буду матерью, а они — моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?

— Ох, не скажи, Мать-олениха, не знаешь ты людей, — качала головой Рябая Хромая Старуха. — Не то что лесных зверей, они и друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтобы ты сама узнала, что правдивы мои слова, но ведь и этих детей люди убьют у тебя. Зачем же тебе столько горя?

— Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая мудрая женщина, отпусти их. Буду я им верной матерью. Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.

— Ну что ж. коли так, — промолвила Рябая Хромая Старуха, подумав, — бери да уводи их быстрее. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские — пеняй на себя.

Благодарила Мать-олениха Рябую Хромую Старуху. А мальчику и девочке сказала:

— Теперь я ваша мать, вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море — Иссык-Куль.

Обрадовались мальчик и девочка, резво побежали за Рогатой Матерью-оленихой. Но потом они устали, ослабли, а путь далекий — из одного края света в другой. Не ушли бы они далеко, если бы Рогатая Мать-олениха не кормила их молоком своим, не согревала телом своим по ночам. Долго шли они. Все дальше оставалась позади старая родина Энесай, но и до новой родины, до Иссык-Куля, еще было очень далеко. Лето и зиму, весну и лето, и осень, еще лето и зиму, еще весну, еще лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними стаи волков, но Рогатая Мать-олениха, посадив детей на себя, уносила их от лютых зверей. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича: «Олениха похитила детей человеческих! Держи! Лови!» — и стрелы пускали вдогонку, и от них, от незваных спасателей, уносила детей

Рогатая Мать-олениха. Бежала она быстрее стрелы, только шептала: «Крепче держитесь, дети мои, — погоня!»

Привела наконец Рогатая Мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе — дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает — море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец — не узнать. С одного края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоит вокруг Иссык-Куля — не счесть, а за теми горами сколько еще таких же снежных гор высится — тоже не угадать.

— Это и есть ваша новая родина, — сказала Рогатая Мать-олениха. — Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячу лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить и петь на своем языке. Живите, как должны жить люди. А я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена...

Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.

Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. А Рогатая Мать-олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.

Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-Куль, зашумел. Роды наступили у женщины, мучилась она. А мужчина испугался. Вбежал на скалу и стал громко звать:

— Где ты, Рогатая Мать-олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рожает. Приходи скорей, Рогатая Мать-олениха, помоги нам...

И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколец позванивает. Все ближе и ближе доносился тот звон. Прибежала Рогатая Мать-олениха. На рогах своих, подцепив за дужку, принесла она детскую колыбель — бешик. Бешик был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колоколец на бешиках иссык-кульских. Качает мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает, будто бежит издали Рогатая Мать-олениха, спешит, колыбель березовую несет на рогах...

Как только явилась на зов Рогатая Мать-олениха, так и разродилась женщина.

— Этот бешик для вашего первенца, — сказала Рогатая Мать-олениха. — И будет у вас много детей. Семеро сыновей, семеро дочерей!

Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь Рогатой Матери-оленихи — Бугубаем. Вырос Бугубай, взял красавицу из племени кипчаков, и стал умножаться род Бугу — род Рогатой Матери-оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили Рогатую Мать-олениху бугинцы, как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак — рога марала, чтобы издали было видно, что юрта принадлежит роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич: «Бугу!» — и всегда бугинцы выходили победителями. А в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые маралы, красоте которых завидовали звезды в небе. То были дети Рогатой Матери-оленихи. Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При виде марала бугинец сходил с седла, уступал дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала...

Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец, — у него овец было тысяча тысяч, лошадей — тысяча тысяч, а все люди вокруг в пастухах у него были. Великие поминки устроили его сы-

новья. Созвали они на поминки самых знаменитых людей со всех концов земли. Для гостей поставили тысячу сто юрт по берегу Иссык-Куля. Не счесть, сколько скота было зарезано, сколько кумыса выпито, сколько яств кашгарских было подано. Сыновья богача ходили важные: пусть знают люди, какие богатые и щедрые наследники остались после умершего, как они его уважают, как почитают его память... («Э-э, сын мой, худо, когда люди не умом блещут, а богатством!»)

А певцы, разъезжая на аргамаках, подаренных им сыновьями покойника, красуясь в подаренных собольих шапках и шелковых халатах, наперебой восхваляли и покойного и наследников:

— Где еще увидишь под солнцем такую счастливую жизнь, такие пышные поминки? — поет один.

— Со дня сотворения мира такого еще не бывало! — поет второй.

— Нигде, только у нас так почитают родителей, воздают памяти родительской чести и славу, чтут их святые имена, — поет третий.

— Эй, певцы-краснобай, что вы тут галдите! Разве есть на свете слова, достойные этих щедрот, разве есть слова, достойные славы покойного! — поет четвертый...

И так состязались они день и ночь. («Э-э, сын мой, худо, когда певцы состязаются в словословии, из певцов они превращаются во врагов песни».)

Много дней как праздник справлялись те знаменитые поминки. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И надумали они установить на гробнице отца рога марала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода Рогатой Матери-оленихи. («Э-э, сын мой, еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрассудство».)

Захотелось сыновьям богача оказать памяти отца эту неслыханную честь, и ничто их не удержало. Сказано — сделано. Послали охотников, убили охотники марала, срубили его рога. А рога саженью, как крылья орла на взлете. Понравилась сыновьям маральи рога: по восемнадцать отростков на каждом — значит, жил восемнадцать лет. Хорошо! Велели они мастерам установить рога на гробнице.

Старики возмутились:

— По какому праву убили марала? Кто посмел поднять руку на потомство Рогатой Матери-оленихи?

А им отвечают наследники богача:

— Марал убит на нашей земле. И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, — это наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайтесь!

Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на коней задом наперед и прогнали их с позором прочь.

С этого и пошло. Великое несчастье свалилось на потомство Рогатой Матери-оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых маралов. Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков маральи рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком. Стали торговать маральими рогами, стали запасать их впрок. Появились такие люди из рода Рогатой Матери-оленихи, что сделали своим ремеслом добычу маральих рогов и продажу их за деньги. («Э-э, сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место».)

Гиблое время наступило для маралов в иссык-кульских лесах. Не было им пощады. Бежали маралы в недоступные скалы, но и там доставали их. Напускали на них своры гончих собак, чтобы выгоняли мара-

лов на стрелков в засаде, которые били без промаха. Косяками губили маралов, выбивали их целыми стадами. Об заклад бились, кто достанет рога, на каких отростков больше.

И не стало маралов. Опустели горы. Не услышать марала ни в полночь, ни на рассвете. Не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет он, запрокинув на спину рога, как перемахивает через пропасть, точно птица в полете. Народились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели марала. Только слышали о нем сказки да видели рога на гробницах.

А что случилось с Рогатой Матерью-оленихой?

Обиделась она, крепко обиделась на людей. Говорят, когда маралам совсем не стало житья от пуль и гончих собак, когда осталось маралов столько, сколько на пальцах нетрудно перечесать, поднялась Рогатая Мать-олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за великий перевал, в другой край, в другие горы.

Вот какие дела бывают на земле. Вот и сказка вся. Хочешь верь, хочешь нет.

А когда Рогатая Мать-олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется...

V

Снова стояла осень в горах. Снова после шумного лета все настраивалось на осеннюю тишину. Улеглась окрест пыль скотогона, погасли костры. Стада ушли на зиму, Люди ушли. Опустели горы.

Уже в одиночку летали орлы, скупко роняя клекот. Глуше шумела вода в реке: привыкла река за лето к руслу, притерлась, обмелела. Трава перестала расти, поувяла на корню. Листья устали держаться на ветках и опадали.

А на самые высокие вершины по ночам уже ложился молодой серебристый снег. К утру темные гряды хребтов становились седыми, как загривки черно-бурых лисиц.

Настывал, находивался ветер в ущельях. Но пока еще дни стояли светлые, сухие.

Леса за рекой, напротив кордона, быстро входили в осень. От самой реки и вверх, до границы Черного бора, бездымным пожаром шел по крутому мелколесью осенний пал. Самыми яркими — рыже-багряными — и самыми цепкими на подъем были осиновые и березовые чащи: они добирались до подснежных высот большого леса, до царства сумрачных сосен и елей.

В бору было чисто, как всегда, и строго, как в храме. Только коричневые твердые стволы, только смолистый сухой запах, только бурые иглы, сплошь усыпавшие подножье леса. Только ветер, неслышно текущий между верхушками старых сосен.

Но сегодня с утра над горами галдели, не смолкая, растревоженные галки. Большая, яростно орущая стая непрерывно кружила над сосновым лесом. Галки всполошились сразу, услышав стук топоров, и теперь, крича наперебой, точно их ограбили среди бела дня, преследовали двоих людей, спускавших с горы срубленную сосну.

Бревно волокли на цепях конной упряжкой. Орозкул шел впереди, держа коня под уздцы. Набывчившись, цепляя плащом за кусты, он шел, тяжело дыша, как вол в борозде. За ним, позади бревна, попевал дед Момун. Ему тоже было нелегко на такой высоте, задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которой он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни, а на спусках так

и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не мигновать беды — расшибет насмерть.

Опасней тому, кто идет, страхуя бревно вагой, — но чем черт не шутит: Орозкул уже несколько раз испуганно отпрыгивал прочь от упряжки, и всякий раз обжигало его стыдом, когда он видел, что старик, рискуя жизнью, удерживает бревно на скате и ждет, пока Орозкул вернется к лошади и возьмет ее под уздцы. Но недаром говорят: чтобы скрыть свой позор, надо опозорить другого.

— Ты что, на тот свет хочешь отправить меня? — орал Орозкул на тестя.

Вокруг никого не было, кто бы мог услышать и осудить Орозкула: где видано, чтобы со стариком так обращались? Тесть робко заметил, что ведь и он сам может попасть под бревно, — зачем же кричать на него так, как будто он так нарочно устраивает.

Но это еще сильнее раздражало Орозкула.

— Ишь ты какой! — негодовал он. — Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь, кто возьмет твою дочь? Кому она нужна такая бесплодная, как хлыст шайтана...

— Трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям, — ответил на это Момун.

Орозкул даже приостановился, смерил старика взглядом:

— Такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет какая ни есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?

— Да ладно уж, к слову сказал, — смирился Момун.

Так они шли. Преодолев еще один подъем, остановились на откосе передохнуть. Лошадь взмокла вся, покрылась мылом.

А галки все так же не успокаивались, все кружились. Их было тьма, и галдели они так, словно задались целью — сегодня весь день только и делать, что кричать.

— Зиму раннюю чуют, — промолвил Момун, чтобы поговорить о другом и тем смягчить гнев Орозкула. — К отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают, — добавил он, точно извиняясь за неразумных птиц.

— А кто им мешает? — резко обернулся Орозкул. И побагровел вдруг. — Заговариваешься ты что-то, старик, — тихо проговорил он с угрозой в голосе.

«Ишь, — подумал он, — на что намекает! Что ж это, из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи? Как бы не так. Пока что я здесь еще хозяин». Он зыркнул злыми глазами на орущую стаю:

— Эх, пулемет бы! — и, отвернувшись, похабно выругался.

Момун промолчал. Ему не привыкать к матерщине зятя. «Опять нашло на него, — опечалился старик про себя. — Выпьет — звереет. С похмелья — тоже не скажи ничего. И почему только люди становятся такими? — сокрушался Момун. — Ты ему добро, он тебе зло. И не застыдится, и не одумается. Вроде бы так и положено. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угождать ему. А не захочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу и под рукой у него народу раз, два — и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше? Не приведи боже... И нет им переводу, таким. Всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься. Везде он ждет тебя, сыщет тебя. И чтобы самому жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет. И прав останется. Да, нет таким переводу...»

— Ну, довольно стоять, — прервал Орозкул размышления старика. — Пошли! — приказал он. И они двинулись дальше.

Сегодня с самого утра Орозкул был не в духе. Утром, когда надо было переправляться с инструментом на тот берег в лес, Момун спешил

отвезти внука в школу. Совсем из ума выжил! Каждое утро седлает коня, отвозит мальчишку в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возится с этим брошенным пригулком. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать. А тут такое дело, что еще бог знает как оно получится,— так с этим можно ждать? Так выходит? «Я, говорит, мигом обернусь, стыдно перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок». Нашел кого стыдиться! Ну и дурак! Да кто она такая, учительница эта? Пять лет в одном пальто ходит. Только и видишь с тетрадами, с сумками... Голосует на дороге — все ей в район требуется, все ей чего-то не хватает, то угля для школы, то стекла, то мела, а то и тряпок. Да разве порядочная учительница пойдет в такую школу? Название какое придумали — «карликовая школа». Она и вправду карликовая. Какой от нее толк? Настоящие учителя в городе. Школы из стекла. Учителя в галстуках. Но то в городе... Начальство там какое ездит по улицам. А какие машины. Так и хочется остановиться и замереть, вытянуться, пока она проскользит, машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин, некогда — спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь! Туда бы двинуться, там бы где пристроиться. Там умеют уважать человека по должности. Раз положено — значит, обязан уважать. Большая должность — больше уважения. Культурные люди. И за то, что побывал в гостях или подарок какой получил, бревна таскать или что-нибудь вроде этого делать там не приходится. Не то что здесь — полсотню, от силы сотню он тебе даст, лес за это увезет да еще жалобу накатает на тебя: взяточник Орозкул, такой-сякой... Темнота!

Да-а, в город бы... Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти, трижды проклятые, и жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пашенком этим, с которым он возится, как с невидалью какой. Эх, выиграл бы я, как сытый конь на овсе! Заставил бы себя уважать. «Орозкул Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет». А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь, красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке; говорят, для них главное, чтобы человек при должности состоял. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И — в кино. А она каблучками стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтобы на рояле играла. Городские дети сразу заметные — умные. Дома только по-русски говорят: станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал: «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это...» Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть. А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он. Просто им повезло. А ему нет. Увильнуло счастье. Да и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в техникум податься, а то и в институт. Поторопился — на должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам, таскай бревна, как ишак... А тут еще галки эти. И чего орут, чего кружатся? Эх, пулемет бы...

Было с чего расстраиваться Орозкулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостеваний у чабанов и табунщиков. Как это поется: «Отцвели цветы на джайлоо, пора собираться в низовья...»

Осень настала. Приходилось Орозкулу рассчитывать за почет, за угощение, за долги, за обещания. Да и за хвастовство: «Тебе что? Два кругляка сосновых на матицы, только-то? О чем тут говорить. Приедешь — увезешь».

Наболтал, подношения получал, водку пил, а теперь, задыхаясь, обливаясь потом, проклиная все на свете, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль: «А, плюну на все и уйду куда глаза глядят». Но он тут же понял, что никуда не уйдет. Никому он нигде не нужен и нигде такой жизни, какой хочется для себя, не сыщет.

Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного! Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу-бугинцу пообещал за дареного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть вверх за сосной. Это сказать легко, а ну, попробуй доберись туда, да спили, да приволоки ее. И если к тому же сосна эта не один десяток лет прожила на свете, нука, повозись с ней! Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Момун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, — да ни в жизнь никто не справится один с бревном в горах. Свалить, может, и свалит сосну, да не стащит вниз... Знал бы наперед, что случится, в пару с Сейдахматом полез бы за сосной. Но Орозкул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой попавшейся лесинной. Тот ни в какую: подай ему настоящее сосновое бревно, и все тут. «Ягненка брать умеешь, а слово сдержать — нет?» Орозкул рассвирепел, выставил его со двора: не хочешь брать — убирайся. А тот парень не промах, настроил на объездчика Сан-Ташского заповедного леса Орозкула Балажанова жалобу и такое там расписал, и правду и неправду, что впору было расстрелять Орозкула как «вредителя социалистического леса». Долго потом таскали Орозкула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерства. С трудом выпутался... Вот тебе и родственник! А еще: «Все мы дети Рогатой Матери-оленихи. Один за всех, все за одного!» Да ерунда все это, какая там к черту олениха, когда за копейку готовы друг другу в горло впиться или в тюрьму засадить: Это в прежние времена люди верили в олениху. До чего же глупые и темные были тогдашние люди, смешно! А теперь все культурные, все грамотные. Кому нужны они, эти сказки для малых детей.

После того случая Орозкул дал зарок: больше никому, никаким знакомым, никаким соплеменникам, пусть хоть трижды будут они дети Рогатой Матери-оленихи, не даст ни сучка, ни хворостинки.

Но возвратилось лето. Забелели юрты на зеленых горных лугах, загомонили стада, потянулись дымки у ручьев и рек. Солнце сияло, кумысом пьянящим пахло, цветами пахло. Хорошо сидеть на свежем воздухе подле юрты, на зеленой траве, в кругу друзей-приятелей, наслаждаться кумысом, ягнячьим мясом. А потом ахнуть стакан водки, чтобы замутилось в башке, и чувствовать, что под силу тебе дерево вырвать с комлем или голову свернуть вон той горе... Забывал Орозкул в такие дни о своем зароке. Сладко ему было слышать, как называли его большим хозяином большого леса. И опять обещал, опять принимал подношения. И опять какая-то из реликтовых сосен в лесу не подозревала, что дни ее сочтены, вот только наступит осень.

А осень незаметно прокрадывалась в горы со сжатых полей и принималась шнырять кругом. И там, где она пробегала, рыжела трава, рыжели листья в лесу.

Ягоды зрели. Ягнята зрели. Делили их на отары — ярочек отдельно, баранчиков отдельно. Женщины прятали сушеный сыр в зимние мешки. Мужчины принимались советовать, кому первому открывать обратный путь в долины. А перед уходом те, что сговаривались летом с Орозкулом, предупреждали его, что в такой-то день, в такой-то час придут на кордон с машинами, придут за обещанным лесом.

Вот и сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти два сосновых бревна. Одно уже было внизу, уже переправлено через реку и доставлено к тому месту, куда подъедет машина. Второе — вот оно, волокут его вниз. Если бы мог Орозкул сейчас вернуть, а попросту говоря, выблевать все, что съел и выпил под эти бревна, он тотчас бы сделал это, лишь бы избавиться от труда и мучений, которые сейчас вынужден терпеть.

Увы, нет способа изменить свою проклятую судьбу в горах: машина с прицепом прибудет сегодня вечером, чтобы ночью вывезти бревна.

Хорошо еще, если все благополучно обойдется: дорога проходит через совхоз, прямо возле конторы, другого пути нет, а в совхоз, бывает, навевывается милиция, госинспекция, и мало ли еще кто может оказать ся там из района. Попадется им лесовоз на глаза: «А откуда везете лес и куда?»

Спина у Орозкула похолодела при этой мысли. И злоба вскипала в нем ко всем и ко всему: к галдящим галкам над головой, к несчастному старику Момуну, к Сейдахмату, лентяю, догадавшемуся три дня тому назад уехать в город продавать картошку. Ведь знал он, что предстоит стаскивать бревна с гор! Улизнул, выходит... И вернется теперь только тогда, когда кончит свои дела на базаре. Не то приказал бы ему Орозкул вдвоем со стариком бревна приволоочь, не мучился бы сам.

Но Сейдахмат был далеко, до галок тоже достать нечем. На худой конец можно было бы излупить жену — но до дома добираться еще долго. Оставался старый Момун. Задыхаясь и все больше свирепея от горного удушья, матерясь на каждом шагу, Орозкул шел напролом через кусты, не жалея ни лошади, ни идущего за ним старика. Пусть подойдет лошадь, пусть подойдет этот старик, пусть он сам подойдет от разрыва сердца. Пусть провалится этот мир, где все устроено не так, как требуется, не так, как положено Орозкулу по его достоинствам и по должности.

Уже не владея собой, Орозкул повел коня по кустарнику прямо на крутой спуск. Пусть Расторопный Момун попляшет вокруг бревна. И пусть попробует не удержать! «Прибью старого дурака, и все тут», — решил Орозкул. В другое время он никогда не посмел бы сунуться с бревном-волокушей на такой опасный откос. А тут бес попутал. И не успел Момун остановить его, успел лишь крикнуть: «Куда ты? Куда? Остановись!» — как бревно крутнулось на цепи и, сминая кусты, покатилося вниз. Бревно было сырое, тяжелое. Момун попытался было подставить вагу, чтобы не дать бревну ходу вниз. Но удар оказался такой силы, что вагу вышибло из рук старика.

Все произошло в одно мгновение. Лошадь упала, и ее на боку потащило вниз. Падая, она сшибла Орозкула. Он катился, судорожно цепляясь за кусты. И в этот момент какие-то рогатые животные испуганно шархнулись в густой листве. Высоко и сильно подпрыгивая, они скрылись в березовой чаще.

— Маралы! Маралы! — вне себя от испуга и радости вскричал дед Момун. И замолк, будто не веря своим глазам.

И вдруг в горах стало тихо. Галки разом улетели. Бревно задержалось на скате, подмяв под себя молодые крепкие березки. Лошадь, пугаясь в сбруе, сама встала на ноги.

Орозкул, весь оборванный, отползал в сторону. Момун бросился на выручку к зятю:

— О, пресвятая мать Рогатая олениха! Это она спасла нас! Ты видел. Это дети Рогатой Матери-оленихи. Вернулась наша мать! Ты видел!

Все еще не веря, что все обошлось, Орозкул встал мрачный, пристыженный и отряхнулся:

— Не болтай, старик. Хватит. Выводи вон коня из постромок.

Момун послушно кинулся выпутывать лошадь.

— О, пречудная мать Рогатая олениха! — продолжал он радостно бормотать. — Вернулись маралы в наши леса. Не забыла нас Рогатая мать! Простила наш грех...

— Все бормочешь? — огрызнулся Орозкул. Он уже оправился от испуга, и прежняя злоба глодала его душу. — Сказки свои рассказываешь? Сам тронулся умом, так думаешь, и другие поверят твоим дурацким выдумкам!

— Я видел своими глазами. Это были маралы, — не сдавался дед Момун. — А разве ты не видел, сын мой? Ты же видел сам.

— Ну, видел. Вроде промелькнули штуки три...

— Верно, три. Мне тоже так показалось.

— Ну, и что из того? Маралы так маралы. Тут вон человек чуть шею себе не свернул. Чего же радоваться? А если это были маралы, то пришли они, значит, из-за перевала. Там, в Казахстане, на той стороне гор, в лесах, говорят, водятся еще маралы. Там тоже заповедник. Возможно, заповедные маралы. Пришли так пришли. Нам какое дело. Казахстан нас не касается.

— Может, приживутся у нас? — помечтал дед Момун. — Остались бы...

— Ну, хватит, — оборвал его Орозкул. — Пошли!..

Им надо было еще долго спускаться с бревном, а потом переправить его через реку, тоже волоком, в упряжи. И тоже трудное это дело. А затем, если удастся благополучно перетащить бревно через реку, надо еще дотянуть его до пригорка, где будет грузиться машина.

Ох, сколько трудов.

Орозкул чувствовал себя совсем несчастным. И все вокруг казалось ему устроенным несправедливо. Горы — они ничего не чувствуют, ничего не желают, ни на что не жалуются, стоят себе и стоят; леса входят в осень, а потом в зиму войдут и не видят в этом ничего трудного. Галки и те летают себе на свободе и орут, сколько им влезет. Маралы, если то действительно были маралы, пришли из-за перевала и будут бродить в лесу, как хотят и где хотят. В городах люди беспечно шагают по асфальтированным улицам, ездят на такси, сидят в ресторанах, предаются забавам. А он заброшен судьбою в эти горы, он несчастлив... Даже этот Расторопный Момун, тесть его никудышный, и тот счастливее, потому что он верит в сказки. Глупый человек. Глупцы всегда довольны жизнью.

А Орозкул ненавидит свою жизнь. Она не по нем. Это жизнь для таких, как Расторопный Момун. Ему-то что надо, Момуну? Сколько живет, столько и горб гнет, изо дня в день, без отдыху. И в жизни ни один человек не был у него в подчинении, а он подчинялся всем, даже старухе своей, — он даже ей не прекословит. Такой горемыка и сказкой будет счастлив. Увидел маралов в лесу — до слез дошел, точно встретил братьев родных, которых сто лет по свету искал.

Эх, что там говорить...

Они вышли, наконец, на последний рубеж, откуда начинался длинный крутой спуск к реке. Остановились передохнуть.

За рекой, во дворе кордона, возле дома Орозкула что-то дымил. По дыму можно было догадаться — самовар. Значит, жена уже ждала его. Но от этого Орозкулу не стало легче. Дышал он широко ртом, воздуха не хватало. В груди болело, и в голове, как эхо, стучали удары сердца. Пот со лба разжедал глаза. А впереди еще долгий и крутой спуск. И дома ждет пустобрюхая жена. Ишь, самовар поставила, уго-

дить хочет... Он вдруг почувствовал острое желание разбежаться и пнуть ногой этот пузатый самовар, да так, чтобы полетел он ко всем чертям. А потом наброситься на жену и бить ее, бить в кровь, насмерть. Мысленно он наслаждался, слыша вопли жены, ее проклятия судьбы своей горемычной. «Ну и пусть,— думал он.— Пусть. Мне плохо, почему ей должно быть хорошо?»

Его мысли прервал Момун.

— Я и забыл, сын мой,— спохватился он и поспешно подошел к Орозкулу.— Мне ведь в школу надо, малыша забрать. Уроки-то кончились.

— Ну и что? — нарочито спокойно произнес Орозкул.— Что ты предлагаешь?

— Не сердись, сын мой. Оставим бревно здесь. Спустимся. Ты пообедаешь дома. А я тем временем проскочу на коне в школу. Заберу мальчишку. Вернемся и переправим бревно.

— И долго ты думал, старик, пока это придумал? — съязвил Орозкул.

— Да ведь плакать будет мальчишка.

— Ну и что? — вскипел Орозкул. Наконец-то было за что проучить старика в полной мере. Весь день Орозкул искал, к чему придраться, а теперь Момун сам давал ему повод.— Он будет плакать, а мы будем дело бросать? Утром морочил голову — в школу повезу. Хорошо, стез. Теперь — из школы привезу? А я что? Или мы здесь в игрушки играем?

— Не надо, сын мой,— попросил Момун.— В такой день. Я-то ладно, но мальчишка будет ждать, будет плакать в такой день...

— Что — в такой день? Какой это такой особый день?

— Маралы вернулись. Зачем же в такой день...

Орозкул опешил, даже замолчал от удивления. Он уже и забыл про этих маралов, которые вроде бы промелькнули быстрыми, скачущими тенями, когда он катился по колючим кустарникам, когда душа у него от страха ушла в пятки. Каждую секунду его могло приутюжить сорвавшимся со склона бревном. Не до маралов было и не до болтовни этого старика.

— Ты за кого меня принимаешь,— тихо и яростно сказал он, дыша в лицо старику.— Жаль, что нет у тебя бороды, а не то потаскал бы, чтобы не считал других глупее себя. Да на кой хрен мне твои маралы. Буду я еще думать о них. Ты мне зубы не заговаривай. Давай становись к бревну. И пока не перетащим через реку, ты и не заикайся ни о чем. Кто там в школу ходит, кто там плачет — дела мне нет никакого. Хватит, пошли...

Момун, как всегда, повиновался. Он понимал, что не вырвется из рук Орозкула, пока бревно не будет доставлено на место, и молча и стчаянно работал. Больше он не проронил ни слова, хотя душа исходила криком. Внук ждет его возле школы; все ребята уже разбежались по домам, и только он один, его сирый внук, глядит на дорогу и ждет деда.

Старик представлял себе, как дети всем классом выскочили, топая, из школы, как стали разбегаться по домам. Проголодались. Еще на улице они чувят запах приготовленной им еды и, радостные, возбужденные, пробегают под окнами своих домов. Матери ждут уже. У каждой есть улыбка, от которой голова идет кругом. Худо ли самой матери, хорошо ли, а на улыбку для своего ребенка у нее всегда сил хватит. И если даже мать прикрикнет постороже: «А руки? Руки кто будет мыть?» — все равно в глазах у нее спрятана та же улыбка.

У момуновского внука с тех пор, как он стал учиться, руки всегда были в чернилах. И деду это даже нравилось: значит, парень делом за-

нимается. И вот стоит сейчас на дороге его внук, с руками в чернилах, держа свой любимый портфель, купленный этим летом. Он, наверно, устал ждать и уже беспокойно поглядывает, прислушивается — не появится ли на пригорке дед верхом на коне. Ведь он всегда вовремя приезжал. Когда мальчик выходил из школы, дед, уже спешившись, ждал его неподалеку. Все расходились по домам, а внук бежал к деду. «Вон дедушка, побежим!» — говорил мальчик портфелю. И, добравшись, смущенно останавливался. Если бы поблизости никого не было, он кинулся бы к деду, обнял его и ткнулся лицом в живот, вдыхая привычный запах старой одежды и сухого летнего сена: в эти дни дед переправлял на вьюках сено с того берега, зимой по глубокому снегу не доберешься до него, лучше перевезти с осени. И долго потом Момун ходил, пропахнувший горьковатой сенной пылью.

Дед сажал мальчика позади себя на круп лошади, и они ехали домой то дорожной рысцой, то шагом, то молча, то переговариваясь о чем-нибудь незначительном, и незаметно приезжали. Через седловину между горками спускались к себе, в Сан-Ташскую падь.

Неистовое влечение мальчика к школе раздражало бабушку. Он, едва проснувшись, быстро одевался и перекладывал в портфеле книги и тетради. Бабушку сердило, что он кладет на ночь портфель рядом с собой:

— И чего ты прилип к этому поганому портфелю? Стал бы он тебе женой, избавил бы нас от калыма за невесту...

Мальчик пропускал мимо ушей бабушкины слова, да и не очень понимал, о чем идет речь. Главным для него было — не опоздать в школу. Он выбегал во двор, торопил деда. И успокаивался лишь тогда, когда школу было уже видно.

Однажды они все же опоздали. На прошлой неделе чуть свет Момун переправился верхом на тот берег. Решил сделать с утра одну езду за сеном. Все бы ничего, но по пути вьюк развязался, сено высыпалось. Пришлось снова перевязывать весь вьюк, снова навьючивать коня. Второпях увязанное сено снова рассыпалось у самого берега.

А внук уже ждал на той стороне. Он стоял на шербаке камне, размахивал портфелем и что-то кричал, звал. Старик зашпешил — веревки запутались, не развяжешь, стянулись в узлах. А мальчишка все кричал, и старик понял, что он уже плачет. Тогда он бросил все — и сено и веревки, сел на лошадь — и побыстрее к внуку, через брод. Пока переправился, тоже время прошло: через брод не поскачешь, воды много, течение быстрое. Осенью еще не так страшно, а летом сшибет коня с ног — и пропал. Когда Момун, наконец, перебрался через реку и подъехал к внуку, тот уже плакал навзрыд. На деда не смотрел, только плакал и приговаривал: «Опоздал, опоздал в школу». Старик свесился с коня, поднял мальчика к себе в седло и поскакал. Была бы она рядом, эта школа, сам бы добежал мальчишка. А то ведь всю дорогу не переставая плакал, и никак не мог старик успокоить его. Так и привез ревушего в школу. А уроки уже начались. Повел прямо в класс.

Извинялся-извинялся Момун перед учительницей, обещал, что в другой раз такого не случится. Но больше всего потрясло старика то, как плакал внук, переживал свое опоздание. «Дай-то бог, чтобы всегда тебя так тянуло в школу», — думал дед. Однако почему все-таки так плакал парнишка? Значит, есть в его душе обида, невысказанная своя обида...

И теперь, идя обочь бревна, забегая то на одну, то на другую сторону, подталкивая, подтыкивая бревно вагой, чтобы оно нигде не цеплялось, чтобы скользило быстрее с горы, Момун все думал — как-то он там, внук?

А Орозкул не спешил. Он шел коноводом. Да и не очень поспешишь

тут — спуск долгий, крутой, приходится идти по склону наискось. Но разве нельзя было уважить его просьбу — оставить пока бревно, а потом вернуться и забрать? Эх, была бы сила, взвалил бы он бревно на плечо, шагнул через реку, сбросил бы его на то место, где будет грузиться машина. Нате, мол, получите свое бревно и отстаньте. А сам Момун пустился бы к внуку.

Но где там! Надо еще добраться до берега по камням, по галечнику, а там через брод волочить конем бревно на ту сторону. А конь уже замучился — сколько прошел он по горам то вниз, то вверх... Хорошо еще, если все обойдется, а ну как застопорится бревно в камнях посреди реки или конь споткнется и упадет?

И когда они пошли по воде, дед Момун взмолился: «Помоги, Рогатая Мать-олениха, не дай застрять бревну, не дай коню упасть». Разувшись, перекинув сапоги через плечо, закатав штаны выше колен, с вагой в руках дед Момун попевал за плывущим бревном. Бревно волокли наискось против течения. Насколько чиста и прозрачна была вода в реке, настолько и холодна. Осенняя вода.

Старик терпел: пусть, ноги не отвалятся. Лишь бы быстрее переправить бревно. И все-таки бревно застряло, как назло, село на камни в самом порожистом месте. В таких случаях надо дать коню немного передохнуть и затем понукнуть его как следует — хорошим рывком можно снять бревно с камней. Но Орозкул, сидя верхом, нещадно нахлестывал камчой уже ослабевшего, притомившегося коня. Конь оседал на задние ноги, скользил, спотыкался, а бревно с места не трогалось. Ноги старика окоченели, в глазах у него стало темнеть. Голова кружилась. Обрыв, лес над обрывом, облака в небе наклонились, падали в реку, уплывали по быстрому течению и снова возвращались. Плохо становилось Момуну. Проклятое бревно! Было бы оно сухое, вылежавшееся, тогда разговор другой, — сухой лес сам по воде плывет, только удерживай его. Это же только спилили и сразу его волоком через реку. Кто же так делает! Вот и получается. У темного дела конец худой. Оставлять сосну на высушку Орозкул не решает: нагрянет инспекция, акт составит — порубка ценных деревьев в заповедном лесу. Потому как спилили, так побыстрее стаскивает бревно с глаз долой...

Орозкул бил коня каблуками, плетью бил его по голове, матерился, орал на старика, будто он, Момун, был виноват во всем, а бревно не поддавалось, оно все больше залеживалось в камнях. И лопнуло терпение старика. В первый раз за всю жизнь он возвысил голос во гневе.

— Слазь с коня! — решительно подошел он к Орозкулу, стягивая его с седла. — Разве не видишь, что конь не тянет? Слазь сейчас же!

Удивленный Орозкул молча подчинился. Прыгнул прямо в сапогах с седла в воду. С этой минуты он как бы оглупел, оглох, потерял себя.

— Давай. Подналяг! Вместе давай! — По команде Момуна они налегли на вагу, приподнимая бревно с места, высвобождая его из затора камней.

До чего же умное животное конь! Он рванулся именно в этот момент и, спотыкаясь, скользя по камням, натянул постромки в струну. Но бревно чуть стронулось с места, заскользило и снова застряло. Конь сделал еще рывок и не удержался, упал в воду, забарахтался, путаясь в сбруе.

— Коня! Коня поднимай! — толкнул Момун Орозкула.

Вместе, с трудом им удалось помочь лошади встать на ноги. Конь дрожал от холода, едва стоял в воде.

— Распрягай!

— Зачем?

— Распрягай, тебе говорят. Перепрягать будем. Снимай постромки. И опять Орозкул молча повиновался. Когда лошадь была выпряжена, Момун взял ее за поводья.

— А теперь пошли,— сказал он.— Вернемся потом. Пусть конь отдохнет.

— А ну-ка, стой! — Орозкул перехватил поводья из рук старика. Он как бы проснулся. Он снова вдруг стал самим собой.— Ты кому дуришь голову? Никуда ты не пойдешь. Бревно вывезем сейчас. Вечером за бревном люди приедут. Запрягай коня без разговоров, слышишь?

Момун молча повернулся и, ковыляя на заочечневших ногах, пошел бродом к берегу.

— Ты куда, старик? Куда, говорю?

— Куда! Куда! В школу. Внук там ждет с самого полдня.

— А ну вернись! Вернись!

Старик не послушался. Орозкул оставил лошадь в реке и уже почти у берега, на галечнике, настиг Момуна, схватил его за плечо, крутанул к себе.

И они оказались лицом к лицу.

Коротким движением руки Орозкул сорвал с плеча Момуна перевешенные голенищами старые кирзовые сапоги и наотмашь дважды ударил ими тества по голове и по лицу.

— Пошли! Ну! — прохрипел Орозкул, отшвыривая в сторону сапоги.

Старик подошел к сапогам, поднял их с мокрого песка, и, когда распрямился, на губах у него выступила кровь.

— Негодяй! — сказал Момун, сплевывая кровь, и перебросил сапоги снова через плечо.

Это сказал Расторопный Момун, никогда никому не прекословивший. Это сказал посиневший от холода жалкий старикашка с перекинутыми через плечо старыми сапогами, с пузырящейся на губах кровью.

— Пошли!

Орозкул потащил его за собой. Но Момун с силой вырвался и, не оглядываясь, молча пошел прочь.

— Ну, старый дурень, теперь держись! Я тебе это припомню! — прокричал ему вслед Орозкул, потрясая кулаком.

Старик не оглянулся. Выйдя на тропу возле «лежащего верблюда», он сел, обулся и быстро пошел домой. Нигде не задерживаясь, направился прямо в конюшню. Оттуда вывел серого коня Алабаша, неприкосновенного орозкуловского выездного коня, на которого никто не смел садиться и которого не запрягали, чтобы не попортить скаковую статью. Точно на пожар, Момун выехал на нем со двора без седла, без стремян. И когда он проскакал мимо окон, мимо все еще дымящего самовара, выскочившие наружу женщины — старуха Момуна, его дочь Бекей и молодая Гульджамал — поняли сразу, что со стариком что-то случилось. Никогда он не садился верхом на Алабаша и никогда не скакал так по двору, сломя голову. Они не знали еще, что это был бунт Расторопного Момуна. И не знали еще, во что обойдется ему этот бунт на старости лет.

А со стороны брода возвращался Орозкул, ведя в поводу выпряженную лошадь. Лошадь припадала на переднюю ногу. Женщины молча смотрели, как он приближался ко двору. Они еще не догадывались, что творилось в душе Орозкула, что он нес им в тот день, какие беды, какие страхи...

В мокрых, хлюпающих сапогах, в мокрых штанах, подойдя к ним грузными, тяжелыми шагами, он мрачно глянул на женщин исподлобья. Жена его Бекей забеспокоилась:

— Что с тобой, Орозкул? Что случилось? Да ты же мокрый весь. Бревно уплыло?

— Нет, — отмахнулся Орозкул. — На, — передал он поводья Гульджамал. — Отведи коня в конюшню. — А сам пошел к дверям. — Пошли в дом, — сказал он жене. Бабка тоже хотела было пойти вместе с ними, но Орозкул не пустил ее на порог.

— А ты иди, старуха. Нечего тебе здесь делать. Иди к себе и не приходи.

— Да ты что? — обиделась бабка. — Что ж это такое? А старик-то наш, как он? Что случилось?

— Спроси у него самого, — ответил Орозкул.

В доме Бекей стащила с мужа мокрую одежду, подала ему шубу, внесла самовар и стала наливать в пиалу чаю.

— Не надо, — отверг жестом Орозкул. — Дай мне выпить.

Жена достала непечатую поллитровку, налила в стакан.

— Полный налей, — приказал Орозкул. Залпом опрокинув в себя стакан водки, он завернулся в шубу и, укладываясь на кошме, сказал жене: — Ты мне не жена, я тебе не муж. Иди и чтобы ноги твоей в доме не было. Иди, пока не поздно.

Бекей вздохнула, села на кровать и, привычно сглатывая слезы, тихо сказала:

— Опять?

— Что опять? — взревел Орозкул. — Вон отсюда!

Бекей выскочила из дома и, как всегда, заламывая руки, заголосила на весь двор:

— И зачем только родилась я на свет, горемычная...

А в это время старик Момун скакал на Алабаше к внуку. Алабаш — быстрый конь. Но все равно опаздывал Момун на два с лишним часа. Он встретил внука на пути. Учительница сама вела мальчика домой. Та самая учительница, с обветренными, грубыми руками, в том самом неизменном пальто, в котором ходила она пятый год. Утомленная женщина выглядела хмурой. Мальчик же, давно заплакавший, со вспухшими глазами, шел рядом с ней с портфелем своим в руках, какой-то жалкий и униженный. Крепко отчитала учительница старика Момуна. Он стоял перед ней спешившись, опустив голову.

— Не привозите ребенка в школу, — говорила она, — если не будете забирать его вовремя. На меня не рассчитывайте, у меня своих четверо.

Опять извинялся Момун, опять обещал, что больше такого не повторится.

Учительница вернулась в Джелесай, а дед с внуком отправились домой.

Мальчик молчал, сидя на лошади перед дедом. И старик не знал, что сказать ему.

— Ты очень голоден? — спросил он.

— Нет, учительница мне хлеба дала, — ответил внук.

— А почему ты молчишь?

Мальчик ничего не сказал и на это.

Момун виновато улыбнулся:

— Обидчивый ты у меня. — Он снял фуражку мальчика, поцеловал его в макушку и снова надел ему фуражку на голову.

Мальчик не обернулся.

Так они ехали, оба подавленные и молчаливые. Момун не давал воли Алабашу, строго придерживал поводья — не хотелось трясти мальчика на неоседланном коне. Да и спешить теперь стало вроде не к чему.

Конь вскоре понял, что от него требуется,— шел легкой полуиноходью. Пофыркивал, копытами стучал по дороге. На таком бы коне ехать в одиночку, песни петь негромкие — так, для самого себя. Мало ли о чем поет человек наедине с собой? О несбывшихся мечтах, о годах прошедших, о том, что было тогда еще, когда любилось... Нравится человеку повздыхать по той поре, где осталось что-то, навсегда недосягаемое. А что, собственно,— человек и сам толком не понимает. Но изредка ему хочется думать об этом, хочется почувствовать самого себя.

Добрый это попутчик — хороший конь хорошего хода...

И думал старик Момун, глядя на стриженный затылок внука, на его тонкую шею и оттопыренные уши, что от всей его жизни неудачливой, от всех его дел и трудов, от всех забот и печалей остался у него теперь только вот этот ребенок, это еще беспомощное существо. Хорошо, если дед успеет поставить его на ноги. А останется он один — трудно придется. Сам с кукурузный початок, а уже характер свой. Ему бы попроще быть, поласковей... Ведь такие, как Орозкул, возненавидят его и будут его терзать, как волки загнанного оленя...

И тут вспомнил Момун про маралов, про тех, что давеча промелькнули быстрыми, стремительными тенями, что исторгли из груди его возглас удивления и радости.

— А ты знаешь, сынок? К нам маралы пришли,— сказал дед Момун.

Мальчик живо оглянулся через плечо:

— Правда?

— Правда. Сам видел. Три головы.

— А откуда они пришли?

— По-моему, из-за перевала. Там тоже есть заповедные леса. Осень нынче стоит, как лето,— перевал открыт. Вот они и пришли к нам в гости.

— А они останутся у нас?

— Понравится, так останутся. Если не трогать их, они и будут жить. Кормов у нас вдосталь. Тут хоть тысячу маралов держи... В прежние времена, при Рогатой Матери-оленихе, тут их было видимо-невидимо...

Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся снова рассказывать о былых временах, о Рогатой Матери-оленихе. И сам, увлекаясь своим рассказом, думал: как просто вдруг стать счастливым и принести счастье другому! Вот так бы и жить всегда. Да, вот так, как сейчас, как в этот час. Но жизнь не так устроена — рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье, неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное. Даже в этот час, когда они с внуком были счастливы, в душе у старика рядом с радостью стояла тревога: что там Орозкул? Что он готовит, какую расправу? Какое задумал наказание ему, старику, посмевавшему ослушаться? Ведь Орозкул этого так не оставит. Иначе он не был бы Орозкулом.

И чтобы не думать о несчастье, ожидавшем его дочь и его самого, Момун рассказывал внуку о маралах, о благородстве, о красоте и быстроте этих животных так самозабвенно, точно мог этим отвратить неизбежное.

А мальчику было хорошо. Он и не подозревал, что ждет его дома. У него горели глаза и уши. Как, неужели вернулись маралы? Значит, все это правда! Дед говорит, что простила Рогатая Мать-олениха людские преступления против нее и разрешила детям своим вернуться в Исык-кульские горы. Дед говорит, что сейчас пришли три марала, чтобы

разузнать, как тут, и если им понравится, то все маралы снова вернутся на родину.

— Ата,— прервал деда мальчик.— А может быть, пришла сама Рогатая Мать-олениха? Может быть, она хочет посмотреть, как тут у нас, а потом позвать своих детей, а?

— Может быть,— неуверенно промолвил Момун. Он запнулся. Старик почувствовал себя неловко: не слишком ли он увлекся, не слишком ли мальчик уверовал в его слова? Но не стал разуверять дед Момун своего внука. Да теперь уже это было бы и слишком поздно.— Кто знает,— пожал он плечами.— Может быть, может быть, пришла и сама Рогатая Мать-олениха. Кто знает...

— А вот мы узнаем. Давай, ата, пойдем на то место, где ты видел маралов,— сказал мальчик,— я тоже хочу посмотреть.

— Но они же не стоят на одном месте.

— А мы пойдем по следам. Будем долго-долго идти по их следам. А как увидим их хоть краешком глаза, вернемся. И тогда они подумают, что люди не будут трогать их.

— Ребенок ты,— усмехнулся дед.— Приедем домой, там видно будет.

Они уже подъезжали к кордону по тропе позади домов. Дом сзади— как человек со спины. Все три дома не подавали никаких знаков, что происходило внутри них. И во дворе тоже было пусто и тихо. Недоброе предчувствие сжало сердце Момуна. Что могло произойти? Избил Орозкул его несчастную Бекей? Напился пьяный? Что еще могло случиться? Почему так тихо, почему никого нет в этот час во дворе? «Если все в порядке, надо вытащить это злосчастное бревно из реки,— подумал Момун.— Ну его, Орозкула, лучше с ним не связываться. Лучше сделать, что хочет, да плюнуть на все это. Ослу ведь не докажешь, что он осел».

Момун подъехал к конюшне.

— Слезай. Вот мы и приехали,— стараясь не выдать своего волнения, сказал он внуку так, как будто они прибыли издалека. А когда мальчик с портфелем своим побежал было домой, дед Момун остановил его: — Пстой, вместе пойдем.

Он поставил Алабаша в конюшню и, взяв мальчика за руку, пошел к дому.

— Ты смотри,— сказал дед внуку,— если меня будут ругать, ты не бойся и не слушай всякие там разговоры. Тебя это не касается. Твое дело в школу ходить.

Но ничего такого не произошло. Когда они пришли домой, бабка только глянула на Момуна долгим осуждающим взглядом и, поджав губы, снова принялась за свое шитье. Дед тоже ничего не сказал ей. Хмурый и настороженный, он постоял посреди комнаты, потом взял с плиты большую чашку с лапшой, прихватил ложки и хлеб, и они сели с внуком за поздний обед.

Ели молча, а бабка даже не глядела в их сторону. На ее дряблом коричневом лице застыл гнев. Мальчик понял, что произошло что-то очень плохое. А старики все молчали.

Так страшно, так тревожно становилось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда за обедом люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном. «Может быть, это мы виноваты?» — мысленно сказал мальчик портфелю. Портфель лежал на подоконнике. Сердце мальчика покатило по полу, вскарабкалось на подоконник, поближе к портфелю, и зашептало с портфелем:

«Ты ничего не знаешь? Почему дедушка такой печальный? В чем он виноват? И почему он опоздал сегодня, почему приехал на Алабаше»

и без седла? Ведь такого никогда не бывало. Может быть, он увидел маралов в лесу и поэтому задержался?.. А вдруг и нет никаких маралов? Вдруг это неправда? Что тогда? Зачем он рассказывал? Ведь Рогатая Мать-олениха очень обидится, если он обманул нас...»

Покончив с обедом, дед Момун сказал негромко мальчику:

— Ты иди во двор, дело есть одно. Поможешь мне. Я сейчас.

Мальчик послушно вышел. И как только он закрыл за собой дверь, раздался голос бабки:

— Ты куда?

— Пойду бревно вывезу. Давеча оно застряло в реке,— ответил Момун.

— А, спохватился! — вскричала бабка. — Опомнись! Ты иди, посмотри на свою дочь. Ее Гульджамал увела к себе. Кому она нужна теперь, твоя неродящая дура. Пойди, пусть она скажет, кто она теперь. Как собаку паршивую, выгнал ее из дома муж.

— Ну что же, выгнал так выгнал,— сказал с горечью Момун.

— Ишь ты! Да кто ты сам! Дочери твои беспутные, так думаешь внука выучить на начальника, что ли? Жди. Было бы из-за кого на рожон лезть. Да еще на Алабаша вскочил и помчался. Гляди какой! Знал бы свое место, помнил бы, с кем ты связываешься... Он тебе шею свернет, как курице. С каких это пор ты стал перечить людям? С каких это пор стал героем? А дочь свою и не думай приводить к нам. На порог не пушу...

Мальчик понуро побрел по двору. В доме еще раздавались крики бабки, потом дверь хлопнула, и Момун выскочил из дома. Старик направился к дому Сейдахмата, но на пороге его встретила Гульджамал.

— Лучше не надо сейчас, потом,— сказала она Момуну. Момун растерянно остановился. — Плачет, избил он ее,— зашептала Гульджамал. — Говорит, что теперь они жить вместе не будут. Проклинает она вас. Говорит, что во всем отец виноват.

Момун молчал. Что сказать? Теперь даже родная дочь не хотела видеть его.

— А Орозкул там пьет у себя. Зверь зверем,— шепотом рассказывала Гульджамал.

Они призадумались. Гульджамал сочувственно вздохнула:

— Хоть бы Сейдахмат наш приехал поскорей. Должен бы сегодня вернуться. Вывезли бы вместе это бревно да избавились хоть от этого.

— Разве дело в бревне? — покачал головой Момун. Он задумался и, увидев рядом внука, сказал ему: — Ты иди поиграй.

Мальчик отошел в сторону. Пошел в сарай, взял спрятанный там бинокль. Отер его от пыли. «Плохи наши дела,— грустно сказал он биноклю. — Кажется, это мы с портфелем виноваты. Была бы где-нибудь другая школа. Ушли бы мы с портфелем туда учиться. И чтобы никто не знал. Только вот деда жалко, искать будет. А ты, бинокль, с кем будешь смотреть на белый пароход? Думаешь, я рыбой не сделался бы? Вот посмотришь. Поплыву к белому пароходу...»

Мальчик спрятался за стогом сена и стал смотреть вокруг в бинокль. Невесело и недолго смотрел. В другое время не наглядисься: стоят осенние горы, покрытые лесами осенними, наверху снег белый, внизу огонь красный.

Мальчик положил бинокль на место и, выходя из сарая, увидел, как дед повел через двор коня в хомуте и сбруе. Он направлялся к броду. Мальчик хотел побежать к деду, но его остановил окрик Орозкула. Орозкул выскочил из дома в исподней рубашке, с шубой на плечах. Лицо его было багровое, как вспухшее вымя коровы.

— Эй ты! — грозно крикнул он Момуну. — Куда ведешь коня? А ну,

поставь на место. Без тебя вывезем. И не смей трогать. Ты теперь здесь никто. Я тебя увольняю с кордона. Убирайся куда хочешь.

Дед горько усмехнулся и повел коня обратно в конюшню. Момун вдруг стал совсем стареньким и маленьким. Шел, шаркая подошвами и не глядя по сторонам.

Мальчик задохнулся от обиды за деда и, чтобы никто не видел, как он заплакал, побежал берегом реки. Тропинка впереди туманилась, пропадала и снова ложилась под ноги. Мальчик бежал в слезах. Вот они, его любимые прибрежные валуны: «танк», «волк», «седло», «лежащий верблюд». Мальчик ничего не сказал им: ничего они не понимают, стоят себе и стоят. Мальчик лишь обнял горб «лежащего верблюда» и, привалась к рыжему граниту, заплакал навзрыд, горько и безутешно. Он долго плакал, постепенно стихая и успокаиваясь.

Наконец поднял голову, протер глаза и, глянув перед собой, оцепенел.

Прямо перед ним, на другом берегу, у воды стояли три марала. Настоящие маралы. Живые. Они пили воду и, кажется, уже напились. Один — тот, что был с самыми большими тяжелыми рогами, — снова опустил голову к воде и, потягивая ее, казалось, рассматривал в мелкой заводи свои рога, как в зеркале. Он был буроватого цвета, грудастый и мощный. Когда он вскинул голову, с его волосатой светлой губы упали в воду капли. Пошевеливая ушами, рогач внимательно глянул на мальчика.

Но больше всего на мальчика смотрела белая бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове. Рога у нее были чуть поменьше, но очень красивые. Она была в точности такая, как Рогатая Мать-олениха. Глаза большущие, ясные и полные. А сама — как кобылица статная, приносящая каждый год по жеребенку. Рогатая Мать-олениха смотрела на мальчика пристально, спокойно, точно вспоминая, где она видела этого большеголового, ушастого мальчишку. Глаза ее влажно поблескивали и светились издали. Из ноздрей легкий парок поднимался. Рядом с ней, повернувшись задом, объедал ветки тальника молодой комолый телок. Ему ни до чего не было дела. Он был упитанный, крепкий и веселый. Бросив вдруг глотать ветки, он резво подпрыгнул, задел олениху плечом и, попрыгав еще вокруг, стал ласкаться. Терся своей безрогой головой о бока Рогатой Матери-оленихи. А Рогатая Мать-олениха все смотрела и смотрела на мальчика.

Затаив дыхание, мальчик вышел из-за камня и, как во сне, протянув руки перед собой, подошел к берегу, к самой воде. Маралы нисколько не испугались. Они спокойно взирали на него с того берега.

Между ними протекала быстрая, прозрачно-зеленоватая река, вскипая, переливаясь через заторы подводных камней. И если бы не эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать маралов. Маралы стояли на ровном, чистом галечнике. А за ними — там, где кончалась полоса галечника, — красной стеной пламенели осенние кущи тугайного леса. А выше — глинистый обрыв, над обрывом золотисто-багряные березы и осины, и еще выше — большой лес и белый снег на скалистых кряжах.

Мальчик закрыл глаза и снова открыл. Перед ним была все та же картина, а чуть ближе краснолиственного тугая стояли на чистом галечнике все те же сказочные маралы.

Но вот они повернулись и пошли гуськом через галечник в лес. Впереди — большой марал, в середке комолый телок, за ним Рогатая Мать-олениха. Она оглянулась, еще раз посмотрела на мальчика. Маралы вошли в тугай, пошли через кусты. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины.

Потом они пошли по тропке вверх, поднялись на обрыв. Здесь остановились. И опять мальчику почудилось, что маралы глядели на него. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Ба-о, ба-о!» Его голос прокатился над обрывом, над рекой долгим эхом: «А-о, а-о!»

И тут только мальчик опомнился. Со всех ног он кинулся бежать домой по знакомой тропе. Он бежал во весь дух. Он пронесся по двору и, шумно распахнув дверь, крикнул, задыхаясь, с порога:

— Ата! Маралы пришли! Маралы! Они здесь!

Дед Момун глянул на него из угла, где сидел скорбный и тихий, и ничего не сказал, точно не понимал, о чем идет речь.

— Ладно тебе шуметь!— шикнула бабка.— Пришли так пришли, не до них сейчас.

Мальчик тихо вышел. На дворе было пусто. Осеннее солнце уже заваливалось за Караульную гору, за соседнюю гряду голых сумеречных гор. Густым негреющим заревом рдело солнце на холодеющих горных пустынях. И отсюда это стылое зарево растекалось окрест зыбким отсветом по верхам осенних гор. Леса покрывались вечерней мглой.

Ветер потянул со снегов. Мальчик дрожал. Его знобило.

VI

Его знобило и тогда, когда он лег в постель. Он долго не мог уснуть. На дворе уже чернела ночь. Голова болела. Но мальчик молчал. И никто не знал, что он заболел. Забыли.

Да и как тут было не забыть!

Дед совсем сбился с толку. Места себе не находил. То выйдет, то зайдет, то присядет, пригорюнившись и тяжело вздыхая, то снова встанет и куда-то уйдет. Бабка злобно ворчала на старика и тоже шастала взад и вперед, во двор выходила, возвращалась. На дворе раздавались какие-то неясные, отрывистые голоса, чьи-то торопливые шаги, чья-то ругань — кажется, опять ругался Орозкул, кто-то плакал, всхлипывая...

Мальчик тихо лежал и все больше уставал от всех этих голосов и шагов, от всего того, что происходило в доме и во дворе.

Он закрывал глаза и, скрашивая одиночество свое, свою забытость, вспоминал то, что случилось сегодня, то, что хотелось ему видеть. Он стоял на берегу большой реки. Вода текла так быстро, невозможно было долго смотреть, голова кружилась. А с другого берега глядели на него маралы. Все три марала, которых он видел под вечер, теперь снова стояли там. И все повторялось снова. С мокрой губы большого рогача упали в заводь те же капли, когда он вскинул голову от воды. А Рогатая Мать-олениха все так же пристально смотрела на мальчика добрыми, понимающими глазами. А глаза у нее были большущие, темные и влажные. Мальчик очень удивлялся, что Рогатая Мать-олениха может вздыхать по-человечески. Печально и горестно, как его дед. Потом они уходили через кусты тугая. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины. Они поднялись на обрыв. Здесь остановились. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Ба-о, ба-о!» Мальчик улыбнулся про себя, вспоминая, как голос большого марала прокатился над рекой долгим эхом. После этого маралы скрылись в лесу. Но мальчику не хотелось с ними расставаться, и он стал придумывать то, что ему хотелось видеть.

И снова стремительно протекала перед ним большая быстрая река. Голова кружилась от скорости течения. Он прыгнул и перелетел через

реку. Плавно и мягко опустился неподалеку от маралов, которые все так же стояли на галечнике. Рогатая Мать-олениха подозвала его к себе:

— Ты чей будешь?

Мальчик молчал, ему стыдно было говорить, чей он.

— Мы с дедом тебя очень любим, Рогатая Мать-олениха. Мы тебя давно ждали,— промолвил он.

— И я тебя знаю. И деда твоего знаю. Он хороший человек,— сказала Рогатая Мать-олениха.

Мальчик обрадовался, но не знал, как поблагодарить ее.

— Хочешь, я сделаюсь рыбой и поплыву по реке в Иссык-Куль к белому пароходу?— вдруг сказал он.

Это он умел. Но Рогатая Мать-олениха ничего не ответила на это. Тогда мальчик стал раздеваться и, как бывало летом, поживаясь, полез в воду, держась за ветку прибрежного тальника. Но вода оказалась не ледяной, а горячей, жаркой, душной. Он поплыл под водой с открытыми глазами, и мириады золотистых песчинок, мелких подводных камушков закружились вокруг гудящим роем. Он стал задыхаться, а горячий поток все тащил и тащил его.

— Помоги, Рогатая Мать-олениха, помоги мне, я тоже твой сын, Рогатая Мать-олениха! — громко кричал он.

Рогатая Мать-олениха побежала следом по берегу. Быстро бежала, ветер свистел в ее рогах.

Мальчик сбросил с себя одеяло. И сразу ему стало легче. Он был в поту. Но помня, что дед в таких случаях еще теплей укутывал его, мальчик укрылся получше. В доме никого не было. Фитиль в лампе уже нагорел, и потому она тускло светила. Мальчик хотел встать, напиться, но со двора раздались опять какие-то резкие голоса, кто-то на кого-то кричал, кто-то плакал, кто-то успокаивал. Слышалась возня, топот ног. Потом у самого окна, ахая и охая, протопали двое, точно бы один тащил другого. Дверь с шумом распахнулась, и бабка, разъяренная и тяжело дышащая, буквально втокнула деда Момуна в дом. Никогда не видел мальчик деда своего таким перепуганным. Казалось, он ничего не соображал. Глаза старика растерянно блуждали. Бабка толкнула его в грудь, заставила сесть:

— Сиди, сиди, старый дурак, и не лезь, когда не просят. Первый раз, что ли, у них такое. Если хочешь, чтобы все уладилось, сиди и не суйся. Делай, что я тебе говорю. Слышишь? А не то сидит он нас, ты понимаешь, сживет со свету. А куда нам на старости лет идти? Куда?— С этими словами бабка хлопнула дверь и снова торопливо умчалась.

В доме опять стало тихо. Слышалось только хриплое, прерывистое дыхание деда. Он сидел на приступке у плиты, стиснув голову трясущимися руками. И вдруг старик упал на колени и, вздевая руки, застал, обращаясь неизвестно к кому:

— Возьми меня, забери меня, горемычного! Только дай ей дитя! Сил моих нет глядеть на нее. Дай хоть одного-единственного, пожалей нас...

Плача и шатаясь, старик встал и, хватаясь за стены, нашарил двери. Он вышел, прикрыл за собой двери и там, за дверьми, глухо рыдал, зажимая себе рот.

Мальчику стало худо. Опять зазнобило. То в жар, то в холод кидало. Он хотел встать, пойти к деду. Но руки и ноги не слушались, голова налилась болью. А старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный Орозкул, отчаянно вопила тетка Бекей, умоляли, уговаривали их обоих голоса Гульджамал и бабки.

Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир.

Снова стоял он на берегу быстрой реки, а на другом берегу, на га-

лечнике, стояли все те же маралы. И тогда взмолился мальчик: «Рогатая Мать-олениха, принеси тетке Бекей люльку на рогах. Очень прошу тебя, принеси им люльку. Пусть будет у них ребенок», — а сам бежал по воде к Рогатой Матери-оленихе. Вода не проваливалась, но и он не приближался к тому берегу, а как будто топтался в беге на месте. И все время умолял, заклинал Рогатую Мать-олениху: «Принеси им люльку на рогах. Сделай так, чтобы не плакал наш дед, сделай так, чтобы дядя Орозкул не бил тетку Бекей. Сделай так, чтобы родился у них ребенок. Я всех буду любить, и дядю Орозкула буду любить, только дай ему своего ребенка. Принеси им люльку на рогах...»

Чудилось мальчику, что зазвенел вдали колоколец. Он звенел все слышней. То бежала по горам Мать-олениха и несла на рогах своих, подцепив за дужку, детскую колыбель — березовый бешик с колокольцем. Заливался колыбельный колоколец. Очень спешила Рогатая Мать-олениха. Все ближе и ближе звенел колокольчик.

Но что это? К звону колокольчика присоединился далекий гул мотора. Где-то шел грузовик. Гудение машины нарастало все сильнее, все явственней, а колокольчик оробел, телинькал с перебоями и вскоре совсем затерялся в шуме мотора.

Мальчик услышал, как, погромыхая железом о железо, подъехала ко двору тяжелая машина. Собака с лаем кинулась на задворье. На минуту колыхнулся в окне отраженный свет фар и сразу погас. И мотор заглох. Хлопнули дверцы кабины. Переговариваясь между собой, приезжие — судя по голосам, человека три — прошли мимо окна, за которым лежал мальчик.

— Сейдахмат приехал, — раздался вдруг обрадованный голос Гульджамал, и слышно было, как она заторопилась навстречу мужу. — А мы заждались!

— Здравствуйте, — ответили ей незнакомые люди.

— Ну, как вы тут? — спросил Сейдахмат.

— Да ничего. Живем. Что так поздно?

— И то скажи — удачно. Добрался до совхоза, жду-пожду попутную машину. Хотя бы до Желесая. А тут как раз вот они к нам за лесом, — рассказывал Сейдахмат. — Темно по ущелью. Дорога — сама знаешь...

— А Орозкул где? Дома? — поинтересовался один из приезжих.

— Дома, — неуверенно ответила Гульджамал. — Приболел малость. Да вы не беспокойтесь. Переночуете у нас, место есть. Идемте.

Они двинулись. Но через несколько шагов приостановились.

— Здравствуйте, аксакал. Здравствуйте, байбиче.

Приезжие здоровались с дедом Момуном и бабкой. Стало быть, те устыдились приезжих, встретили их во дворе, как положено встречать чужих. Может быть, и Орозкул устыдится? Хоть бы уж не позорил себя и других.

Мальчик немного успокоился. Да и вообще ему стало чуть легче. Голову ломило меньше. Он даже подумывал, не встать ли и не пойти посмотреть на машину — какая она, на четырех колесах или на шести? Новая или старая? А прицеп какой? Однажды весной нынешней к ним на кордон заезжал даже военный грузовик — на высоких колесах и курносый, точно ему нос отрубили. Молодой солдат-шофер пустил мальчика посидеть в кабине. Здорово! А военный с золотистыми погонами ходил вместе с Орозкулом в лес. Чего это? Никогда такого не бывало.

— Вы что, шпиона ищете? — спросил мальчик солдата. Тот усмехнулся:

— Да, шпиона ищем.

— А к нам еще ни один шпион не приходил,— грустно проронил мальчик.

Солдат рассмеялся:

— А зачем он тебе?

— Я бы гонялся за ним и поймал бы его.

— Ух ты, какой прыткий. Мал еще, подрасти.

И, пока военный с золотыми погонами ходил с Орозкулом по лесу, мальчик с шофером разговорились.

— Я люблю все машины и всех шоферов,— сказал мальчик.

— Это почему же?— поинтересовался солдат.

— Машины — они хорошие, сильные и быстрые. И они хорошо пахнут бензином. А шоферы — они все молодые и все они дети Рогатой Матери-оленихи.

— Что? Что? — не понял солдат.— Какой это рогатой матери?

— А ты разве не знаешь?

— Нет. Никогда не слышал о таком чуде.

— А кто ты?

— Я из Караганды, казах. В школе шахтерской учился.

— Нет, чей ты?

— Отца, матери.

— А они чьи?

— Тоже отца, матери.

— А они?

— Слушай, да так можно без конца спрашивать.

— А я сын сыновей Рогатой Матери-оленихи.

— Кто это тебе сказал?

— Дедушка.

— Что-то не то,— сомневаясь, покачал головой солдат.

Его заинтересовал этот головастый мальчишка с оттопыренными ушами, сын сыновей Рогатой Матери-оленихи. Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что сам он не только не знает, откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых отцов не знает. Солдат знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше?

— Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? — спросил мальчик.

— Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально.

— Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.

— Кто испортится? Люди?

— Да.

— А почему?

— Дед говорит, что когда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать.

— Ну и дед у тебя! — искренне подивился солдат.— Интересный дед. Только забывает тебе голову всякой чепухой. А ты ведь большеголовый... И уши у тебя такие, как локаторы у нас на полигоне. Не слушай ты его. К коммунизму идем, в космос летаем, а он чему учит? К нам бы на политзанятия его, мы бы его мигом образовали. Вот ты вырастешь, выучишься — и уезжай давай от деда. Темный, некультурный он человек.

— Нет, я от деда никогда не уйду,— возразил мальчик.— Он хороший.

— Ну, это пока что. А потом поймешь.

Сейчас, прислушиваясь к голосам, мальчик вспомнил об этой военной машине и то, как он тогда так и не сумел толком объяснить солда-

ту, почему здешние шоферы, по крайней мере те, которых он знал, считались сыновьями Рогатой Матери-оленихи.

Мальчик говорил ему правду. В его словах не было никакой выдумки. В прошлом году, как раз в такую же осеннюю пору или, кажется, чуть позже, в горы за сеном приехали совхозные машины. Они проезжали не мимо кордона, а, немного не доезжая до него, сворачивали по дороге в лощину Арча и уходили наверх — туда, где летом накопили сено, чтобы затем осенью вывезти в совхоз. Заслышав небывалое гудение моторов на Караульной горе, мальчик побежал на развилку. Сразу столько машин! Одна за другой. Целая колонна. Он насчитал их штук пятнадцать.

Погода стояла на изломе, со дня на день мог повалить снег, и тогда «прощай, сено, до следующего года». В этих местах, если не успеешь вовремя вывезти сено, потом о нем и не думай. Не проедешь. Видимо, замешкались в совхозе с разными делами и, когда время поджало, решили одним разом, всеми машинами вывезти заготовленное сено. Но не тут-то было...

Мальчик, однако, об этом не знал, да ему-то, собственно, и какое дело? Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробежал наперегонки с ней, потом встречал следующую. Грузовики катились все новенькие, с красивыми кабинами, с широкими стеклами. А в кабинах сидели молодые джигиты, все как на подбор безусые, а в иных кабинах по двое парней. Напарники ехали накладывать и увязывать сено. Все они казались мальчику красивыми, бравыми, веселыми.

В общем-то, мальчик не ошибался. Так оно и было. Машины у ребят были исправные, и они быстро мчались, миновав спуск с Караульной горы, по щебенистой, твердой дороге. Настроение у ребят было отличное — погода неплохая, а тут еще откуда ни возьмись какой-то ушастый и головастый сорванец выбегает навстречу каждой машине, ошалев от дикой радости! Как тут было не посмеяться и не помахать ему рукой, не пригрозить ему шутя, чтобы он еще больше веселился и озорничал...

А самый последний грузовик так тот даже остановился. Выглянул из кабины молодой парень в солдатской одежде, в бушлате, но только без погон и без военной фуражки, а в кепке, это был шофер.

— Здравствуй, ты чего тут, а? — приветливо подмигнул он мальчишке.

— Так просто, — не без смущения ответил мальчик.

— Ты деда Момуна внук?

— Да.

— Я так и знал. Я ведь тоже бугинец. Да тут все ребята поехали — бугинцы. За сеном катим. Теперешние бугинцы друг друга и не знают, поразбрелись... Деду привет передай. Скажи, что видел Кулубека, сына Чотбая, Кулубека. Скажи, что вернулся Кулубек из армии и теперь шофером в совхозе. Ну, бывай. — И на прощание он подарил мальчику какой-то военный значок, очень занятный. На орден похожий.

Машина зарычала, как барс, и унеслась, догоняя своих. И так захотелось вдруг мальчику уехать с этим приветливым, бравым парнем в бушлате, с братом-бугинцем. Но дорога уже опустела, и пришлось ему возвращаться домой. Гордый вернулся, однако рассказал деду о встрече. А значок нацепил на грудь.

В тот день под вечер ударил вдруг ветер сан-ташский, оттуда, с хребта поднебесного. Обрушился шквалом. Листья над лесом взметнулись столбом и, поднимаясь в небо все выше, с гулом понеслись над горами. И вмиг закрутилась такая непогода — глаз не раскроешь. И сразу

снег. Белая тьма нагрянула на землю, закачались леса, река взбурлила. И сыпал, вьюжился снег.

Кое-как успели загнать скотину, убрать кое-что со двора, кое-как успели дров побольше нанести в дом. А потом уже и носа из дому не показывали. Куда там — в такую раннюю да страшную метель.

— К чему бы это? — недоумевал и тревожился дед Момун, растапливая печь. Он все прислушивался к свисту ветра, то и дело подходил к окну. За окном быстро сгущалась крутящаяся снежная мгла.

— Да сядь ты на место! — ворчала бабка. — Первый раз такое, что ли? «К чему бы это? К чему?» — передразнила она. — К тому, что настала зима.

— Так уж и враз, в один день...

— А почему бы и нет? Спрашивать тебя будет? Надо ей, зиме, вот и явилась.

В трубе завывало. Мальчик вначале оробел, да и замерз он, помогая деду по хозяйству, но вскоре дрова разгорелись, тепло стало, запахло в доме смолой горячей, дымком сосновым, и мальчик успокоился, угрелся.

Потом ужинали. Потом легли спать. А на дворе валил, крутился снег, ветер лютовал.

«В лесу, наверно, совсем страшно», — думал мальчик, прислушиваясь к звукам за окнами. Ему стало не по себе, когда вдруг стали доноситься какие-то смутные голоса, выкрики какие-то. Кто-то кого-то звал, кто-то откликался. Вначале мальчик решил, что ему показалось. Кто мог в такое время появиться на кордоне? Но и дед Момун, и бабка насторожились.

— Люди, — сказала бабка.

— Да, — неуверенно отозвался старик. А потом забеспокоился: — Откуда в такой час? — и стал торопливо одеваться.

И бабка заторопилась. Встала, лампу засветила. И мальчик, испугавшись чего-то, быстро оделся. Тем временем люди подошли к дому. Много голосов и много ног. Скрипя наметенным снегом, пришельцы загремели подошвами по веранде, забарабанили в дверь:

— Аксакал, откройте! Замерзаем!

— Кто вы?

— Свои.

Момун открыл дверь. И вместе с клубами холода, ветра и снега в дом ввалились облепленные снегом те самые молодые шоферы, которые проезжали днем в урочище Арча за сеном. Мальчик сразу узнал их. И Кулубека в бушлате, подарившего ему военный значок. Одного они вели, поддерживая под руки, он стонал, волочил ногу. И в доме сразу поднялся переполох.

— Астапралла!¹ Что с вами? — в один голос запричитали дед Момун и бабка.

— Потом расскажем! Там идут еще наши, человек семь. Как бы с дороги не сбился. А ну, садись сюда. Ногу подвернул, — быстро говорил Кулубек, усаживая стонущего парня на приступку у печи.

— Где ж они, ваши? — заторопился дед Момун. — Я сейчас пойду приведу их. А ты беги, — сказал он мальчику. — Скажи Сейдахмату, чтобы он скорей с фонарем прибежал, с электрическим.

Мальчик выскочил из дома и захлебнулся. До конца своей жизни он помнил эту грозную минуту. Какое-то косматое, холодное, свистящее чудовище схватило его за горло и начало трепать. Но он не дрогнул. Он вырвался из цепких лап и, защищая голову руками, бежал к дому Сей-

¹ Астапралла — спаси, господи.

дахмата. Тут всего шагов двадцать—тридцать, а ему казалось, что он бежит далеко, сквозь бурю, как батыр на выручку своих воинов. Сердце его преисполнялось отвагой и решимостью. Он казался себе могучим и непобедимым, и пока добежал он до дома Сейдахмата, успел совершить такие геройские подвиги, от которых дух захватывало. Он прыгал через пропасти с горы на гору, он разил мечом полчища врагов, он спасал горящих в огне и тонущих в реке, он гонялся на реактивном истребителе с развевающимся красным знаменем за косматым, черным чудовищем, убегающим от него по ущельям и скалам. Его реактивный истребитель пульей летел за чудовищем. Мальчик строчил в него из пулемета и кричал: «Бей фашиста!» И везде при этом присутствовала Рогатая Мать-олениха. Она была горда им. Когда мальчик подбегал уже к двери Сейдахматова дома, Рогатая Мать-олениха сказала ему: «А теперь спаси сыновей моих, молодых шоферов!» — «Я спасу их, Рогатая Мать-олениха, клянусь тебе!» — сказал мальчик вслух и забарабанил в дверь.

— Скорее, дядя Сейдахмат, идемте спасать наших! — Он выпалил эти слова так, что и Сейдахмат и Гульджамал отпрянули в страхе.

— Кого спасать? Что случилось?

— Дедушка сказал, чтобы с фонарем бежать, электрическим, шоферы из совхоза заблудились.

— Дурак, — обругал его Сейдахмат. — Так бы и сказал. — И кинулся собираться.

Но это несколько не обидело мальчика. Откуда было знать Сейдахмату, какие подвиги он совершил, чтобы добраться к ним, какую клятву произнес. Не очень смутился мальчик и тогда, когда узнал, что семеро шоферов были встречены дедом Момуном и Сейдахматом сразу же возле кордона и приведены домой. Ведь могло случиться и не так! Опасность легка, когда опасность миновала... В общем, нашлись и эти люди. Сейдахмат повел их к себе. Даже Орозкул пустил человек пять на ночевку — его тоже пришлось разбудить. А все остальные набились в дом к деду Момуну.

А метель в горах не утихала. Мальчик выбегал на веранду и через минуту уже не понимал — где право, где лево, где верх, где низ. Кружила, ярилась метельная ночь. Снегу навалило по колени.

И только теперь, когда все совхозные шоферы были найдены, когда они обогрелись, отошли от страха и холода, дед Момун осторожно выведал, что же случилось с ними, хотя и так было ясно, что застигла их непогода в пути. Ребята рассказывали, а старик и бабка вздыхали.

— Ой, ой-ей, — дивились они случившемуся и благодарили бога, прижимая руки к груди.

— А оделись вы, ребята, так легко, — упрекала бабка, разливая им горячий чай. — Разве можно приезжать в горы в такой одежонке. Дети вы, дети. Все красуетесь, на городских хотите походить. А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи господи? Заоченели бы, как ледышки.

— А кто же знал, что случится такое? — отвечал ей Кулубек. — За чем нам тепло одеваться? Если что, так машины у нас обогреваются изнутри. Сиди себе, как дома. Крути баранку. В самолете — вон он на какой высоте летит, эти горы сверху все равно что холмики, — за бортом мороз сорок градусов, а внутри люди в рубашках ходят...

Мальчик лежал на овчине между шоферами. Приткнулся возле Кулубека и во все уши слушал разговоры взрослых. Никто не догадывался, что он даже рад был, что приключился вдруг такой буран, заставивший этих парней искать прибежища у них на кордоне. Втайне он очень хотел, чтобы не стихал буран много дней, по крайней мере дня три.

Пусть они живут у них. С ними так хорошо. Интересно. Дед, оказывается, всех знает. Не самих, так отцов и матерей.

— Ну вот, — чуть-чуть даже горделиво говорил дед внуку, — увидел своих братьев, бугинцев. Будешь знать теперь, какие они у тебя есть. Вон какие! Ох, и рослые пошли нынешние джигиты. Дай бог вам здоровья. Помню, в сорок втором году зимой привезли нас в Магнитогорск на строительство...

И дед принялся рассказывать хорошо известную мальчику историю, как выстроили их, трудармейцев, привезенных с разных концов страны, в длинный строй по ранжиру, и оказалось, что киргизы почти все в самом конце, малорослые. Устроили им переключку, а потом перекур. Подходит к ним какой-то верзила, рыжий и здоровенный. И громко так это:

— Откуда такие? Маньчжуры?

Среди них был старый учитель. Тот и ответил:

— Мы киргизы. А когда мы воевали с маньчжурами неподалеку отсюда, то Магнитогорска тогда и в помине не было. А ростом были мы такие, как ты. Вот кончим воевать и подрастем еще...

Дед вспомнил этот давнишний случай. Посмеиваясь, довольный, оглядел еще раз своих ночных гостей.

— Прав оказался тот учитель. В городе, когда бываю, или по дороге присматриваюсь: красивый, рослый народ пошел. Не то, что в прежние времена...

Парни понимающе улыбались: любит старик побалагурить.

— Рослые-то мы рослые, — сказал один из них. — Да вот завалили машину под откос. Сколько нас, а силенок не хватило...

— Ну, куда там. Грузенная сеном, да при такой метели, — оправдывал их дед Момун. — Случается. Бог даст, завтра все уладится. Главное, чтобы ветер утих.

Парни рассказывали деду, как они приехали на верхний сенокос Арчи. Там стояли три больших скирды горного сена. Начали грузиться сразу со всех трех скирд. Укладывали возы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось опускаться на арканах. И так нагружали машину за машиной. Кабин не видно, только ветровые стекла, капоты и колеса. Хотелось, раз уж приехали, вывезти все, чтобы не возвращаться. Знали, что если останется сено, то уже до следующего года. Работали споро. Тот, чья машина была готова, отгонял ее в сторону и помогал укладывать другую. Уложили почти все сено, осталось на два воза, не больше. Перекурили, договорились, кто за кем будет держаться, и все вместе выехали колонной. Осторожно ехали, чуть не ощупью спускались с гор. Сено — груз нетяжелый, но неудобный и даже опасный, особенно в узких местах и на крутых поворотах.

Ехали и не подозревали, что ждет их впереди.

Спустились с плоскогорья Арча, потянулись ущельем, а на выходе из ущелья, под вечер уже, встретил их ураган, снег ударил.

— Такое началось, что спина сразу взмокла, — рассказывал Кулубек. — Сразу тьма, ветер такой, что баранку вырывает из рук. Боишься, вот-вот опрокинет машину. А тут еще дорога такая, что по ней и днем-то опасно...

Мальчик слушал, затаив дыхание, замерев, не спуская сияющих глаз с Кулубека. Все тот же ветер, все тот же снег, о которых шла речь, бушевали за окном. Многие шоферы и грузчики уже спали вповалку на полу, одетые, в сапогах. И все то, что они пережили, теперь заново переживал этот головастый мальчишка с тонкой шеей и оттопыренными ушами.

Через несколько минут дорога стала невидимой. Машины, как слепцы за поводья, держались одна за другую и все время сигналили, чтобы

не отбиться в сторону. Снег шел стеной, залеплял фары, «дворники» не успевали счищать со стекол наледь. Пришлось ехать, высунувшись из кабин, но разве это езда? А снег все валил и валил. Колеса стали буксовать. Колонна остановилась перед крутым подъемом. Моторы бешено ревели — все бесполезно... Машины уже не брали в гору. Выскочили из кабин и на голос друг друга, перебежками от одной машины к другой собрались в голове колонны. Как быть? Костер развести невозможно. Сидеть в кабинах — значит, сжечь остаток горючего, которого и так едва-едва хватило бы теперь до совхоза. А не отапливать кабины — запросто можно замерзнуть. Растерялись ребята. Всесильная техника стояла бесильной. Что делать? Кто-то предложил вывалить из одной машины сено и всем закопаться в нем. Но ясно было, что стоит только развязать воз, как от сена не останется и клочка: унесет буря — и глазом не успеешь моргнуть. А машины тем временем все больше заносило снегом, уже сугробы намело под колесами. Совсем растерялись ребята, заledenели на ветру.

— И вдруг вспомнил я, аксакал,— рассказывал Кулубек деду Момуну,— что встретил на дороге, когда ехали мы на Арчу, вот его, младшего брата-бугинца,— указал он на мальчика и ласково погладил его по голове.— Бегал у дороги. Остановился я. Как же — поздоровался. Поговорили мы. Правда? Ты чего не спишь?

Мальчик, улыбаясь, кивнул головой. Но если бы знал кто, как горячо и гулко заколотилось его сердце от радости и гордости. Сам Кулубек говорил о нем. Самый сильный, самый смелый и самый красивый среди этих парней. Вот бы таким стать.

И дед похвалил его, подсовывая в огонь дрова:

— Он у нас такой. Любит слушать разговоры. Видишь, уши как развесил!

— И как я вспомнил о нем в ту минуту, сам не знаю,— продолжал Кулубек.— И говорю ребятам, кричу почти, ветер глушит слова. Давай, говорю, добираться до кордона. Иначе погибнем здесь. А как, кричат мне ребята в лицо, как добираться? Пешком не дойдем. И машины бросать нельзя. А я им: давай, говорю, выталкивать машины на гору, а там дорога идет на спуск. Нам бы только до Сан-Ташской пади, говорю, а там пешком доберемся к нашим лесникам, там недалеко. Поняли ребята. Давай, говорят, командуй. Ну, раз такое дело... Начали с головной машины: «Осмоналы, залезай в кабину!» А все мы, сколько нас было, подперли машину плечом. И пошел! Сначала вроде двинулось дело. Потом выдохлись. И назад отступать нельзя. И чудилось, что не машину мы прем наверх, а целую гору. Воз-то какой — скирда на колесах! И знаю только, что ору сколько мочи есть: «Давай! Давай! Давай!», но сам себя не слышу. Ветер, снег, не видать ничего. Машина воеет, плачет, как живая. Из последних сил взбирается. И мы тут. И сердце, кажется, лопнет, разлетится, кажется, на куски. В голове мутится...

— Ай, ай, ай,— сокрушался дед Момун.— Выпало же вам такое. Никак сама Рогатая Мать-олениха оберегла вас, детей своих. Вызволила. А не то, кто знает... Слышишь? И не утихает на дворе, все крутит, метет.

Глаза мальчика слипались. Он заставлял себя не спать, а веки сно-ва слипались. И в полусне, слушая урывками разговор старика и Кулубека, мальчик путал явь с воображаемыми картинками. Ему казалось, что он тоже там, среди этих молодых парней, застигнутых бураном в горах. Перед его взором крутая дорога, восходящая на белую-белую заснеженную гору. Метель жгла щеки. Глаза резало. Они толкали вверх огромную, с дом, автомашину с сеном. Медленно, очень медленно поднимались они по дороге. А грузовик уже не идет, сдает, пятится. Так страшно. Так темно. Ветер такой жгучий. Мальчик от страха сжимался, боясь, что ма-

шина сорвется и раздавит их. Но тут откуда-то появилась Рогатая Мать-олениха. Она уперлась рогами в машину, стала помогать им, толкать ее наверх. «Давай, давай, давай!» — закричал мальчик. И машина пошла, пошла. Вылезли на гору, и машина поехала вниз сама. А они тащили наверх вторую, а потом третью и еще много машин. И каждый раз им помогала Рогатая Мать-олениха. Ее никто не видел. Никто не знал, что она рядом с ними. А мальчик — видел и знал. Он видел, как всякий раз, когда становилось невмоготу, когда становилось страшно, что сил не хватит, подбегала Рогатая Мать-олениха и рогами помогала им выкатить машину наверх. «Давай, давай, давай!» — подхватывал мальчик. И все время он был рядом с Кулубеком. Потом Кулубек сказал ему: «Садись за руль». Мальчик сел в кабину. Машина дрожала и гудела. И руль крутился в руках сам по себе, свободно, как обруч с бочки, которым он играл в автомобиль еще малышом. Стыд испытывал мальчик, что руль у него оказался такой, игрушечный. И вдруг машина стала крениться, падать набок. И упала с грохотом, и разбилась. Мальчик громко заплакал. Очень стыдно стало. Стыдно было смотреть в глаза Кулубека.

— Ты чего? Ты чего, а? — разбудил его Кулубек.

Мальчик открыл глаза. И обрадовался, что все это оказалось сном. А Кулубек поднял его на руки, прижал к себе.

— Приснишься? Испугался? Эх ты, а еще герой! — Он поцеловал мальчика жесткими, обветренными губами. — Ну, давай я тебя уложу, спать надо.

Он уложил мальчика на полу, на кошке, среди спящих шоферов, и сам лег рядом с ним, придвинул его поближе к себе, под бок, и открылся полой бушлата.

Рано утром мальчика разбудил дед.

— Проснись, — тихо сказал старик. — Оденься потеплее. Поможешь мне. Вставай.

За окном мутно просвечивал утренний полумрак. В доме все еще спали вповалку.

— На, обуь валенки, — сказал дед Момун. От деда пахло свежим сеном. Значит, он уже задал корм лошадям. Мальчик влез в валенки, и они с дедом вышли во двор. Снегу намело изрядно. Но ветер поутих. Изредка только пошевеливалась поземка.

— Холодно! — вздрогнул мальчик.

— Ничего. Вроде развидняется, — пробурчал старик. — Надо же! С первого раза как закрутило. Ну да ладно, лишь бы бедой не обернулось...

Они вошли в хлев, где стоял пяток момуновских овец. Старик нашарил на столбе фонарь, зажег его. Овцы оглянулись в углу, заперхали.

— Держи, будешь мне светить, — сказал старик мальчику, передавая ему фонарь. — Зарежем черную ярку. Гостей полон дом. Пока встанут, мясо чтобы было у нас готово.

Мальчик светил фонарем деду. Еще посвистывал ветер в щелях, еще холодно и сумрачно было на дворе. Старик вначале бросил у входа охапку чистого сена. Привел на это место черную ярку и, прежде чем повалить ее, связать ноги, призадумался, присел на корточки.

— Поставь фонарь. Садись и ты, — сказал он мальчику. А сам зашептал, раскрыв ладони перед собой: — О, великая прародительница наша, Рогатая Мать-олениха. Приношу тебе в жертву черную овцу. За спасение детей наших в час опасный. За белое молоко твое, которым ты вскормила наших предков, за доброе сердце твое, за материнское око. Не покидай нас на перевалах, на бурных реках, на скользких тропах. Не покидай нас вовеки на нашей земле, мы твои дети. Аминь!

Он молитвенно провел ладонями по лицу, вниз от лба к подбородку. Мальчик сделал то же. И тогда дед повалил овцу на землю, связал ей ноги. Вынул из ножен свой старый азиатский нож.

А мальчик светил ему фонарем.

Погода утихомирилась наконец. Раза два испуганно проглянуло солнце сквозь разрывы бегущих туч. Кругом лежали следы прошлой бурной ночи: сугробы вкривь и вкось, смятые кусты, согнувшиеся в дугу от тяжести снега молодые деревца, поваленные старые деревья. Лес за рекой стоял молчаливый, тихий, какой-то подавленный. И сама река точно бы ушла ниже, берега ее наросли снегом, стали круче. Вода шумела тише.

Солнце оставалось неустойчивым — то проглянет, то скроется. Но ничто не омрачало и не тревожило душу мальчика. Тревоги прошлой ночи забылись, буран забылся, а снег ему не мешал — так даже интересней. Носился туда-сюда, только комья летели из-под ног. Ему было весело оттого, что в доме полно народу, оттого, что парни выспались, громко говорили, смеялись, оттого, что с аппетитом ели сваренную для них баранину.

Тем временем и солнце стало налаживаться. Чище и дольше светило. Тучи понемногу рассеивались. И даже потеплело. Неурочный снег стал быстро оседать, особенно на дороге и тропах.

Правда, мальчик заволновался, когда шоферы и грузчики стали собираться в дорогу. Вышли все во двор, попрощались с хозяевами кордона, поблагодарили за кров и хлеб. Их провожали на лошадях дед Момун и Сейдахмат. Дед вез вязанку дров, а Сейдахмат — большой оцинкованный бак, чтобы греть воду для застывших моторов.

Все двинулись со двора.

— Ата, и я пойду, возьми меня, — подбежал мальчик к деду.

— Ты же видишь, я везу дрова, а Сейдахмат везет бак. Некому тебя взять. И зачем тебе туда? Устанешь ходить по снегу.

Мальчик обиделся. Надулся. И тогда его взял с собой Кулубек.

— Пошли с нами, — сказал он и взял его за руку. — Назад поедешь с дедом.

И они пошли на развилку — туда, куда спускалась дорога с сенокоса Арча. Снегу лежало еще порядочно. Не так просто оказалось поспевать в шаг с этими крепкими парнями. Мальчик стал уставать.

— Ну-ка, давай садись ко мне на спину, — предложил Кулубек. Он ловко взял мальчика за руку и ловко вскинул его к себе за плечи. И понес его так привычно, словно каждый день носил его на спине.

— Здорово это получается у тебя, Кулубек, — сказал шофер, идущий рядом.

— А я всю жизнь братьев и сестер носил, — похвалился Кулубек. — Я ведь старший, а нас было шестеро, мать на работе в поле, отец тоже. А теперь у сестер уже дети. Вернулся я из армии холостой, на работу еще не поступал. А сестренка — та, что старшая, — приезжай, говорит, к нам, живи у нас, ты так хорошо нянчишь детей. Ну, нет, говорю ей, хватит, я теперь своих буду носить...

Так они шли, поговаривая о разном. Хорошо и покойно было мальчику ехать на крепкой спине Кулубека.

«Вот был бы у меня такой брат, — мечтал он. — Я бы никого не боялся. Попробовал бы Орозкул накричать на деда или тронуть кого, сразу притих бы, если б Кулубек глянул на него построже».

Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли, оказалось, километрах в двух выше развилки. Занесенные снегом, они походили на зимние стога в поле. Казалось, никто и никак не сдвинет их с места.

Но вот разложили костер. Нагрели воду. Стали заводить мотор заводной ручкой, и мотор ожил, зачихал, заработал. А дальше дело пошло быстрее. Каждую следующую машину заводили с буксира. Каждая заведенная, разогретая машина тащила затем ту, которая стояла за ней в колонне.

Когда все грузовики заработали, подняли двойным буксиром ту машину, которая завалилась ночью в кювет. Все, кто был, помогали ей вылезть на дорогу. И мальчик тоже примостился с краешка, тоже помогал. Он все время опасался, что кто-нибудь скажет: «А ты чего путаешься под ногами? А ну, беги отсюда!» Но никто не сказал этих слов, никто не прогнал его. Может быть, потому, что Кулубек разрешил ему помогать. А он здесь самый сильный, и его все уважают.

Шоферы еще раз попрощались. Машины тронулись. Сначала медленно, потом быстрее. И потянулись караваном по дороге среди заснеженных гор. Уехали сыновья сыновей Рогатой Матери-оленихи. Они не знали, что волей детского воображения впереди них по дороге невидимо бежала Рогатая Мать-олениха. Длинными, стремительными прыжками неслась она впереди автоколонны. Она охраняла их от бед и несчастий на трудном пути. От обвалов, от снежных лавин, от пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие века кочевой жизни киргизы натерпелись столько беды. Разве не об этом просил дед Момун Рогатую Мать-олениху, принося ей в жертву черную овцу на рассвете?

Уехали. А мальчик тоже уезжал вместе с ними. Мысленно. Он сидел в кабине рядом с Кулубеком. «Дядя Кулубек,— говорил он ему.— А впереди нас бежит по дороге Рогатая Мать-олениха». — «Да ну?» — «Правда. Честное слово. Вот она!»

— Ну ты чего задумался? Что стоишь? — заставил его очнуться дед Момун.— Садись, домой пора.— Он наклонился с лошади, поднял мальчика на седло.— Тебе холодно? — сказал старик и потеплей укутал внука полами шубы.

Мальчик тогда еще не ходил в школу.

А теперь, просыпаясь по временам от тяжелого сна, он с беспокойством думал: «Как же я пойду завтра в школу? Ведь я заболел, мне так плохо...» Потом он забывался. Ему казалось, что он переписывает в тетрадь слова, написанные учительницей на доске: «Ат. Ата. Така»¹. Этими письменами первоклассника он заполнял всю тетрадь, страницу за страницей. «Ат. Ата. Така. Ат. Ата. Така». Он уставал, в глазах рябило и становилось жарко, очень жарко, мальчик открывался. А когда лежал открытым и мерз, опять посещали его разные видения. То он плавал рыбой в студеной реке, плыл к белому пароходу и никак не мог доплыть. То попадал в снежную метель. В дымном холодном вихре буксовали автомашины с сеном на крутой дороге в гору. Машины рыдали, как рыдают люди, и все буксовало на месте. Колеса, бешено вращаясь, становились огненно-красными. Колеса горели, пламя шло от колес. Упираясь рогами в кузов, Рогатая Мать-олениха выкатывала машину с возом сена на гору. Мальчик помогал ей, старался изо всех сил. Обливался горячим потом. И вдруг воз сена превратился в детскую колыбель. Рогатая Мать-олениха сказала мальчику: «Побежали быстрее, отнесем бешик тетке Бекей и дяде Орозкулу». И они пустились бежать. Мальчик отстал. Но впереди, в темноте, все звенел и звенел колыбельный колокольчик. Мальчик бежал на его зов.

Он проснулся, когда послышались шаги на веранде и скрипнула дверь. Дед Момун и бабка вернулись как будто немного успокоенные.

¹ Ат, ата, така — лошадь, отец, подкова.

Приезд посторонних на кордон, видимо, заставил Орозкула и тетку Бекей приутихнуть. А может быть, Орозкул устал пьянствовать и уснул наконец. На дворе не слышно было ни криков, ни ругани.

Около полуночи луна встала над горами. Она зависла туманным диском над самой высокой ледяной вершиной. Гора, окованная вечным льдом, высилась во мраке, призрачно поблескивая неровными гранями. А вокруг в полном безмолвии пребывали подножные горы, скалы, черные и неподвижные леса, и в самом низу билась и шумела река на камнях.

В окно косым потоком падал неверный свет луны. Этот свет мешал мальчику. Он ворочался, жмурил глаза. Хотел попросить бабушку, чтобы она занавесила окно. Но не стал: бабушка была сердита на деда.

— Дурак,— шептала она, ложась спать.— Если не знаешь, как жить с людьми, то хоть бы уж помалкивал. Слушался бы других. Ты же у него в руках. Жалованье идет тебе от него, пусть грошовое. Зато каждый месяц. А без жалованья — кто ты есть? Стар, а ума не нажил...

Старик не отвечал. Бабушка умолкла. Потом вдруг, неожиданно громко сказала:

— Если у человека отбирают жалованье, он уже не человек. Он никто.

И опять старик ничего не ответил.

А мальчик не мог уснуть. Голова болела, и мысли мешались. О школе думал — тревожился. Он еще ни разу не пропустил ни одного дня и теперь не представлял себе, как быть, если завтра не сможет поехать в свою школу в Джелесеае. Думал мальчик и о том, что если Орозкул выгонит деда с работы, то бабушка житья не даст старику. Как им быть тогда?

Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, и такие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет? Почему одни люди могут не выдавать жалованье другим? Наверное, самые лучшие люди те, которые получают самое большое жалованье. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалованья? Может быть, тогда и Орозкул начал бы уважать деда.

От этих мыслей голова мальчика разбалчивалась все больше. Опять вспомнил он про маралов, виденных под вечер у брода за рекой. Как-то им там ночью? Одни ведь они в холодных и каменных горах, в черном, непроглядном лесу. Страшно ведь очень. А вдруг волки нападут, что тогда? Кто принесет тетке Бекей волшебную колыбель на рогах?

Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял Рогатую Мать-олениху принести березовый бешик для Орозкула и тетки Бекей. «Пусть будут у них дети, пусть будут у них дети», — заклинал он Рогатую Мать-олениху. И слышал отдаленный звон колыбельного колокольчика. Спешила Рогатая Мать-олениха, подцепив на рога волшебную колыбель...

VII

Рано утром мальчик проснулся от прикосновения руки. Рука деда была холодная, с улицы. Мальчик невольно поежился.

— Лежи, лежи.— Дед согрел руки дыханием, пощупал его лоб, потом положил ладонь на грудь, на живот.— Да ты никак занемог,— огорчился дед.— Жар у тебя. А я думаю, что он лежит? В школу пора.

— Я сейчас, я встану,— приподнял голову мальчик, и все закурилось у него перед глазами и в ушах зашумело.

— И не думай вставать.— Дед уложил мальчика на подушку.— Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.

Мальчик попытался настоять на своем:

— Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу...

— Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай покажи язык.

Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика. Долго искал пульс: задубелые от грубой работы, жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки сердца в горячей, потной руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес:

— Бог милостив. Ты просто застудился немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня лежи в постели, а перед сном натру я тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь и, бог даст, встанешь наутро, как дикий кулан.

Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, Момун помрачнел, сидя у постели внука, вздохнул и призадумался.

— Бог с ним,— прошептал со вздохом.— Это когда же ты заболел? Что ж ты молчал? — обратился он к мальчику.— Вечером, что ли?

— Да под вечер. Когда увидел маралов за рекой. Я прибежал к тебе. А потом мне стало холодно.

Старик сказал почему-то виноватым голосом:

— Ну, ладно... Ты лежи, а я пойду.

Он поднялся, но мальчик задержал его:

— Ата, а там сама Рогатая Мать-олениха, да? Та, что белая, как молоко, глаза вот такие, смотрит, как человек...

— Дурачок ты,— осторожно улыбнулся старик Момун.— Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и она,— сказал он глухо,— пречудная Мать-олениха, кто знает?.. Я вот думаю...

Старик не договорил. В дверях появилась бабка. Она спешила со двора, она уже что-то разведала.

— Иди, старик, туда,— с порога заговорила бабка. Дед Момун сразу сник при этом, стал жалким, пришибленным.— Там они хотят вывончье бревно из реки машиной,— говорила бабка.— Так ты иди, делай все, что прикажут... Ох ты, боже мой, молоко-то еще не кипяченое,— спохватилась бабка и принялась разжигать плиту, греметь посудой.

Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать. Но бабка не дала ему рта раскрыть.

— Ну ты, чего уставился? — возмутилась бабка.— Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну кто ты есть такой против них? К Орозкулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь, так десять бревен увезет по горам. А Орозкул на нас и не глядит даже. Как я ни уговаривала, как ни унижалась. Дочь твою не пустил на порог. Сидит неродиха твоя у Сейдахмата. Глаза повыплакала. И прокликает она тебя — отца своего безмозглого...

— Ну, хватит,— не стерпел старик и, направляясь к двери, сказал:— Молока дай горячего, заболел вон мальчонка.

— Дам, дам молока горячего, иди, иди, ради бога.— И, выпроводив старика, она еще бурчала: — И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил, тише воды, ниже травы был, и на тебе вдруг. Да еще на коня орозкуловского вскочил, да еще поскакал. И все это из-за тебя,— стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика.— Было бы за кого на рожон лезть...

Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленным маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, принуждала:

— Пей, пей погорячее, не бойся. Простуду только горячим выгонишь.

Мальчик обжигался, слезы выступили у него на глазах. И бабка вдруг подобрела:

— Ну, остуди, остуди немного... И надо же, приболел ты у нас в такое время! — вздохнула она.

Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он встал, чувствуя во всем теле какую-то странную, сладкую слабость. Но бабка упредила:

— Ты что, писать хочешь?

— Да,— признался мальчик.

— Постой, сейчас.

Она принесла ему тазик.

Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик, удивляясь тому, что моча такая желтая и горячая.

Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Голова болела меньше.

Мальчик лежал в постели спокойно, благодарный бабке за ее услугу, и думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех маралах, появившихся у них в лесу, о том, что белая матка маралья — это и есть сама Рогатая Мать-олениха, что с ней телок, большой уже и крепкий, и с ними здоровенный бурый марал с огромными рогами, что он сильный и охраняет от волков Рогатую Мать-олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если маралы останутся у них и никуда не уйдут, то Рогатая Мать-олениха скоро принесет дяде Орозкулу и тетке Бекей волшебную колыбель.

* * *

А маралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок.

Пробираясь между деревьями, маралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток. Они шли в том же порядке — впереди самец-рогач, посредине телок и последней — крутобокая матка, Рогатая Мать-олениха. Маралы шли по той же тропе, по которой вчера Орозкул с дедом Момуном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черноземе еще свежей, пропаханной бороздой с рваными клочьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно.

Маралы направлялись к этому месту потому, что оно удобно для водопоя. Орозкул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Момун неуверенно шел позади всех, понурился голову. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать. Допустит ли Орозкул его к работе? Не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно? А что, если скажет: «А тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы!» Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика, он шел, как на пытку, и все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но по сути она конвоировала старика. Она гнала Расторопного Момуна на примирение с Орозкулом, на то, чтобы он заслужил у Орозкула прощение.

Орозкул ступал важно, по-хозяйски. Шел, отдуваясь, посапывая и строго поглядывая по сторонам. И хоть болела с перепоя голова, он испытывал мстительное удовлетворение. Оглянувшись, он увидел, как семенил следом дед Момун, точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты еще у меня не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место. Ты еще сам повалишься мне в ноги,— злорадствовал Орозкул, вспоминая, как истощным криком орала прошлой

ночью у его ног жена, когда он пинал ее, когда гнал ее пинками с порога. — Пусть. Вот отправлю этих с бревнами, я их еще сведу, пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза повыдерет. Озверела, как волчица», — думал Орозул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком.

Человека этого звали Кокетай. То был дюжий черный мужик, колхозный счетовод с приозерья. С Орозулом давно вел дружбу. Лет двенадцать тому назад построил Кокетай себе дом. Орозул помог лесом. Продал по дешевке кругляки на распиловку досок. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Орозул снабдил его бревнами. Теперь Кокетай отделял младшего сына, и опять потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг выручал, Орозул. Беда, как трудна жизнь! Одно сделаешь — ну, думаешь, теперь спокойно проживу. А н жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Орозул, теперь не обойдешься...

— Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу, — говорил Кокетай Орозулу.

Тот пыхтел самодовольно, папиросой дымил.

— Спасибо. Когда зовут, не отказываемся, а не зовут — не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас: а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать? Главное, через свохоз незамеченным проехать. А не то, если засекут...

— Оно-то верно, — заколебался Кокетай. — Да долго ждать до вечера. Выедем потихоньку. Поста ведь нет на дороге, чтобы проверить нас?.. Случайно, если наткнешься на милицию или на кого еще...

— То-то и оно, — пробурчал Орозул, морщась от изжоги и головной боли. — Сто лет ездись по делам, и ни одна собака по дороге не встретится, а лес повезешь раз в сто лет и влипнешь. Это всегда так...

Они замолчали, каждый думая о своем. Орозул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера бросить бревно в реке. А не то был бы лес готов, погрузили бы его еще ночью и на рассвете отправили бы машину с глаз долой... Эх, и угораздило же вчера случиться такому делу! Это все старый дурень Момун, бунтовать решил, из-под власти хотел уйти, из подчинения. Ну ладно же! Что-что, а это тебе не пройдет так просто...

Маралы пили воду, когда люди пришли к реке на противоположный берег. Странные существа эти люди — суетливые, шумливые. Занятые своими делами и разговорами, они и не замечали животных, стоящих напротив, через реку.

Маралы стояли в красных, утренних кустах речного тугая, войдя по щиколотку в воду, на чистом донном галечнике прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками, не торопясь, с перерывами. Вода была ледяная. А солнце пригревало сверху все горячее и приятней. Утоляя жажду, маралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спин маралов. Покойное и благостное было утро того дня.

А люди так и не замечали маралов. Один из них вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, маралы чутко улавливали доносившиеся до них изредка голоса и замерли, вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела, рокотала. Маралы шевельнулись, решили уйти. Но машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили. Все же они осторожно двинулись с места — люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались.

Маралы тихонько пошли тропкой в мелком тугае, их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь тогда, когда маралы стали пересекать открытую прогалину сухо-го, паводкового песка, люди увидели их как на ладони. На сиреневом

песке, в ярком солнечном освещении. И застыли с разинутыми ртами, в разных позах.

— Смотри, смотри, что такое! — первым вскричал Сейдахмат. — Олени! Откуда они здесь?

— Что кричишь, что шумишь! Какие тебе олени, маралы то. Мы их вчера еще видели, — небрежно изрек Орозкул. — Откуда они? Пришли, стало быть.

— Пай, пай, пай! — восхищался дюжий Кокетай и от возбуждения расстегнул душивший его ворот рубашки. — А гладкие какие, — восхитился он, — отъелись...

— А матка-то какая! Смотри, как ступает, — вторил ему шофер, вытаращив глаза. — Ей-богу, с кобылицу-двухлетку. Первый раз вижу.

— А бык-то! Рожьца-то, смотри! Как только он их носит. И не боятся ничего. Откуда они такие, Орозкул? — допытывался Кокетай, с вождением поблескивая свинными глазками.

— Заповедные, видать, — ответил Орозкул важно, с чувством хозяйского достоинства. — Из-за перевала пришли, с той стороны. А не боятся? Непуганые, вот и не боятся.

— Эх, ружье бы сейчас! — ляпнул вдруг Сейдахмат. — Мяса центнера на два потянет, а?

Момун, до сих пор робко стоявший в сторонке, не утерпел:

— Да что ты, Сейдахмат. Охота на них запрещена, — сказал он негромко.

Орозкул искоса метнул на старика хмурый взгляд. «Ты еще у меня тут голос подаешь!» — подумал он с ненавистью. Хотел обругать его так, чтобы напавал убить, но сдержался. Все же посторонние присутствовали.

— Нечего попусту поучать, — раздраженно проговорил он, не глядя на Момуна. — Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем. Ясно? — грозно глянул он на растерявшегося старика.

— Ясно, — покорно ответил Момун и, опустив голову, отошел в сторону. Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав.

— Ты бы уж молчал, — прошипела она укоризненно. Все как-то пристыженно потупились.

Снова принялись смотреть вслед уходящим по крутой тропинке животным. Маралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога, за ним комолый телок, и замыкала это шествие Рогатая Мать-олениха. На фоне чистого глинистого сброса маралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их был на виду.

— Эх, красота какая! — не удержался от восторга шофер, лупоглазый молодой парень, очень смирный с виду. — Жаль, что не захватил фотоаппарата, вот было бы...

— Ну, ладно, красота, — недовольно перебил его Орозкул. — Нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай, подгони машину задом к берегу, прямо в воду, с краю чтобы. А ты, Сейдахмат, разувайся, — распорядился он, упиваясь в душе своей властью. — И ты, — указал он шоферу. — И дайте цепляйте трос к бревну. Да поживей. Дело еще будет.

Сейдахмат принялся стаскивать с ног сапоги. Они ему были тесноваты.

— Что смотришь, помоги ему, — тычком незаметным толкнула старика бабка. — И разувайся, сам лезь в воду, — подсказывала она злобным шепотком.

Дед Момун кинулся стаскивать сапоги с Сейдахмата и сам быстренько разулся. Тем временем Орозкул с Кокетаем командовали машиной:

- Давай сюда, сюда давай.
- Левее немного, левее. Вот так.
- Еще немножко.

Заслышав внизу непривычный шум машины, маралы на тропе убыстрили шаг. Тревожно оглядываясь, выскочили на обрыв и скрылись в берегах.

— О, исчезли!..— спохватился Кокетай. Он воскликнул это с сожалением, точно из рук добыча ушла.

— Ничего, никуда они не денутся! — отгадывая его мысли и довольный этим, хвастался Орозкул.— Сегодня до вечера не уедешь, будешь моим гостем. Сам бог велит. Попотчую я тебя на славу.— И хохотнув, хлопнул друга по плечу. Орозкул мог быть и веселым.

— Ну, коли так, как велишь — ты хозяин, я гость,— покорился дюжий Кокетай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы.

Машина стояла уже на берегу, задними колесами в воде, в полколеся. Глубже заехать шофер не рискнул. Теперь предстояло протаскать трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляло.

Трос был стальной — длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разувался неохотно, с опаской поглядывал на воду. Он еще не решил окончательно: стоит ли лезть в реку в сапогах или лучше будет разувшись. «И пожалуй, лучше босиком,— думал он.— Все равно вода залетит за голенища. Глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви». Но он также представлял себе и то, какая, должно быть, холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Момун.

— Ты не разувайся, сынок,— подскочил он к нему.— Мы одни пойдем с Сейдахматом.

— Да не стоит, аксакал,— возразил, смутившись, шофер.

— Ты гость, а мы здешние, ты садись за руль,— уговорил его дед Момун.

И когда они с Сейдахматом, продев кол в моток стального троса, потащили его по воде, Сейдахмат возопил благим матом:

— Ай, ай, лед, а не вода!

Орозкул с Кокетаем посмеивались снисходительно, подбадривали его:

— Терпи, терпи! Найдем, чем согреть тебя!

А дед Момун не издал ни звука. Он даже не почувствовал ледящего холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля бога лишь об одном — чтобы Орозкул не вернул его, чтобы не прогнал, чтобы не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика...

И Орозкул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Момуна, не считая его за человека. А в душе торжествовал, что все же сломил взбунтовавшегося старика. «Так-то,— ехидно посмеивался Орозкул про себя.— Приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог. Не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалуются: председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством, как ровня. Дураки, власти недостойные! Разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко, головы летели, и никто ни звука. Наоборот, больше любили, больше воспевали. Вот это было да! А что теперь? Самый никудышный из никудышных и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня, поползай»,— злорадствовал Орозкул, поглядывая изредка в сторону старика Момуна.

А тот, бредя по ледяной воде, скорчившись, тащил трос вместе с Сейдахматом и довольствовался тем, что Орозкул, кажется, простил его. «Ты уж прости меня, старого, что так получилось,— мысленно обращался он к Орозкулу.— Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он и в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы бог дал, если бы услышал я крик новорожденного жены твоей, моей дочери,— не сойти мне с места, пусть бог тут же возьмет мою душу, клянусь, от счастья плакал бы. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать — так пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю. Ты только скажи...»

Стоя в сторонке на берегу, бабка жестами и всем видом своим говорила старику: «Старайся, старик! Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится».

* * *

Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрехотал выстрел. И снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей и болезнью, сегодня он спал глубоким и спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жара, ни озноба. Он проспал бы, наверно, очень долго, если бы не бабка с теткой Бекей. Они старались говорить вполголоса, но загремели посудой, и мальчик проснулся.

— Держи вот большую чашку. И блюдо возьми,— оживленно шептала бабка в передней комнате.— А я понесу ведро и сито. Ох, поясница моя. Замаялась. Столько работы сделали. Но, слава богу, я так рада.

— Ой, не говори, энеке, и я так рада. Вчера умереть готова была. Если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя.

— Скажешь еще,— урезонила бабка.— Перцу взяла? Пошли. Сам бог послал дар свой на примирение ваше. Пошли, пошли.

Выходя из дома, уже с порога, тетка Бекей спросила бабку про мальчика:

— А он все спит?

— Пусть поспит пока,— ответила бабка.— Как будет готово, принесем ему шурпы погорячей.

Мальчик больше не уснул. Со двора слышались шаги и голоса. Тетка Бекей смеялась, а Гульджамал и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. «Это, наверно, те люди, которые приехали ночью,— решил мальчик.— Значит, они еще не уехали». Не слышно, не видно было только деда Момуна. Где он? Чем занят?

Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о маралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима. Надо бы им сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? Телка-мараленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним?..

Мальчик ждал деда, но тот не появлялся. А пришел вдруг Сейдахмат. Очень довольный чем-то. Веселый. Сейдахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной, резкий запах, напоминавший о самодурстве Орозкула, о страданиях деда и тетки Бекей. Но в отличие от Орозкула Сейдахмат, когда напивался, добрел, веселел и вообще становился каким-то безобидно-глуповатым, хотя он и трезвый-то не отли-

чался умом. Между ним и дедом Момунем происходил в подобных случаях примерно такой разговор:

— Что усмехаешься, как дурачок, Сейдахмат? И ты надрался?

— Аксакал, я тебя так люблю. Честное слово, аксакал, как отца родного.

— Э-эх, в твои-то годы... Другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы по крайней мере на тракторе сидел бы.

— Аксакал, в армии командир мне сказал, что я неспособен по этой части. Зато я пехота, аксакал, а без пехоты — ни туды и ни сюды...

— Пехота! Лодырь ты, а не пехота. А жена у тебя... У бога глаз нет. Сто таких, как ты, не стоят одной Гульджамал.

— Потому мы и здесь, аксакал,— я один и она одна.

— Да что с тобой говорить... Здоровый, как бык, а ума...— Дед Момун безнадежно махал рукой.

— Му-у-у,— мычал и смеялся вслед ему Сейдахмат.

И потом, остановившись посреди двора, запевал свою странную, невесть где услышанную песню:

С рыжих-рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце.
Эй, рыжий купец, открывай двери,
Будем пить рыжее вино.

С бурых-бурых гор
Я приехал на буром быке.
Эй, бурый купец, открывай двери,
Будем пить бурое вино...

И так могло продолжаться бесконечно, ибо приезжал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе, на всем, что могло передвигаться. Пьяный Сейдахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый.

И потому, когда появился подвыпивший Сейдахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему.

— Ха! — воскликнул Сейдахмат удивленно. — А мне сказали, что ты болеешь. Да ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Так не пойдет. — Он повалился к нему на постель и, обдавая его спиртным духом и запахом сырого, парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика.

— Ну, хватит, дядя Сейдахмат,— попросил мальчик. — А где дедушка, ты не видел его?

— Дед твой там, это самое,— Сейдахмат неопределенно покрутил руками в воздухе. — Мы это... Бревно вытаскивали из воды. Ну и выпили для согрева. А сейчас он, это самое, мясо варит. Ты вставай. Давай одевайся — и пошли. Как же так! Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь.

— Дедушка не велел мне вставать,— сказал мальчик.

— Да брось ты, не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру! Вставай.

С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика.

— Я сам,— пробовал отказаться мальчик, испытывая смутные приступы головокружения. Но пьяный Сейдахмат не слушал его. Он считал, что делает благо, поскольку мальчика бросили одного дома, а сегодня такой день, когда и чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру...

Пошатываясь, мальчик вышел вслед за Сейдахматом из дома. День в горах стоял ветреный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась — от нестерпимо яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра, в лицо ударил дым костра. Глаза щипало. «Стирают, наверно, сегодня белье»,— подумал мальчик, потому что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки, когда воду грели на все три дома в громадном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь. Тетка Бекей и Гульджамал поднимали его вдвоем.

Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом очаге,— побаловаться можно с огнем, не то что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие, красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке, касаться щекой влажной ткани.

В этот раз никакого белья во дворе не было. А огонь под казаном разложили сильный — пар густо валил из кипящего казана, до краев наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось: мясной дух и запах костра защекотали обоняние, вызывая во рту слюну. Тетка Бекей, в новом красном платье, в новых хромовых сапогах, в цветистом полushалке, сбившемся на плечи, наклонившись над котлом, снимала поварешкой пену, а дед Момун, стоя подле нее на коленях, ворочал горящие поленья в очаге.

— Вон он, твой дед,— сказал Сейдахмат мальчику.— Пошли.

И сам только было затынул:

С рыжих-рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце,—

как из сарая высунулся Орозкуд, бритоголовый, с топором в руке, с засученными рукавами рубашки.

— Ты где пропадаешь? — грозно окликнул он Сейдахмата.— Гость тут дрова рубит,— кивнул он на шофера, коловшего поленья,— а ты песни поешь.

— Ну, мы это в два счета,— успокоил его Сейдахмат, направляясь к шоферу.— Давай, браг, я сам.

А мальчик приблизился к деду, стоявшему на коленях подле очага. Он подошел к нему сзади.

— Ата,— сказал он.

Дед не слышал.

— Ата,— повторил мальчик и тронул деда за плечо. Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если и случалось такое, то разве где-нибудь на поминках иссык-кульских стариков, где водку подносят всем, даже женщинам. Но чтобы так просто — этого еще не случалось с дедом.

Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горячим и красным и, когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги.

— Ты что, а? — глухо сказал он, прижимая к себе внука.— Ты что, а? Ты что? — И, кроме этих слов, он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи. Его волнение передалось мальчику.

— Ты заболел, ата? — с тревогой спросил он.

— Нет-нет. Я так просто,— пробормотал дед Момун.— Ты иди, походи немного. А я тут дрова, это самое...

Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и не оглядывался, никуда не смотрел, занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдахмату, колдовшему дрова.

Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И лишь подойдя поближе к сараю, он обратил внимание на большую грудку красного свежего мяса, наваленного кучей на шкуру, разостланную по земле волосом вниз. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поодаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака, урча, мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый, огромный темнолицый человек. То был Кокетай. Он и Орозкул с ножами в руках разделявали мясо. Спокойно, не торопясь, перекидывали они расчлененные мослы с мясом в разные места на растянутой шкуре.

— Удовольствие одно! А запах какой! — говорил басом черный дюжий мужик, принюхиваясь к мясу.

— Бери, бери, бросай в свою кучу, — щедро предлагал ему Орозкул. — Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.

Орозкул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживал свой тугий живот, точно он объелся чего-то, и сразу было заметно, что он уже крепко выпил. Задыхался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости.

Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стенами сарая рогатую маралью голову. Отсеченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами стекшей крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах.

Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова Рогатой Матери-оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную, мертвую голову белой маралицы. Той самой, что вчера еще была Рогатой Матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову.

Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не соображая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделявал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику.

— На, мальчик, изжарь на углях, вкусно будет, — сказал он.

Мальчик не шевелился.

— Возьми! — приказал Орозкул.

Мальчик протянул, не чуя, руку свою и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку Рогатой Матери-оленихи. А Орозкул тем временем поднял за рога голову белой маралицы.

— Ох и тяжелая, — покачал он ее на весу, — рога одни сколько весят.

Он пристроил голову боком на колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа.

— Ай да рога! — приговаривал он, с хрястом всаживая острие топора в основание рогов. — Это мы деду твоему. — Он подмигнул мальчику. — Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что

мы его не уважаем. Куда больше! За такие рога не грех хоть сегодня помереть! — хохотнул он, нацеливаясь топором.

Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Орозкул рубил невпопад, и это бесило его. Голова свалилась с колоды. Тогда Орозкул стал рубить ее на земле. Голова отскакивала, а он гонялся за ней с топором.

Мальчик вздрагивал, всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силой, он стоял и дивился тому, что остекленевший, немигающий глаз Рогатой Матери-оленихи не бережется топора. Не моргнет, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немой, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Орозкул попадет по глазу.

А рога не поддавались. Орозкул все больше выходил из себя, свирепел и уже, не разбирая, бил по голове как попало — и обухом, и лезвием топора.

— Да так поломаешь рога. Дай мне,— подошел Сейдахмат.

— Прочь! Я сам! Черта с два — поломаешь! — прохрипел Орозкул, взмахивая топором.

— Ну, как хочешь,— плюнул Сейдахмат, направляясь к себе домой. За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса.

А Орозкул с пьяным упорством продолжал четвертовать за сараем голову Рогатой Матери-оленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть.

— Ах ты, сволочь! — А ты, б... такая! — с пеной у рта пинал он голову сапогом, точно бы мертвая голова могла его слышать.— Ну нет, врешь! — налетал он с топором снова и снова.— Не я буду, если не доконаю тебя. На тебе! На тебе! — крушил он топором. Череп трещал, отлетали по сторонам осколки костей.

Мальчик коротко вскрикнул, когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная, густая жидкость. Умер глаз, исчез, опустел...

— Я и не такие головы могу размозжить! И не такие рога обломаю! — рычал Орозкул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове.

Наконец ему удалось проломить череп и в темени и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову к земле, крутанул рога со зверской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых, мольбами мальчика, Рогатая Мать-олениха должна была принести волшебную колыбель Орозкулу и тетке Бекей...

Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его стошнит тут же, на глазах у людей. Бледный, с холодной, липкой испариной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла и у которого, повернувшись ко всем спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Момун. Мальчик не стал беспокоить деда. Ему хотелось быстрее добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть, не слышать ничего. Забыть.

Навстречу ему попала тетка Бекей. Нелепо разряженная, но с синеватыми следами орозкуловских побоев на лице, худющая и неуместно веселая, носилась она сегодня в хлопотах «большого мяса».

— Что с тобой? — остановила она мальчика.

— У меня голова болит,— сказал он.

— Да милый ты мой, болезный,— сказала она вдруг в приступе нежности. И принялась осыпать его поцелуями.

Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разило водкой.

— Голова у него болит,— бормотала она умиленно.— Роденький ты мой. Ты, наверно, кушать хочешь?

— Нет, не хочу. Я хочу лечь.

— Ну так идем, идем, я тебя уложу. Что ж ты будешь один-одинешенек лежать. Ведь все будут у нас. И гости, и наши. И мясо уже готово.— И она потащила его с собой. Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился Орозкул, упревший и красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Момуна вырубленные им маральи рога. Старик привстал с места.

Не глядя на него, Орозкул поднял ведро с водой и, загрокидывая его на себя, стал пить, обливаясь.

— Можешь помирать теперь,— бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру. Мальчик слышал, как дед пролепетал:

— Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же, почет мне и уважение, стало быть...

— Я пойду домой,— сказал мальчик, чувствуя слабость в теле.

Тетка Бекей не послушалась.

— Нечего тебе там одному.— И почти насильно повела его в дом. Уложила на кровать в углу.

В доме у Орозкула все уже было готово к трапезе. Наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занимались бабка и Гульджемал. Бегая между домом и очагом на дворе, сновала тетка Бекей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем Орозкул и черный дюжий Кокетай, полулежа на цветных одеялах, с подушками под локтями. Они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейдахмат наливал им чай на донышки пиал.

А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать и уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал в себе этот комок, застрявший в горле. Боялся шевельнуться лишний раз.

Вскоре женщины вызвали Сейдахмата во двор, и появился он затем в дверях с горой дымящегося мяса в огромной эмалированной чашке. Он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед Орозкулом и Кокетаем. Женщины внесли за ним еще разные кушанья.

Все стали рассаживаться, приготовили ножи и тарелки. Сейдахмат тем временем разливал водку по стаканам.

— Командиром водки буду я,— гоготал он, кивая на бутылки в углу.

Последним пришел дед Момун. Станный, слишком уж жалкий вид даже против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный, дюжий Кокетай великодушно попросил его сесть рядом с ним.

— Проходите сюда, аксакал.

— Спасибо. Мы тут, мы ведь у себя,— пробовал отказаться дед Момун.

— Но все же вы самый старший,— настоял Кокетай и усадил его между собой и Сейдахматом.— Выпьем, аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово.

Дед Момун неуверенно прокашлялся.

— За мир в этом доме,— сказал он вымученно.— А там, где мир, там и счастье, дети мои.

— Правильно, правильно! — подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы.

— А вы что ж? Нет, так не пойдет! Желаете счастья зятю и дочери, а сами не пьете, — упрекнул Кокетай засмущавшегося деда Момуна.

— Ну разве что за счастье, я что ж, — заторопился старик. На удивление всем он ахнул до дна почти полный стакан водки. И, оглушенный, замотал старой головой.

— Вот это да!

— Наш старик не чета другим!

— Молодец ваш старик!

Все смеялись, все были довольны, все хвалили деда.

В доме стало жарко и душно. Мальчик лежал в тягостных муках, его все время мучило. Он лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо Рогатой Матери-оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.

— Не мясо, а молодой жеребенок! — похвалил Кокетай, причмокивая губами.

— А что ж мы, дураки, что ли, жить в горах и не есть такого мяса, — говорил Орозкул.

— Верно, для чего мы здесь живем, — поддакивал Сейдахмат.

Все хвалили мясо Рогатой Матери-оленихи. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал, и даже дед Момун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелке мясо и другие кушанья. Но он отказывался, и видя, что ему нездоровится, пьяные оставили его в покое.

Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержать тошноту. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности, то, что не в силах был ничего поделаться с этими людьми, убившими Рогатую Мать-олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии мальчик придумывал разные способы отмщения — как бы он мог наказать их, заставить их понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучше не сумел придумать, кроме как мысленно позвать на помощь Кулубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приезжавшего с молодыми шоферами за сеном в ту бурную ночь. Это был единственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Орозкула, сказать ему всю правду в глаза.

По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике, выскочил из кабины с автоматом наперевес: «Где они?» — «Там они!» Побежали вдвоем к дому Орозкула, рванули двери. «Ни с места! Руки вверх!» — грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат. Все обалдели. Оцепенели от страха кто где сидел. Куски застряли у них в глотках. С мослами в жирных руках, с жирными щеками и жирными ртами, объевшиеся, пьяные, они не смогли даже шевельнуться.

«А ну, встань, гадина!» — Кулубек приставил автомат к виску Орозкула, и тот затрясся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека: «По-щади, не-не убивай ме-ме-меня!» Но Кулубек был неумолим: «Выходи, гадина! Конец тебе!» — Крепким пинком поднаддал он под жирную задницу Орозкула, заставил его встать, выйти из дома. И все, кто был, перепуганные и молчаливые, вышли во двор.

«Становись к стене! — приказал Кулубек Орозкулу. — За то, что ты убил Рогатую Мать-олениху, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку, — тебе смерть!» Орозкул упал в пыль. Заползал, завыл, застонал: «Не убивайте, у меня ведь и детей нет. Один я на всем свете. Ни сына у меня, ни дочери...»

И куда девались его надменность, его спесь. Жалкий и ничтожный трус. Такого даже убивать не захотелось.

«Ладно, не будем убивать,— сказал мальчик Кулубеку.— Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается. Не нужен он здесь. Пусть уходит».

Орозкул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь — жирный, обрюзгший, с обвисшими галифе. Но Кулубек остановил его: «Стой! Мы тебе скажем последнее слово. У тебя никогда не будет детей. Ты злой и негодный человек. Тебя никто здесь не любит. Тебя не любит лес, ни одно дерево, даже ни одна травинка тебя не любит. Ты фашист. Уходи и чтобы — навсегда. А ну, побыстрей!» Орозкул побежал без оглядки. «Шнель! Шнель!» — хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата в воздух.

Радовался мальчик и ликовал. А когда Орозкул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоящим у дверей: «Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам!»

Облегчение почувствовал мальчик. Совершился справедливый суд. И так поверил он в свою мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Орозкула.

Взрыв хохота вернул его из этого блаженного состояния. Мальчик открыл глаза, прислушался. Деда Момуна в комнате не было. Вышел, наверно, куда-то. Женщины убрали посуду. Готовились подавать чай. Сейдахмат что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам.

— Ну и что дальше?

— Рассказывай!

— Нет, слушай, ты расскажи, ты повтори еще раз, — чуть не умирая от смеха, просил Орозкул, — как ты ему насчет этого? Как ты его напугал. Ой, не могу!

— Так вот, значит, — Сейдахмат охотно принялся повторять уже рассказанное. — Только мы стали подъезжать к маралам, а они стояли на опушке в леску, все три. Только мы привязали коней к деревьям, старик мой вдруг хватает меня за руку: «Не можем, говорит, мы стрелять маралов. Мы бугинцы, дети Рогатой Матери-оленихи!» А сам смотрит на меня, как ребенок. Умоляет глазами. А я — хоть стой, хоть падай, подыхаю со смеху. Но не засмеялся. А, наоборот, так это серьезно: «Ты что, говорю, в тюрьму хочешь угодить?» — «Нет», — говорит он. «А ты знаешь, что байские сказки это, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ!» А он тогда и рот раскрыл: «Да что ты?» — говорит. «Вот то-то, говорю, ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу про тебя куда следует».

— Ха-ха-ха, — рассмеялись дружно сидевшие. И больше всех Орозкул. Уж он-то хохотал в усладу.

— Ну, а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сигналу — и след простыл, а эти полоумные маралы не бегут, вроде бы и не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю, — прихвастывая, рассказывал пьяный Сейдахмат. — Я впереди с ружьем. Старик позади. И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстреливал. А тут такое дело. Не паду — рванут по лесу, и ищи их. Попробуй угонись за ними. Уйдут за перевал. Кому это нужно такую дичь упускать? А старик у нас охотник, медведя валит в свое время. Я ему и говорю: вот тебе ружье, старик, стреляй. А он ни в какую. Сам, говорит, стреляй. А я ему: да я же пьяный, говорю. И сам шатаюсь, вроде на ногах не стою. А он видел, когда мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Вот я и прикинулся.

— Ха-ха-ха...

— Я не попаду, говорю, уйдут маралы, второй раз не вернуться. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться. Сам знаешь. А то

смотри. Зачем нас сюда послали? Молчит. А ружье не берет. Ну, говорю, как хочешь. Бросил я ружье и вроде бы ухожу. Он за мной. Мне, я говорю, все равно, выгонит меня Орозкул — пойду в совхоз работать. А ты куда на старости? Молчит. И я так это потихоньку, для картины, значит:

С рыжих-рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце.
Эй, рыжий купец, открывай двери...

— Ха-ха-ха...

— Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, маралы наши ушли чуть подальше. Ну, говорю, смотри, уйдут, не догонишь. Стреляй, пока они не пуганы. Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет, как полоумный: «Прости меня, Рогатая Мать-олениха, прости...» А я ему свое: смотри, говорю, промажешь — убегай вместе с маралами куда глаза глядят, лучше не возвращайся.

— Ха-ха-ха...

В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и душнее, голова раскалывалась от разбухающей, не умещающейся в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову, что кто-то рубил его голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза, и он мотал головой, старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке. Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники — все рыбье, только голова оставалась своей и к тому же болела. Он поплыл в приглушенной, темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. «Не вернусь, — говорил он себе. — Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой...»

И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал:

— Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.

А в доме Орозкула за окнами гоготали и выкрикивали пьяные голоса. Этот дикий хохот оглушал мальчика, причинял ему нестерпимую боль и муки. Ему казалось, что плохо ему оттого, что он слышит этот чудовищный хохот. Отдышавшись, он пошел по двору. Во дворе было пусто. Возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Момуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами Рогатой Матери-оленихи. Обрубок маральей головы грызла собака. Больше никого не было.

Мальчик побрел дальше. Спустился к реке. И ступил прямо в воду. Торопясь, скользя и падая, побежал он по отмели, содрогаясь от ледяных брызг, и когда достиг быстрины, течение сшибло его с ног. Барахтаясь в бурном потоке, он поплыл, захлебываясь и замерзая.

Мальчик плыл по реке то лицом вверх, то лицом вниз, то задерживаясь возле каменных навалов, то устремляясь в водопады...

Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавалась пьяная песня:

С горбатых-горбатых гор
Я приехал на горбатом верблюде.
Эй, горбатый купец, открывай двери,
Будем пить горькое вино...

* * *

Ты уже не слышал эту песню. Ты уплыл, мой мальчик, в сказку свою. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу, что не доплывешь до Иссык-Куля, не увидишь белый пароход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

Ты уплыл.

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение. И в том еще, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне, — без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди...

Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!»



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Это никогда не надоест —
Листьев неумолчное плесканье,
Мреющих, бессмертных звёзд блистанье,
Иль, как раньше говорили, звезд.

Это не наскучит никогда —
Мягкая неправильность сугроба,
Плавная законченность плода,
По земле идущая дорога,
По песку бегущая вода.

* * *

С каких не помню пор,
Упрямо, остро, жалеяще
Горячий пышет спор,
И что ни миг, то жарче.

И все идет вверх дном.
И высохшие губы
Мечтают об одном —
В прохладу, к роднику бы.

В тиши утихла б злость
У самого у злого,
И наконец нашлось
Ненайденное слово.
Распутать всяк бы смог
Словес хитросплетенье...

И даже невдомек
Наивному хотенью,
Что это слово — там,
Где несогласья горы,
Где еще жарче споры,
Где еще громче гам.

ДЕРЕВО

Незащищенность, трепет, дрожь,
Безмолвное смятение,
Неслышно тихий, тихий дождь,
Метелицы метение.

И вытянется ввысь оно,
Могутно и здорово.
Что благодарным быть должно —
Не оброну и слова,

Что не жалел трудов и сил,
И ласки и привета..
Да, я сажал. Да, я растил.
Мне — нужно было это.



РАСУЛ РЗА

★

ПЕСНИ ГОРОДА

С азербайджанского

Пока город спит, в темноте
просыпаются
песни города.
Точно круги по воде,
растекаются
песни города...
В этих песнях
ни птичьего голоса,
ни журчания родника,
ни эха дальнего горного,
падающего осколками,
ни грохота ледника.
В этих песнях —
людей голоса
и голоса моторов.
Это — гармония труда,
которой полон город.
Здесь
среди улиц красивых, грязных,
чистых, широких,
узких — разных
текут эти песни за валом вал,
город сам эти песни
оркестровал.
Эти песни
рождаются анонимными,
согретые теплом городских паров,
точно пища,
богатая витаминами,
эти песни
вливаются в нашу кровь.

БАЛБАЛАДЖАН

Козленочек, скачи, скачи,
в ручье ноги не замочи,
балбаладжан батыркечи...¹.
О, сколько раз за целый день
просили мы упрямо
тебя с начала рассказать
нам эту сказку, мама!
Просили мы: еще разок
балбаладжан и колобок,
что покатился от печи...
И чтобы позабавить нас,
ты начинала в сотый раз:
— Балбаладжан батыркечи...

С тех пор он у меня в ушах,
усталый голос твой.
За труд твой, мама, за твой страх
награда — в памяти живой,
теперь
все дни мои,
все сны
полны тобой...

Перевела М. Павлова.

¹ Маленький козленок (азерб.).



ФРАНСУА МОРИАК

★

ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Роман

«Подросток былых времен» принадлежит перу крупнейшего современного французского писателя Франсуа Мориака.

Мориак — автор более двадцати романов и повестей. На русский язык переведены романы «Тереза Декейру», «Конец ночи», «Клубок змей», «Дорога в никуда», повести «Обезьянка» и «Шалый». Опубликованный в 1969 году роман «Подросток былых времен» получил широкое признание на родине писателя.

«Франсуа Мориак — один из самых замечательных и едва ли не самый замечательный из современных французских писателей...» Эти слова принадлежат одному из лучших русских писателей XX века И. А. Бунину.

За годы, прошедшие с того дня, когда была высказана эта оценка, значение Франсуа Мориака не уменьшилось — возможно, даже возросло. Подобно тому как в современной немецкой литературе среди быстро сменяющихся направлений Томас Манн был живым продолжателем большой традиции, Франсуа Мориак поныне остается хранителем и продолжателем большой реалистической традиции в литературе современной Франции. Появление «Подростка былых времен», романа восьмидесятилетнего писателя, — самое убедительное возражение всем «новейшим» уверениям, будто время романа как жанра кончилось.

Особое место занимает Мориак во французской литературе и с точки зрения содержания его произведений. В той же заметке, из которой взяты цитированные выше слова, Бунин писал: «Христианин, католик, воспитанник марианитов, несущий в себе страстное наследие пылкой крови людей, живших и умерших под огненным небом Ланд — предки его были земледельцами, фермерами, богатыми промышленниками в Ландах, — он внес противоречие этих двух натур и в свои создания. Редко кто так знает и чувствует всю глубину падения, греха человеческой природы и вместе с тем умеет писать столь обольстительно эту греховность. По его собственному признанию, он с юности предпочитал благонамеренным авторам Бодлера, Рембо и других «проклятых».

Мориак всегда ставит своего читателя лицом к лицу с жизнью, в которой человечность, красота, любовь, семейные и дружеские привязанности, доверие — все, что есть лучшего, жестоко разрушается враждебными и неодолимыми силами. Эти силы порождаются самими людьми, даже против их воли. Противоположность между богатыми и бедными, привилегированными и приниженными, подмена искренней веры ханжеским прикрытием низменного интереса, ложь — все вовлекает людей в болезненные и гибельные отношения.

Мориак — убежденный католик. В статье, посвященной памяти Жана Жореса, он рассказал, что этот выдающийся социалистический деятель, друг молодых лет, тщетно старался отратить его от религии. Однако сама эта дружба является дополненным свидетельством того, что по существу и в то время Мориак размышлял именно над социальными вопросами. Решения их он не нашел — об этом говорят его сочинения; католицизм, поскольку он в них проявляется, — это католицизм отчаяния. Даже обращаясь в «Подростке былых времен» к годам своей юности, он видит в них противоречия, терзающие и губящие все вокруг, видит трагедию, а не идиллию. Общество — и в прежних его романах, и в «Подростке былых времен» — предстает как «страшный мир», а для героя последнего романа религия — это «поплавок», за который он цепляется, чтобы не утонуть в море эгоизма, приобретательства, фальши, извращения нравственных ценностей. Религиозность героев Мориака по сути глубоко безрелигиозна.

Стремлением найти правду прежде всего и ценно для нас творчество Мориака, хотя писатель не понял того социального и умственного движения, которое сейчас ре-

ально ведет к избавлению от зол, преследующих и самого писателя, и его героев. Миросозерцание Мориака далеко от научного объяснения противоречий современного мира, оно само несет в себе эти противоречия. Но это не может уменьшить наш интерес и уважение к творчеству Франсуа Мориака, к его художественно-реалистическому анализу нравственных проблем современного буржуазного общества.

Глава I

Я не такой, как все мальчишки. Если бы я был таким, как все мальчишки, то в семнадцать лет охотился бы вместе с Лораном, моим братом, и Дюбером, нашим управляющим, и Симоном Дюбером, его младшим сыном — «аббатом», который должен бы сейчас присутствовать на вечерней службе, и Прюданом Дюбером, его братом, который подбивает Симона распроститься с кюре. Я мог бы стрелять из охотничьего ружья вместо того, чтобы рыскать в кустах, выслеживая дичь, как собака, — вместо того, чтобы играть, изображая собаку.

Да, я играю, изображая собаку, но в то же время раздумываю о том, что происходит в голове у Симона. Он подоткнул сутану, чтобы не цепляться за ветки и колошуй терновник. Почему его жирные икры, обтянутые черными шерстяными чулками, вызывают у меня такой неудержимый смех? Он любит охоту так же, как любят ее наши собаки Диана и Стоп. Охота у него в крови, это сильнее его, хотя он отлично знает, что в этот самый час г-н настоятель служит вечерню и смотрит на пустую скамью, где следовало бы находиться Симону и где его нет. После службы г-н настоятель придет к нам, чтобы поговорить об этом с мамой. Надеюсь, я успею вернуться, хотя они очень осторожны и умолкают, едва я появляюсь поблизости. Я — пустомеля, как говорит мама, а г-н настоятель находит, что у меня дурное направление ума, так как я задаю вопросы, которыми он никогда не задавался, которых ему никто никогда и не задавал, а я — меньше, чем кто бы то ни было. Но он знает, что я считаю его глупцом.

«По-твоему, все глупцы!» Это уже мамино замечание. У нас в семье умным я считаю только себя самого — что правда, то правда; но я знаю, что не знаю ничего, потому что меня ничему не научили. Мои учителя не могли научить меня ничему, кроме азов. Мои товарищи превосходят меня во всем, что имеет в их глазах хоть какую-нибудь цену. Они презирают меня, и имеют право презирать: никаким спортом я не занимаюсь, сил у меня — что у цыпленка. Я краснею, когда они разговаривают о девочках, а если показывают друг другу фотографии, я отвожу глаза. Однако иные из них относятся ко мне дружески, и даже более чем дружески.

Они знают, чем будут заниматься. У них уже есть свое место. А я? Я даже не знаю, кто я такой. Я отлично знаю, что все проповеди г-на настоятеля и все, чему верит моя мать, не вяжется с тем, что происходит в действительности. Я знаю, что они не имеют ни малейшего понятия о праведности. Мне ненавистна их религия. И все-таки я не могу обойтись без бога. Вот это, в сущности, и отличает меня от всех других, а совсем не то, что я изображаю собаку и рыскаю по кустам, вместо того чтобы охотиться с Лораном, Прюданом и Симоном Дюбером, и даже не способен справиться с охотничьим ружьем. Все, что рассказывает г-н настоятель, и то, как он это рассказывает, кажется мне полным идиотизмом; и, однако, я верю, что все это истина. Решаюсь написать для самого себя: я знаю, что это истина, — можно подумать, будто слепой поводырь ведет меня к непреложной истине нелепым путем, бормоча свою латынь и заставляя бормотать вместе с ним постепенно редуцирующие толпы верующих, а вернее, просто жалкое стадо, готовое пасть повсюду, куда его ни пригонят... Но что с того! Я вижу свет вокруг них, которого они не видят, или, вернее, свет этот уже во мне. Они могут рассказывать все, что им угодно: они-то и есть те невежды или идиоты, против которых ополчается мой друг Донзак, примкнувший к модернистам. И все-таки то, во что они верят, — истина. Вот, на мой взгляд, к чему сводится история церкви.

Зайца они затравили, не доходя до поля Жуано. Возвращение было мучительным: семь километров по мрачной, но милой моему сердцу дороге между двух стен вековых сосен. «Все тут принадлежит мадам, все, насколько глаз хватает!» — то и дело объявлял Дюбер со своей нелепой мужицкой гордостью. Ужасно писать об этом. Я заранее знал, что всю дорогу Симон будет шагать рядом со мной, не открывая рта. А Лоран — теперь он, а не я — неожиданно превратился в ребенка. Он играет, подгоняя ногой сосновую шишку; если доведет ее до дома — значит, выиграл.

С Симоном мы не разговариваем ни о чем. Наверно, кюре сетовал при нем на мое «дурное направление», и Симон восхищается тем, что в семнадцать лет я способен внушать тревогу этому ограниченному созданию, под чьим присмотром он останется все время, пока будет семинаристом, приехавшим на каникулы.

Сейчас я исповедуюсь перед богом в моем обмане: все, что делает меня опасным в глазах настоятеля и, возможно, вызывает восхищение Симона, — это не более как смутные впечатления от речей моего друга Андре Донзака, прожужжавшего мне уши премудростью из «Анналов христианской философии». Он превозносит руководителя этого журнала, некоего отца Лабертоньера, члена ораторианской конгрегации, одно имя которого повергает нашего настоятеля в ужас. «Это модернист, по нему костер плачет», — твердит он. Я презираю его за эти жестокие и тупые представления: костер! О, они всегда готовы сжечь того, кто верит с открытыми глазами.

Тем не менее я — обманщик, я бью их наповал не своими собственными доводами, а зажигательными речами Андре и делаю вид, будто знаю то, что неизвестно им, хотя сам я такой же невежда, как они... Нет, я клеветчу на себя. Как выражается Андре, я проник в Паскаля. Я читаю Паскаля без всякого усилия, особенно «Примечания» в издании Брюнсвика, которое дал мне Андре. Меня интересует все, что касается Пор-Рояля.

А вот читал ли Паскаля Симон Дюбер, хоть он и бакалавр? Подозреваю, что ни с одним автором, упомянутым в программе, он незнакомился непосредственно, а довольствовался изложением в учебнике... Он шагает рядом со мной. Я чувствую запах пота, пропитавшего его сутану насквозь. Не то чтобы он был грязен: он чище, чем его крестьянская семья, которая о чистоте не заботится, и, может быть, даже, чем мы сами, потому что во время рыбной ловли, за мельницей, он чуть не каждый день полощется в воде. Он стучит по корням ольхи, загоняя в верши щук и налимов... Впрочем, я не собирался рассказывать о рыбной ловле.

По правде говоря, меня мутит не столько от запаха Симона, сколько от его шестого пальца, этого дрожащего отростка на каждой его руке и на каждой ноге тоже: ему приходится даже шить башмаки по мерке, и они кажутся одинаковыми что в длину, что в ширину — настоящие слоновьи ноги! Но шестой палец на ноге мне случается видеть не так уж часто, зато от этих хрящиков без фаланг на руках меня бросает в дрожь. К тому же он и не старается их прятать, он даже откровенно радуется, что лишние мизинцы избавят его от военной службы. Но его старший брат, Прюдан, другого мнения: «Ты бы мог поступить в Сен-Сир...» Это единственные произнесенные при мне слова, изблещившие роль искусителя, которую, если послушать маму и настоятеля, Прюдан играет в жизни младшего брата.

Я подумал, какой роман я мог бы написать на эту тему: Прюдан, хилый, тощий, желтолицый, с гнилыми зубами, да еще влюбленный, я это знаю наверняка, в Мари Дюрос, их соседку — дочь плотника, сестру Адольфа Дюроса, двадцатилетнего великана, похожего на Геракла из моего учебника греческой истории, — Прюдан, в лице своего брата, сведет счеты с этим миром, где сам он был только плесенью... Если только он, как все Дюберы, умен. Его бунт доказывает, что это так. По моему замыслу, в этой воображаемой истории Прюдан должен отказаться от Мари Дюрос и вручить ее Симону. Впрочем, Мари Дюрос, вероятно, смотрит на младшего брата с таким же отвращением, как на старшего, даже с большим,

из-за этих его мизинцев и сутаны, словно приросшей к телу... Но что я об этом знаю? Все это я выдумываю, но уверен, что это правда, потому что знаю парня, которого любит Мари Дюрос, к которому она ходит, наконец,— он друг Адольфа, ее брата-великана.

Впрочем, г-н настоятель, пожалуй, прав, когда твердит, что Симона искушает не дьявол вожделения, а дьявол честолюбия. На девушек он и не глядит. Я понимаю, что его так вышколили. Но это не важно. Во всяком случае ему еще не приходилось по-настоящему бороться с искушением... Что я об этом знаю? Я не знаю ничего ни о Симоне, ни о ком бы то ни было. Даже мама и г-н настоятель подчас ставят меня в тупик.

Когда мы вернулись с охоты, Лоран отнес зайца на кухню. Я устал и растянулся на диване в прихожей. Мама присела рядом. Она попробовала рукой мой лоб и спросила, не хочу ли я пить. Ей не терпелось поговорить. Должно быть, они столковались с настоятелем о том, что нужно сказать мне: ведь считается, будто Симон поверяет мне свои тайны. На самом деле этого нет и в помине. Его особое ко мне отношение никогда не проявляется в словах. Разделяющая нас пропасть его не заботит. Во всяком случае он ни разу не пытался преодолеть ее.

Мама, впрочем, тоже. Она меня любит, но я ее не интересую. Ее не интересует ничего, кроме нашей земли и еще каких-то тайных мыслей, подозреваю, что это угрызения совести,— я могу судить о них по угрызениям, терзавшим меня в детстве, от которых я освободился, или почти освободился, с тех пор, как открыл благодаря Донзаку, что нас обучили ставить вечное спасение в зависимость от нелепых запретов, от таблицы грехов простительных и так называемых грехов смертных.

Г-н настоятель, должно быть, возложил на маму миссию завести со мной разговор, а я нарочно закрывал глаза, делая вид, что хочу спать. Она не стала прибегать к уловкам и прямо спросила меня, какое настроение было у Симона во время охоты.

— Он только и думал, что о зайце и еще, разумеется, о том, с каким лицом встретит его завтра утром господин настоятель, когда он явится прислуживать на мессе.

Мама этого и ждала, она тут же выложила свои карты.

— У господина настоятеля не такие уж узкие взгляды. Он не придает ни малейшего значения тому, что Симон в девятнадцать лет предпочитает охоту вечерней службе. Воскресная вечерня не обязательна. Господин настоятель признавался, что она даже для него испытание. В случае с Симоном не это важно.

— Разумеется, не это,— сказал я.— Важно то, что его обрекли, возможно против воли, на жизнь, для которой он не годится.

С мамой произошло то, что она называет «приступом». Она побагровела так, что страшно было смотреть. Во что я вмешиваюсь?

— Но, мама, ты же сама об этом заговорила. А я, пожалуй, единственный, кто никак не вмешивается в дела Симона.

Со свойственной не только маме, а, по мнению Донзака, и всем женщинам нелогичностью она возразила, что я не прав и что долг велит мне вмешаться.

— Так вы не верите в благодать? Вы полагаете, что богу нужна наша помощь в том споре, который идет в душе у Симона и касается только его одного?

— На Симона все это время оказывают давление, о котором мы и не подозревали,— настоящий заговор. Ты должен все знать, это очень важно: в тайне от нас с самого начала каникул, он часто встречается... Как бы ты думал, с кем? С мэром, да, да, с господином Дюпором, а он франкмасон, он поклялся отвлечь Симона от церкви...

— Но мы же все знали, что Симон встречается с госпожой Дюпор...

— Да, с этой сумасшедшей, но не с ее мужем, которого один вид сутаны приводит в бешенство. Я думала, Симон приходит в дом Дюпоров только после

полудня, когда мэ́р у себя на лесопилке. Раньше так оно и было... Госпожа Дюпор сама нас предупредила...

Г-жа Дюпор, сама! Я не верил ушам своим. «Дюпоры! Мы с ними не видимся». На мамином языке это означало, что она не обменивается с ними ежегодным визитом (во время летнего пребывания в Мальтаверне), которым так чванятся три или четыре местные дамы. Но это верно также и буквально: Дюпоров не видят, на них не смотрят. Они вычеркнуты из нашего крохотного мирка. Попытаюсь рассказать по порядку эту историю с Дюпорами и Симоном. Г-жа Дюпор, как говорят, хорошенькая женщина, намного моложе своего мужа — мне она всегда казалась старухой, — подозрительна уже тем, что она не из наших мест («неизвестно, где она ее взяла, неизвестно, откуда она явилась»), наши места — это ланда округа Базас. У Дюпоров была единственная дочь Тереза, родившаяся в тот же день, что и Симон Дюбер. Мари Дюбер работала у них поденно и приводила маленького Симона, который, играя с Терезой, позволял ей тиранить себя и подчинялся ей, потому что сыну поденщицы полагалось подчиняться дочери мэра, — но также и потому, смеясь, говорили вокруг, что он был в нее влюблен, и она в него, а нравилось ей в нем больше всего то, что я совершенно не переносил, — этот ужасный шестой палец... Терезу в несколько дней унесла какая-то болезнь... Может быть, менингит? Родители доверились доктору Дюлаку, первому помощнику мэра, тоже радикалу и франкмасону. Как они горевали... Г-жа Дюпор, которая раньше ходила по воскресеньям в церковь и молилась, прячась за колонной, больше там не показывалась и отвернулась от бога. Зато каждый день, в любую погоду, она отправлялась на кладбище. Когда попевали вишни, она приносила их на могилу, потому что Тереза любила вишни. Ребятишки их съедали.

Эти странные выходки умеряли сострадание ближних. В довершение всего она отказалась принять маму. Это было невероятно. И вот ни один житель местечка не переступал более порог ее дома, кроме Мари Дюбер и во время каникул — Симона. От них мы узнали, что в передней со дня похорон лежали рассыпанные по полу цветы и ветви и что Мари Дюбер запрещено к ним прикасаться.

Симона г-жа Дюпор готова была держать у себя днем и ночью, если бы могла. Он напоминал ей Терезу, он был Терезой. Но он-то жил, он был мальчишкой. Его невозможно было привязать к стулу, как неодушевленный предмет, или целый день пичкать вареньем и бисквитами. На счастье, он до безумия любил читать. Помню, как-то гораздо позднее во время общей игры нужно было наименьшим количеством слов выразить то, что каждый из нас считал счастьем, — Симон написал сначала: «Охотиться и читать». Потом исправил: «Читать и охотиться». У г-жи Дюпор были полные комплекты иллюстрированного «Рождественского альманаха», «Журнал путешествий», романы Жюль Верна, «Путешествие детей по Франции» и множество других чудес. Она усаживала Симона у окна и говорила: «Читай, не обращай на меня внимания».

Сначала Симона смущал неотрывно устремленный на него взгляд и звон вязальных спиц, потом он привык. Каждые два-три дня, а если книга была интересная, то и каждый день он приходил после полудня и устраивался у окна в этой несомненно странной комнате, которую он никак не мог мне описать: крестьяне не видят того, что видим мы, — они видят то, чего мы не видим. Однажды он попросил у г-жи Дюпор позволения унести книгу домой. Это был единственный раз, когда она на него рассердилась. Ни одна из книг, которые читала Тереза, которых касалась рука Терезы, не должна была покидать дом. Но на следующий день она сказала Симону, что лучше пусть он читает вслух, пока она вяжет, а она будет платить ему по часам, как его матери.

Сейчас я думаю: уж не это ли жалованье, совершенно ослепившее Дюберов, помешало маме и г-ну настоятелю почувствовать беспокойство, какое не могли не внушить ежедневные встречи маленького двенадцатилетнего семинариста с экстравагантной особой, женой мэра — франкмасона. Правда, в те времена мэ́р

цельми днями не бывал дома, поглощенный своим заводом и муниципальными делами. Кроме того, как я узнал позднее, у него были две связи; одна в Бордо и другая в Базасе.

Г-жа Дюпор, порвав с богом после смерти Терезы, по-прежнему в церковь не ходила, но Симон уверял настоятеля, что никогда она не говорила с ним о религии. Она и в самом деле ни о чем с ним не говорила, она только смотрела, как он читает. «Первое время мне было не по себе: она прямо ела меня глазами. А теперь я не обращаю внимания...» — уверял Симон. Он даже не терял аппетита, когда она приносила ему «полдник», как называл он легкую закуску — чашку какао и хлеб с маслом, — и не сводила с него глаз, пока он ел.

В октябре, когда мы все возвращались в Бордо, Симон привозил с собой в семинарию заработанные им карманные деньги. Ни г-ну настоятелю, ни маме в голову не приходило, что он должен бы от них отказаться. То, что для этих христиан деньги были высшим благом, от которого не отказываются, которым не жертвуют (разве лишь по особому обету, как у францисканцев или траппистов), поражало меня еще в детские годы. Лет с двенадцати у меня уже начала складываться неопределенная мысль, которую окончательно разъяснил мне Донзак в последние два года. Я понял, что, сами того не ведая, воспитавшие нас христиане во всем поступают наперекор Евангелию, что каждую заповедь блаженства из Нагорной проповеди они превратили в проклятие: они не кроткие, они не только не праведники, но праведность им ненавистна.

Драма разразилась из-за сутаны, в которую обрядили Симона, когда он достиг пятнадцатилетия. Каким повышением была для него эта сутана! Он получил особое место на хорах и право надевать стихарь во время службы. Если в местечке все по-прежнему говорили ему «ты», то посторонние, несмотря на его детское лицо, называли его г-ном аббатом. Но сутана — в доме мэра! Г-жа Дюпор надеялась, что Симон согласится обойтись без нее два раза в неделю. Он с ужасом отказался, словно речь шла о его вечном спасении. Мари Дюбер, для которой эта сутана была воплощением мечты всей ее жизни — домик при церкви, где она царил бы на кухне и в прачечной, — осмелилась одобрить отказ Симона.

И тут мама и г-н настоятель заподозрили то, что я уже ясно видел, хотя мне было всего четырнадцать лет, что не маленький дружок Терезы нужен г-же Дюпор, а тот Симон Дюбер, каким он стал, тот, кто внушал мне такое отвращение, с его резким запахом, грубым крестьянским костюмом и лишними мизинцами. Мы убедились, что она не могла обойтись без него; она терпела его отсутствие в течение учебного года, но я думаю, все это время было для нее предрождественским бдением, приуготовлением к пришествию Симона... Впрочем, нет, теперь я вспоминаю, что мама и настоятель ни о чем не догадывались. У них открылись глаза после того, как Симон передал настоятелю слова г-жи Дюпор: она сказала, что сутана противна не ей, а ее мужу; она же, напротив, привыкла к сутане и даже видит в ней преимущество — залог того, что Симон всегда будет рядом и никто его у нее не отнимет.

— Никакая другая женщина? — спросил я.

— Да, конечно, — сказала мама.

— Значит, она его любит!

Я вывел это заключение как само собой разумеющееся, совершенно естественным тоном и был поражен произведенным эффектом. Правда, хоть мне и исполнилось в том году четырнадцать лет, со мной обращались так, как сейчас не обращаются и с восьмилетними.

— Что ты выдумываешь? Пустомеля! Сам не понимаешь, о чем говоришь.

— Раз говорю — значит, понимаю.

— И тебе не стыдно? В твоем возрасте! Что подумает о тебе господин настоятель?

— Устами младенца глаголет истина, — сказал настоятель.

Он встал и забегал вокруг бильярда, бормоча про себя: «Как можно было быть таким слепцом...»

— Но, господин настоятель, вам в голову не могло прийти... Госпожа Дюпор, в ее возрасте!

— Это опасный возраст, увы... Но заметьте: по моему мнению, Симону опасность не грозит — я знаю его...

Он оборвал фразу, боясь, что сказал лишнее. Все, что он мог сказать о Симоне, даже хорошее, нарушало тайну исповеди.

— Да, — произнес я, — но, по словам Симона, она ест глазами его, пока он ест свой «полдник». Может быть, в один прекрасный день ей этого станет мало...

— Что ты хочешь сказать? Кто тебя научил?..

— Это верно, — вполголоса проговорил настоятель, — есть такие людоедки...

— И людоеды, — добавил я невинным тоном.

— Людоеды? Какие людоеды?

Они уставились на меня в тревоге: на что я намекаю? Да, без сомнения, ничего точного я им сообщить не мог или предпочел умолчать, однако я знал, что людоеды бродят вокруг всех пятнадцатилетних мальчиков, но приближаются, лишь если чувствуют молчаливое согласие.

— Это страшно, — сказала мама. — Зачем столько зла? — добавила она в раздумье, сама не понимая, что задает единственный вопрос, способный подорвать веру.

Постараюсь вспомнить все, что они придумали для спасения Симона от этой пожирательницы. Кюре попросил своего собрата из Шаранты пригласить Симона к себе на охоту, и тот задержал его до начала занятий. Симон вернулся в семинарию, не заезжая в Мальтаверн.

Что же касается меня... Осмелюсь ли я самому себе рассказать, какую шутку сыграл я с настоятелем? Да, это необходимо, чтобы ясно представить себе, кто же я такой на самом деле. 7 сентября, накануне рождества святой девы, мама, недолго думая, объявила мне, что г-н настоятель ждет меня к трем часам для исповеди: «Ты успеешь пройти раньше всех этих дам». Такое вмешательство в религиозную жизнь четырнадцатилетнего мальчика ей казалось нормальным. Я был ребенком, за которого она отвечала перед богом. Несмотря на свое недовольство и злость (но не ярость, как было бы сейчас), я понимал эту совестливую христианку, передавшую мне по наследству болезнь совести, от которой я не вполне излечился и в семнадцать лет. Должно быть, она все еще страдала от того, что я посмел сказать о людоедах: на суде покаяния я выложу все до конца. Разумеется, для нее и речи не могло быть о том, чтобы нарушать тайну исповеди: мама не стремилась «знать». Для успокоения ей достаточно было снова «прибратъ к рукам» своего малыша, который вступал в опасный возраст. Я взбунтовался: после конкордата день сентябрьской богородицы не был уже обязательным праздником.

— В нашей семье, — возразила мама, — он остался обязательным. Мы всегда соблюдали его. Наши фермеры не запрягают волов в этот день. Кроме того, господин настоятель ждет тебя. Больше об этом говорить нечего.

— Но ты же не заставляешь Лорана...

— Лорану восемнадцать лет. Ты еще ребенок, и я отвечаю за тебя.

Сам дьявол шепнул мне в ухо:

— Если я дурно исповедаюсь, у меня будет дурное причастие. И оба греха лягут на тебя.

Она побледнела, вернее, щеки ее приобрели землистый оттенок. Я бросился ей на шею:

— Нет, нет, я пошутил, я буду и исповедоваться, и причащаться...

Она прижала меня к груди.

По дороге в церковь злость охватила меня снова, но теперь она целиком обратилась против ни в чем не повинного настоятеля. Я силился побороть ее, я

совсем не хотел дурной исповеди... «Ну что ж, ладно,— думал я,— ладно, скажу ему все, даже больше, чем он захочет, больше, чем ему приходилось об этом слышать».

Он читал свой требник, сидя подле исповедальни. Он почитал еще некоторое время, потом спросил, готов ли я, вошел в свою конуру и снял с гвоздя эпитрахиль. Я услышал, как открылось окошечко, и увидел его огромное ухо. Сообщив, что не исповедовался с 15 августа, я отбарабанил Confiteor¹ и выложил gesto topo² свой обычный малый набор, который не менялся со времен первой исповеди: «Грешен в чревоугодии, лжи, непослушании, плохо молился, плохо слушал мессу, хвастался, злословил...»

И это все? У него был разочарованный вид. Да, думаю, что это все.

— Ты уверен, что тебя ничего больше не тревожит? Хотя бы только мысли...

Я спросил:

— Какие мысли?

Он не настаивал: не очень-то он доверял этому маленькому чудовищу, но вполне вероятно, что я мог быть и чудовищем невинности.

— Всегда ли ты исповедовался искренне?

Вот тут дьявол обуял меня и подсказал мне ответ:

— Нет, отец мой.

— Как? Надеюсь, ничего важного ты не утаил?

— Не знаю. Может быть, это и есть самое важное.

— Бедное мое дитя! Твоя мать, твои наставники, сам я, все мы остерегали тебя против малейшего отклонения от святой добродетели...

Так он называл чистоту. Я возразил, что в этом пункте ни в чем серьезном себя упрекнуть не могу. И тогда это была правда. Каким невинным маленьким мальчиком был я всего три года назад..

— Однако ты сказал, что речь идет о самом важном... Что же это значит?

— Важно это или нет, вы будете судить сами. Так вот: я — идолопоклонник.

— Идолопоклонник? Да что ты болтаешь?

— Я не могу сказать, чтобы я буквально поклонялся идолам. Я исповедую тайный культ. Знаете большой дуб в парке?

— Ну, не такой уж он большой,— заметил кюре, желая вернуть меня на твердую почву, в наш надежный мир, где все можно измерить и взвесить.

— Для меня он — бог, да, с начала сознательного возраста я считал его богом и поклонялся ему.

— Вот оно что! Ты поэт, мы знаем. (Он произносил «пуэт».) Тут нет ничего плохого.

— Я так и знал, отец мой, что вы мне не поверите. Это и мешало мне исповедаться в своем грехе до сегодняшнего дня: я боялся, что никто мне не поверит, даже вы. Но поймите, я придумал богослужение в честь большого дуба, я приношу ему жертвы...

— Полно, полно! Это вполне дозволенная пуэзия, мой маленький дурачок. Чего ты добиваешься? Уж не хочешь ли ты меня обмануть? Тогда это был бы большой грех: над богом не смеются.

— Я не смеюсь над вами, просто я понимаю, что вы не можете мне поверить.

— Все пуэты, и христианские тоже, преклоняются перед природой — это дозволено.

— То, что делаю я, не имеет ничего общего с излияниями Ламартина или Гюго. Уверяю вас, все деревья для меня живые и божественные существа, особенно сосны в парке. Я предпочитаю их людям,— добавил я, с восторгом отдаваясь во власть рассчитанного, но в то же время искреннего вдохновения.

Да, люди уже и тогда внушали мне страх, даже будущие люди, с которыми я

¹ Молитва перед исповедью (лат.).

² Напрямик (лат.).

имел дело в коллеже. наших религиозных наставников, даже самых дурных, я, правда, не боялся, потому что их держало в узде благочестие и суровые правила. Но мои товарищи! Эти были способны на все! Помню, как я все перемены просиживал в уборной, умирая от страха при одной мысли о мяче, летящем мне прямо в лицо...

— Полно, Ален, вернемся к серьезным вещам.

— Почему, — воскликнул я в тоске, не притворной, но все же сознательно вызванной и даже не лишенной самолюбования, — почему отказываете вы мне в прощении, не желая принять мои признания всерьез?

Кюре, как всегда в таких случаях, напустил на себя непроницаемый вид, казалось, его лицо вылеплено из гончарной глины. Он резко спросил меня:

— Ты поклоняешься всем деревьям или только большому дубу?

— Нет, все они, разумеется, живые существа, но только большой дуб — бог.

— Что же, это было тебе дано в откровении?

Я видел, как он качает своей большой головой. Постучать себя пальцем по лбу он не решился.

— Нет, у меня никогда не было откровения. С тех пор как я себя помню, я поклонялся земле, деревьям...

— Но не животным? Хорошо хоть так.

— Нет, не животным... Хотя нет! Я в самом деле забыл, но теперь все вдруг вспомнилось. Вы знаете, отец мой, заброшенную ферму?

— Да, в Силе?

— Когда мне было семь или восемь лет, не знаю уж, кто или что навело меня на мысль, будто в заброшенной ферме живет наша ослица Гризетка, которая к тому времени уже околела от старости. Я твердо в это уверовал и убедил также Лорана, хотя он старше меня. Мы ходили к заброшенной ферме и перед запертыми на замок воротами распевали какое-то идиотское славословие: «Гризетка, милая моя, мы поздравляем все, любя, с веселым праздником тебя, мы принедем тебе овес и засахаренный абрикос...»

— Засахаренный абрикос? Ослице?

Кюре притворно расхохотался, он пытался поставить все на свои места.

— Дело в том, что в семь лет для меня не было ничего лучше засахаренных абрикосов, но Гризетке я поклонялся буквально. Я вдруг понял, отец мой, что я действительно предавался идолослужению, в котором язычники упрекали первых христиан: ведь они обвиняли их в поклонении ослиной голове.

Я замолчал, искренне подавленный своим неожиданным открытием. Кюре тоже молчал, быть может, колеблясь, не выгнать ли меня вон из исповедальни за то, что я над ним потешаюсь. Но что можно знать? Потешался ли я? Он отлично знал, что я совестливое дитя, страдающее той же болезнью, что и моя мать. Вдруг он спросил меня громко и почти торжественно:

— Ален, веришь ли ты в бога?

— О да, отец мой!

— Веришь ли ты, что Иисус есть Христос, сын бога живого, отдавший свою жизнь за тебя и воскресший из мертвых?

Я верил в это всем сердцем, всем умом.

— Любишь ли ты святую деву?

— Да, я люблю ее...

— Тогда не думай больше об этих глупостях. Если ты согрешил, я отпускаю тебе грехи твои, вернее, сам господь тебе их отпускает.

Он направился в ризницу быстрыми шагами, словно спасаясь бегством. Я едва успел прочитать покаянную молитву и снова очутился на улице, в оцепенелом покое сентябрьского дня. Теплый ветер был подобен дыханию, как привычно пишут поэты, но в тот день штамп был правдой: дыхание, вздох живого существа... Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно для меня самого эта шутка не то чтобы принесла мне облегчение, но напомнила о любви, которая во все вре-

мена оставалась моим убежищем. О поклонении, которое никогда не посягало на другую любовь, на другое поклонение, посвященное христианскому богу, а вместе с ним хлебу и вину, рожденным от земли, солнца и дождей. Двойное убежище, не так уж это много. Никогда ни одно убежище не покажется мне лишним для спасения от людей. Сейчас, спустя два года, моя тоска возрастает со дня на день, по мере приближения к тому, что кажется мне самым ужасным из всех ужасов: жизнь в казарме, солдатская артель. Я не рассказывал об этом никому, даже Донзаку. Я не стыжусь этой тоски, я знаю, в ней нет ничего бесчестного, но только нельзя придавать ей материальность, выражая словами, — тогда она превратится в трусость; иногда я думаю, что последний мой шанс — умереть до призыва в армию.

Размышляя обо всем этом на обратном пути, я в то же время вспоминал, как держался настоятель перед расставленной ловушкой. Он красовался на одном из первых мест в списке католиков-болванов, который мы с Донзаком составили параллельно со списком умных католиков, и вот, как ни странно, он вышел из положения с тактом, несвойственным ему в повседневной жизни, словно по мгновенному наитию. Да, так оно и было, теперь я в этом не сомневался. В глубине души я не так уж был уверен в своей невинности по части греха идолопоклонства; исповедуясь, я постепенно в него поверил. Если б не это, я не почувствовал бы облегчения совести и моя радость не выразилась бы, как всегда, в бешеной беготне вокруг парка, в которую я вовлек и Лорана. В беге, несмотря на разницу в возрасте, я почти всегда побеждаю его, потому что он задыхается.

Как я причащался на следующий день, не помню. Причастия запоминаешь не больше, чем сновидения. Однако день 8 сентября сохранился в моей памяти, хотя прошло три года. Я отказался пойти с Лораном охотиться на жаворонков в поле Жуано. Чувство, охватившее меня с необычайной силой, я помню ясно, потому что постоянно испытываю его и сейчас — желание остаться одному, шагать через леса, через поля, до полного изнеможения следовать по этим песчаным дорогам, где невозможно встретить никого, кроме выступающего впереди своих волов фермера, который, прикоснувшись к берету, скажет мне «Aduchats»¹, или пастуха, погоняющего стадо. В этой безликой ланде никто не взглянет мне в лицо. И все же я шел в определенном направлении. В моих прогулках у меня было три или четыре цели, между которыми я всегда колебался в выборе: источники Юра, Большая сосна (исполинское дерево, привлекавшее посетителей со всей округи), дом барышень в Жуано и «старик из Лассю»; на этот раз я выбрал старика, может быть, потому, что ему уже за восемьдесят и он мог вскоре покинуть Лассю, откуда он никогда не хотел выходить. Он не охотился уже много лет, разве лишь на вяхирей, в октябре. Чем заполнял он все свои дни? У него был совершенно озадаченный вид, когда я сказал ему как-то, что есть на свете сумасшедшие, которые покупают книги. К себе он не впускал никого, кроме доктора. Он говаривал, что юре получит его мертвым, но живым — никогда. Что касается наследников (он состоял в родстве со всеми крупными помещиками, и с нами тоже, но в очень далеком), он спускал собак на каждого, кто пытался навестить его. Они все потешались над этим, чувствуя, что он ненавидит их всех одинаково. Единственная надежда у них была на страх смерти, который, если верить нотариусу, мешал старику из Лассю сделать завещание. Но Сегонда, которая за ним ходила после того, как спала с ним больше сорока лет, несомненно, добилась, чтобы он сделал все, что надо. Она-то наверняка и унаследует его восемьсот гектаров или, вернее, унаследует ее сын Казимир: ведь она в полном подчинении у этого скота, который никогда ничего не делал, только охотился на вяхирей в октябре вместо старика из Лассю. Остальной год он что-то мастерил, если не был пьян, носил воду из колодца, пилил дрова. Я могу его увидеть, могу не увидеть — это мне все равно. Он, пожалуй, ближе к вещам, чем к живым людям, так же как Большая сосна, как сам старик из Лассю. В них нет ничего человеческого в пугающем смысле слова. Они огрубели настолько,

¹ Приветствие на местном наречии.

что не принадлежат к тому виду, которого я боялся, от которого мне всегда не терпелось бежать.

Я шел и шел. Папоротник, еще не тронутый осенними холодами, в те времена почти достигал моего роста, я сильно вырос только на следующий год. Папоротник был моим врагом, мне с детства внушали, что он содержит синильную кислоту. Я сбивал палкой самые пышные верхушки, а то и врбался в густые заросли и вдыхал аромат ядовитого сока, словно запах пролитой мною крови.

Когда я проходил мимо Силе, заброшенной фермы, где некогда поклонялся Гризетке, я услышал приближающийся топот копыт и едва успел отскочить в сторону: м-ль Мартино проскакала мимо, не увидев меня или, скорее, не удостоив меня увидеть, сидя верхом на коне, как Жанна д'Арк; ее золотистые кудри развевались по ветру, словно живые: да, словно живые змеи вокруг ее головы. Может быть, она опасалась, что я с ней поздороваюсь. Хотя мы были родней, а Мартино состояли в свойстве со «всеми, что есть лучшего в ланде», как говорила мама, мы их не замечали, они нас — тем более. Не одно поколение нашего рода было в ссоре с Мартино. Уже наши деды не разговаривали друг с другом. Но м-ль Мартино подвергалась особому остракизму, — в те времена (сейчас я осведомлен лучше) я объяснял его тем, что она, вопреки приличиям, не ездила в дамском седле; в действительности же главное было в том, что она работала, служила лектрисой, компаньонкой в Базасе у баронессы де Гот, особы не нашего круга, принадлежавшей, как говорила мама, к другой сфере, — с ней никакие отношения были немыслимы, ее частная жизнь даже не подвергалась, подобно жизни людей нашего круга, маминому безапелляционному суждению: ведь не будем мы обсуждать нравы муравьев, или енотов-полоскунов, или барсуков. «Эта баронесса де Гот, — начинала мама. — Говорят, будто... впрочем, нет, ты не поймешь!»

Я всегда видел м-ль Мартино только верхом на коне: она словно приросла к нему, как мои оловянные солдатки к своему седлу. Жила она в Базасе, поэтому ее нельзя было встретить на мессе или на чьих-нибудь похоронах...

Дом старика был отделен от фермы загородкой; в садике росли посаженные Сегондой чахлые далии. При моем приближении были спущены с цепи собаки и сразу же на пороге появилась Сегонда. Старик закричал из дома: «Quezaso?» Она всмотрелась из-под руки и, узнав меня, крикнула в полукрытую дверь: «Lou Tchikoï de lou Prati!» «Мальш из Лу Прата» — так звал меня старик из Лассю. Дело в том, что лес, где мой дед построил свой дом, назывался Лу Прат и сохранял это название до не очень давнего дня, когда мы с Лораном перекрестили его из-за того, что фамилия одного жирного и дураковатого мальчишки, учившегося с нами в коллеже, была Лупрат. А я уж настоял на названии «Мальтаверн», по главию пленившей меня повести в «Рождественском альманахе» за девяностые годы. Но старик из Лассю знать ничего не знал, кроме «Лу Прата».

Черный старушечий платок прикрывал волосы Сегонды. Губы были втянуты в беззубый провал рта. Появился старик, весь взъерошенный, в застиранной рваной фуфайке и, несмотря на жару, в шерстяных носках. Он притворялся, будто не знает своего возраста, но когда-то он стрелял в рядах версальцев: для него Париж навсегда остался логовом коммунаров. Он не рассказывал об этом никому, только Лорану и мне — ведь мы не принадлежали к ненавистой банде наследников, — главным образом мне, я ему нравился, я это чувствовал, так же как нравлюсь Симону Дюберу, как нравился аббату Грилло, который всегда выводил мне на экзаменах средний балл, даже когда я заваливался.

— Он растет! Растет! Придется положить ему на голову камень потяжелее.

Затем последовала перебранка между стариком и Сегондой. Я не говорю на местном наречии, но все понимаю. Старик велел ей принести бутылочку пива. Сегонда, уставившись на меня настороженным, как у курицы, взглядом, ворчала, что он и так много пива выпил, «недолго и живот застудить». Мало ли что я не наследник, а там кто меня знает? Ей пришлось все-таки уступить, и она по-

ставила бутылку и два стакана на ржавый садовый столик. Увидев, что она словно вросла в землю рядом с нами, старик прикрикнул: «А l'oustaou!» — «Домой!» Она повиновалась, но, несомненно, пошла в кухню подслушивать, прячась за прикрытыми ставнями.

Мы со стариком чокнулись. Он разглядывал меня из глубины своих восьмидесяти лет, ничуть не тяготясь наступившим долгим молчанием... Быть может, с какой-то смутной тоской? Впрочем, нет, слово «тоска» звучит глупо в применении к этому старому вепрю, который за все свои восемьдесят лет прожил единственный день, всегда один и тот же, с ружьем тут же под рукой, с бутылкой вина Медок к каждой еде — единственный видимый признак его богатства; с виду он был таким же грязным, таким же невежественным, как самый невежественный, самый грязный из его фермеров, боявшихся его пуще огня. И все-таки это была тоска, ее выдали первые же его слова:

— Я ездил в Бордо в девяносто третьем году, прожил три дня в гостинице. Там была ванная...

— И вы ею пользовались?

— Что ты, еще заболеть можно! Э!

Он замолчал, и вдруг опять:

— А обедал напротив, в «Жареном каплуне». Ну и вина там...

Он снова замолчал, потом принялся хихикать. Я отвел глаза, чтобы не видеть два гнилых пенька, торчавших у него на месте передних зубов. Он спросил меня:

— Знаешь «Замок Тромпетт»?

— Но, господин Дюпюи, его разрушили чуть не сто лет назад!

— В девяносто третьем году его еще, видать, не разрушили, раз я ходил туда. — Он все смеялся. Его «Замок Тромпетт» был бордель, о котором шушукались по углам во дворе коллежа «грязные типы». — Не дешево это обходится... Это еще не для тебя.

В ту минуту я уверился, что бессмертие уготовано лишь очень малому числу душ, а для тех, кто не избран, адом будет небытие. К тому же господь обещал бессмертие лишь немногим: «И в грядущих веках вечная жизнь». Или еще: «Тот, кто вкусит от хлеба сего, не умрет». Но остальные умрут. Несомненно, это была одна из тех «выпешек интуиции», которыми восхищался Андре Донзак; он утверждал, что это особый дар, восполнявший недостаточность моего философского мышления. Я написал ему в тот же вечер, надеясь ослепить его своим открытием относительно бессмертия избранных, но с обратной почтой получил в ответ издевательства над этим абсурдным взглядом: «Все души бессмертны либо не бессмертны ни одна из них». Но тогда я с наслаждением повторял про себя, что не останется ничего от старика из Лассю, ничего от Сегонды, ничего от Казимира, ни вот столечко, чтобы поддержать хоть крохотный язычок вечного пламени.

— Ты еще не вошел в возраст...

Он, должно быть, испытывал смутное раскаяние в том, что заговорил со мной о «Замке», так как резко переменял тему и стал расспрашивать, что болтают о нем в местечке.

— Только и спорят, подписали вы бумагу или нет...

Я заговорил шепотом из-за Сегонды, которая наверняка подслушивала.

— Всем интересно, скоро ли Сегонда и Казимир отхватят кусок, или все уже сделано...

Я коснулся запретной темы. Старик посмотрел на меня подозрительно:

— А ты что думаешь?

— О! На месте ваших наследников я спал бы спокойно.

— Почему так уж спокойно?

Я знал, что нужно сказать старику из Лассю, чтобы взбудоражить его окончательно.

— Лучше помолчать: Сегонда подслушивает.

— Ты же знаешь — она глухая.

— Она отлично слышит, когда ей нужно, вы сами мне говорили.

Он настаивал. Я видел, он обеспокоен, возбужден. Донзак говорит, что я возбудитель беспокойства в точном смысле слова. Не всегда. Но в тот день это было так.

— Странно, неужели такой пронизательный человек, как вы, господин Дююи, не понимает, что, пока бумага не подписана, Сегонда и Казимир заинтересованы в том, чтобы вы не умирали.

Он проворчал:

— Не говори об этом!

— Но речь идет об этом и ни о чем другом. В тот день, когда вы подпишете, все пойдет по-другому: в их интересах будет...

Он прервал меня чем-то похожим на лай, но это был стон.

— Сказано — не говори об этом.

Он встал, сделал несколько шагов, волоча подагрическую ногу. Он обернулся и крикнул:

— Вeu-t'en! (Убирайся!)

— Я не хотел вас обидеть, господин Дююи.

— Да это же не убийцы: они ко мне привязаны.

Я покачал головой и засмеялся, подражая его хихиканью.

— Еще бы, пиявки всегда привязаны, а эти слишком трусливы, чтобы стать убийцами. Они отлично понимают, что раз вы подписали бумагу, их первых заподозрят, если что-нибудь в вашей кончине вызовет сомнение. Тогда уж ваши наследники поведут следствие беспощадно. Тем не менее...

Я вышел за ограду; старик стоял среди далий, потрясенный тем, что я заговорил с ним о его кончине, больше, чем угрозой убийства. «Что? Что?» — бормотал он. На его лице проступила дурная бледность, он весь помертвел. Пожалуй, его убийцей мог стать я сам. Но я об этом не думал. Я наносил удары, словно одержимый:

— ...Тем не менее, господин Дююи, неужели вам это не приходило в голову? В таком уединенном месте, как Лассю, где нечего бояться свидетелей, согласитесь, совсем не трудно убрать с дороги, не подвергая себя риску...

— Вeu-t'en!

— Вот не знаю, — продолжал я задумчиво, как бы рассуждая с самим собой, — можно ли обнаружить при вскрытии, что человека удушили подушкой? А еще вернее — крупозное воспаление легких, стоит только привязать старика к кровати зимой на всю ночь перед открытым окном, если будет много ниже нуля, разумеется! Но тут я тоже не знаю, как при вскрытии...

— Убирайся, не то я позову Казимира.

Казимир уже выходил из ворот фермы. Я пустился наутек, даже не обернувшись, чтобы бросить прощальный взгляд на Лассю, куда мне теперь пути заказаны, покуда жив старик...

Ну ладно! Все это неправда. Эту историю я сам себе рассказал. Все ложь, начиная с того, что старик сказал мне про «Замок Тромпетт». Настоящий роман! Хороший ли? Плохой? Лживый во всяком случае, все звучит лживо. Я не произнес бы и трех слов, как старик вколотил бы мне их обратно в глотку. Кроме того, никогда я не совершил бы смертный грех, обвинив в убийстве или покушении на убийство Казимира и Сегонду, которые и в самом деле привязаны к своему старому мучителю. Есть еще и другая версия этой выдуманной истории: старик неожиданно решил, что его наследником буду я. Я придумываю, как употребить эти деньги. Лассю я превращу в библиотеку, мы поместим там сообща все наши книги, Донзак и я. Отгородимся от мира живых горами книг, и музыкой тоже — там будет пианино для Андре, а может быть, и орган, почему бы и нет?

Наверно, я сочинял эту историю на обратном пути? Не помню. Помню только, что я был умиротворен и счастлив, как бывает почти всегда, когда я причащаюсь поутру. Я размышлял о том, что годы моего отрочества протекают в мире чудовищ или, вернее, среди карикатур на чудовища, одни из них любят меня, другие боятся. Ни одна девушка еще не являлась мне, как это бывает в книгах, хотя в коллеже считается, что я «недурен лицом»; правда, я совсем тощий и у меня нет мускулов. Андре говорит, что девчонки не любят слишком тощих мальчишек. Единственную девушку, которой я восхищаюсь, я вижу только верхом на коне: недостижимую, как Жанна д'Арк. Она так презирает меня, что даже не глядит... Да... Но меня и пленяет в ней то, что я ничем не рискую, она не спешит, не подойдет ко мне, не потребует, чтобы я перестал быть ребенком и вел себя как мужчина... Думал ли я об этом, возвращаясь из Лассю? Или сочиняю уже новую историю? Есть еще другие девушки, которые волнуют меня: те, что поют в церкви, сбившись вокруг фисгармонии сестры Лодоисы... Особенно дочка аптекаря, которые носят черную бархотку на шее, набухающей при пении, как горлышко голубки...

За время тех каникул не произошло ничего, кроме повседневных событий нашей замкнутой жизни. Симона с нами не было. О г-же Дюпор не говорили, прошел слух, будто она зашла, а по словам Мари Дюбер, которая по-прежнему работала у нее поденно, она даже «вставала по ночам, чтобы пропустить стаканчик». След Дюпоров и Симона затерялся среди других; потом пришло начало занятий, возвращение в Бордо; Мальтаверн стал для меня волшебным островом, о котором я мечтал до наступления следующих каникул, предшествующих моему переходу в класс риторики. На этот раз произошло только одно: визиты облаченного в сутану Симона к г-же Дюпор были одобрены также и мэром. Мама и настоятель радовались этому как победе, или по крайней мере притворялись, будто радуются. Происходили уже тогда тайные свидания г-на Дюпора с Симон? Задумал ли он еще в том году похитить его у церкви? По словам Симона, при встречах мэр никогда не говорил с ним о религии, он был очень любезен, советовался с ним иногда по тому или иному поводу, рассказывал о своих политических друзьях, с которыми видится на заседаниях генерального совета. Он даже был в дружеских отношениях с молодым министром Гастоном Думергом: он мог бы обратиться к нему с любой просьбой...

Этим летом Симон как воды в рот набрал — про мэра ни слова. И вдруг словно гром с неба: явилась г-жа Дюпор вчера в ризницу, после того как настоятель отслужил мессу, и открыла ему глаза на замысел своего мужа. Мэр пообещал Симону взять на себя его содержание, пока он не получит диплом лиценциата, и даже после того, если он захочет поступить в Эколь Нормаль и готовиться к конкурсу на должность преподавателя.

По словам г-жи Дюпор, разгадать намерения Симона невозможно. Ей казалось, что он поддался искушению, но еще колеблется. Настоятель боялся своим вмешательством все испортить. Я дал ему понять, как он туп. Я отлично видел, что он в трудном положении и не надеется без меня распутать все, что могло перепутаться в голове и сердце юного крестьянина, пересаженного на семинарскую почву и неожиданно оказавшегося — пусть в масштабах кантонального центра — ставкой в той борьбе, что завязалась во Франции между государством и церковью, или, вернее, между франкмасонством и конгрегациями.

Я-то знал, что Симон увильнет от спора еще до того, как он начнется. У Симона, вероятно, есть в семинарии друг, которому он все рассказывает; но я для него существо высшей расы, я — сын «мадам»; он любит меня, я уверен, но в его глазах я так же недостижим, как для меня м-ль Мартино или вечерняя звезда. Он ничего не скажет, разве лишь...

Я всегда предпочитал писать, а не говорить: с пером в руке я ничего не боялся.

— Я мог бы,— сказал я г-ну настоятелю,— написать Симону письмо, оно уже сложилось у меня в уме.

— Но он сильнее тебя в богословии...

— Как будто дело в богословии! Я знаю, с какой стороны повести наступление...

На самом деле я узнал это не более двух минут назад, и все еще плавало в тумане, но наконец-то я попал на след.

Настоятель твердил свое:

— Заставь его говорить!

— Повторяю, он ничего мне не скажет. Да и вообще никто никому ничего не говорит. Я не знаю, в каком мире люди объясняются при помощи вопросов и ответов, как в романах, как в театре...

— Чего ты добиваешься? А что же мы делаем целыми днями? Что делаем мы с тобой сейчас?

— Это верно, господин кюре, но часто ли у нас с вами бывает такая затравка для разговора? Не помню, чтобы мы с мамой обменялись когда-нибудь хоть словом, разве лишь привычными фразами, да и то зачастую на диалекте: ведь то же самое говорят и фермерам и прислуге. Может быть, дело в возрасте или общественных различиях, только у нас нет общего языка... Но я заметил, что фермеры тоже не разговаривают друг с другом: при встрече они спрашивают: «As déjeuner?» (Позавтракал?) Важнейший и даже единственный интерес в жизни — это еда, которую они разминают своими беззубыми деснами, словно жвачку жуют. А влюбленные, разве они разговаривают?— вздохнул я.

Кюре повторил:

— Чего ты добиваешься?

— Если бы тут была мама, она сказала бы: «Пустомеля!» — и все стало бы ясно... Но писать всегда можно. Я могу написать Симону отличное письмо, он будет его читать и перечитывать, будет носить на сердце...

— Ты одержим гордыней,— сказал настоятель.— За кого ты принимаешь себя?— И после недолгого молчания:— Что ты ему напишешь? Ты его даже не знаешь.

— Я знаю, в каком направлении я хочу идти,— вернее, должен идти... Хотеть я ничего не хочу.

Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно увлекся сам. То, что я хотел написать Симону, разворачивалось вдаль и вширь перед моим внутренним взором. Мне не терпелось скорее все записать, чтобы не упустить из рук это чудо.

Глава II

Прошло больше года, и снова я открываю эту тетрадь: записи в ней прерваны не за недостатком материала, о, боже, нет! Но все мною пережитое не поддавалось никакому обдуманному изложению, а главное — убило во мне ребенка. Нет, это неправда: я стал другим, оставаясь самим собой. Я не отказываюсь от того, что написал в семнадцать лет. Теперь я ступаю на порог девятнадцатого года и, разумеется, не стал бы по собственному почину записывать все, что было пережито. Но Донзак придает слишком большое значение, — и это мне кажется нелепым, — моей реакции на повседневные события жизни. Нет, пожалуй, это не так уж нелепо. Дело в том, что Донзак, будучи неизмеримо умнее меня (хотя он и написал мне однажды: «Ты не настолько умен, как я, но почти...»), страдает бесплодием, которому сам удивляется: он понимает все, но выразить не может ничего. Он не сочиняет, не творит, мало того — он не умеет рассказывать. Он способен на потрясающие формулы, но совершенно не способен на развитие мысли. Всегда только мои сочинения удостаивались чести быть прочитанными вслух перед классом, его же — никогда. Его это поражает больше, чем меня. «Подумать только, что это ты, а не я! — вздыхает он, — ты будешь знаменит, а я останусь никем

до самой смерти!» Но тут-то и проявляется его превосходство: он не считает, что это несправедливо. Он верит, что я стану писателем, даже большим писателем, а он будет всю жизнь преподавать латынь невеждам-семинаристам. Но он также верит, что, отправляясь от любого написанного мною текста на тему, подсказанную жизнью, но преломленную в моем восприятии, он, Андре Донзак, совершит то, что сам я не способен совершить, то, что он называет «открытием». Открытие чего? В его понимании речь идет о выявлении некоей тайной точки, где правда жизни, постигаемая опытом, соединится с правдой, данной нам в откровении, в том откровении, которое следует извлечь из грубой породы, затвердевшей вокруг слова божьего в течение двух тысячелетий истории церкви.

И вот мы условились, что я должен черным по белому, не опуская ни одной подробности, изложить все, что произошло в Мальтаверне, доверив это только ему, и никому другому, рассказать ужасную историю Симона так, как сложилась она во мне и продолжает развиваться, грызя меня изнутри. Я понял, что внутри меня не может умереть ничего, что весь я переполнен каким-то странным, ничтожным и мрачным миром... Что же будет, когда у меня накопится столько воспоминаний, словно я прожил две тысячи лет, как говорит Бодлер? Какая чудовищная старость ждет такого человека, как я! Наверно, я умру молодым... Нет! Это неправда: я не верю, что умру молодым, я не верю, что вообще должен умереть,— я чувствую себя невероятно вечным.

Итак, вот что произошло после того, как я обещал кюре поговорить с Симонам и сломить его молчание, написав ему письмо, основные строки которого уже сложились у меня в уме и не ответить на которое он бы не мог.

Я спустился к Юру — речке, протекающей через Мальтаверн, я знал, что застаю там Симона за рыбной ловлей. Было четыре часа пополудни, мимоходом я захватил в буфетной гроздь винограда. Кое-где блестела мокрая трава,— там, где теперь луг, было когда-то болото. Я заметил, что кайма ольхи вдоль берега отливала голубым. Вспугнутые мной сверчки и кузнечики, жаркое дыхание болотной топи, гудение лесопилки г-на Дюпора, грохот тележек на дороге в Сор — все впечатления этой минуты останутся во мне навсегда: я не отделаюсь от них, хотя бы дожил до глубокой старости.

Я не видел Симона в дальнем конце луга, но слышал его. Забравшись в ольшаник, я присел на берегу, уверенный, что раз он идет вдоль ложа реки, стуча по корням и выгоняя щук и налимов, то рано или поздно поравняется со мной и не сможет не заговорить. Тогда-то и начнется большая игра.

Я сидел на коврик из мяты. Голубые и бурые стрекозы плясали над зарослями осмунды, которую мама называет сацом папоротника. Обычный сентябрьский день во время каникул, когда я мог бы заниматься тем же, что и остальные восемнадцатилетние юноши... А чем они, собственно, занимаются? Я боюсь даже подумать об этом. Ну а я, какой демон или ангел владел мною в тот час? Или все это была комедия? Но тогда кто суфлировал мне мою роль? Кто заставлял репетировать перед выходом на сцену?

Я прислушивался к всплескам воды, раздававшимся при каждом шаге Симона, и вдруг в просвете между деревьями увидел его самого — он был в купальном костюме, ужасающе белый той белизной, которая всегда делала для меня невыносимым вид обнаженного тела, особенно такого, с крестьянским костью, крепко сколоченным, но словно обессиленным интеллектуальной жизнью, которую терпел этот бедный «бунтарь Жаку».

А может быть, волосатый мужской торс — видимый признак мужественности — внушал мне ужас? Но я никогда не задерживался на подобного рода вопросах, приученный с самого раннего возраста видеть в них «дурные мысли».

Когда Симон поравнялся со мной, я крикнул ему: «Adouchats!» Он оглянулся, воскликнул: «О, простите!», выскочил на берег, второпях натянул штаны поверх мокрых трусов и сунул голову в фуфайку. Он был без сутаны,— это меня

поразило. Я сказал, чтобы он продолжал свое занятие. Но он уже кончил: все равно ничего не ловится. Народ из местечка приходит вытаскивать верши чуть свет. Он бросал на меня быстрые взгляды, но тут же отводил глаза, торопясь уйти и в то же время — я решаюсь так написать, потому что это правда и, кроме Донзака, никто никогда этого не прочтет, — подчиняясь моим чарам; очень важно, что он подчинился моим чарам в этот момент и что сам я был охвачен «вспышкой интуиции». Ведь Симон не чаял, как бы сбежать от меня. Надо было удержать его силой. Я сказал, что последние дни все только и делают, что чешут языки на его счет. Он насупился:

— Люди болтают? А мне без разницы. А, б...!

Как должен был он волноваться, чтобы употребить такое неправильное выражение, да еще произнести при мне ругательство! И вдобавок повторить «б...»! Правда, его брат Приудан каждую свою фразу словно приколачивал этим «б...», и Симон на каникулах слушал это целыми днями. Я возразил, что все касающееся его, Симона, мне далеко не безразлично. И тут он, может быть, впервые в жизни надерзил одному из сыновей «мадам»:

— Это мое дело, а не ваше.

— И мое, потому что я привязан к вам.

Он пожал плечами и усмехнулся.

— Это настоятель велел вам заставить меня разговориться и выудить все, что ему надо?

— Вы глубоко ошибаетесь, если полагаете, что я на стороне настоятеля и мадам.

— Но вы, однако, и не друг господина мэра.

— Нет, разумеется! Но если бы я мог вести игру, вашу игру, на вашем месте — я сыграл бы до конца и против мэра, и против кюре одновременно.

— Да, но так как никто вас об этом не просит... Нет! Скажите на милость! Что можете вы в восемнадцать лет знать такое, чего не знают другие?

— Я знаю совершенно точно то, чего не знают они и знаю только я.

— Ах! Вот оно что!

Симон остановился посреди луга и пристально посмотрел на меня.

— Однако и самонадеянны же вы!

— Что знаю, то знаю, и вы тоже знаете, что я это знаю.

— Что я знаю?

— Что в Мальтаверне только я один — зрячий, может быть, я и вы. Но вы слишком связаны, чтобы видеть ясно, вы слишком в этом погрязли.

— Ладно! Это уж как вам будет угодно, господин Ален. Но я желаю, чтобы вы оставили меня, к чертовой матери, в покое.

Груб со мной, первый раз в жизни...

— В покое? Бедный Симон! Да вы скоро вконец успокоитесь. Я бы мог просветить вас одним словом... Нет, пожалуй, не одним, это уже бахвальство: я должен говорить, сколько понадобится..

— Я не хочу, чтобы вы со мной говорили.

— Тогда разрешите мне написать. Хотите, я напишу вам?

— Вы этого никогда не делали, даже когда я получил первое звание, — сказал он с неожиданно прорвавшейся старой обидой, — даже когда получил высшую награду... Разве я хоть что-нибудь значу для вас?

— Вы это отлично знаете, Симон, вы не можете этого не знать сейчас, когда я страдаю из-за вас...

— Ах, так! Но кто я для вас? Сын крестьянина, Симон, которому все «тыкают»...

— Только не я.

— Да, это верно, только не вы, но для вас я всегда был — Симон, а вы для меня — господин Ален, даже когда вам было четыре года. Господин Лоран, господин Ален! Скажите на милость! А, б...!

Он был вне себя. Он ускорил шаг. Мне приходилось почти бежать, чтобы идти с ним рядом. Я настаивал, чтобы он мне разрешил написать ему.

— Да какое я имею право запрещать вам?

— Но обещайте, что вы прочтете мое письмо.

На этот раз я нашел нужный тон. Он остановился, в этом месте берег делал плавный поворот. На траве лежали длинные тени тополей. Было, должно быть, часов пять. Симон сказал:

— Да, конечно, господин Ален, я прочту ваше письмо, я отвечу вам. Успокойтесь. Но что вы можете знать обо мне, чего не знают другие?

— Первое, что я могу сказать вам сразу же, но не от своего имени, а от имени господина-бога...

Он только пробормотал: «А! Ха! Вот как!» Шла большая игра. Моя сила была именно в том, что я не играл: я действительно был во власти вдохновения.

— Эти болваны не знают, что господь возлюбил вас таким, какой вы есть, то есть молодым честолюбцем. Каждая часть вашей души любезна богу, так почему же не мог он возлюбить честолюбие, которое сейчас в ней главенствует?

Хотя ни один мускул не дрогнул в его лице, я почувствовал, что он насторожился. Я продолжал:

— Все они одинаково слепы — и одни и другие. Мы с вами знаем, Симон, — пусть церковь действительно стала походить на груду старых дырявых труб, которую мэр высмеивает, а мама и господин настоятель принимают за высшую истину, но мы-то знаем, что по трубам этого древнего водопровода льются, пусть не потоком, пусть скупыми каплями, но все же льются слова вечной жизни...

Это была цитата из Донзака, но я и сам этого не заметил. Симон пробормотал:

— Э! Скажите пожалуйста, я же еще и честолюбец? Вы ведь не знаете, что они мне предлагают. Вы сами говорите, это старые трубы... А жизнь, правда жизни, и вы отлично это знаете, теперь исходит не оттуда.

— Нет, в сущности, я не согласен с тем, что сказал о старом водопроводе: ведь римская церковь, ее богослужение, ее доктрина, даже ее святая и преступная история, ее искусство наконец, воплощенное в соборе, в церковном пении, в Анжелико¹, — прекраснее этого нет в мире ничего, меж тем как все, что воплощают Лубэ, Комб, Большой и Малый парижские дворцы, кажется мне постыднейшей эпохой человеческой истории. Но хватит. Не об этом речь. На карту поставлен Симон Дюбер, его земная судьба и вместе с тем вечная его участь. Выслушайте меня внимательно: чем бы ни заманивал вас господин Дюпор, этот франкмасон кантонального центра, даже если это будет завидное место у сенатора Мони или даже в Париже, у Гастона Думерга...

— Откуда вы знаете?

Откуда я знал? Я попал в цель не совсем наудачу. Думерг приезжал к нам в прошлом году на открытие Сельскохозяйственного союза, и г-н Дюпор представил ему Симона.

— Я знаю только то, что господу угодно, чтобы я знал. Но слушайте внимательно. В гражданской службе, как бы вы ни старались, вы будете лишь так или иначе использованы определенной партией; без дара красноречия, которого вы лишены, вы окажетесь в подчиненном положении, вы никогда не вырветесь на заметное место, вам всегда будет не хватать...

Я заколебался: я боялся оскорбить его. На языке у меня вертелось выражение, постоянно повторявшееся в маминых разговорах: «элементарной воспитанности». Симон понял меня.

— Ах, так! Я навсегда останусь крестьянином, чернозадым и к тому же бывшим церковным служкой.

— Я не это хотел сказать, но подумайте сами: сутана меняет человека и духовно и социально. Сутана — это новая кожа. Маршалский жезл в ранце про-

¹ Ф р а А н ж е л и к о (Джованни да Фьезоле; 1387—1455) — итальянский художник.

стого солдата — какая чепуха! Зато кардинальская шляпа за спиной умного маленького семинариста действительно существует, поверьте, и только от вас зависит, надеть ее или нет. Да, все зависит от вашей воли и вашего ума. Что не помещает вам быть хорошим священником, верным своему долгу, и даже святым священником. Святые епископы тоже бывают, и даже святые кардиналы.

Какой гениальный ход! Я освятил первое место, к которому стремился Симон. Он покачал головой:

— Все это старая сказка, с этим покончено, страница перевернута. Комб дал сигнал к травле церкви...

— Полноте! Церковь — империя, объединившая пятьсот миллионов душ, — сумеет дать отпор тому, что происходит в ее французской провинции: ведь наше духовенство, и черное и белое, вело себя по-идиотски, попадало во все ловушки, расставленные националистической правой партией, а верующие, это Панургово стадо, слепо следовали за ним...

— А! Вы признаете, что были у нас ошибки?

— Да еще какие! Ошибка слишком мягкое слово; сообщничество с негодями из генерального штаба, совершившими подлог, чтобы держать на каторге невинного, — этому нет прощения. Да, церковь еще поплатится за это.

Симон смотрел на меня, раскрыв рот.

— Вы признаете Дрейфуса невиновным? Вот тебе на!

— Но, Симон, я признаю лишь то, что бросается в глаза, — тупой антиклерикализм Комба под стать тупому клерикализму, который царил и продолжает царить в нашем лагере; мы можем изучать это здесь, в нашем кантоне, как в капле воды под микроскопом: требование моей матери, чтобы фермеры отдавали дочерей на обучение монахиням; положение школьной учительницы, «барышни», которой чураются, как прокаженной, отводят ей отдельный угол в церкви...

Симон прошептал:

— Но тогда...

— Что тогда? Пусть не будет ни грана подлинного христианства у наших мнимых христиан, пусть получают они по заслугам еще на этом свете, это не меняет ничего в данных задачи, поставленной перед молодым аббатом, жаждущим выдвинуться на первое место. Необходимо выбрать правильное направление с самого отплытия, взять курс на Париж, на католический институт, затем, если возможно, на Рим. Главное, сделаться необходимым одному из тех, кто действует на поверхности церкви, им всегда нужна в помощь голова вроде вашей, «голова, в которой все помещается», как говорит мама. Они по большей части не слишком сильны в науке.

— Боюсь, что и я не сильнее.

— Не беда! Главное, иметь «голову, в которой все помещается». Основа у вас есть, я полагаю? Томизм для повседневного употребления, то, что Донзак называет «невозмутимый томизм»...

Мы остановились посредине луга, прямо против дома. Симон стоял к нему спиной и не видел, что на террасе маячат две черные фигуры, — мама и г-н настоятель. Заметив нас, они поспешно скрылись.

— Разумеется, Симон, вам нужно будет как следует познакомиться с ересью, против которой вы собираетесь бороться, — с модернизмом. Знаете ли вы хоть немного Ньюмена, Мориса Блонделя, Ле Руа, Луази, Лабертоньера?..

Он жалобно признался, что едва знает их имена.

— Донзаку ничего не стоит дать вам полную библиографию.

— Но он ими восхищается?

— Да, но он не может не удивляться глупости и невежеству их противников, он отлично знает, как можно их опровергнуть с точки зрения томизма. Он сумеет великомерно вооружить вас против них, причем так, чтобы ваша позиция не отдавала ретроградством. Впрочем, богословие это только основа. Важно правильно выбрать себе специальность, например, каноническое право, одним словом, какую-

нибудь науку в этом роде, тут я вам не советчик, так уж у меня устроена голова, в ней помещается только немного.

Я свернул на аллею, ведущую к большому дубу, чтобы нас не могли увидеть из дома. Сумерки еще не наступили, но от реки потянуло холодом. Симон теперь уже не пытался уйти. Этого я по крайней мере добился. Он шел, опустив глаза, в глубокой сосредоточенности, близкой к оцепенению: жесткое, мертвенно-бледное лицо без кровинки, не видно даже губ, с черным налетом двухдневной щетины на щеках — это лицо стоит перед моими глазами, когда я думаю о Симоне. Таким я увидел его, когда мы подошли к большому дубу. Он прошептал:

— Слишком поздно! Слишком поздно!

— Нет, раз вы еще здесь.

Я сел на скамью, прислонившись к дубу. Он стоял. Мне почудился трепет надкрылий готового взлететь майского жука. Ах, удержать его, удержать во что бы то ни стало!

— Большой дуб, — сказал я, — помог мне когда-то сыграть забавную шутку с господином настоятелем...

— Вы позволяете себе шутки с господином настоятелем?

Я рассказал ему о своей исповеди 7 сентября. Сначала он не хотел верить: «Э! Рассказывайте!» Он смеялся. Никогда я не видел, чтобы он так хохотал. Раньше, чем приобщать его к модернизму, придется научить его пользоваться зубной щеткой.

— Интереснее всего, — сказал я, — что я действительно с детства соблюдаю обряды идолопоклонства!

Я прижался к божественному дубу щекой, а потом — надолго — губами. Симон присел рядом. Он больше не смеялся. Он спросил, не была ли эта исповедь кощунством.

— Нет, настоятель рассудил по-другому.

— Он думал о грехах, которых вы не совершали?

Я не ответил. Симон пробормотал:

— Извините меня.

— Вам не в чем извиняться. Просто я не люблю говорить об этих вещах.

— Однако они связаны со всей этой историей, с нашим спором. Да, с тем, что господин мэр называет «грехом против природы», то есть с вынужденным безбрачием... Вы не понимаете, — сказал он с неожиданной нежностью, — вы ангел. Впрочем, полуангел, полудьявол, — добавил он, усмехнувшись.

— Послушайте, Симон, я знаю, о чем тут речь, уж поверьте мне. Разумеется, прежде чем согласиться на это условие, человек должен испытать себя. Но если хватит у него сил и мужества, как поможет ему это в дальнейшем продвижении! Вас ждет крутой подъем, подумайте, какое преимущество — не тащить за собой детей. Безбрачие? Но в нем для вас залог победы.

— Да, но речь идет о чистоте. А послушали бы вы на этот счет господина Дюпора...

— Господин Дюпор сам не лучше других со своими двумя связями и этими работницами, которых он к себе зазывает...

— Возможно, но и не хуже?

— Во всяком случае не брак способен разрешить задачу, поставленную перед нами плотью, сожительством души, взыскующей бога, и самого скотского инстинкта.

Симон пробормотал:

— Но есть же такие, что любят друг друга.

— Да, Симон, есть такие, что любят. Но, может быть, это тоже призвание.

— Господин Дюпор говорит, что его уничтожили во мне и в вас тоже. В общем, он так полагает.

— Я сам часто обвинял в этом воспитание, которое получили мы оба, Лоран и я. Но Лоран как раз похож на всех остальных. Он даже раньше времени стал

бегать за девочками. Я же родился другим... Я родился брезгливым до отвращения... А вовсе не ангелочком, как вы думаете... Сейчас я вас удивлю: я еще и боязлив до малодушия. Причиной всему один пустяковый случай. Вы бывали на ярмарке в Бордо, на площади Кенконс, в октябре и в мае?

— Э! Вы думаете нас, семинаристов, водят на ярмарки?

— Это изумительное место, поэтичное необыкновенно.

— Что? Бордоская ярмарка?

Этот крестьянин подумал было, что я смеюсь над ним.

— Да, каждый балаган зазывает на небывалое представление. Каждый оркестр играет свое и не заботится о других. Звучит чудовищная какофония, пропитанная запахом карамели и жареного картофеля, а в стороне — подозрительный сарайчик с женским именем на вывеске, и сквозь дыру в занавесе вдруг мелькнет рука или ляжка великанши. И размалеванные картины, где господа и дамы распивают шампанское, а у метрдотеля в черном вместо головы череп, он — это смерть! А вдали, за площадью, словно декорация — река и скользящие по небу корабли...

— Зачем вы мне все это рассказываете?

Симон смотрел на меня подозрительно. Я вспугнул его, вместо того чтобы привлечь. Я снова почувствовал, как дрогнули надкрылья майского жука. Я быстро заговорил:

— Чтобы вы узнали об истинном происшествии, которое помогло мне сделаться тем, что вы называете ангелом. Однажды на этой ярмарке я зашел в «Музей Дюпюитран». Там были выставлены восковые муляжи органов человеческого тела. Цели, очевидно, были нравоучительные, но среди прочего там изображались и роды.

— Мадам разрешила вам?

— Нет, случайно я вышел из дому один, с товарищем. И вдруг я увидел... Я буду видеть это всю жизнь, да, до последнего вдоха... На этикетке было написано: «Половой орган негра, изъеденный сифилисом».

Некоторое время мы оба молчали. Вдруг Симон спросил:

— Что означает для вас чистота? Что сказали бы вы семинаристу, если бы он спросил у вас, зачем надо быть чистым?

— Чтобы можно было отдать себя. Так ответил мне молодой священник, которому я однажды исповедовался. Отдавать себя всем, говорил он, в этом наше призвание, и оно требует абсолютной чистоты. Тогда можно отдать себя до конца, не рассуждая.

— Э, нет, господин Ален! Вы что же, издеваетесь надо мной? Только что вы возвещали и сулили мне мирские триумфы, а теперь, выходит, надо отдать себя и стремиться к чистоте для того, чтобы можно было себя отдать...

Он ухмылялся, злорадствуя, что сунул меня носом в мои собственные противоречия. Я взял его за руку. Она была влажная. Я чувствовал его лишенный суставов шестой палец, похожий на червя, которого можно раздавить и «выпустить сок», как говорил Лоран, когда был маленький. Я преодолел отвращение и сказал:

— Вы не понимаете меня. Разумеется, в том плане, в каком идет спор с господином Дюпором, я не могу обещать вам ничего другого, кроме мирского успеха, который, самое большее, может сделать вас князем... великим князем и перед людьми, и перед богом. Ибо, при удаче, в сане епископа, кардинала вы будете выполнять долг милосердия и по отношению к верующим, и ко всей церкви в целом. Но — внимание! — в любой момент стремительного бега к почестям, на любом повороте этого триумфального пути вы можете его оставить, отказаться от всего, стать святым, о чем вы тоже мечтаете, я знаю.

Почему я знал это? Уж не потому ли, что я приписывал себе дар предвидения?

— Я — святым? А, б...!

— Да, святым. Возможно, вы не выдержите этого бега к почестям и нырнете в какой-нибудь пригородный приход, а может быть, и в послух. Но скорее я вижу вас в нищем приходе, брошенным туда на съедение, как кусок хлеба в рыбный садок.

— А почему же не будет у меня такой возможности в Париже, в светской среде, где я буду проходить испытание?

Я не выпускал его руки, хотя теперь она стала совсем мокрой и скользкой.

— Нет, Симон, если вы ступите туда, оставьте надежды, вода сомкнется над вами. Я не говорю, что вас не ждут там известные выгоды, но пути к богу будут отрезаны.

Он взъерепенился:

— Что вы об этом знаете? Бог не станет спрашивать у вас разрешения. Мы-то уж знаем, что его пути — не наши пути. Нам все уши об этом прожужжали.

— Знаю, и все тут, — сказал я. — Вы не обязаны мне верить, но если вы изберете Париж, — вы погибли.

Я знал, что он уже сделал выбор. Я знал, что все для него кончится плохо. Он высвободил свою руку. Я вытер носовым платком свою. Он сказал совсем тихо:

— Я уезжаю завтра на рассвете.

Прудан отвезет его в двуколке до Вилландро, а там он сядет на поезд, никто и не заметит его отъезда.

— Если только вы не разболтаете.

— Нет, Симон, я не разболтаю.

По дороге шло стадо, я услышал крики пастуха. Симон закашлялся. Я прознес мамину ритуальную фразу: «Тянет холодом от речки». Симон спросил еще раз: «Вы ничего не скажете?» Он согласился, что будет лучше, если я подготовлю настоятеля и маму к ожидавшему их удару, но не предупреждая, что это случится так скоро. Он зашагал по тропинке. Я направился к дому и на пороге столкнулся с Лораном, который заявил, что «смывается»: у нас сидит кюре и вдобавок еще мамаша Дюпор!.. Мамаша Дюпор? Лорана это не удивило, его ничего не удивляет.

В прихожей горела висячая лампа, хотя было еще совсем светло. Прежде всего я увидел сидевшую напротив г-на настоятеля и мамы, словно обращенной в камень, г-жу Дюпор в траурной вуали, с бегающим взглядом, какую-то потерянную и неряшливую, хотя видно было, что, готовясь к визиту, она принарядилась; но женщину, которая пьет, всегда может выдать любая мелочь. Надо было видеть взгляд мамы, устремленный на эту пьяницу, да еще «питавшую склонность» к Симону! «Поверить нельзя, что происходит в этих людях», — должно быть, думала она. Поверить нельзя было и в то, что г-жа Дюпор сидит здесь, у нас.

— Вы знаете моего сына Алена?

Г-жа Дюпор повернула ко мне лицо, подобное мертвой маске, несмотря на живые коровьи или птичьи глаза, наводившие на мысль о плодах какого-то мифологического соития. Она ответила, не сводя с меня глаз, что Симон ей часто рассказывал обо мне. Настоятель заметил, что она может говорить свободно в моем присутствии — полезно, чтобы я был в курсе. Но у г-жи Дюпор пропала охота говорить. Она уставилась на меня круглыми глазами священной коровы. Она принадлежала к тому виду, для которого, как мне известно, я съедобен.

Пришлось г-ну настоятелю изложить то, что сообщила им г-жа Дюпор: Симон, если удастся, через год закончит учение в Париже, где ему дадут место в секретариате радикальной партии на улице Валуа; но за этой ширмой разработан план, который стал известен г-же Дюпор и состоял в том, чтобы использовать все воспоминания Симона о католической школе и семинарии. По словам г-на Дюпора, из этого можно извлечь очень много. Он взял у Симона все его школьные тетради, изучил досконально учебники истории и философии.

— Но как же Симон согласился на это?

— Его уверили, что, если увидят его тетради — первого ученика в классе, это поможет ему получить назначение.

Тут вмешалась г-жа Дюпор:

— Симон слишком умен, чтобы не понять, что это предательство.

Я запротестовал:

— Симон не мог думать, будто можно что-нибудь извлечь из его учебных тетрадей.

Да и в самом деле, что можно было из них извлечь? Из учебников — может быть, да. В моем коллеже учебники, предназначенные для христианских учебных заведений, были начинены смехотворной ерундой, из которой мы с Донзаком составили себе отличный репертуар. Во всяком случае нельзя назвать предателем человека, сообщившего то, что и так всем доступно. Симон хочет прикоснуться к запретному плоду. Настоятель спросил, сказал ли он мне об этом.

— Я это понял сам. Игра закончена.

Настоятель возразил:

— Нет! Он к нам вернется!

Я покачал головой. Я прошептал:

— Он погиб!

— Погиб для нас, может быть, — пылко возразил г-н настоятель. — Но он не погиб, бедное дитя, нет! Нет! Не погиб!

Мне он понравился в этот момент, наш бедный священник. Я заверил его, что согласен с ним. Что касается мамы, она, очевидно, решила молчать, пока г-жа Дюпор остается здесь. Но г-жа Дюпор, казалось, приросла к креслу, которое заполнила всей своей массой. Она смотрела на меня, не скрываясь: я чувствовал на себе ее взгляд. Тогда мама, которая в любых обстоятельствах знает, что прилично и что неприлично, встала, вынудив встать нас всех, кроме г-жи Дюпор, хотя и той было ясно, что мама подала ей знак к прощанию, смягченный выражением благодарности за сообщенные сведения. Наконец г-жа Дюпор встала, подошла ко мне и проговорила:

— Приходите ко мне, пока не начались занятия. Мы поговорим о нем.

Я извинился: занятия начнутся через две недели.

— Но у вас в этом году позже: ведь вы бакалавр. Симон говорил, что вы остаетесь в Мальтаверне поохотиться на вяхирей.

Значит, они обо мне говорили! Вот кого я, оказывается, интересовал. М-ль Мартино обо мне не говорила ни с кем.

— О, какой из меня охотник!

— Тогда тем более — у вас будет время.

Она улыбнулась закрытым ртом, как все, кому надо прятать свои зубы. Кюре, негодуя, произнес властным тоном:

— Я провожу вас, сударыня! — и повел ее к выходу.

Я хотел было пойти вслед за г-жой Дюпор и г-ном настоятелем, но мама приказала:

— Нет, оставайся!

Мы вернулись в гостиную. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Чтобы помолиться или чтобы скрыть свою ярость? Я думаю, она пыталась молиться и боролась против ярости, которая все же наконец разразилась.

Бедная мама, все слова, которых я опасался, вырывались из нее одно за другим. Она повела счет всему, что истратила на Симона в течение десяти лет. Чем больше для них делаешь, тем больше они нас обкрадывают. Ах! Как мы обманулись!

— Впрочем, я преувеличиваю, я-то не обманулась, у меня не было никаких иллюзий. Как говорит господин настоятель, надо отдавать себя целиком, зная, что взамен ничего не получишь.

— Это, может быть, верно для господина настоятеля, — сказал я, — но не для нас. Утешься, скотина оплатит тебе с лихвой.

Мама оторопела:

— Какая скотина?

— Эта старая вьючная скотина Дюбер, который управляет твоими десятью фермами за триста франков в год и только один знает границы твоих владений, так что, уйди он сегодня, — мы окажемся во власти всех наших соседей.

— Кто же виноват, если и ты и твой брат, оба такие никчемные, если вы не способны даже определить границы...

— Ты отлично знаешь, что этому научиться нельзя, надо быть местным и жить здесь всегда. Ты ведь видела, как Дюбер, бывало, вырубит заросли, поскребет землю там, где и знака никакого нет, и вдруг среди кустов ежевики появляется граница. Ты не сможешь обойтись без него. Он еще заставит тебя поплясать, возьмет да и потребует втрое больше, чем ты ему платишь. И то будет до смешного мало.

— Ну, это уж слишком! У него есть жилье, отопление, освещение, он получает молоко и половину свиной туши.

— Да, он даже не знал бы, что делать с теми деньгами, которые ты ему не даешь. Вот он и работает даром.

Она простонала:

— Всегда ты на их стороне, против меня...

В это время вернулся г-н настоятель. Он проводил г-жу Дюпор домой и сделал вид, что идет к себе.

— А сам вернулся сюда. Нам необходимо поговорить.

— Во всяком случае без этого простачка. Хвалился, что уговорит Симона, а теперь его оправдывает и во всем обвиняет меня.

— Я ничего не обещал. Я полагал, что знаю, о чем надо говорить с Симонем. Я не ошибся, но было уже поздно.

— Во всяком случае мы с вами сделали все, что могли.

Мама обращалась к кюре. Она требовала одобрения, похвального листа. Он молчал; своим крепким крестьянским костяком, своей худобой он походил на Симона: большой иссохший остов — и это окаменевшее лицо, словно из гончарной глины, и два глаза, как капли глазури. Он молчал, она настаивала:

— Да или нет? Разве не сделали мы даже невозможное?

Кюре вполголоса ответил на местном наречии словом, которое я даже не знаю толком, как написать: «*Veieou*» (конечное «у» почти без ударения), означает оно «может быть». Это «*veieou*» уже в двадцати километрах от Мальтаверна не поймет ни один крестьянин.

— Мы хотели дать церкви священника.

— Вопрос поставлен неправильно, — сказал кюре. — Мы не властны распоряжаться жизнью ближнего, даже если хотим отдать ее богу, а особенно если он зависит от нас материально. Все, что мы можем сделать, — вернее, все, что я, как мне казалось, хотел сделать для Симона, — это распознать волю Божию в том, что касается этого мальчика, помочь ему разобраться в себе самом.

Меня поразили слова кюре: «Как мне казалось». Я не мог сдержать себя и пробормотал:

— Ах, вот оно что, а на самом деле у вас были другие мотивы!

На маму снова накатил «приступ»:

— Извинись перед господином настоятелем сию же минуту!

Кюре покачал головой:

— В чем извиняться? Он меня ничем не оскорбил.

Я посмотрел на него, заколебался и наконец сказал:

— Вы, господин настоятель, как будто принимали такое же участие в этой смехотворной комедии, как и все мы. Но вы думали о своем облезлом, сыром церковном доме, где вы сидите по вечерам один, об алтаре, где вы служите по утрам в почти пустой церкви. Вы-то знаете...

— Какое отношение все это имеет к Симону? — спросила мама.

— И о поражении, неизбежном поражении... Легче потерпеть его от про-

тивников, нежеди от мнимых приверженцев. Враги — те по крайней мере своей ненавистью доказывают, что церковь еще способна возбуждать страсти.

Кюре прервал меня:

— Я лучше пойду. А то ты уже заговариваешься, как сказала бы мадам.

Он поднялся. В это время вошел Лоран. Я ненавидел запах, исходивший от него в конце летнего дня, но сейчас я обрадовался Лорану, одного его присутствия было достаточно, чтобы наступила разрядка. Ничего больше не имело значения, кроме силков, которые он поставил, или щенка Дианы, которого он, как последняя скотина, дрессировал при помощи ошейника с шипами. Только мужланам в пору считать, что в мире хоть что-нибудь имеет значение. Донзак любит повторять эту мысль Барреса. Я сказал:

— Я провожу вас до портала, господин настоятель.

Туман, поднимавшийся от реки, не добрался еще до аллеи. Кюре сказал: «Пахнет осенью». Я пробормотал, сам не знаю, с состраданием или ехидством:

— И вся зима еще для вас впереди...

Он не откликнулся. Через некоторое время он спросил, знаю ли я, когда уезжает Симон.

— Я тебя не спрашиваю когда. Просто знаешь ли ты?

Я ничего не ответил. Он не настаивал, но, когда мы уже подошли к portalу церкви, я спросил, служит ли он, как всегда, мессу в семь часов?

— Можно, я приду прислуживать завтра утром?

Он понял, схватил меня за руку; я был растроган.

— Я приду немного пораньше, чтобы исповедаться. Может быть, и мама будет в церкви.

— Нет, завтра не ее день.

Он ответил слишком поспешно, словно торопясь меня успокоить и успокоить себя самого. Больше мы не произнесли ни слова до самых дверей церковного дома. Там он сказал вполголоса: «Я ошибся». И так как я запротестовал: «Нет, нет, господин настоятель!» — он подтвердил:

— Я буду ошибаться во всем.

— Только не в существе, господин настоятель.

— Что ты хочешь сказать?

— Вы верите в то, что вы делаете. Может быть, вы наполняли новым вином старые мехи, те, что вручили вам еще в семинарии? Но это новое вино вы обновляете каждый день вопреки старым мехам и старой теологии, которой повсюду приходит конец.

Кюре вздохнул, потрепал меня за ухо, проворчав:

— Маленький модернист! — и ласково сказал: — До завтра!

Глава III

Месса на утренней заре, ужасная сцена, разыгравшаяся между Дюбером и мамой, когда она узнала, что Прудан отвез Симона к поезду в Вилландро, все было вытеснено из моей памяти тем, что произошло в Мальтаверне несколько дней спустя. Но с чего начать? Я вижу себя на дороге, в один из обычных вечеров, на дороге из Жуано. Кажется, всходила луна. Во всяком случае в моих воспоминаниях луна царит. Тишина стояла такая, что, проходя через мост, я слышал, как бежит по древним камням Юр. Легкий, нежный плеск. Повсюду в этот час, по крайней мере если верить моим любимым книгам, соединяются живые существа. Раз дана декорация, должна быть представлена и пьеса. Почему же не для меня? Потому что в дар нам дается только декорация, все остальное — это уж наше дело, а у меня — в восемнадцать лет у меня не было сил... Сил для чего? Ни для того, чтобы умереть, ни — чтобы жить. Жаба, шлепавшая по тропинке, напомнила мне, как незадолго до смерти моя бабушка (святая женщина, впрочем) сказала, что лучше стать жабой под камнем, чем умереть. Как будто

быть жабой под камнем это не счастье, как будто есть большее счастье на свете, чем тихо звать свою самочку и соединиться с ней под камнями или в путанице трав! Сейчас мне кажется, будто я предчувствовал, что ночью случится беда. Речной холодок, коснувшийся моего лица, был дыханием смерти... Но, возможно, я это придумал.

Мама, завернувшись в шаль, бродила по аллее. Наверно, читала молитвы, перебирая четки. Она предупредила меня, чтобы я не шумел: Лорану нездоровится, и он лег спать.

— Подумать только, что ты заставляешь нас жить в одной комнате, как будто мало комнат в этой халупе! Понять не могу, для чего ты это делаешь.

Она не рассердилась. Она сказала, как бы оправдываясь:

— Вы никогда не разлучались.

— Этого хотела ты, а не мы: ведь у нас с Лораном разные вкусы, нам всегда не о чем было разговаривать.

Мама пустила в ход свой обычный упрек:

— Ты всех считаешь глупее себя!.. А вот кто настоящий дурень,— продолжала она с неожиданной яростью,— это Симон. Когда я думаю обо всем, что он выбросил за борт...

— Да нет же, ничего существенного он не выбросил. Он сохранил все, чему научился, свой диплом бакалавра — все, чем он тебе обязан и чем воспользуются другие, если это может тебя утешить.

— Не об этом речь, ты отлично знаешь!

— Но именно эта мысль для тебя непереносима. Что же касается судьбы Симона, она тебя не очень интересует: ведь ты его не любишь. Ты же не станешь уверять меня, будто любишь Симона? А даже если бы ты его любила, ну, то, что называется любить, в общем так, как любит его госпожа Дюпор...

— Иди спать!

— Тогда тебе и дела не было бы до вечной судьбы Симона: ведь ты любила бы в нем именно то, что смертно...

Она подтолкнула меня к лестнице:

— Ступай, ложись потихоньку — не разбуди брата, и чтобы больше я тебя не слышала... Этот мальчик убьет меня.

Я возразил, что рано еще ложиться спать. Я пройду по парку.

— Оденься. Хватит с меня одного больного. И когда будешь ложиться, не открывай окна: Лоран кашляет.

— Он часто кашляет по ночам,— сказал я.— Он кашляет во сне.

— Ты-то откуда знаешь? За всю ночь ни разу и не проснешься.

— Я слышал сквозь сон.

Я уверен, что этого не выдумал, я помню, как сам был поражен своими словами, и вдруг почувствовал страх за Лорана, как будто вместо того, чтобы поразить других, сам стал жертвой собственной ворожбы, но эта тревога продолжалась лишь несколько секунд. И вот я снова в молочном сумраке лунного вечера, такой же, как всегда в этот час, стою и впитываю в себя журчание Юра и тихий шепот ночи, подобной всем другим ночам, и лунный свет, тот самый, что моет могильный камень, под которым будет догнивать тело, когда-то бывшее мною. Время течет, как Юр, а Юр всегда тут, и будет тут вечно, и никогда не прекратит свое течение... Впору завывать от ужаса. А как же другие? Они словно и знать ничего не знают.

Но сам я тоже не знал, что наступившая ночь со всеми ее бесчисленными тревогами... Но об этом надо говорить, ничего не выдумывая, и составить для Донзакса точный отчет, протокольную запись. Я вернулся домой. Это было за год до того, как мама решила провести у нас электричество. Горела одна-единственная лампа, висевшая над бильярдом. Я взял подсвечник и поднялся в нашу комнату, расположенную над маминной, в комнату мальчиков. Большая комната в два окна; наши кровати стояли голова к голове, так что мы с Лораном всю ночь

были вместе, даже не видя друг друга, и я не мешал ему вставать почти каждый день на заре. По вечерам, когда мы были еще детьми, он засыпал сидя за столом, и его часто приходилось относить в постель на руках. Последние два года он, как все говорили, «бегал», и теперь уже я спал как убитый, когда он, держа башмаки в руках, тайком прокрадывался в комнату. А утром, когда я просыпался, Лорана, бывало, уже и след простыл.

Несмотря на мамин запрет, я твердо решил открыть окно, — воздух в комнате был тяжелый. Я не узнал обычный запах Лорана, слегка отдававший псиной, но здоровый. У болезни особый запах, и я сразу его почувствовал. Лоран спал, он не храпел, но дышал тяжело. Я начал было раздеваться, когда вошла мама в халате, с заплетенной косой. Она подошла к кровати Лорана и, осторожно пощупав его лоб и шею, сказала шепотом, что я не смогу уснуть, а Лорану может понадобиться ее помощь; лучше она ляжет в мою постель, а я пойду к ней. Я не заставил себя просить и, даже не взглянув на брата, спустился на первый этаж в мамину комнату; она была чуть поменьше нашей, в одном ее углу устроена туалетная, в другом — гардеробная, а между ними образовался альков, в котором стояла кровать. Я с наслаждением открыл окно и скользнул в постель, в которой был зачат. Странная мысль, дразнящая и вместе с тем невыносимая, я прогнал ее, движимый естественным побуждением, сохранившимся у меня с дней моего нетерпимого детства, когда я верил, что вечное спасение может зависеть от одной-единственной дурной мысли.

Чтобы победить искушение, я прибегнул к средству, которое к тому же помогало мне тихо погрузиться в сон, — стал рассказывать себе выдуманную историю: я всегда что-нибудь сочинял. История, которая была у меня сейчас наготове, очень мне нравилась. В тот год я впервые прочел в «Человеческой комедии» Бальзака «Блеск и нищету куртизанок»; самоубийство Люсьена де Рюампре в тюрьме несканзано огорчило меня, и я пересочинил его историю: Люсьен де Рюампре не был скомпрометирован и не попал в тюрьму, Карлосу Эррере удалось его затея, он выманил у барона Нусингена огромную сумму, необходимую для женитьбы Люсьена на дочери герцога Гранлье. Я преодолел все препятствия. Благодаря поддержке герцога и Карлоса Эрреры Люсьен получает назначение при посольстве Ватикана; венчание происходит тайно в часовне посольства, таким образом, в Париже никто ничего не узнал и все, что могло повредить Люсьену, было устранено. Через некоторое время Карлос Эррера принимает решение умереть и снова превратиться в беглого каторжника Жака Колена. Он притворяется, будто поражен злокачественной опухолью. Все уверены в его скорой смерти. Он ложится на операцию в частную больницу, связанную с бандой. Труп другого оперированного выдают за труп Карлоса Эрреры, и Жак Колен сматывает удочки... А я скользю, погружаюсь в глубокий, крепкий сон, населенный беспокойной толпой, из которого вынырну только утром, когда первый луч солнца проникнет ко мне сквозь решетчатые ставни.

Но на этот раз я проснулся среди глухой ночи, затерянный в чужой постели, от которой пахло мамой. Я сразу понял, что происходит что-то серьезное. Да, я сразу понял, что это серьезно. На лестнице раздавались поспешные шаги, никто не старался ступать тихо, хлопали двери. Что-то случилось наверху, у меня над головой. Лоран? Послышался звон тазов и кувшинов — я успокоился: должно быть, его вырвало. Я повернулся лицом к стене. В это время вошла мама, держа в руке лампу, ярко освещавшую ее крупное серое лицо и всклокоченные волосы. Она остановилась на пороге:

— Послушай... лучше, чтобы ты знал...

У Лорана открылось кровохаркание, и остановить его не удастся. Доктор Дюлак и настоятель сейчас с Лораном. Я порывался встать, но мама умолила меня не двигаться до рассвета.

— Утром ты поедешь к барышням, в Жуано. Надо бежать, бежать, — повторяла она как потерянная. — Я вздохну, только когда ты будешь далеко.

— Но Лоран...

— Речь уже не о Лоране, а о тебе.

— Но, мама, Лоран? Лоран?

Она стояла в оцепенении, стиснув лампу рукой, длинная седая прядь резко пересекала ее лоб. Она смотрела на меня горящими глазами.

— Молись за своего бедного брата, но первый наш долг изолировать тебя. Дай бог, чтобы не было поздно. Когда я думаю, что все годы ты жил с ним в одной комнате, и в Бордо и в Мальтаверне... И даже прошлую ночь вы дышали одним воздухом.

— А он, мама, а Лоран?..

— Мы сделаем все возможное и невозможное, ты сам понимаешь. Завтра будет консилиум. Но лучше, чтобы ты знал...

Она заколебалась: «Доктор считает...» Потом, прервав себя, снова со всеми подробностями заговорила о том, что она решила относительно меня. Можно было подумать, будто несчастье имело отношение только ко мне, будто все его значение и последствия касались меня одного. Я уеду, не взяв ни белья, ни одежды, только в том, что было на мне: ведь все мои вещи находятся в зараженной комнате.

— Я даже не поцелую тебя, и разумеется, ты и не подойдешь к комнате Лорана. Да он и не в состоянии... Лучше, чтобы ты не видел его таким последним...

— Нет, не последний, мама, не последний раз!

— Да, да! Ты ведь знаешь, я всегда вижу все в черном свете. Пойду поищу для тебя кофе. Поспи еще немного.

Я не стану сопротивляться, я буду делать все, что она захочет. Она напугала девятнадцатилетнего юношу, как пугала маленького мальчика, чтобы он ее слушался. В Мальтаверне была комната, кровать, где наш добрый дедушка умер, а в Бордо была комната, кровать, где наш папа умер. Теперь здесь будет комната, кровать, где Лоран... Он вышел вдруг из своего небытия последнего ученика в классе и начал во мне свою новую жизнь. Никогда он не произносил ни одного слова, не имевшего отношения к вяхирям, или бекасам, или зайцу, или его собакам. Он готовился в Гриньонскую высшую школу, но сельскохозяйственная наука интересовала его не больше, чем латынь или древнееврейский язык. Он любил говорить: «Я буду крестьянином в нашей семье...» Но в Мальтаверне он не занимался ничем.

— Все я должна делать сама!— жаловалась мама, хотя не потерпела бы, если бы мы хоть раз сунули нос в ее дела, которые, собственно, были нашими делами, поскольку Мальтаверн принадлежал нам, а она была только опекуншей.

Так блуждала бесцельно моя мысль, пока вдруг не остановилась, словно споткнувшись: «Теперь не будет никого, кроме меня; я останусь один в Мальтаверне, я — и мама». Да, это пришло мне на ум, но видит бог, я не обрадовался, потому что быть не могло, чтобы мама не подумала о том же, чтобы она с ее маниакальной страстью к земле хотя бы смутно это не ощутила. Она поклонялась земле, но совсем не так, как я,— она ненавидела разделы... Донзак, для которого я пишу, поймет без моих предупреждений: все это еще не было мне ясно в ту зловещную ночь, ничего еще не было установлено, принято, признано. Тогда я только понял, что моим мыслям суждено всегда оставаться за тюремной решеткой. На эти ночные часы я перенес, сохранив их связь и порядок, те размышления, которыми предавался всю следующую неделю в Жуано, у барышень.

В ожидании рассвета я растянулся, одетый, на маминой постели. Мама пришла еще раз, но не переступила порога комнаты; она принесла мне кофе и сказала, что Мари Дюбер гладит мое белье и соберет для меня все необходимое. Мне оставалось только сложить книги и свою писанину, как называла мама все, что я писал. Я задремал. В полусне я услышал, как протарахтели колеса двуколки Дюбера. Вошла Мари с подносом, повязанная черным старушечьим платком, сама вся черная лоснящейся чернотой куриных перьев и вообще смахивающая

на курицу своим беспокойным взглядом и подскакивающей походкой. После победничества Дюберов в бегстве Симона мама разговаривала с ними лишь затем, чтобы отдать какое-нибудь приказание. Мари уверила меня, что Лоран сейчас отдыхает и «мадам» от него не отходит. Доктор вызвал сестру из больницы в Базасе. Мари причитала: «Ah! Lou graou poussu Laurent!»¹. У Дюберов любимцем был он: «Ah! Lou graou!»

Этого бегства без прощания с умирающим братом я не прощу себе никогда. Мама была на страже и не допускала меня в комнату, но я все же заглянул в приоткрытую дверь и при неверном мигающем свете ночника на секунду увидел передвинутую мебель, разбросанное по полу белье. Я подчинился. Все произошло так, как решила мама. В девятнадцать лет я позволил ей обращаться со мной как с новорожденным. Я слабо возражал, она даже не слушала. Она говорила:

— Как только минует кризис, ты его увидишь. Обещаю тебе. Я сразу же пошлю за тобой. Ты поговоришь с ним издали, все будет хорошо. Мы устроим его в саду, на солнышке. Сосновый лес в таких случаях — самое полезное.

Ах! Это сентябрьское утро, запах тумана... Я-то не умру,— я буду жить. Мама уже отправила барышням письмо, предупредив их о моем приезде и сообщив о нашем несчастье. Мадемуазель Луиза и мадемуазель Адила поджидали меня в полном smytenii: нечаянная радость моего приезда, сострадание, горе — все смешалось. Но радость преобладала, особенно у м-ль Адилы, обреченной на жизнь с глухой сестрой, «которая все понимала по движениям губ», — на жизнь в семи километрах от местечка, в этом затерянном уголке, где обрывалась единственная дорога, а дальше, до самого океана, раскинулась обширная пустынная ланда. Одна из древних ферм на краю огромного поля. Мне нравится думать, что мы тоже родом с такой фермы. Этим утром жаворонки заливались над полями, жаворонки, в которых никогда больше не будет стрелять Лоран. Еще на рассвете для меня открыли большую комнату, в ней пахло плесенью; там, как я знал, отец барышень, разорившись, покончил с собой, но никто не знал, что я это знаю. Я разложил на столе Брюнсвикова Паскаля, машинописную копию «Действия» Мориса Блонделя, которую дал мне почитать Донзак, «Материю и память» Бергсона — и тут же пошел рыться в библиотеке «общей гостиной», которая, бывало, в детстве доставляла мне неповторимое счастье; те, кто не испытал его, не могут понять, какое свершается чудо, когда с головой погружаешься в чтение, и ничто не волнует гладкую поверхность дня летних каникул, и реальный пейзаж сливается с воображаемым, и даже запах дома проникает в тебя и остается там навсегда, на долгие годы после того, как исчезнет самый дом.

Не Бергсона я читал и теперь, не Паскаля, не «Анналы христианской философии», а «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «Без семьи». И тем не менее комната Лорана, такая, какой увидел я ее в приоткрытую дверь при трагическом свете ночника, не выходила у меня из головы. Я не забывал о ней ни на минуту, в ней черпал я свою тоску, свое горе, но, может быть, также и счастье ощущать свои девятнадцать лет и бьющую через край жизнь.

Я услышал, как м-ль Адила, которая привыкла, разговаривая с сестрой, орать во все горло, сказала кухарке:

— Если случится несчастье, вот будет завидная партия — господин Ален с его тремя тысячами гектаров...

— Э! Так-то оно так, но пока жива его мама, хозяйкой будет она...

— Молчи уж,— крикнула м-ль Адила.— У его мамы хватит своего добра — чуть не тысяча гектаров, достроенный дом в Ноайяне, да и наличными бог знает сколько!

— Да, но...

Я вышел, чтобы больше ничего не слышать. Лоран был жив, он жил. Мама любит нас обоих. Днем приехал г-н настоятель, чтобы сообщить мне новости:

¹ Ах! Бедный господин Лоран! (Диал.).

— Твоя мать, как всегда, достойна восхищения. Полночи она не отходит от Лорана, чтобы сестра милосердия могла поспать. Она решила не видеть тебя даже издали. Она идет на эту жертву. Увы, ждать осталось недолго.

В этот день я впервые услышал роковые слова: «Галопирующая чухотка». Я услышал, как отдается во мне этот галоп, навсегда уносящий моего старшего брата во тьму, куда последую за ним и я, может быть, не галопом, а шагом; но как бы медленно я ни продвигался, все равно в конце концов стану походить на старика из Лассю с моими тремя тысячами гектаров и сворой нетерпеливых наследников, которых я буду ненавидеть и, так же, как он, гнать от себя. Ужас обладания. Обладание — абсолютное зло. Что делать, как избавиться от него? Я охотно отказался бы от всех благ мира сего, но только не от самого мира, только не от панической радости, которой упивался в тот день под дубами Жуано, пока моего брата унесло галопом в ночь, не знающую конца.

На следующий день я воочию увидел у барышень словно с неба свалившийся микроб собственности — отвратительную десятилетнюю девчонку Жаннетту Серис, их наследницу, которая в этом звании приезжала гостить к барышням и принимать поклонение фермеров. Нелепей всего было то, что это чудовище, единственная дочь в семье, в один прекрасный день окажется обладательницей одного из самых больших поместий нашей ланды, в котором именье барышень затеряется, как капля воды в море. Но для этих пожирателей земли каждый гектар был на счету. Мне Жаннетта внушала ужас. Иссиня-бледная, конопатая девчонка — казалось, что и вместо глаз, лишенных бровей и ресниц, у нее поблескивают две веснушки. Круглая гребенка придерживала над лбом зачесанные назад жидкие волосы. Детей фермеров заставляли играть с ней. Они подчинялись ей, как мужички дети маленьким боярам во времена крепостного права. На следующее утро, проснувшись, я услышал, как м-ль Луиза кричит м-ль Адиле: «...да между ними невелика разница, меньше десяти лет. Он подождет!» М-ль Адиле, должно быть, ответила только движением губ, я ничего не услышал. Глухая продолжала орать: «Без разрешения матери он не женится. Будет ждать, сколько нужно...» О, боже! Речь шла обо мне и Жаннетте. Об этом поговаривали в округе, как некогда о помолвке французского дофина и испанской инфанты. Но на этот раз прочили меня одного: Лорану эта опасность больше не грозила. В том, что для мамы все было решено, я не сомневался. И в довершение всего девчонка за мной бегала, она, это страшилище, со мной заигрывала. Она тоже об этом думала. Именно в те дни я впервые устыдился своего невежества, своего безразличия ко всему, что касалось социального вопроса. Я решил прочесть Жореса, Геда, Прудона, Маркса... Для меня это были только имена. Однако что такое собственность, я знал лучше, чем они. Пусть бы она была воровством, на это мне плевать, но она развращает, бесчестит людей.

Глава IV

Спустя два года я начинаю в Бордо новую тетрадь. Первую Донзак выпросил у меня и увез в Париж, где он поступил в кармелитскую семинарию. Ради него я снова решаюсь продолжать этот дневник. Дневник? Нет, это стройный, упорядоченный рассказ о том, что поставляла мне изо дня в день наша история, мамина и моя, з течение этих двух лет. Но прежде всего это попытка понять, кем же я стал после смерти Лорана.

Кем я стал? Стал ли я другим? Юноша двадцати одного года, который готовится в Бордо к диплому леценциата философских наук, чем отличается он от подростка, каким я был когда-то? Он — тот же, он обречен оставаться тем же, если только я не умру молодым, как Лоран. Старик из Мальтаверна, которого я ношу в себе, займет в тайной истории большой ланды место старика из Лассю, но и в восемьдесят лет он останется тем же существом, каким являюсь я сейчас,

а мальчишка-поэт 1970 года будет издали смотреть на него, неподвижно сидящего у порога и словно обращенного в камень.

Смерть Лорана изменила не меня, а условия моей жизни. Несколько месяцев я провел в каком-то ошеломлении. Мама все взяла на себя, ее чувства ко мне сосредоточились на заботе о моем физическом здоровье. У меня было «затемнение в левом легком». Она не знала покоя, добиваясь моего выздоровления. Мне это нравилось, хотя я и сгорал от стыда. В конце концов я стал еще более нелюдимым и начал на нее сердиться. Она же, избавившись от своих волнений, с каждым днем все больше и больше вовлекалась в дела Мальтаверна. В этом году мы купили автомобиль марки «дион-бутон», и она то и дело отправлялась в деревню на несколько дней. Расстояния больше не существовало. Еще в прошлом году, чтобы попасть в Мальтаверн поездом, приходилось делать две пересадки. Переселение начиналось уже под сводами Южного вокзала. Большая ланда, единственная моя отчизна, была недостижима, как звезда. А теперь я знал, что она начинается сразу же за воротами Бордо, и по шоссе, если не подведет мотор и если мы не разобьемся, можно почти за три часа сделать сотню километров, отделяющую Бордо от Мальтаверна.

Я пишу о чем попало, лишь бы не касаться отравленного места, наболевшего, после того как уснул Лоран. Что произошло между мамой и мною? В чем я могу ее упрекнуть? Она все берет на себя, освобождает меня от всего. Когда она, как сейчас, находится в Мальтаверне, я пользуюсь в Бордо свободой, какой не знал никогда ни один студент, — кухарка и лакей в полном моем распоряжении. Если я не способен воспользоваться этой свободой, то уж никак не маму я должен упрекать.

— Почему у тебя нет друзей? Почему ты отказываешься от приглашений или подпираешь стены во время танцев?

Я не танцую потому же, почему не охочусь. Это одно и то же...

Нет, совсем не одно и то же. То, что я сейчас расскажу, — уже пережитое, а не история, которая происходит сейчас и еще продолжается. Донзак сумеет уловить разницу между истолкованным и обработанным мною документом и тем, что изо дня в день, из страницы в страницу принимает облик неизбежной судьбы. Донзак сумеет истолковать ложь моих умолчаний и, без моего ведома, превратит ее в правду, ту правду, которую я сам хотел бы вырвать у себя, которой я домогаюсь с пугающей меня страстью, — пугающей потому, что речь идет о маме, поэтому что ее я медленно разоблачаю, и по мере того, как раскрывается передо мной ее истинный образ, мне становится страшно.

Но теперь я больше не один. Я больше ей не подвластен. Кто-то явился. Кто-то. Все началось в книжной лавке Барда, в Пассаже, соединяющем улицу Сент-Катрин с площадью Комедии. Я не сразу набрел на эту мрачную пещеру, заваленную книгами. Моим книготорговцем был Фере, на Интендантском проспекте. У Барда издания «Меркюр де Франс» занимали лучшее место. Литература здесь была в чести. На витрине лежали книги современных поэтов.

Я заходил сюда на обратном пути из университета почти каждый день, после того первого дня, когда, просматривая новую книгу «Имморалист», я так погрузился в чтение, что вздрогнул от неожиданности, услышав у себя над ухом женский голос:

— Даже если у вас денег не так много, советую вам купить ее. Это первое издание, а первые издания Жида...

Я поднял глаза и увидел в полутьме этой пещеры м-ль Мари, которая занимается продажей книг и вообще ведет магазин (Бард, хозяин, не отлучается от кассы, а Балеж, горбатый приказчик, делает всю черную работу). М-ль Мари в своем черном халате держится невидимкой, но только не для тех, на кого бросит она взгляд, как, например, в тот первый день на меня. И какой взгляд! Нежный,

и вместе с тем насмешливый, и пугающе-проницательный. Ее привлекло и тронуло во мне, как всех, кто меня любит, именно то, что отталкивало остальных. Я, однако, обманул ее, сам того не желая. Я так люблю книги и так мало их покупаю, я так долго колеблюсь, прежде чем решиться на покупку, — одним словом, я настолько боюсь израсходовать хотя бы франк и к тому же так плохо одеваюсь — всегда в одном и том же галстуке тесемочкой, — что она приняла меня за бедного студента. Потом я узнал, что ее все же удивило мое пальто, хотя изрядно поношенное, но, очевидно, сшитое на заказ, и дорогой кожаный портфель с инициалами. Но у меня, по-видимому, совсем не было карманных денег. Она решила, что я сын каких-нибудь разорившихся или скупых сельских жителей, и отложила для меня несколько первых изданий.

— Заплатите в следующем месяце, — сказала она.

Я не стал разубеждать ее не из дурных побуждений. Может быть, это был стыд? Нет, скорее счастье чувствовать себя любимым за самого себя, знать, что могу понравиться такой замечательной девушке, и не подозревающей во мне наследника Мальтаверна. В те редкие вечера, когда мама насильно заставляет меня пойти посмотреть на чужие танцы, я отлично вижу, как все устремляют на меня одинаковый взгляд; невидимый ярлычок пришили к моему смокингу: тысячи гектаров ланды, недвижимое имущество. Одна и та же покорная улыбка у всех, одни и те же потуги говорить «о том, что считается интересным». Представление этих идиоток об «интеллектуале»!.. Нет, не хочу на этом останавливаться. Достаточно, если Донзак поймет, каким неожиданным счастьем с первого же дня стала эта девушка, с такой любовью смотревшая на бедного студента, которым она меня считала. Мое нежелание показываться с ней вместе на улице — это я узнал впоследствии — она объяснила боязнь скомпрометировать ее, таким ангелом я ей казался, потом мы немало смеялись над этим. Но истинной причины я ей не открыл, да и сам не очень был в ней уверен. Без сомнения, дело было и в том, что, как только мы выйдем из темного грота книжной лавки, миф о бедном студенте долго не продержится, но главное было то, что я не отделял Мари от книжной лавки, с которой сам соединил ее, так же как не отделял м-ль Мартино от коня.

Это защищало меня от нее, позволяя вместе с тем наслаждаться ею, как будто не было для меня иного возможного наслаждения, кроме этого созерцания в волшебном полумраке книжной лавки. Но тут передо мной не вставала ни одна из мерзких задач внешнего мира, которые я, разумеется, не в силах был разрешить.

Такое положение могло бы длиться вечно, потому что Мари сама к нему применилась; оно отвечало моему образу в ее сердце, тому моему свойству, которое она называла *poli me tangere*¹. Если бы не случайная встреча... Но я не верю в случай, и совпадения, пожалуй, доказывают, что в нашей жизни и в самом деле все предопределено.

Хотя душой книготорговли Барда была Мари, хозяин и Балеж не одобряли, что она разрешает многим клиентам, а среди них я был самым верным, трепать книги, которых они не покупали. Она придавала книжной лавке образ, знакомый нам по роману Анатоля Франса «Под вязами», где г-н Бержере каждый день встречается со своими друзьями у книготорговца Пайо. Мари рассказала, что ей пришлось особенно горячо защищать меня и еще одного молодого учителя из Таланского лицея, который проводит у Барда вечерние часы каждый четверг, единственный свободный его день. Как раз в этот день я никогда не приходил: по четвергам лавка была переполнена.

— Он такой же нелюдим, как вы, он ни с кем не знаком...

— Но он знаком с вами, — возразил я с досадой.

Эта досада вызвала у нее улыбку, она решила, что я ревную. Было ли это верно? Во всяком случае я испытал ревность, едва лишь напустил на себя стра-

¹ Не тронь меня (лат.).

дальческий вид: я уверен, что влюбленным (так же как, по Паскалю, истинно верующим) часто становятся автоматически.

Меня беспокоил возраст этого неизвестного соперника. Он был на несколько лет меня старше. Он внушал ей жалость полным своим одиночеством и безнадежной горечью, которая проскальзывала в его речах, — можно было подумать, что в юности он потерпел какое-то непоправимое крушение. Она говорила об этом с сочувствием, возраставшим по мере того, как проявлялось мое огорчение, на этот раз непритворное, я действительно огорчился, и вскоре Мари не выдержала. Мы были с ней одни, скрытые от чужих глаз полкой со случайными книгами. Впервые она взяла меня за руку и удержала ее в своей.

— Подумать только, — сказала она, — я даже не знаю, как вас зовут. Я знаю только первую букву, я видела инициалы на вашем портфеле. Какие же имена начинаются на «А»?.. Вас ведь зовут не Артур или Адольф? Или Август? Может быть, Августин?

Я почти коснулся губами ее маленького ушка. «Ален...» — прошептал я, словно речь шла о величайшей тайне, и она повторила: «Ален», словно боясь забыть. Я спросил:

— А как вы меня называли, когда думали обо мне?

— Я никак вас не называла. В те дни, когда вас не было, я думала: «Сегодня ангел не пришел...»

— Ах, — вздохнул я, — и вы тоже?

Я вспомнил те сумерки в Мальтаверне, когда Симон сказал мне: «О! Вы — ангел». Да, я подумал о нем именно в тот момент, когда он вот-вот должен был снова возникнуть в моей жизни! Это мне самому кажется настолько странным, что я заподозрил: уж не придумываю ли я невольно эту историю, не придаю ли ей сам такую форму? Но нет, все произошло именно так. Помню, я бросился к выходу, даже не попрощавшись, а Мари шла за мной, повторяя вполголоса:

— Что с вами? Что с вами? Я не хотела вас обидеть...

— Девушки не любят ангелоподобных юношей, — сказал я. (Мы стояли с ней рядом, у порога. Ни одного покупателя в лавке уже не было.) — Впрочем, они правы.

— Потому что есть злые ангелы? — спросила Мари. Она деланно засмеялась, пытаясь рассеять тучи.

— Нет, злого ангела они бы любили. Он бы заставил их страдать...

— Ну, смотря какая девушка, — сказала она. — Мне никогда не нравились грубые скоты. Я всегда их боялась.

— А я вам кажусь безопасным.

— Вы обижаетесь на каждое мое слово.

— И этот учительшка из Таланса, который приходит каждый четверг, тоже пугает вас?

— Ах! Так это из-за него вы терзаетесь! Бедняжка он, я изо всех сил стараюсь, но, кажется, безуспешно, скрыть от него свое отвращение. Я даже заставляю себя брать его за руку, даже удерживаю ее на несколько секунд в своей. Трудно поверить, но у него по шесть пальцев на каждой руке. Если б вы знали, как противно прикасаться к этому мягкому отростку, к этому хрящичку, брр...

Я прислонился к витрине. Я спросил:

— Симон? Он в Бордо?

— Вы знаете его? Откуда вы его знаете?

— А известно ли вам, что и на ногах у него тоже по лишнему пальцу? Ну что ж, Мари, в четверг скажите ему, что одного из ваших клиентов зовут Ален и что он ангел, — тогда вы узнаете все обо мне, о моей матери, о моем детстве, о моей родине, нашей общей родине с Симоном Дюбером. Сам я сегодня не стану говорить с вами о нем, я не могу это делать, не посвящая вас во все подробности моей несчастной жизни, а это мне не под силу. Пусть уж он расчистит дорогу... А я только дополню его показания. После того, как он все расскажет, мне легче будет ввести вас в эту историю, которая, в общем-то, не интересна никому.

Она прошептала:

— Кроме меня.

Затем я выслушал то небольшое, что сама она знала о Симоне. Он не мог вынести Париж и, едва защитив диплом, получил с помощью влиятельных покровителей, которыми очень гордился, назначение в бордоский округ.

— Но он уверяет, что здесь его одиночество было бы еще ужаснее, чем в Париже, если бы он не встретил меня.

— А к своим родным он не ездит?

Об этом она ничего не знала. Он никогда не говорил о родных, как будто стыдясь их. Я подумал, что, если бы он появился в Мальтаверне, моя мать не могла бы не знать о его возвращении. Я сказал: «До свидания», — толкнул дверь. И вдруг я увидел этот вечер и вздрогнул. Все, что мешало мне выходить на улицу вместе с Мари, исчезло бесследно. Скоро она все узнает обо мне и моей семье. Я даже не спросил, свободна ли она, я сказал:

— Не оставляйте меня одного сегодня вечером. Мама в деревне. Она бросила меня. Я расскажу вам.

Мне хотелось встревожить Мари, но ее радость заглушила всякую тревогу. Она попросила проводить ее до дому:

— Я забегу на минутку, только предупрежу мать и переоденусь.

Магазин закрывался через полчаса. Мы условились встретиться у Большого театра.

Это было первое мое свидание, и шел мне двадцать первый год! Сегодня вечером я буду не один. Я зашел в кафе и позвонил Луи Ларпу, нашему дворецкому, что пригласил к обеду приятельницу. Воображаю его изумление. «Даму, господин Ален?» — «Да, даму». — «Боюсь, что приготовлен только один бифштекс для вас, господин Ален». — «Откройте банку паштета и подайте бутылку вина по своему выбору».

Я ждал в тумане, перед дверью одноэтажного домика на улице Эглиз-Сен-Серен, где жила Мари, пока она переодевалась. Когда она появилась, это была она и не она, сбегавшая от своего ремесла, из темной книжной лавки; а я — впервые в жизни я гордо выступал, похожий на всех других молодых людей в этот ноябрьский вечер, который навсегда оставил во мне свой аромат. Я торопился попасть на площадь Гамбетты и Интендантский проспект — решусь ли признать? — да, чтобы меня увидели с этой молодой женщиной. Я все же спросил у Мари:

— Вы не боитесь, что вас увидят на проспекте в сопровождении молодого человека? А не то мы можем сделать круг по переулкам...

Она рассмеялась:

— О! Я, знаете ли... Скорее вы можете стесняться меня...

Я сказал, что мы родом из округа Базас и в Бордо у нас мало знакомых. Надо было, однако, за десять минут пути до улицы Шеврюс, где я жил, подготовить ее к роскошной квартире, к дворецкому...

— У нас две тысячи гектаров сосновых лесов, вот что! — брякнул я самым дурацким образом. Эта цифра, казалось, не произвела на нее впечатления. Я добавил еще глупее: — Не считая всего остального.

— Нечем особенно хвалиться.

— Я не хваюсь, но я скрывал это от вас. А теперь надо же вас предупредить...

— Нет, Ален, это меняет дело. Я не буду обедать у вашей матери в ее отсутствие и без ее ведома. Я поведу вас в маленький ресторанчик в порту, к Эй-рондо.

Я возразил, что это невозможно, что я позвонил домой, заказав достойный такой гостьи обед.

- Ну что ж, вы можете позвонить от Эйрондо и отменить свой заказ.
- Вы не знаете Луи Ларпа, да, дворецкого. Я никогда не решусь... Он открыл банку паштета. Для него это священнодействие. Кроме того, я ненавижу телефон. Я позвонил ради вас, но никогда к этому не привыкну. Я почти не пользуюсь телефоном.
- И вам не стыдно?
- Да, стыдно. Мама всегда твердит: «Каким бы умником ты себя ни считаешь, ты просто жалкий трусишка».
- Я вижу, я появилась вовремя.
- Вы меня презираете...
- Нет, потому что, несмотря на тысячи ваших гектаров, вы никогда не примиритесь с этим миром, вы никогда не станете одним из них... Я вижу кое-кого в книжной лавке, немногих: ведь читать они не любят. Но иногда попадают клиенты, которые собирают редкие издания. Я наблюдаю за ними: магазинный прилавок — ведь это баррикада! Я их выслушиваю, исподтишка слежу за ними, я их знаю.
- Но меня, Мари, вы не знаете. Когда вы узнаете меня...

Мы сидели в глубине рестораника — раньше здесь наверно была матросская харчевня, а теперь сюда забегали поесть ракушек, миног или — в грибной сезон — белых грибов. Мари направилась к стойке, чтобы позвонить ко мне домой. Она вернулась, смеясь до упаду, я не думал, что она умеет так смеяться:

- Успокойтесь! Я слышала, как дворецкий крикнул кухарке: «Он все отменяет! Хорошо, что я не открыл паштет». Ну как, успокоились?
- Я просто смешон, — проговорил я жалобно.

Когда я размышляю об этом вечере, меня поражает мое жадное желание излить свою душу — нескромность, с какой говорил я о себе, не умолкая, как будто этой молодой женщине или девушке нечего было рассказать мне о своей жизни, словно само собой разумелось, что из нас двоих интерес представлял только я один. Она слушала меня весь вечер, не задавая других вопросов, кроме тех, в которых я нуждался, чтобы до конца освободиться от душивших меня признаний.

- Симон Дюбер вам расскажет больше, чем решусь я сам...
- Но если хотите, я не стану говорить с ним о вас.
- Я возразил, что, напротив, хотел бы, чтобы она получила от нашего врага — а он стал нам врагом — описание Мальтаверна в самых черных красках.
- Обо мне, впрочем, он не скажет плохого, если только сам не переменялся: меня он любил. — Помолчав, я спросил: — Признался он вам, что учился в семинарии, что носил сутану?

— А, теперь я понимаю, почему у него такой неприкаянный вид. Священники толкли и месили его, а потом выбросили на свалку...

Я поколебался, прежде чем спросил:

- Мари, существует ли для вас религия?
- А для вас, Ален? Я спрашиваю, но знаю ответ.

Откуда она знала? Я настаивал:

- Но вы, Мари?

Она сказала:

— Я — это неинтересно. — Потом добавила: — Для меня игра закончена, все карты биты: мне двадцать восемь лет. Открываю вам мой возраст, чтобы вы не вздумали, будто я способна мечтать о вас.

Я спросил:

— Почему бы нет? — и вдруг вскочил, словно впад в панику: — Уйдем отсюда!

- А счет, маленький мой Ален?

Когда мы вышли на почти безлюдную набережную, где навстречу нам попадались какие-то подозрительные типы, я почувствовал желание поскорее вернуться на площадь Комедии. По вечерам случалось немало нападений на улицах, особенно после полуночи. Мари сказала, смеясь, что я выпил один чуть не всю бутылку «марго» и поэтому она не слишком доверяет всему, что я наговорил о Мальтаверне.

— Нет, верьте мне, Мари. Впрочем, вы сами увидите, что такую историю никто не мог придумать, и к тому же Симон вам все подтвердит. До смерти моего брата я думал, да и все остальные думали, что любимцем матери был я. И я всегда этому радовался. Когда Лоран нас покинул, мне в голову пришла постыдная мысль, на которой я останавливался не без удовольствия; я подумал, что теперь остались только она и я. Да, я был способен подумать: теперь никто больше не встанет между нами. Но все пошло по-другому. Очень скоро мне стало очевидно, что никогда, ни в один момент моей жизни я не был так далек от нее, что никогда еще мы не были так чужды друг другу. Но не человек стоял между нами. Вы не поверите — между нами стояла собственность.

— Какая собственность? — устало спросила Мари больше из вежливости, чем из интереса.

— Наша, я хочу сказать моя, потому что Мальтаверн достался нам от отца, а теперь я унаследовал и часть, принадлежавшую Лорану. Но мама ведет там все, я передал ей мои права, и она чувствует себя полновластной хозяйкой. Разумеется, я знал ее любовь, нет, не к земле, в том смысле, в каком люблю ее я, а к собственности...

— Какой ужас! — сказала Мари.

— Нет, это не так низменно, как вы думаете. Это стремление к владычеству, стремление царить на необъятном пространстве...

— ...Над народом рабов. Вы сохранили рабство. О, проводите меня домой. Я боюсь возвращаться одна...

— Но я, Мари, я тоже только жертва в этой истории. Да, я провожу вас, но выслушайте меня: до смерти Лорана и пока мы были детьми, мамина страсть к собственности проявлялась очень редко. Мама была нашей опекуницей, забота о земле была ее прямой обязанностью. Я думаю, главное, что изменило наши отношения после смерти брата, была уверенность в том, что теперь раздела не будет, что империя останется нерушимой.

— Это чудовищно.

— Более чудовищно, чем вы можете вообразить. Один из наших соседей по Мальтаверну — Нума Серис, дальний наш родственник, — владеет самым крупным поместьем в округе, не считая нашего. Он вдовец, его жена умерла от горя...

— От горя не умирают, — сказала Мари с раздражением.

— Как выдерживает Нума Серис аперитивы, водку и вина, которые поглощает с утра до вечера и считает единственной своей услугой, — это тайна меня мало интересует. Но зато я всегда недоумевал, зачем к нему ездит мама. Она уверяла, что ей необходим его совет при продаже леса или в спорах с фермерами. Но в скором времени я открыл, что связывает ее с этим гнусным типом. У него есть препротивная дочка, которую мы ненавидели, Лоран и я. Зовут ее Жаннетта, но иначе, как «Вошка», мы ее не называли. Помню, Лоран незадолго до смерти сказал: «Мне повезло, я слишком взрослый, чтобы жениться на Вошке. На Вошке женишься ты». И злая шутка неожиданно превратилась в прямую угрозу...

— Почему же в угрозу? Ведь вы не маленькая девочка, которую силком выдают замуж. Признайтесь честно: в вас сидит сообщник вашей матери, который сам мечтает об этом мерзком союзе, и его-то, этого сообщника, вы и боитесь.

Мы стояли перед ее дверью. Она держала в руках ключ. Она сказала:

— До свидания, Ален. Не приходите в лавку до пятницы. Накануне я увижусь с Симоном Дюбером. Может быть, все мне представится по-другому.

Дверь захлопнулась. Я остался один на тротуаре этой узенькой улочки в квартале Сен-Серен. Я примостился на ступеньке у входа и, опершись локтями на

колени, заплакал. Мое отчаяние не было притворным, но, строго говоря, все-таки было игрой. Я упивался собственной скорбью. И тем не менее настоящие слезы текли у меня между пальцев, настоящие рыдания безуспешно пытался удержать.

Дверь позади меня приоткрылась. Я вскочил. Мари появилась на пороге с лампой в руках. Она еще не сняла шляпу. Она сказала:

— Хорошо, что я увидела вас в глазок.

Она повела меня за собой, предупредив, чтобы я двигался как можно тише, хотя спальня ее матери и выходит во двор. Мы вошли в узкую комнату, очевидно гостиную. Там было холодно и стоял нежилой запах. Кресла были покрыты чехлами. Даже люстра была затянута кисеей. Мари усадила меня рядом с собой на диван. Я продолжал плакать, и она сказала:

— Какой вы еще ребенок! Вам даже не пятнадцать — вам десять лет! Так и хочется спросить: «Ну как, прошло это страшное горе?»

Она первая обняла меня. Я уткнулся лицом в ямку между ее плечом и шеей. Она не шевелилась, словно боясь спугнуть птицу, опустившуюся к ней на палец, а я был потрясен сошедшими на меня покоем и счастьем. Я делал первые робкие шаги. Я позволил наконец себя «тронуть» в прямом смысле слова. Я согласился не быть более «неприкосновенным». Она сначала вытерла мне глаза своим носовым платком, потом прикоснулась к ним губами и приложила прохладную руку. И еще тихонько погладила меня по щеке: больше ничего. Я снова начал говорить, а она — терпеливо слушать.

— Мне стыдно, — сказал я, — что у вас создалось такое отталкивающее представление о моей бедной маме. Я сам вижу, что многое в этой истории неубедительно. Как объяснить вам, что за человек моя мать? Единственный раз, когда я решил сам заговорить о ее планах насчет этой маленькой Серис, изложить ей причины моего отвращения, она не пожелала даже вникать в них. Вам это покажется невероятным, но она совершенно искренне убеждена, будто все, что я называю физической любовью, не существует для людей особой породы, к которой принадлежим мы, она и я, что все это выдумки сочинителей романов, а на самом деле есть лишь долг, возложенный на женщину творцом для продолжения рода и удовлетворения скотских желаний мужчины; она призналась, что это для нее самое непонятное в сотворенном богом мире. Я согласился, что такая тесная связь души, взыскующей бога, с телом животного способна поставить дух на край пропасти. Мама бурно запротестовала, уверяя, что это испытание, через которое христианину надлежит пройти, а главное, не надо поддаваться соблазну, читая об этом в книгах, заполнивших всю мою жизнь. «Но ты — мой сын, — добавила она, — я знаю тебя и не сомневаюсь, что ты испытываешь такое же отвращение к этим вещам, к этому... Ты еще не можешь понять...»

И тут я подумал о моем отце, которого я не знал, самом кротком, самом нежном из людей. Я прошептал: «Бедный папа...» Она ответила едва слышно, не простив ему ничего: «О! Клянусь тебе, он не щадил меня. Я никогда не уклонялась». Я повторил: «Бедный папа». Помню, помолчав немного, я спросил у мамы, не терзает ли ее совесть за то, что она прочит эту жалкую Жаннетту такому мужу, как я, который наверняка будет избегать ее. «Но, маленький мой дурачок, это счастье для нее! После того как она родит тебе сына, ты оставишь ее в покое, и она будет гордиться, что с ее помощью созданы эти владения, самые значительные в округе по размерам, по качеству земли. И маленькая Серис сможет благодетельствовать все подвластное ей население, а это единственная законная услуга, дозволенная женщинам нашего круга...»

Бедная моя мать! И так как Мари удивилась, почему я не указал маме, что подобное обожествление земли недопустимо для такой хваленой христианки, как она, я пояснил:

— О! На этот счет у нее достаточно резоннов, да и выполнение долга оправдывает все. Для мамы зло заключается в вожделинии, которого она и не испытывает: она называет его похотью и отвечает на нее отвращением. Ей и в голову не приходит, что грех может быть связан с гордыней обладания и власти. Чита-

ла ли она когда-нибудь, то есть я хочу сказать, задумывалась ли она над иными словами господина, которые меня повергают в трепет... Нет, неправда: я трепещу не больше, чем она.

И тут мы оба замолчали.

Наконец я прошептал:

— Что сказала бы мама, если б увидела нас?

— Тебе не холодно?

— Нет, с тобой тепло, как в гнезде.

Мари тихо проговорила:

— «Первое ты, слетевшее с любимых уст»...

Я поправил:

— «Первое да...»

Прошло еще какое-то время, она отбросила мои волосы со лба и прижалась к нему губами, теперь пришла моя очередь напомнить ей стихи Верлена: «... порою вас целует в лоб, как малое дитя».

Мы сидели, не шевелясь. Вдруг она выпрямилась и обхватила мою голову обеими руками:

— Оставь ее! Да, твою мать, брось ее, отдай ей все и живи один.

Я печально ответил:

— Никто не может сделать так, чтобы все это не было моим.

— Ты — собственность своей собственности. Ты будешь мужем Вошки!

Я прижался к ней. После долгого молчания я сказал:

— Как мне бросить маму? Она была со мной всю жизнь. Пойми, драма для меня не в том, что она захватила принадлежавшие мне земли, а в том, что она предпочла их мне.

— Она изменяет тебе с ними!

— Это так верно, что, может быть, с твоей помощью я в конце концов сбегу от нее.

— Чем я могу тебе помочь, бедный мой малыш? Я могу сделать тебя более сознательным, то есть еще более несчастным, но не вдохнуть в тебя волю, которой у тебя нет...

Я возразил, что благодаря ей уже переменялся так, как не мог бы и вообразить несколько недель назад; теперь я понимаю, что вырваться от матери было бы счастьем, но не вижу, каким образом мог бы обойтись без нее: ведь я начисто не способен управлять имением. Разумеется, я дорожу им — и не стыжусь этого — больше всего на свете. Мальтаверн — моя единственная любовь. Но зато земли Нума Сериса для меня ничто. А Вошка мне внушает ужас. Всю жизнь я только и слышал, как моя мать хвалится, что всегда добивалась своего. Если ей приглянулся лесной участок, она способна ждать годы, но рано или поздно приберет его к рукам. О продаже любого клочка земли нотариус заранее предупреждает ее или Нума Сериса. Они ведут игру вдвоем, по очереди уступая друг другу. Я был главным козырем в их завершающей комбинации, а после смерти Лорана моя мать стремится к ней с такой нескрываемой и бурной страстью, что кажется, нет у меня никакой возможности вырваться из этого плена.

Мари спросила, сколько лет Вошке, и успокоилась, узнав, что ей всего двадцать.

— Но, бедный мой малыш, в твоём распоряжении по меньшей мере семь-восемь лет, чтобы отразить удар, и прежде всего ведь ты можешь жениться. О Вошке ты не стал бы и думать, если бы не был сыном твоей матери и этой земли: они-то и держат тебя. Они обе.

— Да, но теперь со мною ты.

Она слегка отстранилась, пропела: «Пора нам расставаться, настало время сна» — и затем отворила передо мной входную дверь.

Я широко шагал посередине пустынной мостовой.

Радость и сила бушевали во мне, и жертвой их была моя мать. Теперь вслед за приговором, который я сам ей вынес, словно прорвались запоздавшие чувства.

Итак, этот вечер все ставил на свои места: отвращение, скрыть которое не могла Мари, испытывал и я. Более того, прислушиваясь к своим шагам по ступеням нашей старой парадной лестницы, я чувствовал нестерпимую злую обиду на то, что мама бросила меня одного: какая жестокость — не предпочесть меня всему... Но было нечто худшее. Она, эта старая регентша, не задумываясь, предпочла своему сыну счастье управлять его королевством — а сына заранее принесла в жертву, мысленно уже принесла в жертву, сочетав его с Вошкой, — и нет ей оправдания, нет оправдания, даже если она не знала, что такое телесная любовь. Она видела, как страдал мой отец. Мой отец! Отец! Нежно любимый незнакомец. Помню, однажды вечером, когда мне было лет десять или двенадцать, на обратном пути из коллежа меня вдруг осенила мысль, что ты не умирал. Не знаю уж, какую я сочинил историю, но выходило так, что ты должен вернуться после долгого путешествия и сейчас я застаю тебя дома. Я бросился бежать как безумный, расталкивал встречных. Я опрометью взбежал по этой самой лестнице. Под китайской лампой мама спрашивала у Лорана урок по катехизису. Напротив нее кресло бедного папы было пусто. Отец, от тебя осталась лишь прибитая над маминой кроватью фотография, увеличенная Надаром...

Глава V

Ровно в пять я был в книжной лавке, и хотя Мари нахмурила брови, я с первого же взгляда понял, что она рада моему непослушанию. Но ее еще осаждали последние покупатели; она велела зайти за ней через полчаса. Шел дождь, я прогуливался, укрывая под зонтиком свое счастье, свою гордость. Я поглядывал на свое отражение в витринах. Теперь я ходил не на ангела, а просто на молодого человека, которого любит девушка. И не первая попавшаяся девушка. Нет, любовь не ослепляла меня: она стояла неизмеримо выше своего положения (ох, уж это буржуазное представление о положении: как будто удивительно, что Мари на голову переросла всех идиотов моей среды!). Она была очень начитанна, больше, чем я полагаю возможным для женщины; в нашей семье женщины читали только романы из «Библиотеки хороших книг». Особенно меня поражала в ней сила суждений и общее с моей матерью стремление руководить и даже главенствовать. Приказчик Балеж то и дело повторял:

— Что бы хозяин делал без нее...

В тот день, когда мы встретились под колоннами Большого театра, где я поджидал ее, прячась от дождя, а потом отправились в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа, пропитанном ненавистным запахом абсента, она объявила мне в своей ясной, почти резкой манере то, что, по ее мнению, я должен был знать о ней:

— Я уже говорила, никакие тайные помыслы о тебе для меня невозможны, никогда не буду я мечтать о том, о чем мечтают все девушки, которые любят и любимы...

Ее отец, сборщик налогов из Медока (я припоминал эту историю), бросил свою жену, играл и растратил несколько миллионов; его нашли повесившимся в каком-то сарае.

Что делать? Что сказать? Я неловко взял ее за руку, она ее отдернула. Потом твердо продолжала:

— Но я еще не кончила. (Бесстрастным тоном, словно давала показания в суде о трагическом случае.)

Друг родителей устроил ее к Барду.

— Этот друг был одних лет с моим отцом, он знал его с детства. Первое время он был нам предан. Но это было сильнее его, и рано или поздно я должна была расплатиться. Он преследовал меня. Моя мать закрыла глаза, а я... в те дни мне все было безразлично. Я не представляла себе, чем это для меня кончится. Ты будешь удивлен: я понимаю твою мать — не ее поклонение земле, а ее отвращение к плотской любви. Я благословляю тебя, тебя особенно, за то, что

ты не похож на этих скотов, которые меня преследовали. Даже Балеж! Да, этот горбун. Он хвастает своими победами, и они у него есть.

Она принадлежала старику! Она согласилась на это! Я не смел поднять глаза на Мари. Почти шепотом я спросил:

— Кто вас освободил от него?

— Грудная жаба. Он испугался смерти.

Может быть, она плакала, я не видел ее глаз. Я испытывал главным образом неловкость, я был скандализован. Я проговорил принужденно:

— Не плачьте.

— Я плачу не о том, что я сделала, а оттого, что вы сказали мне «вы».

— О! Это нечаянно. Послушай, Мари, теперь я понимаю, почему ты выбрала меня. Тебя, девочку, отдали в жертву скотам, ты вырвалась, но теперь будешь всегда их бояться.

Она не ответила, ей нужно было еще что-то сказать, я это чувствовал. После довольно долгого молчания она решилась:

— И еще меня тревожит то, что ты — маленький христианин. Алел, могу ли я оторвать тебя от всего, что является твоей жизнью?

Я повторил: «Моей жизнью?» Эти слова поразили меня. Но поразила меня не ее шепетильность, а что-то нарочитое, какой-то неуловимый оттенок в голосе. Я понял это не сразу; только часом позже, когда я медленно поднимался по лестнице на улице Шеврюс, меня охватила тревога. Дело было не в осложнениях религиозного порядка, на которые намекала Мари, а в том, почему она вспомнила о них, вызвала их на свет. И вдруг на лестничной площадке, папахивающей газом, где я остановился передохнуть, я громко сказал: «Она притворялась». Вспышка интуиции внезапно все озарила.

Я не поддался. Этот дар, которым я так кичился, уж не выдумал ли его я сам? Или, вернее, Донзак, он и меня убедил. Я сходил с ума, боясь одурачить самого себя. Я попытался успокоиться. Шаг за шагом я восстановил в памяти все, что рассказала мне в этом кафе Мари, и скрытые мотивы и причины выступили наружу в беспощадном свете: все было заранее продумано — это очевидно, — чтобы я узнал из ее собственных уст о краже, которую совершил ее отец, об этом мрачном происшествии и обо всем, чем оно для нее обернулось. Никакие сплетни ей теперь не страшны. Она была защищена. Без сомнения, она ожидала другой реакции с моей стороны после полученного удара. Почему она произнесла эти неожиданные слова: «Ты — маленький христианин»?..

«Ты — маленький христианин, ты — маленький христианин...» Черт возьми! Это значит, что вне брака, от которого она, разумеется, отказалась, больше того, якобы не допускала о нем и мысли. — ничего между нами невозможно. Вот в чем следовало меня убедить. Я ответил ей весьма легкомысленно, чтобы она не беспокоилась о маленьком христианине, он охотно согласится стать грешником, к этому он уже привык на свой лад.

— Нет, Мари, не беспокойся: *Felix culpa!*¹ Если только может грех принести счастье...

Однако Мари не ошибалась: я никогда не порывал с религиозной жизнью. Для меня непереносимо даже думать об этом. Как странно, что она догадалась. Откуда она это знала? Трудно поверить, чтобы женщина ее среды, по-видимому совершенно безразличная к вопросам религии, могла из немногих сказанных мною по этому поводу слов заключить, что причастие святых тайн для меня более необходимо, чем неосвященные хлеб и вино. Она это знала. Она слыхала об этом от другого. От кого?

О боже, боже! На этой мрачной площадке я вдруг ясно увидел все и был ослеплен своим открытием. Она мне солгала. Симон Дюбер, не замеченный мною,

¹ Счастливым грех (лат.).

должно быть, видел меня в лавке и сказал Мари: «Знаю я его, вашего бедного студента, знаю я вашего ангела». Они действовали заодно. Но в конце концов у нее не было никаких оснований предполагать, что я поражен болезнью, присущей многим юношам, которые считают, будто никто не может полюбить их ради них самих. Не делал ли я каких-нибудь признаний Симону на этот счет? Нет... Да! Я помню, рассказывая о бордоской ярмарке, об этих восковых слепках, я доверился ему. «Он все ей передал. И она тотчас же заговорила о своем собственном отвращении. Она играла наверняка». Я твердил самому себе: «У тебя нет никаких доказательств! Ты жертва арабского сказочника, который сидит в тебе и неустанно придумывает всякие истории, чтобы заткнуть щели между прочитанными тобой книгами, чтобы в стене, отгородившей тебя от мира, не было ни единой трещины. Но на этот раз история, которую ты сочиняешь, это твоя собственная история. Истинная или выдуманная? Какая доля принадлежит воображению? В каком именно месте перекроило оно действительность?»

Я пересек мамину маленькую гостиную, разделявшую наши с ней комнаты. Хотя два года назад у нас было проведено электричество, я чиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу, ту самую, что еще в детские годы светила мне при чтении, при домашних занятиях и подготовке к экзаменам. Я присел на кровать, ни на минуту не упуская из мыслей всю совокупность фактов и упорно повторяя: «Это ничего не доказывает...» Я чувствовал, что не в силах убедить себя самого. Да, Мари тщательно подготовилась к своей вечерней исповеди в кафе, да, она своим признанием рассчитывала нанести двойной, даже тройной удар: она заранее нейтрализовала все, что могли бы мне рассказать о ее прошлой жизни; она вменила себе в заслугу то, что даже в тайных помыслах не мечтает о замужестве; и вместе с тем напомнила мне о моей религиозной жизни и сообщила о своем решении не разрушать ее; таким образом, если я все же без Мари обойтись не могу, то надо опять-таки вернуться к мысли о браке... Да, но маловероятно, чтобы она могла на это надеяться. И потом для меня оставалось бесспорным чувство, которое она питала ко мне. В этом я был уверен. Я нравился редко, но если уж нравился — я это знал. В чужих желаниях я никогда не ошибался.

Я заметил, что на кровати лежит моя почта — газеты и одно-единственное письмо, от мамы. Я поднес его к лампе. Не стану переписывать его. К чему навязывать Донзаку такое чтение? Все эти расчеты его не интересуют. Мама откладывала свое возвращение на несколько дней. «Игра стоит свеч, — писала она. — Нума Серис отказался покупать Толозу, хотя это лучшие земли в округе. (Очевидно, была ее очередь совершить сделку.) Уверяет, будто у него нет наличных денег. Разумеется, они у него есть, но он считает, что получит Толозу без лишних трат, когда ты женишься на его дочери. Он и внимания не обратил, когда я сказала, что у тебя нет склонности к женитьбе. Конечно, он не подозревает о твоём отвращении. Да и зачем говорить об этом? У нас не меньше десяти лет впереди. Твои чувства могут перемениться. Даже наверное переменятся...»

Больше не существовало ничего — даже ее фарисейской, фетишистской религии, от которой осталась одна оболочка. Все было съедено изнутри. Да, видимо, и внутри никогда ничего не скрывалось. Я оглядел эту комнату, которая была моей комнатой, но не носила ни малейшего моего отпечатка — разве только книги и журналы... Коричневые обои преобладали в нашем доме: «Ваша бабушка обожала коричневый цвет». Ни одного не стандартного предмета: худшее из уродств — уродство, порожденное недостатком культуры.

Я взял с письменного стола фотографии с произведений современной живописи, которые присылал мне из Парижа Донзак, «чтобы воспитывать мой глаз». Но как составить себе представление о картине без цвета? Я никогда не видел ни одного полотна, кроме картин Анри Мартена, которые висят в музее Бордо, где

мы иногда укрывались от дождя. «Тинторетто рисует свою умершую дочь» и «У каждого своя химера».

Не знаю, почему я задумался об этом убожестве именно тогда, в этом мертвом доме, где единственными живыми существами были двое старых слуг, которые спали в каморке под крышей.

И, как всегда, когда я так несчастен, что готов умереть — умереть буквально (Донзак знает — в нашей семье многие покончили с собой), я встал на колени перед кроватью и заплакал снова, но на этот раз словно прижавшись лбом к невидимому плечу. Вся моя вера заключалась в этом движении несчастного ребенка, которое многим может показаться малодушием; но разве из малодушия бросается в пруд загнанный олень, спасаясь от собак? Я знал, что сейчас настанет великий покой; и хотя бы я прожил целый век, и даже если все мудрецы и философы отвергнут Христа, и даже если все покинут его, я все равно останусь с ним; не затем, чтобы служить ближнему, как истинные христиане, не потому, что я люблю ближнего, как самого себя, — а только потому, что мне нужен этот поплавок, чтобы продержаться на поверхности нашего страшного мира и не пойти ко дну.

Таково было направление моих мыслей в тот вечер, когда я стоял на коленях, зарывшись лицом в простыни. Я смягчился. Снова я вернулся к мысли, к которой возвращался не раз; одно время, после первого моего причастия, я был просто одержим ею: семинария. Но мама своей верховной властью решила, что у меня нет призвания, и мобилизовала против моих поползновений всех священников, с какими я только мог встретиться. Сейчас мне двадцать один год и никто надо мной не властен. Одним ударом я избавлюсь от всего. Эту проклятую ответственность я оторву от себя, я оставлю ее маме. Все земли будут принадлежать ей, но это убьет ее: ведь мамина одержимость — это наследование, вечное наследование, победившее даже смерть. Если я устранию себя, останутся только дальние родственники... Государство пожрет все. «К тому же, — обычно заключала она, — вопрос ясен. У тебя нет призвания. Это видно и слепому». Все, что служило ее страсти, не подлежало обсуждению, было ясно и слепому. Но мне-то что? Я мог уйти, даже не оглянувшись...

Боже мой, как бы ни любил я свою мать, а я любил ее до безумия, ты знаешь, что не ее я люблю больше, чем тебя. Против нее я затаил обиду, которой отравлен навеки. Правда в том, что, так же как мама, я предпочел тебе Мальтаверн, но совсем по другим причинам: дело не в собственности ради собственности, не в обладании: в том смысле, как понимает его она. Я не решился бы признаться никому, кроме Донзака: я не могу покинуть эту землю, эти деревья, речушку, небо над вершинами сосен — моих любимых великанов, горький запах смолы и болота: для меня он (пусть это безумие!) — горький запах моего отчаяния.

Вот о чем думал я в этот вечер. Я сорвал с себя одежду, не стал даже умываться, бросился в сон и утонул в нем.

Глава VI

Звон подноса с утренним завтраком, бледные лучи летнего солнца, заглянувшие сквозь раздвинутые занавеси, разбудили не вчерашнего убитого горем мальчика. Я встал, чувствуя себя пронизательным и холодным, с ясной мыслью, возникшей за время сна и ночи; я знал, что следует мне делать или по крайней мере пытаться сделать. Мари назначила мне свидание незадолго до закрытия магазина: около шести часов я встречу с Симоном, который, уверяла она, тоже придет к этому времени. Но она забыла, как сама говорила мне, что по четвергам Симон проводит в лавке всю вторую половину дня, приезжая из Таланса сразу же после завтрака. Значит, я могу его подстеречь и увидаться с ним до того, как он войдет в магазин.

Это был единственный шанс узнать, состоял ли он в заговоре с Мари или же я сам этот заговор придумал. Без сомнения, он попытается обмануть меня, но я знал, что это ему не удастся. Он принадлежал к тому небольшому кругу людей, над которыми мне дана власть — дана власть в полном смысле слова. Безумие писать об этом, но ведь я пишу только для Донзака, а он знает, о чем речь. «Один из тех, кого ты заворачиваешь...» — сказал бы он. Я узнаю все очень скоро, если удастся поговорить с Симоном хоть полчаса где-нибудь не на улице. Но как встретить его наверняка? Из Таланса он приедет трамваем, потом пешком поднимется по улице Сент-Катрин. Я не могу его пропустить, если с двух часов буду караулить на углу Сент-Катрин и Пассажа, разве только они решили, для подготовки плана сражения, позавтракать сегодня вместе... Нет, обедать она может не дома, а завтракает всегда с матерью. Она мне говорила, так у них заведено. Мать готовит завтрак для них обоих... Значит, Симон к двум часам встретится с ней в книжной лавке. Мне надо занять свой пост как можно раньше.

В половине второго я был у входа в Пассаж со стороны улицы Сент-Катрин. Несмотря на толчею, труднее всего оказалось оставаться незамеченным. Сразу видно было, что я кого-то ожидаю, причем неизвестно кого: а если молодой человек неподвижно торчит на тротуаре — это уже приманка. Можно было бы разглядывать витрины, но тогда возникала опасность упустить Симона. Я сгорал от желания увидеть его, однако сам запрещал себе об этом думать, из суеверного убеждения, сохранившегося у меня с детства, что ничего не происходит так, как мы того ждем, поэтому не надо заранее представлять себе события такими, как нам хотелось бы.

Тем не менее все совершилось: около трех часов Симон внезапно появился в поле моего зрения (меня он не видел), неповоротливый, каким всегда и был, прямой, надутый, с усвоенной еще в семинарии важной осанкой, в сомнительном, вероятно целлулоидовом, твердом воротничке и широкополой черной шляпе — учитель с головы до ног, невероятно постаревший. Сколько же ему лет? На четыре года больше, чем мне, — двадцать пять, возможно ли? Выражение «человек без возраста» было применимо к нему в буквальном смысле. Так стареют от страдания, непрерывного страдания, в которое погрузился он еще мальчиком, в котором, очевидно, утопает и сейчас. Увидел ли я это сразу, с первого же взгляда? Нет, я выдумываю, выдумываю — и все же это, должно быть, правда. Мне всегда казалось, что он тонет в какой-то сжигающей его жидкости. Но я не выдумал это лицо, словно сложенное из каких-то странных остоневших плоскостей. Не выдумал и молодой румянец, на мгновение вспыхнувший на этом окаменелом лице, едва он меня увидел, и мимолетную улыбку, и внезапный панический испуг. «Нет, нет, не сейчас, господин Ален, только не сейчас», — заговорил он, как только я взял его за руку. Я не ошибся: он не должен был меня видеть до нашей встречи в книжной лавке.

— Послушайте, Симон, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз..

— Нет, я обещал.

— Но ведь вы не знали, что мы встретимся. Эта встреча от вас не зависела, она была угодна...

— Вы хотите сказать: угодна богу? Вы остались все тем же, господин Ален. Достаточно взглянуть на вас.

— Угодна богу? Не знаю. Я-то хотел ее во всяком случае. Я подстерегаю вас целый час, теперь я не отпущу вас. Мари вы скажете все, что хотите, или вообще ничего не скажете...

Тут вдруг на меня нашло вдохновение, и я произнес именно те слова, которых он ждал:

— Нам-то что за дело, вам и мне? Эта история ее не касается. Это наша история, Симон, история Мальтаверна, наша тайна...

Его окаменевшее лицо вспыхнуло снова. Он повторил:

— Наша тайна, господин Ален, наша жалкая тайна...

— Послушайте, знаете ли вы кафе Прево, «Шоколад Прево», совсем рядом, на бульваре Турни? В этот час там пусто. Мы посидим совсем недолго, сколько вы захотите.

Он больше не сопротивлялся. Мы вышли на площадь Комедии. Он повернул ко мне свое неподвижное лицо и заговорил. Он сказал, что ни в чем не упрекает г-на Дюпора, благодаря ему он мог подготовиться в Париже к диплому, а благодаря Гастону Думергу получил место преподавателя в коллеже департамента Сены и-Уазы. «Но они не приняли в расчет мое произношение. Я никогда не подозревал, какую бурю может вызвать мое произношение в Париже, особенно в классе, где учатся двенадцатилетние мальчишки. Вы не раз, бывало, говорили: «Люблю только деревья, животных и детей». Так вот, последний пункт советую вам вычеркнуть: вы не знаете, на что они способны!» Его травили безжалостно. «Мы в Жиронде и не догадываемся, что происходит в Париже, едва лишь мы откроем рот». Тогда его назначили в Таланс. «Но даже в Талансе...» Мари обещала ему помочь. Она знает специальный метод. Я сказал, что он и так сделал большие успехи, его произношение почти незаметно. Бывает ли он в Мальтаверне?

— Что вы! Это слишком дорого... Нет, дело даже не в этом. Главное, что мадам почти не выезжает оттуда, впрочем, вы сами знаете. Не надо даже говорить ей обо мне. А я... прошу прощения, но я тоже не могу видеть мадам, буквально... Не говоря уж о госпоже Дюпор. Эта никогда не протрезвляется, просто страх берет. Мои родители приезжали в Таланс два раза. Я оплатил дорогу. Прудан как-то приехал тоже, ночевал у меня, в моей постели... Представляете...

Мы вошли к Прево. В этот час там и правда сидела только какая-то пара за чашкой шоколада.

— Это напомнит вам полдниги госпожи Дюпор, — сказал я, смеясь.

Но Симон не засмеялся: он был глух ко всякой иронии, опять замкнулся и ошетинился. Тщательно намазывая хлеб маслом, он макал его в шоколад, жадно ел и молчал. Времени оставалось не так уж много.

— Странно, что Мари решила обмануть меня, — начал я. — Почему она скрыла, что вы говорили ей обо мне, что она все знала обо мне от вас...

— Эта девушка говорит лишь то, что хочет сказать.

— И таит какие-то мысли насчет меня. Да в конце концов и я гожусь в мужья.

— Ну! Уж вы скажете! Она ведь не сумасшедшая. Молодой Гажак и продавщица из книжной лавки! Не говоря уж о се прошлом. Она слишком умна... И потом она вас хорошо знает, хотя и обмолвилась как-то при мне (не говорите, что я вам передал): «Если бы я хотела вашего ангела, если бы я хотела, я получила бы его...» Мне даже кажется, она сказала: «Когда я захочу, я получу его». Но это могло означать и...

Он говорил, набив рот шоколадом и хлебом. Я сказал:

— Что ж, вот я и выскользнул из сетей.

— Какие сети? Нет тут никаких сетей. Она любит вас, понимаете? Это уж во всяком случае верно. Я ревновал и изрядно на вас разозлился... Хотя нет, это неправда, не злился я на вас. Мне всегда казалось, что так и должно быть — вам дано все. Вот что: мы скажем, что встретились на углу улицы Сент-Катрин и Пассажа, в конце концов так оно и было. А о чем мы не скажем — это о нашем разговоре у Прево...

Я заплатил и встал. До книжной лавки было не больше пяти минут ходу.

— Она нам не поверит, — вдруг сказал я, — так же, как не поверил ей я. Вы лжете нам обним, Симон. То, что вы лжете ей, я еще понимаю. Но — мне!

Он пробормотал:

— А что я такое для вас?

Я не ответил. Войдя в Пассаж, мы в последнюю минуту решили не разыгрывать комедии, а честно рассказать Мари, как произошла наша встреча. Она увидела нас еще на пороге лавки, где, как всегда по четвергам, было полно народу.

окинула нас быстрым, напряженным взглядом и, не ответив на наши улыбки, снова занялась осаждавшими ее покупателями. Мы остановились у одной из витрин. Симон сказал:

— Этого она мне не простит никогда. Но она и себе не может простить, за чем она скрыла от вас, что я ей все рассказал. А все-таки это правда: вы понравились ей, когда она считала вас бедняком.

В этот момент Мари, воспользовавшись передышкой, подошла к нам. На этот раз она улыбалась и, шутливо подтолкнув нас к выходу, сказала:

— Теперь, когда вы встретились, вам нечего тут делать. Я буду только стеснять вас.

Когда я возразил, что мы вернемся за ней к закрытию, она сухо запретила нам это делать. Она обращалась к нам обоим, но смотрела на меня одного. Существовал только я. Она прикоснулась пальцем к моему лбу.

— Бог знает, что там происходит, — сказала она, — чего только вы не придумали... Тем хуже! К счастью, господин Дюбер не может больше ничего рассказать вам обо мне. Он ничего обо мне не знает.

Кто-то из покупателей отозвал ее. Я думал, что Симон не понял, о чем она говорит, но едва мы вышли на улицу, он с яростью воскликнул:

— Ах, так! Я ничего о ней не знаю? Я знаю больше, чем она думает, и именно то, что она хотела бы скрыть от вас и о чем, ей кажется, я и понятия не имею...

Мне гораздо чаще приходилось быть тем из двоих, на кого женщина и не глядит, чем наоборот, но в таких случаях я испытывал лишь легкую ревность, я никогда не знал той близкой к отчаянию горечи, которая обуревала Симона: так будет с ним всегда, считал он.

— Что ж. мой удел — это мамаша Дюпор. Прощайте...

Я удержал его за руку и попросил проводить меня на улицу Шеврюс:

— Вы хоть немного отдохнете у меня в комнате...

Он последовал за мной, но нехотя, повесив голову. Что он знал? Что мог рассказать о Мари? Я не страдал. Я хотел знать. Да, пусть все в ней станет явным. Это было любопытство самодовлеющее, как бы отчужденное. Но я упустил момент, когда Симон готов был заговорить из мести, — нельзя было рисковать. Он поднимался по нашей лестнице почти с молитвенным чувством. Он был потрясен.

— Да, — сказал я, — лестница недурна. Двести лет назад в Бордо умели строить... Но комнаты! Что мы только с ними сделали!

Я ввел его в большую гостиную, где Мунете, мамин драпировщик, обрядил, как он выражается, окна со всей пышностью, не поскупившись на сборки, кисти, бахрому и помпоны. Симон был ослеплен.

— Это грандиозно!

— Это уродливо. Вспомните, Симон, кухню Дюберов, вашу кухню -- окорока, подвешенные к балкам, крестьянские часы с тиканием, подобным биению сердца, посудный шкаф, скромные фаянсовые тарелки, оловянные ложки, запах муки и жареного сала...

— Э! Вот еще! Посмотреть на вас — можно подумать, вы сами верите тому, что говорите...

— Буржуазная обстановка, такая, как наша, это абсолютное уродство. Едва только крестьянин начинает богатеть и помышлять о гостинной, он переходит в буржуазию, то есть в уродство.

Симон повторял: «Э! Вот еще!»

Я повел его в мамину маленькую гостиную.

— Вот здесь и живет мадам! — произнес он с почтением, смешанным с ненавистью.

— Не часто она здесь живет. Подумайте, Симон, каково мне в этом старом мертвом логове! Мы вдвоем занимаем целое крыло. Но признаюсь честно: я сам создал эту пустыню. Я всегда боялся чужих...

— Особенно девушек?

— Не больше, чем молодых людей.

— Но Мари вы не боитесь. Она говорит о вас: «Я его приручила...»

По сжатым губам Симона пробежала быстрая усмешка, которую я помнил у него с детских лет.

— Вы что-то знаете о ней, Симон, а она не знает, что вы это знаете...

— О, господин Ален! Забудьте все, что вырвалось у меня в сердцах. Нехорошо, если я расскажу вам... Впрочем,— добавил он,— это может помочь вам понять ее. Она рассказала вам о себе не все, но то, что она скрыла, может быть, сделает ее для вас еще дороже, а может быть, еще страшнее... Разве с вами угадаешь?

— Кто мог рассказать вам о ней в Талансе? Да и здесь вы никого не знаете. Я вам не верю.

— Э! И не верьте. Я-то вас ни о чем не прошу!

Он снова одеревенел.

— Но я, Симон, я вас прошу обо всем. Придите ко мне на помощь, вы, знающий о ней то, что сделает ее для меня еще дороже или еще страшнее. Нельзя оставлять меня в таком сомнении. Чего только я не придумую теперь?

Тоска терзала меня, но я еще и разыгрывал ее, чтобы сломить последние колебания Симона. Настоящие слезы лились у меня по щекам, но, будь я один, я, может быть, их и не пролил. Таков уж я есть. Да простит меня бог!

Ничего необыкновенного не было в том, что Симону все стало известно. Балеж, горбатый приказчик, жил в квартале Сен-Женес. По четвергам, как в любой другой вечер, после закрытия магазина он отправлялся домой в том же трамвае, каким ездил и Симон к себе в Таланс. Сначала они перемолвились только несколькими словами.

— Но и он тоже, этот Квазимодо, думает о Мари, как одержимый. У него нет никого, ни семьи, ни друзей, я — первый живой человек, который слушал его с интересом и даже, как он догадался, с готовностью разговаривать о Мари без конца.

Я не стану воспроизводить здесь для Донзак рассказ Симона. Не стану восстанавливать эту сцену с мнимой правдивостью «повествования». Донзаку важно знать лишь то, что страшная беда, поразившая эту девушку, угнетавшая ее и поныне, принесла мне облегчение, утолнение, едва я узнал о ней,— только тогда я вздохнул свободно. Мне казалось, что Мари была предупреждена о моей христианской строгости и требовательности, но теперь я нашел объяснение в том, что Балеж рассказал Симону. У Мари, по крайней мере вначале, не было никаких расчетов, никакого намерения женить меня на себе, когда она заговорила о моей приверженности к соблюдению обрядов и таинств. Достаточно было Симону дать ей представление о моем строгом религиозном детстве, о маме и ее испанском католицизме, об удушающей атмосфере Мальтаверна, чтобы эта девушка, которая все понимает, все чувствует, распознала мою драму, повторявшую ее собственную. Об отце Мари — распутном сборщике налогов — я знал, но у нее была еще и мать, очень набожная, но в своих религиозных взглядах как будто более просвещенная, чем моя мама. Случилось так, что один человек, носивший высокий духовный сан — не буду ничего говорить о нем, чтобы Донзак не мог опознать его с достоверностью,— каждый год проводил летние месяцы в Сулак-сюр-Мер, где жила семья Мари. Он был духовным руководителем и матери и дочери. Мари стала его добровольным секретарем, больше того — любимой ученицей. Ему она обязана своим интересом к отвлеченным идеям, своей неожиданной для молодой провинциалки культурой, но также, по словам Балежа, и безраздельной преданностью тому, что считала она церковью, хотя на самом деле это был человек.

У меня, разумеется, нет никаких оснований доверяться сплетням Балежа, пересказанным и, возможно не вполне точно, Симоном. Мне достаточно было почувствовать, что трагический отлив веры, в одно мгновение опустошающий полную до краев душу, для Мари был связан с открытием (сколько юных христиан его совершали!), что святой, заслуживший ее доверие, был и сам только жалким созданием из плоти, таким же, как все остальные, еще хуже, чем остальные, из-за маски, которую он обречен носить, не снимая. Свораченные тем, кто обратил их... да, немало я знал таких. Но я увлекся. Все это я уже сочиняю. В чем же из всей этой истории я могу быть уверен? В том, что после скандала, вызванного самоубийством отца, Мари пришлось отказаться от известного положения среди руководимой «святым отцом» молодежи, и это ей было очень тяжело, что друг, устроивший ее к Барду, тоже ученик и фанатичный последователь «отца», порвал с ним из-за нее. Что произошло там в действительности, Балеж точно не знал. Скорее всего, между двумя пятидесятилетними стариками, из которых один полностью зависел от другого, произошла такая же ссора, какая вспыхивает из-за девчонки у двух мальчишек в баре или на улице. Полагаю, не нужно придумывать ничего другого, чтобы объяснить полное безверие Мари и ее, основанное на собственном опыте, понимание драмы, касающейся только меня...

— И вы, Симон, — сказал я ему, — и я сам, оба мы, так же как она, — жертвы того, что слово сына человеческого, сына божия, доходит до нас лишь через грешников. И не только его слово. Он сам сливается с ними. Вот причина крушения, которое длится две тысячи лет.

— Но вы-то, господин Ален, сохранили веру.

— А вы, Симон? Вы, значит, думаете, что потеряли ее?

Он не ответил, закрыв на мгновение лицо своими чудовищными руками. Он вздохнул.

— Что значит сохранить веру? Что значит потерять ее? Я думал, что потерял ее. Господин Дюпор поручил одному из своих друзей, профессору Сорбонны, составить для меня наглядную таблицу всех доказательств невозможности существования бога. Не смейтесь: вы понятия не имеете о современной науке, господин Ален, да и я тоже... Вы никогда не выходили из своей норы. Если бы вы знали, насколько все это несущественно в Париже, до какой степени это — дело конченное...

— Но мы-го с вами знаем, что это существует.

— Что вы называете «это»? То, что вам вдалбливали с детства и чего я наглотался еще в католической школе?

— Нет, Симон, напротив: то, что сопротивляется этим формулам, этой словесной механике, этой дрессировке, то, что не зависит от заложенного в нас автомата... Но вы меня понимаете. Только вы один можете понять меня!

Он спросил вполголоса, со сдержанным жаром:

— Почему вы так думаете?

Но зачем преподносить Донзаку упорядоченную и приукрашенную беседу, тем более что все существенное в ней я заимствовал у него же? Я хотел бы обвести чертой, выделить из контекста самое важное в этой вечерней встрече, то, что может быть, совершенно изменило мою жизнь, сделало ее навсегда совсем не такой, какой была бы она, не явись мне этот призрак — Симон... Или, вернее, нет! Надо было написать так: то, что помешало мне изменить свою жизнь в тот момент, когда Мари готова была круто повернуть ее течение, то, что вернуло бегущую по ланде речушку в ее старое русло между ольховых деревьев, подобных неподкульной страже... Я уверен, что именно в этот вечер, и никак не позже, я стал способен относиться к моей матери как к врагу, потому что тогда в этой маленькой гостиной на улице Шеврюс Симон открыл мне глаза; больше он не переступал наш порог: ведь моя мать вернулась из Мальтаверна на третий день, после того как купила Толозу.

Отныне я каждый четверг около четырех часов отправлялся к Барду, где ожидал меня Симон. Мари, окруженная покупателями, улыбалась мне издали. Мы выходили вместе, Симон и я. Я уводил его к Прево. Там я избегал садиться против него, чтобы не видеть, как макает он в шоколад намазанную маслом булочку. Мы встречались с Мари после закрытия магазина, но теперь уже не в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа (после возвращения моей матери мы стали осторожнее), а в ледяной гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен.

Но прежде всего Донзак должен узнать, что сообщил мне Симон в тот вечер на улице Шеврюс. Тайну эту открыл ему Прюдан, его брат, в день своего приезда в Таланс. Оказывается, моя мать была не так уж уверена в моей покорности и своей конечной победе. В двадцать один год я мог стать добычей первого встречного, первой встречной. Она опасалась, как бы кто-нибудь, прельстившись моим богатством, не подцепил меня на крючок. Мое отвращение к браку не очень успокаивало ее, она понимала, что женитьба была бы для меня единственной надежной защитой от Вошки. Самым опасным, по ее мнению, временем были мои студенческие годы в Бордо. Что я не окажусь легкой добычей, это она понимала. Ей знакома была инертность, какую противопоставлял я всякой попытке соблазнить меня. Но достаточно будет одной встречи, чтобы разбудить во мне мужчину, подобного всем другим, или даже худшего, чем другие. Пока я не вернусь в Мальтаверн, и не вернусь навсегда, ей ничего не добиться. Когда же она наконец вернет меня и я брошу там якорь навеки, все произойдет так, как она задумала.

Главное, как объяснила она старому Дюберу (от него-то и узнал Прюдан все, что рассказал брату), — не дать захватить себя врасплох. «Я выпустила его из рук, — твердила она, — я чувствую, как он ускользает от меня». Если я захочу жениться, то, по словам мамы, хуже всего будет, если я сделаю правильный выбор, не вызывающий никаких возражений. Но даже и тогда она найдет непреодолимые преграды: преграды всегда найдутся. Я должен буду подчиниться ее запрету, а он будет безоговорочным. Несмотря на то что она всегда гордилась моими школьными успехами в дни распределения наград, она судила обо мне согласно привычной для ее среды шкале ценностей, которой пользовался еще папаша Гранде. Ничего не изменилось во Франции со времен Бальзака. «Никчемное создание» — вот кем я был для мамы, несмотря на все прочитанные мной книги.

Если же я буду упорствовать, она удалится в свое имение в Ноайяне и бросит меня одного с моими двумя тысячами гектаров на руках. Но и это еще не все: чтобы не оставить мне никакого выхода, она взяла с Дюберов обещание переехать вместе с ней в Ноайян. Обойтись и без матери и без управляющего я не смогу — таким образом не останется ничего другого, как покориться. Это пойдет мне только на пользу, помимо моей воли она спасет меня. Я словно слышал ее: «Я тебя выносила и буду нести до конца моих дней».

Вначале Симон говорил безразличным тоном, как бы по обязанности: «Нужно, чтобы вы узнали, господин Ален»... Но постепенно озлобление против «мадам», тайно копившееся с самого раннего детства, начало прорываться в каждом его слове. Что же касается того, что испытывал я сам... Маме даже не было нужды появляться во плоти, чтобы я впал в обычное свое оцепенение. Она крепко держала меня, даром она в этом не сомневалась. Я вздохнул:

— Что ж, выхода нет!

— Да есть он, господин Ален! Есть выход. Его нашла Мари. Если вы захотите, она освободит вас.

Он уперся и больше ничего не захотел говорить: она сама, а не он, должна посвятить меня в свой план. И вдруг после молчания он произнес с внезапно провавшейся страстью:

— А я, господин Ален, клянусь вам, что если когда-нибудь не будет у вас управляющего и вообще никого... да ладно, вы знаете, в границах имения я раз-

бираюсь не хуже отца. Подайте только знак, и я примчусь. О! Главное, не думайте, что я брошу все ради вас. Нет, я вырвусь из ада этой жизни в Талансе и снова обрету Мальтаверн...

— А Мальтаверн — это я.

Он отвернулся и встал:

— До четверга в книжной лавке.

Шаги Симона на лестнице постепенно удалялись, потом захлопнулась тяжелая дверь. Я вышел из своего полуприветворного оцепенения или, если хотите, из оцепенения, которому не стал противиться, едва речь зашла о маме. Теперь, когда я остался один, меня захлестнула холодная ярость не только против нее, но и против Мари, позволившей себе иметь какой-то план: это было возмущение человека, который слывет самым слабым, кто внушает женщинам только жалость, меж тем как в нем бушуют беспредельные силы. «Они увидят, эти женщины! Они увидят!» Что же увидят они? Главное — сохранять холодную голову. Самая большая удача сегодняшнего вечера — то, что теперь я знаю: по первому моему зову Симон бросит все. «Чтобы вырваться из своего ада», — сказал он. Может быть... Но ни для кого другого он этого не сделает. Что бы ни ждало меня впереди, я буду не один.

Глава VII

Моя мать вернулась из Мальтаверна еще в пылу битвы за Толозу: сто гектаров сосны и столетних дубов в пяти километрах от деревни. Нума Серис считал цену непомерно высокой. Она же не сомневалась, что поместила капитал превосходно. С рассеянным видом, какой я напускал на себя, когда обсуждались подобного рода дела, я спросил у нее, откуда она взяла деньги на покупку Толозы.

— О! Я использовала резервы, они у меня всегда под рукой.

— Да, конечно: крепежный лес, сбор смолы за текущий год. Не считая вырубки сосен в Бруссе...

Мама посмотрела на меня. Я хранил знакомое ей отсутствующее выражение лица, и она успокоилась.

— Важно иметь деньги, — сказала она, — а не знать, откуда они берутся.

— Для меня и это важно. Если ты заплатила за Толозу из своих личных доходов, полученных с Ноайяна, Толоза — твоя. Если же из доходов с Мальтаверна...

На маму нашел «приступ».

— Чего ты добиваешься? Наши интересы совпадают, тебе это отлично известно.

— Но они не совпадают с интересами государства. Нелепо будет платить когда-нибудь налог на наследство за Толозу, которая фактически принадлежит мне. А кроме того, не всегда наши интересы будут совпадать: я не давал обета безбрачия.

Последовало молчание, и прерывать его я остерегся. Тянулось оно довольно долго, во всяком случае так мне показалось. Наконец мама произнесла вполголоса:

— Кто-то тебя сбивает с толку. Кто же это сбивает тебя с толку?

Я изобразил величайшее изумление. Я напомнил маме, что мне исполнился двадцать один год и, право же, никто не нужен для того, чтобы меня заинтересовали некоторые вопросы. Тут она взорвалась, обвинила меня в неблагодарности: она управляла нашим состоянием осмотрительно и успешно, являя пример для всех; она приумножила его невероятно; она уедет в Ноайян, если я этого хочу, и больше пальцем ни к чему не прикоснется! К этой угрозе я остался нечувствителен. Я покачал головой и даже улыбнулся. Мама покинула гостиную и, проследовав к себе в комнату, щелкнула задвижкой, согласно неизмен-

ному сценарию, порядок которого я решил в этот вечер нарушить: я не стану, как бывало, стучаться к ней в дверь и умолять: «Мама, открой мне!»

Я подбросил в огонь полено и замер в спокойном отчаянии; но это был не тот даруемый богом покой, который предчувствовал я в иные часы моей жизни. От этого покоя я отдаляюсь с каждым днем, или, вернее, блага мира сего постепенно окружают меня плотным коконом, и хотя я выступаю беспощадным судьей своей матери, оба мы друг друга стоим в нашем стремлении завладеть землей, которая принадлежит всем и не принадлежит никому и в конце концов сама будет владеть нами...

На этот раз мама не выиграет. Ей больше не выиграть никогда. Возможно, она это предчувствовала. Я вспомнил ее слова: «Кто-то сбивает тебя с толку!» Должно быть, едва переступив порог, она, как всегда, стала расспрашивать Луи Ларпа и его жену о моем поведении. Обед, заказанный для дамы и через час отмененный по телефону самой же дамой — этого было более чем достаточно, чтобы мама встревожилась. Доказательство тому я получил немедленно. Я услышал щелканье задвижки, дверь из маминой комнаты открылась. Мама не стала дожидаться и сама сделала первый шаг. Она снова заняла свое место напротив меня, как будто ничего между нами не произошло.

— Я все обдумала, Ален. Ты прав, я действительно забываю о твоём возрасте и обращаюсь с тобой как с ребенком, хотя ты уже взрослый. Я освобождала тебя от всего, ни во что тебя не посвящала. Но ты ведь сам этого хотел. Для меня будет счастьем, если ты наконец согласишься заняться тем, что рано или поздно станет прямым твоим долгом! Ведь я буду с тобой не вечно.

Она умолкла, надеясь, что я встану и поцелую ее, но я продолжал сидеть неподвижно и молчал. Тогда она напомнила, что при жизни Лорана покупку каждого гектара, каждую затрату она совершала только как наша опекунша и от имени нас обоих. После смерти Лорана и до покупки Толозы речь шла лишь о мелких участках. А с Толозой надо было действовать решительно: ее владелец мог передумать. Пришлось подписать купчую и выплатить деньги в тот же день, но она признает, что напрасно так поторопилась. Теперь она делает все необходимое и из собственных средств вернет в кассу Мальтаверна стоимость Толозы.

— А если ты когда-нибудь женишься, Толоза будет моим свадебным подарком. Но в двадцать один год не женятся.

— Потому что это призывной возраст. Но призыв меня не коснулся: я избежал и его. А вот женитьбы мне, может быть, избежать не удастся.

— Надеюсь, что нет.

Я не выразил согласия ни словом, ни знаком; молчание между нами стало невыносимым. Мы поднялись и пожелали друг другу спокойной ночи.

Еще не пробило и десяти. Полагаю, каждый из нас, сидя в своей комнате, думал об одном и том же человеке: для мамы это была незнакомка, которую я пригласил вечером в ее отсутствие и которая настолько меня переменяла, что я осмелился спросить у матери отчета в покупке Толозы; но и для меня эта женщина оставалась незнакомкой, хотя я и держал ее в тот вечер в своих объятиях и верил, что она любит меня. Она мне солгала, она знала, что я это знаю, и не сделала ни малейшей попытки выяснить, что же со мной происходит...

После встречи с Симоном я ни разу не был в книжной лавке — целых три дня! Мари, должно быть, увидела в этом свой приговор и отказалась от борьбы. Дикая голубь, которого она приручила, испугался и улетел: она постарается меня забыть. Все эти мысли приписывал ей я сам. Потом я вспоминал, что Симон говорил о каком-то плане Мари избавить меня от женитьбы на Вошке. План Мари, задуманный Мари...

Я решил затаиться до четверга — дня нашего свидания с Симоном. Но на другой же день, возвращаясь из университета, я не выдержал. Я попытался боготся. Как всегда, я сделал остановку в соборе, это было мне по пути: проходя

через собор, я даже сокращал дорогу. Обычно я там задерживался. В этом месте, принадлежавшем людям, я чувствовал себя наиболее защищенным от людей, как бы плавающим в безбрежном море любви, заказанной мне навеки, мне, подобно богатому юноше из Евангелия, который «отошел с печалью, потому что у него было большое имение».

В тот день я в соборе не задержался. Я поднялся по улице Сент-Катрин до Пассажа. Не успел я переступить порог лавки, как Мари меня увидела, а я с первого же взгляда понял, что она страдает. Страдание состарило ее. Это была не молодая девушка, даже не молодая женщина, а живая душа, страдавшая уже долгие годы, но теперь она страдала из-за меня. Мне известна — и Дон-заку тоже — одна черта моей натуры, не знаю, моя ли это особенность или она свойственна многим: если я привязан к человеку, мне, чтобы успокоиться, нужно увидеть, как он страдает. Прежде чем я обменялся с Мари хоть словом, я почувствовал великий мир в своей душе. Мы наскоро пожали друг другу руки. Я попросил ее зайти за мной к Прево, как только она освободится, а до тех пор стал убивать время, кружа, как потерявшаяся собачонка, в лабиринте пустынных кварталов Сен-Мишель и Сент-Круа. Потом я ждал у Прево за чашкой шоколада, предаваясь животной радости отдыха. Наконец она вошла. «Она намазала губы», — сказала бы с осуждением моя мать.

— Я пришла не затем, чтобы оправдываться. Можете думать все, что хотите... Но у меня не было никаких тайных побуждений. Просто я знала: если вы встретитесь без меня с Симоном Дюбером, между нами все будет кончено раньше, чем начнется...

— Я тоже обманывал вас, Мари. Мы оба лгали, чтобы не потерять друг друга.

— Потерять можно лишь то, чем владеешь. Нет, Ален, я не потеряла тебя.

Она не потеряла меня, она хотела меня спасти. Она видела, что мне грозит смерть, потому что для мужчины страшнее смерти вынужденный брак с женщиной, внушающей ему такой ужас, какой внушала мне Вошка. Моя мать знала, что время работает на нее, что каждый выигранный год приближает осуществление мечты, которую лелеяла она всю жизнь.

— Надо опередить ее, раз уж нам известно, куда направит она первый удар... Но прежде всего, Ален, все зависит от вас, и вы сами должны твердо знать, с кем вы, — хотите ли вы, чтобы мы вас спасли. Симон Дюбер уверяет, что вы все решили. Но, может быть, так было в день вашей встречи, а сегодня вы уже менее тверды?

Она искала мой взгляд, но мы сидели рядом, и мне было нетрудно уклониться. Я сказал, что готов ко всему и не готов ни к чему, что никогда больше не вернусь под ярмо, от которого мысленно уже освободился, но оставляю за собой право судить о путях, которые мне будут предложены.

Сам не знаю, как получилось, что главной темой нашей беседы стал Симон Дюбер. Она говорила о нем с увлечением, и я уверен, без всякой задней мысли, и то, что она мне рассказала, объяснило мне подлинный смысл предложения Симона бросить все и последовать за мной, «чтобы избавиться от ада в Талансе». Бедный Симон. Свой ад он носил внутри себя. В Париже он был на грани самоубийства. Он близок к самоубийству все время, его удерживают лишь остатки веры. Он сохранил их и только поэтому устоял против новых учителей, которые пытались использовать его в своих целях. Они уговаривали Симона написать исповедь молодого крестьянина, которого богатая ханжа хотела сбить с пути. План книги был для него составлен, ему оставалось только заполнить пустые клетки. Симон взбунтовался, они не настаивали, и поскольку он был ползень в секретариате, его терпели... Я вдруг вспыхнул:

— Оказывается, я ждал вас битых два часа и слонялся как потерянный в этих мрачных закоулках лишь затем, чтобы поговорить о Симоне...

— Да, это правда, я говорю с вами о нем, потому что боюсь заговорить о нас, потому что знаю, о чем вы подумаете... Но, собственно, почему вы можете это подумать? Вы знаете, чья я дочь, на сколько лет я вас старше, что я делала или, вернее, что со мной сделала за эти годы, — что сделала со мной эти старики. Ах! Какой я была в вашем возрасте, Ален, какой я была...

Нет, она не играла в эту минуту, а если играла, то какая это была актриса! Самым ужасным для нее было мое молчание. Я ничего не ответил не из бесчувственности, а потому, что все слова хорошо воспитанного мальчишка, единственные пришедшие мне в голову слова, прозвучали бы хуже любого оскорбления.

Я должен верить, сказала она, что, вступая в этот разговор, она не ищет для себя никакой выгоды, разве лишь испытает удовольствие, с каким освобождаем мы из паутины муху, пока ее не сожрал паук. Наконец, она перешла к плану сражения: как только моя мать уедет в Мальтаверн, я сообщу ей туда письмом о своей помолвке с «продавщицей из книжной лавки Барда». Мари была согласна, чтобы я воспользовался ее именем: ведь она действительно та женщина, которая должна вызвать у мамы особый ужас, — ее среда, ее возраст, все, что мама немедленно узнает о семье, о прошлом Мари — этого будет вполне достаточно, чтобы моя мать сразу поставила меня перед выбором: да или нет, а так как я буду упорствовать, она удалится в свое ноайянское имение и увезет с собой Дюберов.

Тут я прервал Мари: мне казалось невероятным, чтобы Дюберов можно было оторвать от Мальтаверна. Они приросли к нему, как устрицы к своей раковине. По мнению Мари, тут бояться было нечего: старик Дюбер поймет, что это просто хитрость, чтобы выволнить меня из сетей какой-то городской дурной женщины. Он, так же как его хозяйка, мечтает прибрать к рукам земли Нума Сериса и считает себя незаменимым. Он и не усомнится, что через недельку я позову его обратно.

Поразмыслив, я спросил:

— И вы думаете, она не сможет парировать удар? Вы не знаете мою мать.

— Я знаю вас, Ален. Вся ее сила в вашей слабости. Вы хозяин всего, вы владеете всем, но она владеет вами.

Я ничего не возразил. Мари встала и вышла одна. Нас не должны были видеть вместе. Мы уговорились встретиться в четверг в книжной лавке, когда там будет и Симон.

Хотя я не запоздал к обеду, мама, стоя на площадке, подстерегала мой приход. Я увидел ее крупное бледное лицо, склонившееся над перилами: «Ах! Вот и ты!» Она не отойдет ни на шаг, она будет следить за мной, не спуская глаз, такова будет первая ее защита. Я понимал, что замысел Мари можно осуществить лишь в том случае, если мама уедет в Мальтаверн. Она должна узнать о моей помолвке из письма. Выступить против нее с открытым забралом я не решусь никогда. А если бы и решился, она разоблачит меня немедленно. Никогда еще мне не удавалось солгать ей без того, чтобы она тут же не пристыдила меня.

В течение всей зимы, не посылая никого шпионить за мной, не прибегая ни к какой слежке, она каждый четверг узнавала, что я прихожу домой после тайного свидания с ее неизвестными врагами. В те вечера, когда Мари ждала меня за дверью на улице Эглиз-Сен-Серен и вводила в ледяную гостиную, напрасно я по возвращении домой мыл лицо и руки над умывальником в буфетной, прежде чем воздать маме ритуальный поцелуй, обязательный в любой самый поздний час. Моя мать притягивала меня к себе, вдыхала мой запах и сразу распознавала нечто чужеродное. Ни разу она об этом не сказала. Но я знал, что она это знает. Мы оба видели друг друга насквозь.

Этой зимой она, впрочем, получила неоспоримые доказательства, что я ее обманываю. Я, ненавидевший танцы, стал безотказно принимать все приглашения

и чуть не каждый вечер надевал смокинг или фрак. Провожая меня, мама говорила: «Потом расскажешь...» — и принималась расспрашивать, едва я возвращался домой. Она хотела все знать о званом вечере, и не много ей требовалось времени, чтобы догадаться, что я сам ничего не знаю, так как не был там вовсе или забежал только на минутку: достаточно было самых простых вопросов. На балах я никогда не задерживался. И еще одно доказательство: она никогда не видела меня у причастия; я устраивался так, чтобы не ходить к той мессе, на которой присутствовала она. Даже на рождестве я был приглашен к товарищу встречать Новый год за городом.

Луи Ларп всегда вручал маме всю почту, и она сама просматривала ее. Подозрительных писем там никогда не было. Она не напала ни на след Мари, ни на след Симона. Мы больше никогда не выходили вместе. Мы отказались от встреч у Прево и в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа. Мы встречались или в книжной лавке после закрытия, в «закутке» Мари, или в гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен. Теперь и думать было нечего, чтобы Симон переступил порог дома на улице Шеврюс, и весной я сам несколько раз навестил его в Талансе. Он жил на пансионе у какой-то вдовы, в одном из тех одноэтажных домишек, которые в Бордо называют «будками». Симон долго сопротивлялся моему намерению посетить его: какое непреодолимое расстояние установилось между классами с согласия бедняков и часто против воли богатей, стыдящихся своего богатства, как я.

Это была заурядная комната, обставленная мебелью красного дерева, с окном в сад священника, за которым пролегалла дорога на Байонну. Повсюду были разбросаны журналы и книги, но не романы, не стихи, а «Паскаль» Бутру, «Жизнь святой Терезы, написанная ею самой», «Святой Франциск Ассизский» Йоргенсена, сочинения Жана де ла Круа... В первый мой визит, когда я удивился такому выбору книг, Симон сказал: «Пополняю свое религиозное образование благодаря вам» — и тут же перевел речь на другое. В тот день я понял, что для него жизнь или смерть зависела от исполнения тайной мечты: я и он в Мальтаверне. Мечта, ни с чем не сообразная и все же осуществимая.

Хотя из нас троих Симон был самым нетерпеливым, он считал, что Мари не права, желая приступить к действиям как можно скорее, и не советовал мне добиваться у мамы разрешения на поездку в Париж или Ниццу, откуда я мог бы сообщить ей о своей помолвке. Симону казалось очень важным, чтобы бомба разорвалась во время пребывания моей матери в Мальтаверне, расположенном всего лишь в нескольких километрах от Ноайяна. Тогда ее демонстративный отъезд и переселение Дюберов состоятся немедленно. Долго ждать нам не придется: несмотря на твердое намерение моей матери не оставлять меня одного, она должна будет поехать в Мальтаверн проверить сбор смолы, продать крепезный лес и сосчитать сосны после нескольких вырубок.

Мы не предусмотрели, что на своем «дионе» она может, выехав на рассвете, вернуться в Бордо тем же вечером. Дважды она оставалась в Мальтаверне на одну ночь, но надолго не задерживалась ни разу. Так прошел мой двадцать второй год, и за это время незаметно и постепенно Мари превратила мальчика-ангела в человека, подобного всем другим. Однако мальчик продолжал существовать и всякий раз возрождался снова, но не за тем, чтобы проклинать Мари: он прижимался к ней еще теснее, он хотел, чтобы его баюкали, и добивался своего.

Одно утешение все же было мне суждено в том году: к Симону вернулась надежда. Будущая жизнь в Мальтаверне представлялась ему как уход в убежище, где мы оба — независимо от того, останусь я там или нет, — будем искать вместе и в конце концов обретем истину. Да, мы вместе сделаем открытие. Какое открытие? Он говорил, что благодаря мне прозрел все, что в церкви ненавистно для ее врагов, действительно заслуживает ненависти, как заслуживало ее во все

времена человеческой истории, как заслуживает ее фарисейская религия «мадам». Враги яростно нападали на установления, перед которыми другие преклонялись, как, например, одержимый грегорианец Гюисманс. Но преклонение было так же бесплодно, как проклятия. Мы с Симоном знаем, что в известный момент истории бог проявил себя, что он проявляет себя и в частных судьбах мужчин и женщин, которые стремились соединиться тесными узами с крестом.

— Это запрещено вам, господин Ален, вы — «богатый юноша». Но не мне. Я беден и бедным останусь. Вы не должны будете платить мне ни одного су сверх того, что дает моему отцу мадам. Я буду вознагражден благами вашей образованности и вашим воодушевлением.

Я предостерег его от иллюзий, будто существует верный способ приблизиться к богу; напомнил, что меньше всего это зависит от нашей воли, а самое это желание свидетельствует о поисках наслаждения, которые приводят нас к тому, чего хотели мы избежать.

Итак, ничего не произошло. Это был мой последний год перед защитой диплома, поэтому при любом затруднении я оправдывался подготовкой к экзаменам. Мари и Симон уточняли план военных действий применительно к условиям летних каникул. Оба они в толк не могли взять, как это двадцатидвухлетний юноша боится отправиться в путешествие без матери, и не только потому, что не хочет ее огорчать, а и потому, что сам еще остается ребенком, который, бывало, приходил в ужас, когда мать на минуту оставляла его одного в вагоне, чтобы купить газету: в поездках, еще больше чем в повседневной жизни, она освобождала меня от всего. Но она никогда не помогала мне в моих студенческих занятиях, как это делала Мари во время подготовки к письменным испытаниям, когда я каждый день приходил к ней на улицу Эглиз-Сен-Серен после закрытия книжной лавки. Маму я уговорил перенести обед на более поздний час.

Так истек этот год, который заранее представлялся нам полным трагических событий, а прошел без всяких историй, кроме той, что развивалась внутри каждого из нас; но об этой общей нашей истории, и даже о своей собственной, я не могу сказать ничего, что не было бы придумано или приукрашено из желания заинтересовать Донзак. Мне кажется, моя душа была как бы приглушена — подготовка к экзаменам заставила меня все остальное, и даже бога, взять в невидимые скобки. Я больше не сомневался в Мари, потому что она страдала.

И даже бога... Здесь Донзак снова увидит свое влияние. Он проповедовал, что иногда надо давать отдых и природе. Я знал, что Мари печальна, потому что между нами скоро все будет кончено; но со времен своей работы у отца Х. она сохранила воспоминание о каком-то мистике, создавшем доктрину так называемого «таинства данного мгновения». Она говорила: «Эта минута принадлежит мне, ты здесь, я здесь, дальше я не загадываю».

Не могу сказать, чтобы порой ко мне снова не возвращались сомнения: Мари мне лгала, она может опять солгать. Я считал ее вполне способной разыгрывать роль страдающей из-за меня женщины, она знала, что именно это было мне нужно, чтобы не страдать самому. Может быть, она раскрыла мне свой план не до конца. Может быть, в нем таилась ловушка, известная только ей, и в один прекрасный день я окажусь связанным с ней перед богом и перед людьми. Но я достаточно осторожен, меня врасплох не захватишь, она будет владеть мною, пока я этого хочу... Из нас троих один Симон был упоен надеждой.

Глава VIII

Все началось совершенно неожиданно. В июле я получил диплом с отличием. Так как я отказался сопровождать маму в Дакс, где она собиралась пройти курс лечения, она тоже не поехала, чтобы не терять меня из виду, и мы с ней остались один на один, не произнося других слов, кроме самых необходимых, в выж-

женном, словно пустыня, августовском Мальтаверне. Мы жили, как ночные птицы, вылетающие из гнезд лишь в сумерках.

Мари, заточенная в своей книжной лавке, прощаясь со мной, не смогла сдержать слез, но она надеялась, что подсказанный нам Симоном замысел, может быть и безрассудный, придаст ей силы выжить в Бордо, где не будет меня. Она скоро увидит меня снова и наконец-то узнает Мальтаверн.

Моя мать решила выполнить обещание, которое дала когда-то старику Дюберу, — отвезти его в Лурд на предпринятое нашей епархией паломничество с 17 по 20 августа. Дюберы были в восторге, но также и в некотором страхе, потому что путешествие предполагалось совершить на мамином «дионе». Луи Ларп с женой получили отпуск. Таким образом я буду в Мальтаверне один с Прюданом (но он был нашим сообщником), на попечении жены Прюдана, женившегося в январе, — робкой, трепетавшей перед ним рабыни; она не скажет никому ни слова, если он прикажет ей молчать. В местечке будет почти пусто, наши дамы либо отправятся в Лурд, сбившись, как старые овцы, вокруг г-на настоятеля, либо — на отдых в горные и приморские деревушки.

Мари и Симон останутся у Дюберов. Дальше мы не загадывали. О том, что произойдет между нами, а потом между мною и мамой после ее возвращения, я старался не думать. Зато я отлично видел, как по мере приближения дня отъезда возрастало ее беспокойство. Почему бы, спрашивала она, не провести мне эти три дня в Лушоне, куда она приехала бы тоже, поручив Дюберов г-ну настоятелю? Должно быть, маму покорила резкость моего отказа. Но это не насторожило ее, — теперь я знаю, кто предупредил ее об опасности. Я заявил, что не хочу лишать себя радости остаться наедине с Мальтаверном, неожиданно освобожденным от всей своей человеческой субстанции. Она не называла меня «пустомелей», она взглядывалась в меня, доискиваясь, что скрывается за этими сумасбродными речами.

— Что же ты будешь делать все эти три дня?

— Буду бродить. Пойду взгляну еще разок на старика из Лассю, посмотрю, каким я стану через шестьдесят лет, когда превращусь в старика из Мальтаверна.

Я дрожал, как бы мама не передумала и под каким-нибудь предлогом не отменила поездку. Я вздохнул спокойно, лишь когда услышал на дороге замирающий шум автомобильного мотора, и, оставшись на террасе один, с наслаждением втянул в себя утренний туман, предвещавший знойный день, нескончаемый день ожидания. Симон и Мари должны были приехать вечерним поездом. Прюдан поедет на станцию один и привезет их в Мальтаверн напрямик через лес, где вечерами никого не бывает.

Жена Прюдана начисто выскребла комнату его родителей, постелила лучшие простыни. Я велел ей приготовить на всякий случай комнату для гостей в замке (так называла она наш дом), где даме будет удобнее из-за ванной комнаты. Она послушалась, не выразив никакого удивления.

Я не хотел бы, чтобы описание этого вечера, этой ночи походило на те сочинения, которым завидовал Андре Донзак в наши школьные годы. Однако же пусть знает свидетель моей жизни, что то был миг, озаривший эту жизнь, придавший ей подлинное значение, ибо то была ночь греха и вместе с тем — ночь благодати.

Я взял у Мари чемодан и пошел впереди нее в комнату для гостей, не спрашивая согласия ни у нее, ни у Симона. В светлом летнем платье и соломенной шляпе это была другая Мари, совсем не та, что у Барда; юная девушка, которой я никогда не знал, которую знали другие. Но эта мысль причинила мне лишь мимолетную боль.

Мы собрались все трое в столовой и поели наспех и молча. Мари сама предложила мне прогуляться по парку. Она остановилась на террасе. Я накинул

ей на плечи мою старую школьную пелерину. Она медленно сошла по ступенькам. Она сказала:

— Все это я увидела заранее в вас. Как все похоже на вас.

Я ответил, что, если бы она была разочарована, я бы ей никогда не простил.

Она знала только исхлестанные морем сосны Сулака, — рядом с ними сосны Мальтаверна казались исполинами. Я взял ее под руку, чтобы она не оступилась с дорожки. «А это большой дуб?» Она узнала его, хотя это был такой же дуб, как все другие; я прижался к нему губами, согласно ритуалу, потом мы с Мари обменялись нашим первым поцелуем.

«Больше всего я люблю в Мальтаверне...» Об этом я мог говорить без умолку. Я уши прожужжал Мари, рассказывая о своем отвращении к живописным местам и о том, что чувствую природу только там, где могу наслаждаться ею один, один или с теми, кто любит ее вместе со мной, во мне. Мы не дошли до речушки, на лугу было слишком сыро, но мы остановились и замерли неподвижно и молча, вслушиваясь в осторожное нежное журчание, которое все длилось и длилось и будет длиться во веки веков.

— Почему, — спросил я Мари, — ни на берегу большой реки, ни даже на берегу океана я не испытываю того, что дарит эта струйка воды, в которой ребенком я пускал кораблики из сосновой коры?

Ведь знать, что ты смертен, совсем не то, что чувствовать это всей своей плотью. Этому чувству научило маленького мальчика журчание Юра в летние ночи былых времен, когда он замирал, вслушиваясь в тишину — эту тишину, звенящую пением сверчков, прорезанную то рыданием ночной птицы, то призывом жабы, полную едва ощутимого шороха ветвей.

Мы остановились на середине аллеи послушать тишину. Мари прошептала: «Мне кажется, здесь кто-то ходит. Слышишь, как шуршат сосновые иглы?» Но нет, это был ветер или хорек: столько живых существ пожирают друг друга или соединяются по ночам.

А мы сами разве делаем что-нибудь другое? И все-таки мы совсем другие.

Эта ночь была для нас тем часом жизни, когда мы ближе всего подошли к истине, которую предчувствовали оба (мы долго говорили об этом, стоя полуподетые на балконе в час самой глубокой тишины): человеческая любовь — это одно из воплощений того, кто сотворил нас, но иной раз — для нас двоих в эту греховную ночь — она походит на любовь, посвященную творцом своему творению, и творением — своему творцу, а счастье, затопившее и Мари и меня, было словно заранее дарованным нам прощением.

Я задремал. Меня разбудили рыдания. Я прижал ее к груди: почему она плакала? Сначала я не понял слов, которые она шептала сквозь слезы:

— Никогда больше! Никогда!

— Нет, Мари, нет: всегда и навеки.

Она возразила:

— Ты сам не понимаешь, что говоришь.

Самое странное, что в эту минуту все мои подозрения исчезли бесследно. Казалось бы, все ясно: она привела меня — возможно, без всякой хитрости и, несомненно, с любовью, — однако же привела меня к торжественному обещанию связать себя с нею навсегда, но даже очевидность не могла устоять перед откровением этой ночи. В том счастье, которое дают друг другу два живых существа, нет места лжи. Это во всяком случае верно, а для меня — более верно, чем для любого юноши моего возраста: ведь Мари исцелила, освободила меня от тайного запрета. Может быть, лишь ненадолго? Нет, навсегда! Навсегда!

— Видишь ли, — сказал я, — самым неприятным, даже отвратительным для меня в нашем плане была необходимость лгать моей матери, притворно уверять ее, будто я хочу на тебе жениться. Что ж, моя радость, теперь я скажу, глядя

ей прямо в глаза: «Я приведу тебе мою невесту»... И это будет правда. Ты плачешь? Почему ты плачешь?

— Твоя невеста... Ты прав: это по крайней мере будет правда. Я буду твоей невестой «взаправду», как говорят дети.

Я спросил, разве в эту ночь не была она моей женой «взаправду»?

— Да, в эту ночь... Мне останется эта ночь.

Я сказал:

— И все ночи нашей общей жизни...

Петухи, перекликаясь с фермы на ферму, возвестили рассвет. Скоро встанет жена Прюдана. Мари хотелось, прежде чем вернуться в свою комнату, еще раз выйти со мной на балкон, несмотря на густой туман — сосны только начали срывать его со своих ветвей. Она вздохнула:

— Мальтаверн... Я смотрю на тебя и не могу насмотреться, как будто боюсь позабыть тебя.

Я сказал:

— Кто-то ходит по аллее.

Мы вернулись в комнату. Наверное, это был Прюдан или его жена. Из-за тумана нас все равно не было видно, а разговаривали мы совсем тихо. Последнее наше объятие было коротким. Она убежала в свою комнату, а я с наслаждением погрузился в сон, из которого извлекла меня жена Прюдана, поставив передо мной поднос с завтраком. Даме она уже подала кофе. Я спросил, кто это ходил около шести часов вокруг дома, она или Прюдан? Нет, они не ходили. Должно быть, это... Она замялась. «Мадам» разрешила Жаннете Серис играть в парке, когда никого там не будет. Она проводит там целые дни и чувствует себя, как дома. Утром она, наверное, приходила вытащить верши, которые закинула в Юр вчера вечером.

— Вчера вечером она была там?

— О, но она хорошо спряталась, ее и слышно не было.

Я второпях оделся, и мы все трое собрались на совет в кухне Дюберов. Не было никакого сомнения, что моя мать поручила Вошке шпионить за нами и теперь она все узнает сразу же по приезде. У нас не было больше выбора. Я решил уехать вместе с ними в Бордо, передав через Прюдана письмо, извещающее маму о моей помолвке. Симон переедет ко мне на улицу Шеврюс, он может спать на кровати Лорана. Правда, в августе жить в Бордо невозможно. «Но наш особняк на улице Шеврюс — настоящий ледник», как говорит мама. Если события развернутся так, как мы предполагаем, то едва лишь моя мать и Дюберы покинут Мальтаверн, мы водворимся там и никогда больше не уедем.

Из нас трюх больше всех был воодушевлен открытием военных действий Симон. Он не мог не знать, как прошла эта ночь для Мари и для меня, но казалось, это не причиняло ему боли.

Все утро мы просидели на кухне у Дюберов, взвешивая каждое слово в письме, которое готовило первый удар моей матери. Прюдан вручит его, едва она выйдет из автомобиля. Первый набросок, целиком принадлежавший мне, красноречивый и неистовый, в котором вылились все мои обиды, вызвал восторг у Симона, но отнюдь не у Мари, и я подчинился ее доводам. В конце концов мы сочинили короткое и корректное письмо: «В твоё отсутствие я принимал здесь молодую женщину, мою невесту, которую хотел бы поскорее тебе представить. Мы знакомы уже несколько месяцев. Она работает у книготорговца Барда и очень образованна. Юность ее прошла в суровых испытаниях...» Я вспомнил о печальном конце ее отца; моя мать, несомненно, знала эту историю. Симон спросил: «Вы не боитесь, что с ней случится удар?» Я чувствовал, что он сам скандализован этой помолвкой (хотя и считал ее только хитрым умным обманом). Приказчице от Барда выйти замуж за молодого Гажака! Это было настолько невероятно, что «мадам» не поверит и заподозрит ловушку.

Следовало также убедиться, что Прюдан нас не выдаст. Он всегда гордился своим братом. И вдруг Симон возвращается в Мальтаверн — и все его дипломы теперь ни к чему! Прюдан, хотя и был старшим, не мог претендовать на место отца: он не умел ни читать, ни писать и с грехом пополам считал; но возвращение Симона — каким это будет для него поражением!

Пока оба брата спорили в кухне, Мари сказала мне, что хотела бы посмотреть на Юр: ведь ночью она только слышала его журчание. Но за нами шпионила Вошка, она еще, того гляди, пойдет следом, прячась за соснами. Мне было тошно и подумать, что я могу столкнуться нос к носу с этой мерзкой девчонкой. «Мне кажется, я удушю ее!»

Мари спросила, нельзя ли выйти на берег Юра, минуя парк. Да, конечно, песчаных дорожек сколько угодно, и там уж Вошке спрятаться негде. Мы вышли. Остатки утренней прохлады еще держались в ключьях тумана, но вот запела одна цикада, потом другая, третья, и зазвенели все вразнобой. Я сказал Мари:

— Не думай, что я заставлю тебя жить в этой нечеловеческой жаре. Мы будем приезжать сюда только в самое хорошее время...

Мари не ответила. Она с трудом шагала по песку. Должно быть, ее все время мучило составленное нами письмо. Она сказала:

— Представляю себе чувства твоей матери, когда она прочтет это письмо, и, что говорить, она будет права. А она еще не знает, что я старше тебя на десять лет... И всего, что было со мной за эти годы... И ты... такой, как ты...

— Такой, как я? Что хорошего в этом затянувшемся детстве, в том чудовище, которое ты называешь ангелом? А ты, Мари... Эти люди должны были хранить тебя, а они оказались кровожадными волками...

Я увидел, что она плачет. Мы прошли лугом к берегу Юра и сели на ствол сваленной ольхи. Прижавшись ко мне, она продолжала плакать. Я сказал: «Осторожно, здесь крапива». Эта крапива вокруг нас превратится в моих воспоминаниях в мяту, в ароматные листочки, которые я растирал между пальцами. А чахлый ручеек под ольховыми деревьями — немало из них уже вырублено — сольется, как всегда, с отчаянием вечного убывания: он увлекал меня за собой вместе с остальным миром, и я значил не больше, чем вырезанные из сосновой коры кораблики, которые мы с Лораном пускали вниз по течению... И эта прижавшаяся ко мне женщина, которая больше не плакала, это бедное, служившее другим тело, о котором я взял на себя заботу до конца моей жизни...

Туман не рассеивался, но пробивавшиеся сквозь него солнечные лучи жгли невыносимо. Чувствовалось приближение грозы. Хоть бы пролился наконец дождь на жаждущую ланду, где каждый день то там, то здесь вспыхивали пожары; говорили, что виноваты пастухи, но достаточно было солнечного луча, упавшего на осколок бутылки... Какая таинственная алхимия преобразует в моих воспоминаниях все ничтожные подробности, словно то, что они отошли в прошлое, дает им право на преображение!

Лучше было дожидаться часа отъезда у Дюберов, там было прохладнее. Мы рассчитывали сесть в поезд на станции Низан, в десяти километрах от Мальтаверна. Туда мы доедем на двуколке Прюдана. Я предупредил Мари, что придется ехать сразу же после завтрака в такой зной, когда даже скот не выходит на волю. «И даже Вошка», — прошептала Мари.

Тряска в гремящей двуколке, под палящим солнцем, среди роя слепней и мух, по выбитой пыльной дороге — вот каким кошмаром закончился наш сон в летнюю ночь. Я сидел на заднем сиденье между обливавшимся потом Синомом и Мари. Руку я прижал к спинке сиденья, чтобы предохранить Мари от толчков. Она держалась прямо, неподвижная, безмолвная, а я, со своим даром угадывать чужие тайные чувства, — я знал, что в ее душе волшебный Мальтаверн нашей

ночи превращался в пораженную проклятием землю, от которой надо бежать не оглядываясь. Мы услышали автомобильный рожок, потом шум мотора. Стелла, старая кобыла, встала на дыбы. Нас обогнал «серполле» с каким-то чудовищем в очках за рулем. Пыль поднялась такая, что Прудану пришлось постоять немного на обочине дороги.

Поезд запаздывал. Мы ожидали его почти одни на раскаленной платформе заброшенной станции, среди клеток с подыхающими от жажды курами.

Глава IX

Мари умолила меня не приходиться на улицу Эглиз-Сен-Серен в отсутствие ее матери. Мы можем видаться сколько угодно в ее закутке, в книжной лавке.

Наша лестница на улице Шеврюс казалась райским местом. За те три дня, что мы с Симоном прожили вместе, поджидая ответа от «мадам», мы не раз убегали из маленькой гостиной, спасаясь от жары на ступенях этой ледяной лестницы. Ночами, еще более душными, чем дни, нас осаждали несметные полчища самых крупных, самых ядовитых moskitov, какие только водились в наших широтах. У меня была кровать с пологом: прежде чем заснуть, мне оставалось только проверить, не запер ли я в клетку вместе с собой и какого-нибудь хищного зверя. Но на кровати Лорана полога теперь не было. На второй же день я увидел, что Симона всего перекосило, москит ужалил его в веко. Он был удивлен, что меня это огорчает.

— Да это пустяки, господин Ален. Стоит ли беспокоиться из-за moskitov, из-за шишки под глазом!

Спал он тем не менее отлично и на рассвете ушел из дому. Чтобы присутствовать на мессе? Я не решился спросить у него, но, по правде говоря, в этом не сомневался. После завтрака мы встретились в темной, прохладной книжной лавке, где почти не было покупателей. Бард отдыхал в Аркашоне и всецело положился на Мари. Балеж был болен или притворялся больным. В витрине новинок я нашел «Антологию современных поэтов» Леото и Ван-Бевера и, читая ее, совершал открытие за открытием. Особенно нравились мне стихи некоего Франсиса Жамма: «Вот-вот посыплет с неба снег...» Они восхищали меня, «ранили радость», но я не мог разделить это счастье ни с Мари, нечувствительной к такого рода поэзии, ни с Симоном, нечувствительным к поэзии вообще, — кроме того, он гораздо больше, чем мы, тревожился, ожидая ответа «мадам». Он торопил меня домой: «Скоро должны принести почту...»

Мы пересекли улицу Сент-Катрин и по узкой улочке Марго спустились к улице Шеврюс. Я шел немного позади Симона, глядя себе под ноги, весь поглощенный сочинением какой-то новой истории. Вдруг меня оглушили слова Симона, хотя он произнес их вполголоса:

— Мадам здесь! Приехала мадам!

Я поднял голову в полной растерянности. Да, мамин «дион», наше ручное чудовище, стоял перед дверью. Что же нам делать? Я посоветовал Симону вернуться в книжную лавку и предупредить Мари. Я встречу с матерью один на один и, как только смогу, присоединюсь к ним. Он не заставил себя долго просить и пустился наутек. Я трусливо позавидовал ему: ведь мне предстояло выступить одному против опасного разгневанного божества. Как могли мы быть настолько тупы, чтобы не ожидать от нее другого ответа, кроме письма, чтобы не предположить, что она обрушится на нас сама, явившись перед нами во плоти?

Впрочем, этот приезд не был немедленной реакцией: ведь с тех пор, как Прудан вручил ей наше письмо, прошло три дня. Очень скоро я узнал, что побудило ее примчаться на улицу Шеврюс. Едва я вошел в маленькую гостиную, где она стояла, не успев еще снять шляпу с головы, как она прижала меня к груди:

— Бедный мой малыш! Какое счастье, что я приехала не слишком поздно.

Она не сомневалась, что стоит ей рассказать мне все об этой девице, как я от нее откажусь и не смогу больше думать о ней без отвращения. Я узнал, что, получив наше письмо, два дня она провела словно пораженная громом. Потом она отправилась посоветоваться с г-ном настоятелем, и то, что она от него узнала, превзошло, по ее словам, своей мерзостью достаточно омерзительную историю сборщика налогов. Когда разразился этот скандал, г-н настоятель был викарием в Лепарре. Все лето он был связан не постоянными, но все же довольно близкими отношениями с отцом Х. Таким образом ему стал известен другой скандал, хотя и не разразившийся, но гораздо худший, чем первый.

В глазах моей матери женщина, способная соблазнить священника, духовное лицо, грешить с ним или хотя бы, поправилась она, пытаться согрешить (в том случае, если, как утверждают друзья отца Х., ничего не произошло, не следует впадать в грех необоснованного суждения), — такая женщина одержима дьяволом, проклята и одним своим прикосновением может передать это проклятие, подобно постыдной неизлечимой болезни.

— Теперь ты видишь, ты сам онемел от отвращения...

— Да нет же, бедная моя мама, я все это знал.

— Ты это знал?!

Изумление лишило ее дара речи. Я это знал — и собирался дать этой девице свое имя, познакомить ее с матерью, подарить ей Мальтаверн, связать с ней навсегда свою жизнь! Она закрыла лицо руками хорошо знакомым мне театральным жестом.

— Боже мой, — простонала она, — чем я прогневила тебя?

Этот жест почти всегда сопровождался ропотом против бога. На этот раз тоже.

— Попытайся понять, мама.

Я напомнил ей, что любое событие выглядит по-иному, если взглянуть на него с другой стороны. Орден, к которому принадлежит отец Х., встал на его защиту, приписав всю вину дурной женщине, истеричной девушке, которая желала погубить его, но ничего не добилась. Вот этот-то звон и услышал наш настоятель. Однако речь шла о совсем юной девушке, верующей христианке, преданной ученице «отца», которая в постигшем ее жестоком горе не ведала другой опоры, кроме него.

— Я знаю, кем была она во всей этой истории, мрачное продолжение которой тебе неизвестно: маленькой мученицей. Да, вот кем она была. А теперь, — добавил я, — она будет женщиной, которую я имел счастье встретить на своем пути.

— Ты сошел с ума, бедное мое дитя, она свела тебя с ума!

Мы боялись появления разгневанного божества, а передо мной стояла сраженная горем мать, удрученная христианка, которую мои слова скорее утвердили, нежели поколебали в ее убеждениях. Впрочем, мне никогда не приходилось видеть, чтобы мама задумалась над чужими доводами или хотя бы выслушала их. Она искала носовой платок в своем ридикюле, стоя посреди комнаты, глядя на чудовище, в которое превратился ее сын. Она высморкалась, вытерла глаза. Я попытался обнять ее, поцеловать, но она отшатнулась, словно боясь моего прикосновения. Может быть, ей действительно было страшно?

— Послушай, Ален...

Она видит, что я одержим, околдован, что она ничего от меня не добьется, но я могу уступить матери хотя бы в одном — дать ей время на размышление, согласиться на отсрочку, которая, принимая во внимание мой возраст, была бы обязательна, даже если бы речь шла о нормальной помолвке с девушкой нашего круга. Мама говорила, не повышая голоса, она чувствовала себя на твердой почве. Кто же не сочтет это предложение разумным? Я согласился с ней, неопределенно кивнув головой.

— Скажем, один год... Через год мы снова обо всем поговорим.

Я почувствовал, как затягивается у меня на шее петля. Я взбунтовался и

заявил, что могу ждать только четыре месяца, оставшиеся до нового года. Четыре месяца, что ж, за это время все-таки можно передохнуть, оглядеться. Она попросила отдать их ей целиком, никуда от нее не отходить, не расставаться с ней до самого рождества.

— Только в том случае, — сказал я наугад, — если в начале учебного года моя работа не потребует поездки в Париж.

— Какая еще работа?

— Моя диссертация.

— Ты пишешь диссертацию? Какую диссертацию?

— Но я же говорил тебе. Ты никогда не слушаешь, когда я говорю тебе о своей работе. Я пишу о зарождении францисканского движения во Франции. Эту тему посоветовал мне мой профессор Альбер Дюфур.

Она уже не слушала. Она сняла шляпу, медленно вытащив из нее длинные булавки. Я спросил, не собирается ли она вернуться в Мальтаверн. Разумеется, нет, она не оставит меня одного. Она телеграфировала Луи Ларпу и его жене. Сегодня вечером они будут здесь.

— А потом поедем, куда захочешь, или останемся в Бордо. Я в твоём распоряжении, как, в сущности, и была всегда.

Что делать? О боже! Как мог я тешиться детской надеждой (впрочем, мы разделяли ее все трое!), что действительность подчинится нашему плану, что все пойдет так, как мы решили, что поступки моей матери будут именно таковы, какими мы их себе представляли?

— У меня к тебе еще одна просьба, Ален, я думаю, ты мне в этом не откажешь: согласишься повидаться с господином настоятелем. Завтра он придет к завтраку. Можешь говорить с ним, можешь не говорить, как тебе угодно.

Как только моя мать пошла к себе, я бросился в комнату Лорана, впопыхах уложил чемодан Симона Дюбера, сорвал с кровати простыни и заткнул их под комод. С чемоданом в руках, совершенно изнемогая и обливаясь потом, я появился в книжной лавке перед Мари и Симоном. Мари, отпустив попутателя «Путеводитель по Юго-Западу», прибежала к нам в закуток, где Симон допрашивал меня вопросами. «Ах, Симон, — сказал я ему, — клянусь вам, мадам не умирает, мадам и не собирается умирать».

Я постарался дать им точный отчет обо всем, что произошло между мной и матерью.

— Как всегда, я ей подчинился; и так оно будет и впредь...

Мари возразила:

— Но, бедный мой малыш, никогда вы не были в такой мере хозяином положения, стоишь только проявить волю. Ваша мать согласится на все, лишь бы расстроить нашу помолвку... по крайней мере в данный момент, а вообще-то не обольщайтесь: от чего она не откажется никогда, — это от тысячи гектаров Сериса, от возможности поцарствовать перед смертью над этой страной сосны и песка, над этой огнедышащей печью...

— Но, Мари, — возразил я, понизив голос, — ведь мы «взаправду» помолвлены.

Она покачала головой и, увидев, что Симон направился в магазин, желая оставить нас вдвоем, сказала:

— Да, ты мог так думать в те несколько минут нашей ночи. Благословляю тебя за эти минуты. Но ты отлично знаешь, что это не «взаправду»...

— Почему, Мари? Почему?

Облегчение, которое я почувствовал, ужаснуло меня самого. Но тут вернулся Симон, он так был поглощен своими мыслями, что нас и не видел.

— Мы были идиотами, — сказал он. — Сначала я подумал, что Прюдан нас обманул. Но нет, пожалуй, было время, когда мадам и впрямь надеялась, что заставит вас плясать под свою дудку, если бросит Мальтаверн и увезет с собой моего отца. Но ведь она должна была знать, что даже в самом местечке найдется

больше чем надо кандидатов на его место. А то, что мой отец знает границы — это, конечно, удобно, но ведь на худой конец есть земельный кадастр.

— А может быть,— сказал я Мари,— после того, как моя мать узнала от господина настоятеля, как хорошо вы поставили книжную торговлю Барда, она поняла, какую выгоду вы можете извлечь из Мальтаверна. Между нами говоря, моя мать никак не заслужила свою репутацию деловой женщины. Ее животная страсть к собственности проявляется только в гордости за свои стройные сосны, а ведь многие из них давно надо было вырубить, они гниют и теряют всю свою ценность. Если вы станете хозяйкой Мальтаверна, вы увидите, что можно немедленно реализовать сотни тысяч франков без всякого ущерба для имения. Даже напротив...

Она, смеясь, спросила, чего я домогаюсь: хочу соблазнить ее или внушить ей сожаление? Я запротестовал.

— Ах! — вздохнула она.— Вы истый сын мадам,— и тихо добавила: — А воли у тебя, в сущности, не меньше, чем у нее.

— Да,— прошептал я, опустив голову.— И знаете, какая мысль преследует меня? Я знаю, на кого я буду похож в 1970 году. Я часто рассказывал вам о старике из Лассю...

Мари позвал какой-то покупатель, и она убежала, но Симон услышал меня.

— А я, господин Ален, каким буду я в 1970 году? Или, вернее, каким бы я мог быть, потому что к тому времени от меня останутся одни кости. Я не буду никем. А вы — у вас будет настоящая жизнь, жизнь, которую можно рассказать, которую вы расскажете сами, потому что меня, ее свидетеля, уже не будет. Первую премию за сочинение и в 1970 году получите вы, вот увидите! А я...

— Вы, Симон,— теперь мы это знаем,— вновь обретете себя в своем исходном положении. То царство, от которого вы отказались, оно внутри вас и будет с вами повсюду, где будете вы.

— Никогда! — воскликнул он со сдержанной страстью, которой его произношение придавало комический оттенок.— Э! Уж не думаете ли вы, что я стану упрашивать их принять меня обратно!

Я не ответил, но, помолчав и заметив, что он успокоился, спросил безразличным тоном, видит ли он когда-нибудь г-на настоятеля. Нет, он с ним не видится, но «иногда мы обмениваемся письмами; он от меня не отступился».

— Завтра он будет на улице Шеврюс. Хотите, я попрошу его пойти вместе со мной в книжную лавку?

На этот раз Симон не вспыхнул, и его каменное лицо даже слегка порозовело, как в тот день, когда он впервые встретил меня на улице Сент-Катрин. Он сказал:

— Я был бы рад его увидеть... но только как друга, не как пастыря! С этим покончено. Больше мне никто не нужен, я сам знаю, что мне делать.

— Никто, Симон, кроме, может быть, его одного. Всегда есть кто-то, кто и в дурных и в хороших наших проявлениях понимает нас лучше, чем мы сами, яснее все видит. Для меня это был Донзак, потом Мари и вы тоже.

— Я, господин Ален? Я? Что мог я вам дать?

— Вы прозрачны, вы помогаете мне верить в благодать. Вы лишены всего, чем был я осыпан и обременен: я начинал тонуть под грузом моего большого имения, тогда как вы...

Донзак поймет, что я излагаю здесь только сущность нашего разговора в комнатке за лавкой, где произошел между мной и Симоном знаменательный обмен: каждый из нас ясно увидел и определил призвание другого. Не в этот день я впервые задумал начать писать — я писал всегда. Но именно в этот день я увидел, что могу попытаться стать писателем хотя бы за счет жизни самого автора. То, что я пишу теперь, пишу в эту минуту, я смогу потом опубликовать. Ах, последняя глава!.. Мне останется лишь перефразировать отрывок из «Воспитания чувств»: «Он не отправился в путешествие. Он не изведдал ни тоски

пароходов, ни утреннего холода после ночлега в палатке, он не забывался, глядя на пейзажи и руины, не узнал горечи мимолетной дружбы... Он не вернулся, потому что никуда не уезжал...»

Когда я достиг выхода из Пассажа, я увидел, что буйный грозовой дождь затопил наш благословенный город. Я переждал ливень вместе с другими прохожими, которые радовались и поздравляли друг друга. Но я обязан был чувством освобождения не только грозе. Завтра я опять вернусь сюда, мы назначили здесь встречу. Однако же с книжной лавкой я распростился, распростился навеки. То, ради чего я однажды там появился, пришло к завершению. Я вынырнул из Мальтаверна и из своего нескончаемого детства и окинул взглядом жизнь, которую, как твердо предсказал Симон, мне суждено прожить. И вот я тоже ни в чем не сомневаюсь, я уверен, я убежден в том, что не умру, хотя недуг, поразивший моего брата Лорана, уносит кругом столько юношей и девушек и у меня самого есть затемнение в левом легком... Но я не умру, я буду жить, наконец-то я начну жить.

Когда дождь прекратился и мне удалось перейти улицу Сент-Катрин и по улице Марго добраться до улицы Шеврюс, я уже знал, что больше нет и речи о том, чтобы отступить с Симоном в Мальтаверн. Я устремлюсь в Париж, и да свершится все, чему суждено свершиться, все в свое время. Но я не утрачу Мальтаверн, из которого я выплываю, я унесу его с собой, это будет мое сокровище вроде того, что мы с Лораном закопали под сосной в надежде вновь обрести его на будущий год, хотя это был всего лишь ящичек с агатовыми шариками...

Донзак будет прав, если не поверит, что все эти мысли предстали передо мной с такой ясностью сразу же после ухода из книжной лавки, пока грозовой дождь заливал улицу Сент-Катрин. Но уверенность зарождалась во мне, я чувствовал, что порог преодолен, что жизнь начинается, и радость этого чувства я вновь переживаю сейчас, когда пишу. Радость! Слезы радости! Путь, не знающий конца, в котором даже грозы будут только усладой. Мне двадцать два года. Мне двадцать два года! Разумеется, я не ликую по этому поводу: достаточно подумать, как ужасно, что не пятнадцать, не восемнадцать. Я понимаю, что теперь каждый год — это ступенька, ведущая вниз... Но я останавливаюсь на ступени своих двадцати двух лет, вернее, тешу себя иллюзией, будто остановился, ибо на самом деле ни Юр, ни время не останавливают свое течение никогда.

Глава X

Мама ждала меня на лестничной площадке, но, против моих ожиданий, она отнюдь не была взволнована или измучена. Она стояла передо мной бледная от ярости, такая, какой я думал ее увидеть сразу после приезда и какой именно тогда она и не была. Бог знает, что могло так вывести ее из себя в мое отсутствие.

— Она спала здесь! Ты посмел уложить ее в постель твоего бедного брата! Эту потаскушку!

Как же я это не предусмотрел? Едва я вышел за дверь, она бросилась по следу и чутье привело ее прямо к этим простыням, кое-как засунутым под комод.

— Грязные простыни! Что говорить, грязи на них достаточно! Ты сам спал на них, ты тоже! В доме твоей матери, в постели твоего брата! Никогда я не думала, что ты способен на такую мерзость! И ты еще смеешься, несчастное дитя! Что она с тобой сделала!

— Я не смеюсь, я печально улыбаюсь тому, что ты снова совершаешь обычный свой грех — высказываешь необоснованное суждение. Эта молодая женщина, которую ты так оскорбляешь, здесь никогда не была. А если бы она и пришла, то, да будет тебе известно (я на мгновение заколебался), нам не понадобилась бы постель Лорана.

Мама и бровью не повела. Должно быть, просто не поняла меня.

— Тогда кто же спал в этой комнате, на этих простынях? Кого это ты подобрал на улице?

— Но ты его отлично знаешь, мама, ты его знаешь чуть не с рождения.

Она решила, что я издеваюсь над ней. Когда я бросил ей в лицо имя Симона Дюбера, она на минуту онемела.

— Ах, только его не хватало! Этого ренегата!

— Потеря веры — это еще не отступничество. Семинарист, покинувший семинарию, — жертва ошибки стрелочника.

— Он перешел на сторону врагов — ты это отлично знаешь.

— А если я скажу тебе, что в те два дня, когда он здесь жил, он каждое утро ходил к ранней мессе?

По правде говоря, бесспорных доказательств у меня не было. Возможно, он вставал на заре просто по старой крестьянской привычке. Но я не устоял перед соблазном окончательно сбить с толку мою бедную мать, которую мне в этот момент даже стало жаль. Я сказал, что не огорчаться, а радоваться надо тому, что она от меня узнала.

— Пока ты тут делала обыск и искала следов моих преступлений, я разговаривал с Симоном — с ним-то и было у меня назначено свидание, — и добился от него согласия встретиться с господином настоятелем. Не здесь, не пугайся.

Луи Ларп, в белой летней куртке, распахнул двери и провозгласил:

— Кушать подано, мадам.

Не помню, чтобы я когда-нибудь видел свою мать такой растерянной, как во время этого обеда, — она была поколеблена в своих убеждениях, в главном своем убеждении, гласившем, что она всегда права, а люди именно таковы, какими она их считает, и иными быть не могут. Если я не обманывал ее и младший Дюбер действительно ходил каждое утро к мессе — значит, она судила о нем неправильно. Все, что я наговорил насчет «этой потаскушки», ей было удобнее отмести начисто и придерживаться банальной истории о невинном мальчике, околдованном дурной женщиной. Но эту женщину она никогда не узнает. А вот Симон появился перед ней вновь. Впрочем, он никогда не уходил со сцены, он всегда оставался предметом споров между мамой и настоятелем.

Где я взял все, что я тут пишу о маме, если не в самом себе, не в известном представлении, которое сложилось у меня о ней? Не пытаюсь ли я, с тех пор как веду этот дневник, показать Донзаку воображаемый Мальтаверн, столь же ирреальный, как Спящая красавица или Рике-хохолот? Что же было на самом деле? Моя мать, отличавшаяся здоровым аппетитом, всегда очень внимательная к тому, что ей подают, внушавшая кухарке трепет своим непререкаемым судом, в этот вечер ни к чему не притронулась. Едва закончился обед, она удалилась к себе, предоставив мне полную возможность уйти из дому. Но я никуда не пошел; не желая терять ни глотка ночного воздуха, освеженного грозой, я распахнул все окна и из страха перед москитами решил сидеть в темноте и даже не читать.

На следующее утро мама не могла подняться с постели. Ставни у нее в комнате оставались закрытыми. Мучившая ее мигрень не шла ни в какое сравнение с мигренью у других женщин. Всю ночь она провела без сна, меняя компрессы на лбу. Она попросила меня извиниться перед г-ном настоятелем. Может быть, она преувеличила свою болезнь, желая облегчить нам свидание с глазу на глаз — ее последнюю надежду. Настоятелю было нелегко скрыть, какое счастье для него завтракать со мной вдвоем. Его дряблое, словно вылепленное из хлебного мякиша лицо, всегда такое озабоченное и печальное, было озарено невинной ребяческой радостью. Он, однако же, сильно постарел, и его тонзура не нуждалась больше в услугах парикмахера, а главное, он перестал чваниться: этим он главным образом и отличался от пастыря времен моего детства. Он утратил свой важный, самоуверенный вид.

При первых же его словах, во исполнение воли «мадам», направленных на то, чтобы заставить меня разговариваться, я ускользнул в сторону. Я уверил его, что моя мать напрасно забрала себе в голову, будто единственная женщина, завладевшая моей жизнью,— это она и будто бы для меня не существует иной задачи, кроме освобождения из-под ее власти хотя бы ценой безрассудного в глазах общества брака. Я остерегся внушать г-ну настоятелю полное спокойствие, а лишь дал ему понять, что для меня еще ничего не решено.

— Но,— сказал я,— не я сейчас представляю для вас интерес (он хотел возразить), я хочу сказать, что не ради меня следует вам бросаться в воду, а ради Симона, с которым я вижу теперь каждый день. Да, пришло время вытащить его на берег; но на этот раз он сам пойдет в ту сторону, в какую влечет его призвание, а вам останется только облегчить ему путь. И будьте осторожны, помните, что стоит вам заговорить о «духовном руководстве» — как он сразу замкнется в себе.

Он слушал меня со смиренным вниманием — это было трогательно. Бедный настоятель. Все его страстные, не знавшие применения отцовские чувства обратились на этого крестьянского парня, не бессердечного, конечно, но огрубевшего и ожесточившегося. О Симоне он готов был говорить без конца:

— Я никогда не терял его из виду, знаешь, я издали следил за ним, но он и не подозревал об этом. В первую зиму в Париже он заболел воспалением легких. Я завязал отношения с его хозяйкой, задобрил ее, и она сообщала мне о его здоровье — тайком, разумеется! Симон решил бы, что он при смерти, если бы узнал, что я брожу вокруг его одра.

Мама лежала у себя в комнате, поэтому ничто не мешало настоятелю встретиться с Симоном на улице Шеврюс, а не в книжной лавке. Он согласился, «но только с разрешения мадам». Когда я, приоткрыв дверь, изложил маме нашу просьбу, она прервала меня слабым голосом:

— Ах, делайте, что хотите, лишь бы он не попадался мне на глаза.

Встреча произошла в маленькой гостиной и продолжалась около двух часов; потом Симон отправился к себе, не простясь со мной. Они договорились, что Симон еще на год останется в Талансе, где местный священник, «святой аббат Муру» — друг г-на настоятеля — возьмет его на свое попечение и подготовит к возвращению в семинарию, разумеется, не в Бордо, а может быть, в Исси-ле-Мулино. Это дело требовало немалых размышлений и хлопот.

Я, со своей стороны, обещал настоятелю, что скоро он увидит меня в Мальтаверне. Моя мать в конце концов добилась от меня согласия на отъезд, но с оговоркой: я заявил, что раньше мне нужно сделать необходимые для моей диссертации выписки в муниципальной библиотеке. Вряд ли кто-нибудь мог похвалиться, что видел меня там хоть один раз за все это время.

Два месяца я не открывал эту тетрадь. То, что я пережил, не поддавалось никакому описанию, не укладывалось в обычные слова: этот стыд выразить невозможно. Все, что я могу сделать, как всегда, впрочем, это лишь изложить события в определенном порядке, придать им форму. Итак, попытаюсь: я должен выполнить обещание, данное Донзаку... Говоря откровенно, зачем мне этот предлог? Слово сам я не испытываю наслаждения, снова переживая свой позор час за часом до самого конца истории, вернее, до конца одной главы из моей истории, которая только начинается.

Я пишу это 20 октября, держа тетрадь на коленях, в нашем охотничьем домике, в урочище под названием Шикана, затерянном вдали от всех ферм. Стоит мягкая туманная погода, в этот день ждали большого перелета, но вяхири не летят: сегодня тепло, они засели на дубах и отъедаются желудами. Прюдан Дюбер, подняв вверх острый нос и подбородок галосей, высматривает над вершинами сосен небесные пути, на которых должны появиться летящие стаи, если

только они появятся. Раздается свист, к Прюдану присоединяется какой-то фермер, спрашивает:

— Passat Palumbes?

— Nade! Nade!¹

Под могучими приземистыми дубами, укрывшими нашу хибарку, так же, как на берегах Юра, я всегда всем своим существом ощущаю вечность, всегда проникаюсь сознанием бренности нашего бытия. Человек — это даже не мыслящий тростник, а мыслящая мошка, но и в немногие минуты, отпущенные ей для жизни, она находит время для совокупления — вот что ужасно. Из всего происшедшего я попытаюсь записать то немногое, о чем, мне кажется, можно сказать.

Я не посещал муниципальную библиотеку вовсе не потому, что почти каждый вечер ходил на улицу Эглиз-Сен-Серен. С Мари я встречался только после закрытия магазина и легко мог примирить требования моей диссертации с требованиями страсти. Но пока шли эти тяжкие тягучие дневные часы в отупевшем от жары городе, я способен был только ждать... Ну и что же? В чем, собственно, драма? Такова история всех и каждого в известном возрасте, в известный момент. Вероятно, нужно быть христианином, как я, или быть им хотя бы в прошлом, как Мари, чтобы думать, будто решается наша судьба не только на земле, когда мы уступаем инстинкту, направленному на размножение живых существ. Или, вернее, надо принадлежать к разряду тех нетерпимых христиан, к которым принадлежу и я: сделав уступку, они не ищут себе оправдания. Если суждено им погибнуть, они погибнут с открытыми глазами.

В одном я больше не сомневался — в искренности Мари, когда она говорила, что боится оторвать меня от бога. Я напрасно заподозрил, что она «приторяется». Она отказалась от бога для себя, но не для меня. Она уверяла, что я создан из сплава, в котором слились дары Христа и дары Цибелы... Но если послушать ее, во мне преобладает христианская часть. «Я не хочу губить тебя», — твердила она. Я возражал, напоминая ей нашу ночь в Мальтаверне. Но почему, спрашивали мы себя, теперь все по-другому? Почему чуть не каждый вечер я униженно возвращался на улицу Эглиз-Сен-Серен, хотя, расставаясь накануне, мы согласным хором решали, что это последний раз? Почему эти повторные падения так мало походили на тот наш сон в летнюю ночь, когда все счастье мира открылось мне в одно мгновение, словно наши души обрели на этот вечер, на один-единственный вечер, право соединиться в тот же миг, что и наши тела? И вот я снова обречен на отвращение. Кто научил меня отвращению?

«Чего ты добиваешься?» — как сказала бы моя бедная мама. Мари не походила ни на какую другую женщину, может быть, потому, что была когда-то верующей девочкой. Это не было ложью: ее мука неизмеримо превосходила мою. Эта мука старила ее — в общем, выдавала ее настоящий возраст, тогда как я, по ее словам, хранил свой ангельский вид — «даже крылышки не измялись», говорила она с насмешкой и тоской.

На улице Шеврюс мама, поджидая меня, металась по комнатам с трагическим выражением лица, принятым для особо серьезных случаев. Я сколько мог тянул время под предлогом занятий в муниципальной библиотеке. Наконец она потребовала, чтобы я назначил дату нашего отъезда. Я отказался. По прошествии недели она уже ни о чем не спрашивала, и было ясно, что дольше она себя дурачить не даст. Она знала, откуда я возвращаюсь каждый вечер, и знала, что я это знаю. Она обнимала меня лишь затем, чтобы обнюхать, но вместе с тем была слепа и не видела того, что преисполнило бы ее радостью, если бы она могла это понять. Она считала, что я запутался в паутине, и это действительно было так, вернее, паутина опутывала мое тело в часы ожидания, а потом — еще несколько минут. Но о том, что ни Мари, ни я больше не помыш-

¹ — Летят вяхири?

— Нет! Нет! (Диал.)

ляли соединиться навек, моя мать и не догадывалась: из моего временного порабощения она делала вывод, что я порабощен навсегда.

Вечером, после обеда, я уходил из дому, пресыщенный и усталый. Мама знала: на этот раз я выхожу не затем, чтобы творить зло,— я всегда предлагал ей погулять вместе. Она отказывалась, но была спокойна. Иногда я возвращался через час, иногда попозже, если слушал музыку на площади Кенконс, где летом устраивались открытые концерты. Но чаще всего я довольствовался мороженым в «Театральном кафе» или, невзирая на москитов, бродил по террасам городского сада, подальше от толпы, сбившейся вокруг духового оркестра 57-го полка.

Я был уверен, что теперь, в конце августа, никого здесь не встречу. Но в тот вечер на скамье в дальнем углу террасы сидел какой-то молодой человек и курил трубку. Я устроился на другом конце скамьи, не глядя в его сторону. Он насмешливо спросил:

— Август месяц, а ты в Бордо? Почему не в Аркашоне, или Понтайаке, или Лушоне?

Я узнал студента последнего курса по фамилии Келлер, одного из тех христиан, которые «идут к народу» — «сеятеля», — одного из тех молодых людей, которых я раздражаю еще прежде, чем раскрою рот.

— Должно быть, потому, — сказал я подчеркнутым тоном, — что здесь у меня есть занятия повеселее.

Он проворчал:

— Чего же еще можно от тебя ждать?

Когда мы с ним познакомились на факультете два года тому назад, этот апостол, прельстившись мной, пустился проповедовать. Но тогда книга Барреса «Под взглядом варваров» давала мне ответ на все, снабжала меня формулами для защиты от товарищей «с грубым раскатистым смехом». Другим же я противопоставлял «гладкую поверхность». Я не преминул воспользоваться этим оружием и против Келлера, который вскоре определил меня как самое презренное существо в мире — обеспеченный крупный буржуа.

— А что ты знаешь обо мне? — возразил я. — Только то, что я сам показал тебе, чтобы ты поскорее оставил меня в покое. С таким же успехом я мог избразить номер в твоём вкусе, в жанре «возвышенной души».

— И что же прикрывает каждая эта маска? Полагаю, нечто не слишком привлекательное...

— Но я ведь не прошу тебя смотреть!

Мой тон, очевидно, поразил этого христианина, и он поспешно сказал:

— Прости, пожалуйста. Признаюсь, я не имел права отнестись к этому так свысока. Все мы одинаково несчастны.

— Да, Келлер, но есть разница между таким несчастным, как я, избалованным, пресыщенным, думающим только о себе, и таким несчастным, как ты, алчущим и жаждущим справедливости.

— О! Но ты знаешь, я ищу в этом радости для себя... Мы должны снова увидаться, — продолжал он с воодушевлением, — я не буду читать тебе проповеди.

Я почувствовал желание рассказать обо всем, довериться ему. Я задышался. Я сказал:

— Охотно, но для меня сейчас настали тяжелые дни. Я отошел от бога.

Он взял меня за руку и ненадолго задержал ее в своей.

— «Когда думаете вы, что далеки от меня, тогда я ближе всего к вам».

Знаешь эти слова из «Подражания»?

— Но дело не просто в холодности, в черствости. Я творю зло.

— Ты творишь зло?

— Да, и та, с кем я творю его, не меньше меня желает, чтобы мы от зла отказались... Но наступает час, когда это не зависит ни от нее, ни от меня...

— Да, я понимаю, — сказал Келлер проникновенно. — Я буду молиться, я попрошу молиться. Я близко знаком с настоятельницей женского монастыря.

— О нет,— возразил я.— Не стоит труда. Это такие пустяки, меньше чем пустяки...

— Ты называешь это пустяками?

Я встал, я снова заговорил тоном, который в свое время приводил Келлера в отчаяние.

— Да, я — смиренный, в смирении я не знаю себе равных, я полагаю, что ни один мой поступок не имеет ни малейшего значения.

— И, однако же, от малейшего нашего поступка зависит наша судьба. Ты в это не веришь?

— Да, верю... но от одного поступка не больше, чем от другого. Худшее во мне, Келлер, это, видишь ли, не мои дела, это даже не мои мысли. Худшее во мне — равнодушие к той страсти, которой одержим ты, христианин, но также и все молодые воители — социалисты, анархисты... Худшее во мне то, что я равнодушен к страданиям других и охотно мирюсь со своими привилегиями...

— Ты — буржуа, крупный буржуа, его нужно убить в тебе. Мы убьем его, ты увидишь.

— У буржуазии крепкая спина. Я родом из тех крестьян, жителей ланды, которые заставляют стариков родителей работать, пока те не подохнут, а если берут в прислуги какую-нибудь маленькую девчужку — «девку», как они говорят,— то выдерживает она только потому, что этот возраст все стерпит...

Я замолчал, устыдившись, что доверился этой случайно встревившейся возвышенной душе, и встал:

— Прощай, Келлер. Не иди со мной. Забудь все, что я сказал. Забудь обо мне.

— Неужели ты думаешь, что я о тебе забуду? Мы увидимся, когда начнутся занятия? Обещай мне...

Бедный Келлер! Он будет молиться, страдать за меня, заставит молиться и страдать святых сестер. Какая глупость! И, однако же, более всего я верю в единение святых душ, в силу их воздействия: мое раздражение против Келлера было вызвано тем, что он коснулся самых сокровенных моих тайн, и я не сомневался в его власти воздействовать на мои дела и направить их по другому руслу. Нет, я не думаю, что происшедшие на следующий день события были связаны с этой встречей в Ботаническом саду. Все, что случилось, было вполне возможно и даже неизбежно: мама не могла больше терпеть эту неопределенность и тревогу, время шло, пора было ей вмешаться.

На следующее утро, едва открыв глаза, я уже знал, что в обычный час мне не придется звонить у дома на улице Эглиз-Сен-Серен: Мари будет ждать меня за дверью. Дождя как будто не было, но где-то он, должно быть, прошел, дышалось во всяком случае легче. Я мог весь день, словно заблудившийся пес, трусить рысцей по набережным. Я дошел до самых доков. Обратно приехал в трамвае, на задней площадке, зажатый в толпе докеров. Я побродил еще немного. Все, что я делал до желанной минуты, значения не имеет. В половине седьмого Мари за дверью не оказалось, я позвонил, но тщетно. Должно быть, ее задержали. Я решил пройтись по кварталу, ждать было невозможно. Минут на десять я погрузился в темные недра церкви Сен-Серен, самой мрачной во всем городе; потом вернулся к дому Мари. И тут я увидел, что она бежит по улице. Она была бледна и задыхалась. Она вытасила ключ из кармана:

— Входи скорее.

Она втолкнула меня в гостиную с закрытыми ставнями. Не успев даже снять шляпу, она сказала:

— Сейчас я видела твою мать.

— Где ты ее видела? Ты говорила с ней?

— Да, представь себе! Я показывала книгу покупателю. Вдруг мне стало не по себе от пристального взгляда дамы в черном, довольно полной и с виду очень важной, которая только что вошла в лавку. Я сразу почувствовала, что

это не покупательница, что интересую ее только я, и вдруг я увидела тебя, да, тебя, Ален, передо мной появился твой ангельский лик, отделившийся от этого крупного властного лица Агриппины или Гофолии. Я узнала твою мать, такой я и рисовала ее себе. «Пожирать глазами» — оказывается, это можно делать буквально! Мало сказать «пожирала» глазами — она кромсала меня на куски. Мне казалось, я знаю, что значит быть чьим-нибудь врагом. Нет, ненависть, настоящая ненависть еще страшнее, чем думают: тот, кто ненавидит, хотел бы убивать вас медленной смертью, чтобы насладиться полнее, — теперь я знаю, как это выглядит. Может быть, надо было дать ей уйти? Что бы сделал ты, Ален? Я уступила первому побуждению, в сущности, пожалуй, из любопытства. Я обратилась к ней, спросив самым деловым тоном: «Что вам угодно, мадам?» Она несколько опешила. Потом заявила, что зашла лишь взглянуть на новинки. «Да, — сказала я, — а быть может, и на меня?» Представь себе ее лицо в этот момент. «Вы знаете, кто я?» — «Я знаю о вас все, мадам». Она побледнела, как смерть, она прошептала: «Он говорит с вами обо мне? Теперь меня уже ничего не может удивить!» Я возразила: «О, я все о вас знаю не потому, что он докладывает мне о вас, а потому, что на нем лежит ваша печать, вы сами создали его, он — ваша работа, даже когда он ускользает от вас. Я знаю о вас все, в той мере, в какой я знаю все о нем». Она сказала: «Все это слова...» — тем тоном, каким, должно быть, говорила тебе раньше: «Пустомеля». «Невозможно разговаривать в этой лавке...» — проворчала она. «Тут есть подсобное помещение, мадам. Если вы считаете для себя возможным пройти туда...» Она согласилась. Я попросила Балежа заняться на несколько минут покупателями и ввела твою мать в закуток.

— Мама — в закутке!

— Да, представь себе; в этом шкафу мы оказались, как ты выражаешься, нос к носу. Первые обращенные ко мне слова не соответствовали ее бешенству: очевидно, она их подготовила заранее, с холодной головой, и мне кажется, по мере того как она их выкладывала, она сама успокаивалась и постепенно применялась к их звучанию. Она сказала, что воздерживалась от всякого суждения обо мне, более того, она заинтересована в том, чтобы все хорошее, что ты говорил ей обо мне, было правдой, и хотела бы этому верить. «Но, мадемуазель, если вы действительно такое избранное существо, каким он вас изобразил (помимо ее воли, презрение шипело змеей в этих словах), то невозможно, чтобы, любя Алена так, как, по вашим словам, вы его любите, вы не понимали, что ничего не может быть хуже для двадцатидвухлетнего мальчика, которому в известном отношении не больше пятнадцати...» — «Ему было пятнадцать, мадам, до того, как он со мной встретился». Она отлично поняла, о чем я говорю, сжала челюсти, но сдержалась и продолжала: «Ничего не может быть хуже, чем женитьба на женщине значительно старше его, и, простите, если я обижаю вас, но что поделаешь, на женщине с прошлым...» — «Да, — сказала я, — и с настоящим, и почему бы не с будущим?» Я дразнила ее из холодного расчета, чтобы она наконец взорвалась. Но она продолжала: «Не думаете ли вы, мадемуазель, что найдется на свете мать, которую не огорчила бы подобная женитьба? Я уж не говорю о том, что делает в буквальном смысле слова невообразимым союз между двумя нашими семьями...» — «Разумеется, мадам... прежде всего я не принадлежу к тому, что называется хорошей семьей. А Ален, он — молодой Гажак, типичный молодой человек из хорошей семьи...»

Я с раздражением прервал Мари:

— Ты насмеялась надо мной при моей матери! Тебе хотелось блеснуть, унижить ее, раздавить, и ты воспользовалась мною.

— Что ж, — сказала она, — не стану скрывать, я получила острое наслаждение, сводя эти счеты, я вволю натешилась, позволив себе дерзить вовсю. Высшей дерзостью было бы сказать ей то, что вертелось у меня на языке: «Ваш сын просил моей руки, но успокойтесь, не может быть и речи о том, чтобы я согласилась: я люблю Алена, а не его богатство, которое приводит меня в ужас.

не его среду, которая мне отвратительна...» Я могла бы даже признать, что разница в возрасте опасна для нашего счастья, и для меня опаснее, чем для тебя. Да... Но, Алэн, это значило бы дать ей в руки все козыри, снять с нее огромную тяжесть: одним ударом она снова стала бы хозяйкой твоей жизни, а ты лишился бы обменной монеты, которой я тебя снабдила: ведь твоя мать готова согласиться на все, лишь бы я ступевалась. Значит, надо было вести игру, и я сыграла до конца. Сначала я с ней не спорила, я дала себе труд вникнуть в ее резоны. Я признала, что, с точки зрения общества и даже с любой точки зрения, я не являюсь той супругой, какую мать единственного сына, да еще такого богатого, как ты, могла бы ему желать... Разве лишь затем, — добавила я, — чтобы избавить его от худшего зла...

— О! — возмутился я. — Надеюсь, ты не швырнула ей в лицо ее страсть к земле, Нума Сериса, Вошку?

— Нет, я ничего не швыряла ей в лицо, я все преподнесла весьма любезно — во всяком случае так, чтобы она не ушла, хлопнув дверью. Я поставила себе в заслугу, что теперь почти все связывавшие тебя узы порваны, но призналась, что освободила тебя не до конца; я объяснила, как нетрудно было бы доказать тебе, что не требуется никакого колдовства, чтобы смотреть на сосны, которые растут сами по себе, заставляя фермеров собирать смолу и класть в карман денежки. Вместо того, чтобы гнить деревья, которые давно уже надо вырубить и к вящей выгоде заменить новыми, я научила бы тебя проводить регулярные вырубki и обеспечила бы тебе огромный годовой доход, из которого сейчас вашим фермерам ничего не достается... Но мы, — сказала я, — все эти порядки переменяем — выручку за проданный лес мы будем делить с фермерами. Так мы решили, Алэн и я...

— Но это неправда, — воскликнул я, — не могла ты сказать ей такую ложь!

— А вот и сказала! Доставила себе такое удовольствие.

О, этот недобрый голос. Я слышал его иногда у Мари, когда на мгновение прорывалась горечь, накопившаяся в ней за годы ее несчастной юности, но понадобилась встреча с моей матерью, чтобы рухнули все плотины и хлынул этот поток, окативший заодно и меня. Я вдруг оказался на стороне моей матери. Я понял это по вырвавшемуся у меня крику:

— Нет, но во что ты вмешиваешься!

— А! — крикнула она в испуге. — Вот оно что! Это почище, чем «Кто тебе сказал?» Гермियोны! Что же так возмутило тебя? Оскорбление, нанесенное матери, или идея разделить с фермерами вырубку сосен? Так, значит, из-за того, что я хотела отнять у тебя кость, ты показал вдруг клыки! А, сын своей матери! Беги, утешь ее!

Я пробормотал:

— Мари, дорогая...

Я хотел обнять ее, но она меня оттолкнула: она была вне себя.

— А вот чего ты, наверно, никогда не сумеешь — это вести себя с женщиной, как мужчиной: этому научить нельзя.

Я принял удар, сначала не почувствовав его, и стоял неподвижно, повесив руки. Должно быть, она увидела мое перевернутое лицо и мигом отрезвела. Она протонала:

— Алэн, малыш мой...

Но теперь настала моя очередь оттолкнуть ее, и я изо всех сил захлопнул за собой входную дверь.

Глава XI

Льет дождь на дубы Шиканы. Неумолчный шорох капель усугубляет уединение затерянного в ланде уголка. У меня есть убежище — крохотная столовая, сложенная из сосновых бревен и крытая сухим папоротником, — она сливается с хижинкой и не отпугивает вяхирей. В комнатке есть камин, когда-то в нем

жарили для Лорана жаворонков, которых он стрелял в полях Жуано. Он не любил охоту на вяхирей: она требует от охотника неподвижности. Вот уже четыре года, как он и не шевельнулся, бедный мальчик, не шевельнулось то, что от него осталось. То, что осталось от этого молодого, полного жизни существа... Все тленно, все пройдет. Но очевидность этой истины бессильна исцелить тоску, порожденную непреложным фактом — несчастьем сегодняшним, свершившимся, непоправимым, которое придется мне нести все шестьдесят лет, что я еще отпустил себе для жизни. Попытаюсь победить эту тоску, продолжив в своей тетради нашу историю с того места, где я ее прервал, переживая ее снова, минуту за минутой, до последнего сразившего меня удара.

Итак, дверь Мари захлопнулась за мной: все кончено, на этот раз все кончено бесповоротно. «Ален, малыш мой!» Ее последний призыв взбесил меня вместо того, чтобы растрогать. Нет, я не «твой малыш». Как ты ни стара, ты все же не могла быть моей матерью. Я спускаюсь по улице Эглиз-Сен-Серен, я бегу к маме, — кто знает, быть может, она при смерти. Она иногда жалуется на сердце, она часто говорит: «У нас в роду умирают от сердца». Луи Ларп, поджидавший меня на площадке, предупредил, что у мадам мигрень и обедать она не будет. Я, не стучась, захожу к ней в комнату. Она лежит, но не в черном, как бывает в самые тяжелые дни. Лампа у ее изголовья зажжена. Она очень бледна, улыбается мне и как будто спокойна. Я стараюсь не выдать себя, но неужели она не увидит, как я потрясен? Она привлекает меня к себе, и я разражаюсь рыданиями, словно в былые времена, когда я получал прощение после вспышки гнева и она говорила: «Ты умеешь раскаиваться».

— Что с тобой, бедняжка мой дорогой?

— Я знаю, ты испытала большое горе.

— Ах, ты знаешь? Да, горе... но также и облегчение. Не все ли мне равно, что думает о нас эта несчастная девушка? Надо ей отдать справедливость: она поняла, какое непреодолимое расстояние лежит между нею и тобой, теперь я спокойна.

— Она сказала тебе, что отказалась?..

— О! Не окончательно, но я поняла: она решила сыграть благородную роль. Это она не хочет твоих денег, твоих владений, твоей буржуазной среды. Это она тебе отказывает, понимаешь? (Мама рассмеялась, настолько это казалось нелепым.) Что ж, я вполне довольна!

Значит, все произошло не так, как рассказала мне Мари. Она изобразила передо мной наполовину вымышленную сцену. Для чего? Чтобы отомстить за то, что потерпела поражение? А она потерпела его, раз к маме вернулось спокойствие.

— Да, я успокоилась. О, не только из-за ее выходки против всего, что мы для нее олицетворяем, но и оттого, бедный дружок мой, что я увидела ее. Я признаю, — добавила она тут же, — у нее прекрасные глаза. Этого у нее не отнимешь. Но выглядит она много старше своего возраста: это женщина, которая работает, тут ничего не попишешь!

— Да, — сказал я, — и которая много страдала.

— О! Такие страдания...

Мама благоразумно проглотила последние слова. Помолчав, я спросил:

— Вы говорили о Мальтаверне?

— Нет, разумеется! На это у нее не хватило дерзости, если не считать ее тирады против земельной собственности и крупных собственников.

— Ручаюсь, она возмущалась тем, что мы не делимся с фермерами доходами от вырубки леса?

Я спросил это самым безразличным тоном. Слегка отодвинувшись, я разглядывал освещенное лампой крупное бледное лицо, но оно не выражало ничего, кроме изумления;

— Чего ты добиваешься? Представляешь себе, как бы я отчитала ее, если бы она посмела... Но ты не обедал, мой бедный малыш. Сегодня у нас заливное из цыплят. Иди, не беспокойся обо мне, я довольна.

Я был голоден и поел с аппетитом под одобрителем присмотром Луи Ларпа. Я еще не страдал. А может быть, и не буду страдать? Я считался болезненно-чувствительным ребенком, а потом — подростком, и сам этому верил. Но только я один знал, в какое чудовище равнодушия могу я вдруг превратиться, и не только по отношению к другим, но и по отношению к самому себе. Почему обрушилась Мари именно на меня? Почему она решила выместить на мне обиду за то, что мама подчинила ее себе, как подчиняла своих фермеров, слуг, арендаторов, поставщиков, Нума Сериса и, более чем кого бы то ни было, своего несчастного сына? Быть может, Мари внезапно возненавидела во мне все, что раньше особенно любила: мою слабость, мою неизлечимую детскость. «Чего я добиваюсь?» Она решительно вырвалась из своего последнего сна о счастье, которое воплотилось для нее во мне... А я? А я? Растянувшись под облаками кисейного полога, я прислушивался к зудению москитов, круживших вокруг меня, как дикие звери. Я и не подозревал, что появление самых опасных зверей еще впереди. И снова твердил: а я? Я стиснул зубы. Нет, я не так чувствителен, как они все считают, и даже не так слаб.

Через два дня мы отправились в Мальтаверн. Накануне я поехал попрощаться с Симоном. Я назначил встречу у него в Талансе, там мы могли беседовать без помехи. Мне не удалось уговорить его поехать со мной хотя бы на несколько дней. Он отказывался не только из-за «мадам» — больше всего его пугали Дюпоры. Симон заметно умиротворился, стал мягче; имя г-на Муру не сходило у него с уст. Он отдал себя в руки г-на Муру. Я признался, что совершенно не способен на такое полное, по Паскалю, подчинение духовному руководителю. Симон теперь не боялся последнего года работы в лицее. Этот год будет временем «сосредоточенности», как он говорил. Потом он поступит в семинарию, в Иси: «К тому времени вы будете в Париже, мы с вами увидимся». Для него не было никакого сомнения в том, что я поеду в Париж и по-прежнему буду одарен духовными благами, которые ему дано познать только через меня и во мне. Я пошутил, что таким образом он будет познавать мир при моем посредстве, и, пока я буду губить себя, он завоюет свое спасение. Он произнес вполголоса: «Наше спасение, для нас обоих».

Я не знал, что он готовит мне удар. И он тоже. Я считал его безобидным, неспособным причинить мне ни добра, ни зла, — да, самым безобидным существом. Мы еще не обменялись ни единым словом о Мари, и я чувствовал, что это молчание чем-то чревато. Давно уже я привык слышать от моей подозрительной и пронизательной мамы: «Ты от меня что-то скрываешь». Я сам перенял у нее эту склонность доискиваться, что скрывают от меня другие. Прощаясь, я спросил у Симона, знает ли он все обо мне и Мари? Да, он видел ее вчера. Я пожалел, что произнес это имя. Я чувствовал, что ему не хватит такта, этому крестьянину. Такта не хватило, он сказал:

— Знаете, ей словно зуб вырвали... — И добавил: — Это лучше для вас обоих. Ведь, так или иначе, она никогда не верила... Вы подозревали, что она думает о браке. В ее положении... Нет, ну что вы! При ее уме, она, пожалуй, могла бы довести вас до этого, но она же понимала, что это будет ад. Она не сумасшедшая. Вот только если бы эта история слишком затянулась, она могла испортить кое-что другое, а это для нее дело решенное. Правда, старик Бард не так уж строго на так смотрит...

— А какое дело Барду до частной жизни Мари?

— Вот тебе на! В этом смысле, разумеется, между ними ничего нет, да никогда и не будет. Старик Барду семьдесят лет. В сущности, Мари выходит

замуж за книжную лавку. Он и так превратился только в счетовода, а душой дела стала она. Книжная лавка, знаете ли, для нее — все. Клянусь вам, она предпочитает ее Мальтаверну. Послушали бы вы, как она вспоминала о крапиве на берегу Юра, о мухах, о езде в двуколке на заеденной слепнями кляче, об ожидании на Низанском вокзале...

— Если мог кто-нибудь понять Мальтаверн, его истекающие смолой сосны, эту скорбную бесплодную землю, то именно Мари...

— Э, нет, господин Ален, надо там родиться и чтобы наши деды и прадеды родились там. Только мы с вами... Она — городская, она и живет-то даже не на улице, не на свежем воздухе, а в торговом пассаже.

— И вы думаете, будто Бард и она...

— О, не раньше нового года, а так, к середине января...

— Значит, я был последней поблажкой, которую она себе позволила... Ужасно! Все-таки это ужасно.

— Да нет же, ведь ничего не произойдет, ничего и не может произойти, просто они устроят свою жизнь...

— Да и что тут такого! — воскликнул я. — Она привыкла к старикам.

— Это нехорошо, господин Ален, это нехорошо!

— Какой ужас — старики, когда они приближаются к молодым женщинам, какая мерзость! А старые писатели еще смеют говорить об этом в своих книгах, и не стыдно им? Подумать только, она была в их власти! Правда, у нее был я. Так оно бывает всегда. Когда Балеж уйдет на покой, она сможет нанять себе двадцатилетнего приказчика.

— Нет, господин Ален, она вас любила, она вас любит.

— Что ж, полюбит и двадцатилетнего приказчика, а потом они убьют Барда и поженятся. Что говорить, все это вполне в духе Золя, эта книжная лавка в Пассаже.

— О! Господин Ален, что вы! Это нехорошо...

— И в ней тоже есть что-то от Золя — то, что я всегда ненавидел. Что может понять в Мальтаверне Тереза Ракен? А все-таки она его полюбила! Она любила его в вечер вашего приезда, и потом ночью, и еще на рассвете до того, как разверзлась эта раскаленная печь, когда сосны протягивали к нам ветви, благословляя ее и меня... Но нет, они благословляли меня, только меня, ей не было до них дела. — И вдруг я пришел в ярость: — Да, это так, она создана для Барда! В конце концов она не намного его моложе!

— О, господин Ален!

— Как только для женщины кончилась первая молодость, она переходит на другую сторону, на сторону Барда.

Я не знал, что скорбь может довести меня до такого бешенства.

— И подумать только, — закричал я, — что все эти священники скулят втихомолку и жалуются на безбрачие, хотя лучшее в их положении — то, что они избавлены от этого скотства. Даже у скотины это чище!

— О, господин Ален, как сказала бы мадам, вы заговариваетесь. Плоть святая, вы это знаете.

Я разрыдался:

— Да, я это знаю.

Симон не имел ни малейшего представления, что нужно делать и говорить, когда такой господин, как господин Ален, рыдает в его присутствии. С детства он никогда не плакал — ни перед кем-нибудь, ни даже в одиночестве. Слезы тоже были одной из моих привилегий.

Я быстро пришел в себя, вытер глаза, извинился:

— Просто меня поразил этот брак со стариком. Я уже начинаю привыкать к этой мысли. Так, значит, замуж она выходит за книжную лавку: чего уж лучше? Все прекрасно...

Я сел в автомобиль. С Симоном мы увидимся, когда начнутся занятия. Когда «дион» отъехал, я снова начал страдать. Это страдание не походило на

то, что я обычно так называл. Оно причиняло физическую боль, было физически невыносимо. Мари знала, она это знала все время, она взяла для забавы желтого дурачка, прежде чем связать себя навсегда. Когда она станет госпожой Бард, придется вести себя осторожно. Что делать с этой болью? Долго я не выдержу. Если бы не то, что завтра надо ехать в Мальтаверн, я разыскал бы Хеллера, пусть бы повел меня в свое братство — может быть, я там встречу кого-нибудь. Он сказал: «Братство сеятелей» — это дружба». Люди любят друг друга, это любовь, тут нет никакого скотства.

На следующий день мы были в Мальтаверне. Я слышать не хотел о жизни в отеле ни в Люшоне, ни где бы то ни было. Мама видела, что я несчастен, но, по ее мнению, это было делом нескольких дней. Операция сделана, сейчас наступила неизбежная реакция. А сама она была спокойной и нежной, какой я не видел ее уже много лет, умиротворенной, как человек, избежавший смертельной опасности. Она и не подозревала, как близка была от нее угроза величайшего несчастья; никогда не была она ближе, чем в промежутках между еще отпущенными мне часами облегчения. Эти строки я пишу только для себя, их не прочтет даже Донзак, потому что самое постыдное, самое презренное — это сделать вид, что хочешь умереть и не умереть. Неудавшееся самоубийство всегда подозрительно, но быть неспособным даже на неудачу! Лучше уж не давать повода для насмешек.

Итак, что же оберегало меня все это время, после встречи с Симоном накануне отъезда в Мальтаверн и до сегодняшнего дня, от желания заснуть навеки, от этого «стремления-не-жить»? Я не знаю, что известно об этом недуге врачам, но хорошо знаю, что испытывает несчастный, в чьем роду и прадед и брат прадеда утопились в лагуне Тешузэйра. Пастухи называют этот недуг «пелагрой» и говорят, что всех, кто им страдает, тянет в воду.

Я думаю, что эта болезнь, подобно болезням у других людей, заложена у нас в крови, она порождена тоской, отпущенной нам в смертельной дозе, она составляет самую сердцевину нашего существа и звучит уже в первом нашем младенческом крике.

В течение последних недель, которые я прожил рядом с мамой, смягчившейся и просветленной, прощавшей мне все, готовой во вред себе кормить меня раками и грибами, я пришел к заключению, что от смерти меня уберегла только моя безрукость. «Ничего ты не умеешь делать собственными руками,— не раз с презрением говорила мне мама,— ты не способен стать даже грузчиком!» Да, и даже — убить себя. Лагуна Тешузэйра сейчас почти высохла. А яд... разве можно купить что-нибудь у аптекаря без рецепта? Слишком труслив, чтобы решиться на смерть Анны Карениной под колесами поезда, слишком труслив, чтобы броситься с высоты, слишком труслив, чтобы нажать гашетку.

Самое странное, что единственная моя опора — вера в вечную жизнь, не имела тогда для меня ни малейшего значения. За дефинициями малого катехизиса и запретами казуистов мне слышался издевательский хохот: эти болваны приравнивают к убийству акт добровольного ухода из мира... Прежде всего не такой уж он добровольный, поскольку его необходимость заложена в нас так же, как все, что убивает нас изо дня в день, от рождения до смерти. В этот мой приезд земля Мальтаверна стала для меня именно тем, что она есть — угрюмой бесплодной ландой, которая рано или поздно выгорит дотла. Преобразал ее мой собственный взгляд, магия моего взгляда. И Мари тоже: земля Мальтаверна и Мари, они навсегда стали такими, какие они есть. Я потерял над ними власть преображения. Только бы Мари не подумала, что я хотел умереть из-за нее.

Я пытаюсь молиться, но слова лишаются всякого смысла, когда я произношу их, а убежище за этими словами, где я часто спасался, веря, что оно ведет к созерцанию, оборачивается зияющим провалом в пустоту, в ничто.

Но, повторяю, бывают дни облегчения. Неожиданно я снова обретаю вкус

к жизни. Я знаю, это ненадолго, болезнь вернется, но я пользуюсь временем, отпущенным мне для передышки. Глубокой ночью я встаю и выхожу босиком на балкон, где мы с Мари стояли, опершись на перила. И мои глаза видят все это еще раз, да, все это было — небо с угасающими звездами, вознесенные к небу вершины сосен, и мои глаза, смотревшие на них, и сжатое отчаянием сердце. Это было, я лгал, утверждая, что ничего не осталось, и если я потерял ключ от этого бессмысленного мира, это еще не значит, что ключа нет.

Часы облегчения приходили все чаще, пока не произошел случай, о котором я сейчас расскажу. Я и правда думал, что это только случай, а это был тот поворот пути, где судьба подстерегала меня и схватила за горло, словно все мои мысли о самоубийстве были предвестием беды, готовой обрушиться на всех нас.

В сентябре никто уже не купается возле мельницы г-на Лапейра — вода там холодна, как лед, но в этот день было так тепло, что я на всякий случай захватил с собой купальный костюм. Без сомнения, меня не покидала мысль о возможности покончить все разом в этот день: ведь я, наверное, буду один. Меня страшил конец Анны Карениной, но не конец Офелии — скорее всего я втайне знал, что инстинктивно начну делать движения, которые не дадут мне утонуть. У меня мелькали какие-то неясные мысли о возможности несчастного случая. Я представлял себе горе матери, горе Мари. Будет говорить то, что говорят всегда: предполагать судорогу, прилив крови. Свидетелей не будет.

Спускаясь по песчаной дороге к мельнице, я с досадой увидел, что в пруду плещется какой-то одинокий купальщик. Вода слишком холодна, долго он там не задержится. Я решил подождать, пока он очистит мне место, и скользнул в гущу папоротника, откуда мог наблюдать за ним, оставаясь незамеченным. Есть особое удовольствие — обычно в нем не признаются, но я признаюсь — смотреть на того, кто нас не видит, даже не знает, что мы здесь, и думает, что он один. Поистине высшее удовольствие. Очень скоро я заметил, что мой купальщик был купальщицей — правда, такой тоненькой и длинноногой, что легко было ошибиться. Но, пожалуй, и не совсем маленькой девочкой. У девочек не поймешь — девочки никогда не бывают детьми, детство для них исключено. Эта, очевидно, была еще девчушкой, она купалась в мальчишечьем купальнике. Девушка из местечка никогда бы себе этого не позволила. Она вышла из воды, уселась на берегу под солнышком, чтобы обсохнуть, огляделась вокруг. Был полдень — тишина и безлюдье. Она проворно спустила бретельки купальника, невинно обнажив тощие плечики и едва наметившуюся грудь. То, что я почувствовал, совсем не похоже на то, о чем может подумать Донзак — на сладострастие фавна. Нет, маленькие девочки еще не вызывают у меня дурных мыслей. Мне показалось, будто кулак, сжимавший мое горло, внезапно разжался (если бы я знал!), будто кто-то убрал ладони, закрывшие мои незрячие глаза, и я вдруг прозрел. Только одно это создание было чудом, а в мире их миллионы — в том мире, которого я не знал и с которым, впрочем, ничто и никто не заставит меня знакомиться, если я предпочту остаться в комнате, где есть только мои книги и нет ни одного человека.

Поднявшись, девочка долго стояла под лучами солнца, и так далеки были от меня нечистые мысли, что, глядя на нее, — пусть это важно только для меня одного, — я, как всегда при виде прекрасного юного тела, ощутил со всей несомненностью, что бог есть. Бог существует, вы видите сами. И тот же голос, который кричал мне в ухо: «Все перед тобой, все тебе дано, убивай и ешь...» — тот же голос шептал: «Но ты можешь выбрать и отказаться от всего, и искать меня, и в этом единственный выход».

Девчушка исчезла в зарослях папоротника и скоро появилась снова в короткой юбочке, не очень красивая, насколько я мог судить издали: круглая гребенка туго стягивала ее волосы и лоб казался слишком высоким.

Но я видел ее без платья и знал, что она прекрасна — не красотой, закрепленной в сложившихся чертах, а той, что скрывается в изменчивых линиях,

возникающих в момент созревания. Я захватил мгновение между зарей и рассветом, или, вернее, между рассветом и утром — чудо, которое продлится недолго и по-настоящему еще не началось.

Я дал ей уйти и пошел следом, но держась поодаль. Она шагала, чинная и серьезная, как большая девочка, потом, вдруг подпрыгнув, как козленок, нырнула в чащу папоротника, наклонялась, что-то там собирала и снова отправлялась дальше. Неожиданно сухая ветка хрустнула у меня под ногой. Она обернулась, поднесла ручонку к глазам, чтобы рассмотреть, кто это идет за ней, и вдруг — может быть, узнала меня? — бросилась бежать со всех ног и исчезла, свернув на тропинку. Когда я подошел к повороту, ее уже и след простыл — должно быть, забежала далеко в лес.

Глава XII

Возвращаясь с мельницы, весь поглощенный мыслями об испуганной кулапальщице, я издали увидел, что мама поджидает меня на террасе. Она крикнула, что получена для меня телеграмма, и, когда я подошел, протянула ее мне, уже вскрытую:

— Я ее вскрыла, естественно! Это Симон... хватает же наглости!

Я прочел: «Необходимо срочно увидеться. Телеграфируйте возможность приехать завтра Таланс».

— Если хочешь послушать моего совета, потребуй, чтобы он сначала написал, в чем дело.

— Нет, он скромнейший человек. У него, должно быть, есть серьезные причины. Я поеду завтра же утром. Надо только предупредить шофера.

— Разумеется! Это твой автомобиль и твой шофер.

В предрассветном тумане петухи Мальтаверна перекликались с петухами дальних ферм. «Крик, повторяемый тысячей часовых». Я был почти уверен, что вызывает меня Мари и что я застану ее у Симона. Мне это было даже не очень интересно, я твердо решил уклониться от бесполезных объяснений; когда имеешь дело с комедианткой, нет надобности притворяться, будто веришь в реальность вымышленного ею персонажа, даже если она сама в это верит и ловко себя дурачит. Донзак говорит о романах Бурже, что это грошовая психология. Да, и именно такой медной монетой мы расплачиваемся друг с другом. А кроме того, хотя я и достиг сейчас ровного места на своем пути, я был в совершенном изнеможении, я уже ничего не чувствовал. Сидя один в автомобиле, я смеялся при мысли, что из всех моих претензий к Мари выплывало на поверхность только то, что сказала она Симону о крапиве на берегу Юра, о мухах, о двуколке и о Низанском вокзале — ее отречение от Мальтаверна. Она отгреклась от него, неблагодарная, недостойная, идиотка!

Ее не было у Симона, когда я приехал, но она должна была прийти к завтраку. Бард бесновался, сказал Симон, если Мари раньше времени уходила с работы. Она была в отчаянии, что сама не рассказала мне о своем будущем замужестве, которое сводилось для нее только к сохранению книжной лавки в своих руках. По признанию Симона, он слишком сгустил краски, описывая Мари, в какую ярость я впал, когда он без всякой подготовки сообщил мне об этом плане, думая, что я давно о нем знаю.

— Вы передаете каждое мое слово, — упрекнул я его с раздражением. — Вы способны все отравить. Скромность — это, к сожалению, добродетель, которой научить нельзя.

Он слабо защищался. Вероятно, на его совести было немало подобных грехов.

Мари приехала трамваем незадолго до полудня. То, что должно было вот-вот

на меня обрушиться, но чего я тогда даже отдаленно не мог вообразить, теперь, когда оно случилось, мешает мне точно припомнить сбивчивые слова, которыми обменялись мы с Мари в комнате Симона, где он нас оставил вдвоем. К чести Мари должен сказать, что, едва она увидела мое печальное лицо, она не думала больше ни о ком, кроме меня. Таким уж я обладаю даром — пробуждать в женщинах заботливую и склонную к тревоге мать. Она нежно сжала мое лицо обеими руками и сказала:

— Мне не нравится твой взгляд.

Я без спора вник во все соображения Мари по поводу ее брака, словно уже вовсе перестал огорчаться. Несколько часов, которые прошли после этого объяснения с Мари, после завтрака в таланском бистро, куда пригласил нас Симон, эти несколько часов мне кажутся каким-то почти бесконечным временем, перерывом в моей жизни между двумя мирами. А потом — как будто истинная причина моей тоски внезапно открылась мне — заметки о банальнейшем происшествии, заметки под портретом в «Жиронде», которую принесла мне консьержка вместе с утренним кофе, оказалось достаточно, чтобы одним толчком швырнуть меня в бездонную пропасть, куда я продолжаю лететь вниз головой.

Итак, в то утро, отхлебнув несколько глотков кофе, я рассеянно заглянул в газету, и мне показалось, что это галлюцинация — лицо маленькой девочки с зачесанными над слишком высоким лбом волосами, это лицо без улыбки, я узнал его. Это была девочка с мельницы. И внизу курсивом: «Жаннетта Серис ушла из дома своего отца г-на Нума Сериса позавчера в полдень и не вернулась. Предполагают, что она бежала, у девочки замечалась такая склонность. На ней была полосатая фуфайка, белые туфли на босу ногу. Волосы собраны круглой гребенкой». Дальше следовал адрес Нума Сериса, номер телефона. Это была Вошка! Прежде чем понять, обдумать и передумать все, что сулила эта история моей неизбежной тоске, я не мог не усмехнуться: какую злую шутку со мной сыграли! Так, значит, Вошка купалась возле мельницы г-на Лапейра и показалась мне такой прелестной! Это не могло быть случайностью, слишком хорошо все было подстроено. Как сказано в писании: «Враг сделал это...» Да, враг показал мне ее прелесть, но что случилось с ней? Мое появление привело ее в ужас, она бросилась бежать, она исчезла, и, может быть, навсегда...

Я был единственным свидетелем. Надо немедленно возвращаться в Мальтаверн. Но в полдень у меня назначено здесь свидание с Мари и Симоном. Я расскажу им все, сделаю так, как они мне посоветуют. Впрочем, скорее всего это бегство; я не знал, что у нее есть такая склонность: ведь при мне о ней никогда не говорили. Боже мой, зачем ты смеешься надо мной?

Я торопливо оделся, вышел, купил еще две выходившие в Бордо газеты, увидел тот же портрет, то же объявление. Я забежал в холл Лионского кредита и в редакцию газеты «Франция» на улице Порт-Дижо, там всегда вывешивают последние сообщения: об исчезновении маленькой Серис не было ничего. Я вернулся на улицу Шеврюс. Признаюсь, я дрожал от страха, изнемогал от тревоги. Страх перед чем? Тревоги перед чем? Я был уверен, что надо готовиться к самому ужасному. Если это ужасное произойдет, что ж, на этот раз я найду силы и способ перейти на ту сторону. Враг меня не получит, как бы хорошо он все ни подстроил.

Мне казалось, будто я обеими руками удерживаю петлю вокруг моей шеи, а она с каждой секундой затягивается все туже и туже. В полдень я уже стоял за дверью и распахнул ее, не дав им позвонить. Не знаю, на кого я был похож. Мари крикнула:

— Ален, что случилось?

Я не мог говорить, я показал им фотографию. Ну и что же? Они ее видели, они даже посмеялись. Девочка убежала... Я возразил:

— Не над чем тут смеяться — это моя работа.

— Да ты с ума сошел, Ален!

Тогда я начал рассказывать им всю историю, сам не узнавая своего глоса. Они больше не смеялись. Мари сказала:

— Сейчас мы позавтракаем, и ты отправишься. До вечера ее найдут. Как только приедешь, дашь свои показания.

Я не мог проглотить ни куска, и Мари предложила пойти лучше выпить чашку шоколада у Прево.

— Тебе предстоит только одна неприятность — давать показания...

— И увидеть свое имя во всех газетах, — перебил ее Симон.

Мари пристально посмотрела на него, пожала плечами и предложила зайти в книжную лавку — оттуда она позвонит своему постоянному клиенту, заведующему отделом хроники в «Жиронде»: может быть, он меня успокоит.

Лавка была в этот час закрыта, мы вошли через боковой вход. Друга Мари в газете не оказалось, но она знала его домашний телефон и довольно быстро дозвонилась к нему. Она протянула мне трубку. Да, есть новости: «Какой-то сборщик смолы видел, как девочка пробежала мимо него, ему показалось, что она чем-то или кем-то напугана или даже спасается от преследования. Этого человека непрерывно допрашивают. Пока он только свидетель, но...» Трубка выпала у меня из рук.

— Ален, ну можно ли так безумствовать?

— Он не соврал, этот человек, она бежала, потому что испугалась. Это меня она испугалась. Меня — ведь я видел, как она купается...

— Да, но через пятнадцать минут ты уже был в Мальтаверне и тебе вручили телеграмму Симона. Чего же ты волнуешься?

Симон покачал головой.

— Э! Вы что, в самом деле думаете, будто не из-за чего портить себе кровь?..

— Да замолчите вы, идиот! — крикнула она в сердцах. — Взгляните только на него. Я хотела просить вас проводить его до Мальтаверна, но пусть уж лучше едет один, чем с вами... Впрочем, нет! Я сама с ним поеду. А вы оставайтесь тут до прихода Балежа. Вы ему все объясните... И, если надо, помогите. Я вернусь завтра утром.

— Но что скажет мадам, когда вас увидит?

— Она увидит и своего сына, ей достаточно будет одного взгляда: она поймет, это вы ничего не понимаете.

Я почувствовал освобождение, я отдал себя в ее руки, ничего злого не случится со мной, пока она рядом. Я снова начал дышать. Автомобиль продвигался чуть не ползком по оживленной улице Сент-Катрин. Потом мы выехали на леоньянскую дорогу, и вскоре начались сосны. Мари взяла меня за руку. Она спросила:

— Ты больше не боишься?

Нет, сейчас я не боюсь, но я знал, что скоро это начнется опять. Я понимал, что заподозрить меня нельзя, но через десять минут я, возможно, перестану это понимать. Все было против меня.

— Даже ты, Мари, если тебя будут допрашивать и ты расскажешь все, что тебе известно, ты окажешься свидетелем обвинения...

— Спокойней, малыш, ты опять начинаешь все снова...

— Помнишь, утром перед нашим отъездом ты захотела посмотреть на Юр, и я повел тебя окольным путем, потому что девочка за нами шпионила? Помнишь, что я сказал о ней? Я сказал тебе: «Я ее задущу!»

— Ты это выдумывал, Ален. И вообще это не имеет никакого значения.

— И, однако же, если тебя будут допрашивать, твой долг вспомнить эти разоблачительные слова.

— Что же они разоблачают, кроме минутного раздражения? Я сама разозлилась, и каждый на твоём месте...

— Она знала, что я ее ненавижу, раз она так испугалась, раз достаточно ей было меня увидеть, чтобы броситься в лес, где подстерегал ее этот человек.

— Ну, это уже вина рока, как сказал Шарль Бовари, во всяком случае не твоя.

— Сухой прутик хрустнул у меня под ногой, и она обернулась, и она меня увидела. Я мог поставить ногу рядом с этим прутиком, и она пошла бы дальше по песчаной дороге до Мальтаверна. И в тот день я увидел ее обнаженной, именно в тот день я открыл, что ошибался в ней, что теперь она так же не похожа на девочку, которую мы называли Вошкой, как бабочка на гусеницу...

Помолчав, Мари прошептала:

— Какая катастрофа для твоей матери!

— Так ты понимаешь ее?

Да, она ее понимала. Больше мы не разговаривали. По временам она брала меня за руку и слегка сжимала ее, словно напоминая о своем присутствии: «Не бойся, я тут». Так говорила мама, когда мне бывало страшно по ночам. Мари знала эту мою болезнь, она наблюдала ее у одного из своих стариков.

— Ты сказал Симону, что я привыкла к старикам...

Он передавал ей решительно все!

— Да, он передает все. Так вот, одного из моих стариков буквально душили кошмары, которые он сам себе придумывал.

В Вилландро, где мы остановились заправиться горючим, люди возле гаража что-то горячо обсуждали. Садясь за руль, шофер сказал нам:

— Этот мерзавец признался, он задушил ее. Сначала спрятал тело в ба-раньем загоне, а ночью довез на тачке до Юра и бросил в омут, выше мельницы.

Я закрыл лицо руками — не затем, чтобы скрыть от Мари свои слезы, а чтобы не видеть больше этот проклятый мир, уйти из которого у меня не хватало мужества.

Мама сидела одна в гостинной, ставни были закрыты. Она молчала, словно пораженная громом, и даже не обратила внимания на Мари. Да и узнала ли она ее?

— Я не хотела, мадам, чтобы он ехал сюда один после такого удара.

Мама пристально на меня посмотрела.

— Это был удар для тебя?

— Да, более страшный, чем ты думаешь: ведь это меня испугалась девочка, от меня бросилась бежать, как безумная.

Мама несколько раз устало повторила: «Что ты рассказываешь?» Но вскоре она насторожилась. Когда я кончил, она сказала:

— Теперь, когда преступника задержали и он сознался, не стоит тебе ничего говорить; все это останется между нами.

— Нет,— не согласилась Мари,— это важно для этого несчастного. Свидетельство Алена докажет, что девочка в самом деле испугалась, что она бежала бегом через лес, что все произошло так, как он рассказал, хотя ему и не поверили: эта маленькая девочка, выбившаяся из сил, запыхавшаяся...

— Да,— сказал я,— наверно, она совсем запыхалась, это ее и погубило.

Я хотел тут же пойти в жандармерию, но сейчас, по словам мамы, они все были на мельнице: убийца показывал, куда он бросил тело. Я не хотел ждать. Мама сама попросила Мари:

— Вы не оставите его?

Я заинтересовал их гораздо меньше, чем ожидал. Они задержали убийцу и собирались выловить тело. Я считал своим долгом рассказать, как испугалась меня маленькая Серис, но бригадир, который допрашивал меня, очевидно, не придал моим словам ни малейшего значения. Для них это было уже дело решенное. Вернувшись домой, я проспал два часа как убитый. Я узнал, что во время моего сна мама и Мари разговаривали обо мне, или, вернее, Мари старалась разбудить

в маме тревогу за меня. Должно быть, она почувствовала, что это ей удалось, и в шесть часов уехала на станцию, не повидавшись со мной.

— Но, — уверила меня мама, — теперь она за тебя спокойна.

Разбуженная Мари тревога захватила маму и хоть немного отвлекла от мыслей о маленьком трупе, которые преследовали ее неотступно. Ночью мама прилегла на кровать Лорана, чтобы быть рядом со мной, и тут я сделал неожиданное открытие: оказывается, с маленькой Серис ее соединяли совсем не те низменные расчеты, которые я ей приписывал; она нежно привязалась к ребенку, не знавшему матери, и Жаннетта тоже была к ней привязана.

— Но ты не знал, да и не мог знать — ведь мне было запрещено говорить о ней, — как велика была ее любовь к тебе.

— Ее любовь ко мне?

— Да, это кажется невероятным: ведь ей было всего двенадцать лет. Я бы никогда не подумала, что это возможно, или, пожалуй, возмущилась бы, если бы сама не видела этого преклонения, этой нежной преданности, совсем детской, но уже вместе с тем и женской — хотя, разумеется, совершенно чистой и невинной. Уж я-то знаю, со мной она говорила о тебе без умолку. Знаешь, что помогает мне не роптать против надругательства над невинным ребенком? Я говорю себе: сейчас она видит, что ты перестал ее ненавидеть, ты плачешь о ней и никогда ее не забудешь, она теперь для тебя не Вошка...

— Но она же не знала, что я называл ее Вошкой?

— Знала. Сам понимаешь, не я ей об этом рассказала. Нума Серис услышал об этом от Дюберов — полагаю, от твоего дорогого Симона — и как-то вечером, когда был пьян, рассказал девочке. Как она плакала, как плакала...

Теперь плакали мы. Глубокой ночью мы плакали вдвоем, мама и я, не в силах принять чудовищную реальность того, что вытерпело тело несчастной девочки, всей этой скверны, этого поношения...

— Ален, ты прочел все книги, ты знаешь все, что написано о зле, которое дозволено богом: зачем же, если это ребенок, маленькая девочка, зачем, прежде чем умертвить ее, нужно было предать и тело ее, и душу слепому скоту? В чем смысл испытаний, через которые проходят дети чуть ли не каждый день? И мы еще знаем только то, о чем пишут в газетах. Но каждый день, повсюду, во всем мире...

Она умолкла, ожидая ответа. А я плакал над этим маленьким обесчещенным телом, которое никогда не смогут отмыть все воды Юра. Наконец я сказал:

— Может быть, зло воплощено в ком-нибудь одном.

— Значит, этот один существует, он был создан, эта сила была ему дана.

— Мама, ответа нет. Ответ девочка будет вечно хранить в своем сердце. Ныне и вечно.

— Да, я верю, я верю.

Я услышал ее рыдания, первый раз в жизни услышал, как она рыдает от любви.

— Я любила эту малютку, как не любила никого, даже тебя. Я говорила ей: «Ты должна стать образованной, я никогда ни о чем не могла поговорить с Аленом. В нашем кругу нет подходящих женщин для такого юноши, как он». И вот, хоть она кончила только начальную школу, девочка стала брать уроки у нашего учителя, а он очень образованный, скоро будет лицензиатом. И еще она занималась латынью с кюре, и он объяснял ей вопросы, которые тебя интересуют. Он тоже теперь ими интересуется. Бедный наш настоятель, ты и не подозреваешь, какое влияние ты на него оказывал. Я мешаю тебе спать. Надо спать, мой дружок.

— Я не хочу спать. Главное, чтобы ты была здесь.

Мы лежали некоторое время молча. Ночной осенний ветер с воем раскачивал сосны Мальтаверна, и они вместе с нами оплакивали маленькую девочку, заживо брошенную дикому зверю, но не просто на смерть, как дева Бландина,

а на самое страшное поругание, какое только может выпасть на долю божьего творения, и последний ее взгляд был устремлен на искаженное нечеловеческое лицо... Мама заговорила снова:

— Если я правильно коняла эту особу («этой особой» была Мари), ты забрал себе в голову, будто я поручила малютке шпионить за вами в мое отсутствие. Неужели ты считал меня способной на это?.. Правда, я много ей рассказывала... Мы жили с ней так дружно, когда я бывала в Мальтаверне без тебя! Она знала все мои страхи, с тех пор как эта особа вошла в твою жизнь. Ведь мы только о тебе и говорили. Но если малышка тогда за вами подматривала, то не потому, что я ее об этом просила; нет, это она сама, по собственному почину. Никогда бы я не поверила, что девочка ее лет может так ревновать. Она сама рассказала мне, как она страдала из-за тебя в тот вечер, в ту ночь, она мне рассказывала все. Мы друг другу рассказывали все. А я, знаешь, я не была ревнивой. Я бы отдала свою жизнь, только бы ты полюбил ее. Она верила, что ты в конце концов ее полюбишь, и даже меня заставляла верить. Ужаснее всего, что это правда, ты действительно полюбил ее за час до того, как ее изнасиловали и задушили...

— Да, и буду любить до конца своих дней, буду беречь ее, носить в своем сердце эту бедную маленькую Вошку, единственную мою любовь.

Вдруг я услышал, что мама смеется. Да, она смеялась. Она сказала:

— Знаешь, как она отомстила за то, что вы называли ее Вошкой? Так вот, эту особу она иначе, как «крючок», не называла, она, бывало, слышала, как я волнуюсь из-за девицы, «которая подцепила тебя на крючок»...

На этот раз мы долго молчали, потом мама уснула. Ее дыхание походило на хрип, казалось, оно прорывается сквозь все еще не пролитые слезы. Я не спал, мысленно я повторял уже пройденный путь, свой крестный путь: первая остановка — смерть брата; вторая остановка — изнасилованная девочка. Слабый, безоружный, найду ли я силы сделать еще хоть шаг? Ах, лечь на сухую землю, в заветном уголке Мальтаверна, который я в детстве называл «отрада». Почему «отрада»? Распластаться и ждать, пока я не усну беспробудным сном.

Наконец задремал и я. Когда я проснулся, мамы в комнате не было. Должно быть, пошла к утренней мессе. Я и не пытался молиться. Это не было бунтом, но после подобного несчастья ощущаешь пустоту — не то, чтобы несуществование, нет, но невозможно думать, будто там кто-нибудь есть, и все же он там: такова тайна веры, нерушимой у тех, кто ею одарен, веры, способной устоять даже перед убийством маленькой девочки, этим убийством, при одной мысли о котором мне хочется выть протяжно и однообразно, как замученное животное.

Проснувшись, каждый из нас вернулся к своей скорби, замуровался в ней снова. Чтобы избежать назойливости журналистов (мои показания были напечатаны в газетах), сегодня утром я отправился охотиться на вяхирей. В Шикане меня никто не найдет. Кроме того, убийца сидит за решеткой, он сознался, и вся эта история уже вытеснена другими. Вопрос заключался в том, где взять силы, чтобы продолжать свою собственную историю, выбрать, в каком направлении двигаться дальше. Мари написала мне, что нужно уезжать в Париж, как только я почувствую себя в силах: «...вырваться с корнем — твой Баррес объявил это злом, но это единственное целительное средство, единственная надежда на спасение после такого удара. Конечно, где бы ты ни был, все, что случилось, навсегда останется в тебе, но, может быть, ты наделен даром, который так восхищает тебя в других, — даром оживлять прошлое, извлекать его из могилы. Знаешь, что говорит о тебе Симон Дюбер с упорством, несколько утомительным, но в конце концов подкупающим? «Он будет великим человеком, вот увидите!» — твердит он постоянно. За это я люблю его, несмотря на все его дурные черты, черты развращенного крестьянина, несмотря на то, что вы в своем Мальтаверне превратили его в чудовище. Он верит в тебя. Он любит тебя не так беззаветно, как ты вооб-

ражаешь, иногда даже ненавидит, но он в тебя верит. Когда в нас верят другие, эта вера указывает нам правильный путь. Вслед за Донзаком мы с Симоном указываем тебе твой путь, и вне его настоящей дороги для тебя нет.

Единственное препятствие — твоя мать, и поверь, я не стану тебе советовать пренебречь ею. Если и испытываю я угрызения совести, вспоминая нашу историю, то только из-за этой бедной «мадам», которую я так безжалостно упрощала, поверив тебе и Симону. Помнишь, я говорила тебе по поводу ее частых отлучек в Мальтаверн, что «она изменяет тебе с твоим именем»? Что ж, теперь мы знаем, она изменяла тебе с Вошкой — все дело в любви, хотя ни плоть, ни кровь тут были ни при чем».

Да, наконец я это понял: старая женщина излила на девочку всю нежность, которая в ее жизни никому не была нужна, кроме мужа — но он был ей физически противен, или меня — но я превратился для нее в существо непонятное, принадлежащее к другой породе, хотя и вышел из нее самой; мое присутствие еще больше углубляло пучину одиночества, где утонула бы бедная «мадам», не будь имения, которое поддерживало ее на поверхности, и благочестивых обязанностей, размечавших все ее дни... Но была еще эта малышка, которая любила меня, несмотря на мою ненависть, и она полюбила ее.

Да, обойти это препятствие было нелегко. Мама одобряла мое желание ехать в Париж, но просила повременить еще хоть год. Я признавал, что могу продолжать и в Бордо подготовительную работу к моей диссертации. Как будто дело было в моей диссертации! Речь шла о моей жизни (во всяком случае в этом я убеждал себя). Нужно было испробовать последний шанс — вырвать себя с корнем из этой земли, где я был ранен в самое сердце, произвести опыт, высадить, как говорят у нас, растение в другой грунт — ради идеи, которую внушили мне не только Донзак, Симон и Мари, но также и вырастившие меня деловые люди: идеи использовать это ужасное приобретение, сделать так, чтобы ничего из него не пропало. «Ничего не должно пропадать», — твердили, бывало, нам, детям, но тогда речь шла о корке хлеба или свечном огарке. Теперь «не должно пропадать» то, что я выстрадал сам и заставил выстрадать других, и эта девочка, брошенная убийцей в бегущую под ольховыми деревьями речку, которая будет струиться во мне до последнего смертного часа, и моя мать, подавлявшая всех, но сама теперь раздавленная горем. На этот капитал и придется мне жить. Все, что еще может со мной случиться, как бы долог ни был мой путь, останется вне рокового круга, замкнувшего эту часть моей жизни.

Мама говорила мне: «От горя не умирают. Люди не умирают от своего горя. Даже если они не могут утешиться, они не умирают, а вот я умру, я чувствую, что постепенно умираю. Подожди немного, не покидай меня». Я не мог ей ответить, что для меня, в двадцать два года, все это не так просто, что мне надо попытаться выжить. Каждый день я уносил с собой в Шикану томик Бальзака из книг моего отца в издании Шарпантье 1839 года, где многие романы названы по-другому, чем в собрании сочинений. Бальзак не принадлежит к самым любимым моим писателям. Он слишком мясист (я говорю о его стиле). Но этот автор действует на меня как возбудитель нежелания умирать. Мне отвратительна порода описанных им молодых честолюбцев, их свирепая жадность; однако же они вызывают у меня — даже у меня — стремление попытаться счастья на моих собственных путях, которые мне предстоит открыть.

В данное время я по-прежнему нахожусь внутри круга: все происшедшее еще не завершилось настолько, чтобы можно было его открыть заново и описать. Оно — не пережитое, а то, чем я живу сейчас. Мама рядом со мной, она еще жива, и я не могу оставить ее умирать в одиночестве и думать об изнасилованной обожаемой девочке и ее открытых глазах. Она говорила мне: «Каждую минуту, и днем и ночью, я вижу ее мертвую, но с глазами, расширенными от ужаса».

Она каждый день ходила к старому Серису, который пил меньше, чем она

ожидала, но только потому, что хотел привести в порядок свои дела, «прежде чем приняться за питье всерьез».

— Поверишь ли, — говорила мама, — на похоронах, где плакали все, старика Сериса, казалось, тронули только твои слезы. Он мог бы тебя возненавидеть, хотя и не подзревает, что малышка так из-за тебя страдала, так нет же! Знаешь, что он мне предложил? Фиктивную продажу всех его земель, чтобы ты стал его наследником, наследником Жаннетты...

— Ни за что на свете! — воскликнул я.

— Разумеется, — сказала мама, — об этом не может быть и речи. Я была так уверена в твоём отказе, что отказалась от имени нас обоих. Тогда он стал уговаривать меня совершить настоящую сделку, с сохранением за ним права пользования. Тебе решать.

— Но, мама, я сделаю все, что ты хочешь.

— Что я хочу? Я больше не хочу ничего. Одна мысль о том, чтобы воспользоваться этой смертью, приводит меня в ужас. Именно Сериса будет разделено между его племянниками и тем самым уничтожено. Этого я и хочу: пусть ничего не останется из того, что принадлежало ей. Я была бы рада, если бы все сгорело. Впрочем, Нума Серис уверен, что так оно и случится, все в конце концов сгорит.

— Но, мама, почему же теперь сгорит скорее, чем раньше, чем в старые времена? Всегда били в набат и справлялись с огнем...

— Потому что, говорит Серис, если в будущем и ударит кто-нибудь в набат, он не призовет больше никого: на фермах никого не останется. Люди не хотят жить, как волки, в этих глухих углах, питаюсь черным хлебом и мансовой кашей. Серис говорит, что американским ученым не нужна больше наша смола для извлечения скипидара, а спрос на сосну для шахтных креплений и железнодорожных шпал будет все время падать. И тогда все сгорит, — повторила мама с каким-то безнадежным удовлетворением, — ведь вокруг никого не будет... И почему это только деревья удостоятся пощады? Они тоже умрут, сожженные заживо. Уж лучше так... Ты думал, что я люблю землю ради земли. А я мечтала, как ты и малышка станете хозяевами всех этих угодий, а я буду оберегать вас обоих и ваши интересы, и смотреть на нее, и видеть, что она счастлива с тобой. Когда настоятель усовещивал меня и твердил без конца: «Не унесите же вы свои фермы с собой!», я отвечала ему: «На смертном одре я буду радоваться, что передам их своим детям и оставлю все в отличном состоянии». Я уверяла настоятеля, что земельная собственность долговечна, и если страдает она от разделов, то растет при помощи браков и наследования, а потому смеется над смертью. Теперь я знаю, что это не верно. Но что же верно, Ален, что же верно?

Мне оставалось лишь отдаться на волю божию и ждать от него знака, что час мой настал. Но я не принимал во внимание того, что без моего ведома, без ведома самой мамы происходило в ее душе: да, буквально «происходило», менялось и неожиданно запечатлелось в принятом ею решении, которое вернуло мне свободу.

В день всех святых мы пошли на кладбище отнести цветы маленькой Серис. Я был поражен, что мама не прочла «De profundis», как читала, приказав мне и Лорану стать на колени, когда мы приходили на могилу бедного папы: «Из глубины взываю к тебе, господи...» Не знаю, отражалась ли напряженная страсть мольбы в мамином голосе? Или в ее голосе звучала моя тоска? В этот день всех святых никто не взывал из бездны, на краю которой, выпрямившись, стояла мама — старый дуб с еще зеленой листвой, насмерть пораженный молнией. Она не опустилась на колени, губы ее были сжаты. На обратном пути она сказала:

— Сейчас я приняла решение. Я не вернусь в Бордо. Я буду ждать здесь. Значит, ты можешь устремиться в Париж, как выразилась эта особа в тот день, когда она тебя привезла: «Ему необходимо устремиться в Париж...» — твердила она.

— Но... чего же ты будешь ждать, мама?

Она повторила: «Ждать...» Я напомнил ей, что здесь не будет г-на настоятеля, который отправился доживать свой век в Бордо, но не главой какого-нибудь городского прихода, как он мечтал и надеялся, а наставником в школе женского монастыря.

— Я знаю, но его преемника мне долго ждать не придется.

Мы еще не были знакомы с новым священником: он отказался посетить нас, раньше чем обойдет всех до одного фермеров прихода. Он весьма резко объявил бедному настоятелю о своем твердом намерении не превращаться в «священника при замке».

— Голод не тетка,— сказала мама,— скоро я увижу его здесь с протянутой рукой. А фермерам он понадобится, как обычно, только затем, чтобы освятить свиной загон. Господин настоятель, впрочем, находит, что его преемник прав, что мы все заблуждались и будем заблуждаться впредь.

Она шла по дороге твердым шагом, отвечая на приветствия, отпуская свои кивки и улыбки в строгом соответствии с общественным весом встречного, и, однако же, в эту пору своей жизни она напоминала мне муху, у которой один мой школьный товарищ, изображая разжалование Дрейфуса, обрывал лапку за лапкой, крыло за крылом. Так и мама изо дня в день лишалась всех своих непоколебимых убеждений. Ничто не было истинным из того, во что она верила, но самым ложным оказалось то, что она принимала за откровение. Даже если сейчас она не сознавала этого с полной ясностью, она воспринимала это как очевидность, с мрачной бесчувственностью женщины, сраженной утратой ребенка, которого любила больше всего на свете: теперь можно отнять у нее все, она больше ничего не чувствует.

— Когда у нас ничего не остается,— сказал я ей,— когда мы чувствуем себя покинутыми, наступает час, неизбежный для каждого из нас, и приходит наш черед простонать: «Отец мой, почто ты меня оставил?» Этот час окончательного поражения воплощен в кресте, крест является его символом, непереносимым, неприемлемым для человека в молодом или зрелом возрасте — до того дня, когда крест окажется в точном соответствии с нашим телом...

Мама прервала меня:

— И нашим сердцем.

Меня поразило это слово в ее устах. Так она знала, что распинают всегда именно наше сердце? Неужели мы все просто не замечали, что мама жила только сердцем? Может быть, нежность, с какой она отосилась к Жаннетте, проявлялась и раньше? Я попытался припомнить. В моей памяти возникло воспоминание, как после смерти отца в наш старый особняк, куда почти никому не удавалось проникнуть, раз или два в год приходила мамина подруга по монастырской школе Сара М., ирландка или англичанка; она приводила с собой маленькую девочку, «свою воспитанницу», говорила нам мама. Они приезжали откуда-то издалека, похожие на морских птиц, ветром прибитых к берегу во время равноденственных бурь. Рождение этой маленькой девочки, ее звали Андре, было связано с одной из тех тайн, о которых мама говорила. «Это не для вас». Все было не для нас, но все осталось во мне и ничего теперь не пропадет.

Последний арьергардный бой мама дала, уговаривая меня поселиться в Париже вместе со студентами-католиками. Я заверил ее, что в двадцать два года я уже достаточно взрослый и меня не только не пугает отсутствие знакомых в Париже, но даже подзадоривает: начать с нуля, попытать счастья в вечно новом завоевании столицы маленьким провинциалом без единого рекомендательного письма в кармане.

— Но как ты будешь жить?

— В общем — как прилежный студент, не упускающий ни одного шанса на удачу. А в первом ряду удач стоят встречи с разными людьми.

Мама спросила:

— Ради добра или ради зла?

— Так просто никогда не бывает. Я уверен, что все встречи, даже самые дурные, послужат ко благу.

— Что ты об этом знаешь, бедный мой дурачок!

И в самом деле, что я об этом знал? Я сам придавал смысл моей истории, строил ее произвольно, в согласии со своими целями, приписывая предвечному человеческие побуждения, и сам был доволен собственным вымыслом...

Мама больше не слушала меня. Она спросила, какую сумму надо будет высылать мне каждый месяц. Я мог ответить, что ей незачем в это вмешиваться, что для распоряжения своим достоянием я не нуждаюсь в посредниках. Это ей и в голову не приходило. До самого конца она будет проверять мои расходы, проводить все воскресные вечера, склоняясь над счетными книгами.

Глава XIII

В этом году ноябрь стоял солнечный. Мама проводит меня в Бордо, поможет уложить чемодан и вернется одна в Мальтаверн; она это решила твердо. Но я повторял без конца, что ничего не хочу решать заранее и останусь с ней, если найду нужным, хотя вижу, что от меня ей теперь помощи нет. Она не стала спорить даже для виду.

За день до нашего отъезда она попросила меня пойти вместе с ней к мельнице г-на Лапейра. Я признался, что и сам хотел пройти еще раз этот путь, но не мог собраться с силами.

— Вдвоем мы сможем,— сказала она.

На маме была ее городская шляпка, она натянула черные перчатки и раскрыла зонтик. Она не носила траура, она не имела права носить траур по Жаннетте, которая не была ей родственницей, но теперь в ее туалете не проявлялось ни малейшей небрежности, допустимой в деревне, как будто мертвая девочка, неотступно стоявшая перед ней, обязывала ее к строгому соблюдению неписаного церемониала.

Мама, которая в обычное время редко ходила на прогулки, выступала по песчаной дороге, покрытой ковром сосновых игл, с особой величавостью. Когда показалась мельница, она взяла меня под руку, раньше она этого не делала никогда.

— Вот отсюда я ее увидел,— сказал я,— сначала я подумал, что это мальчик.

Мама остановилась. Она долго смотрела на спящую в запруде воду, не потревоженную ни одним дуновением. Она попросила повести ее в то место среди папоротника, где я сидел.

— Кажется, это было здесь. Да, здесь.

Она застыла, повернувшись лицом к сонной воде, и тут я увидел, как она, никогда не плакавшая при нас, прижала к глазам затянутую перчаткой руку. Она сказала:

— Дай мне твой платок.

— Пора возвращаться, мама. Вернемся коротким путем.

Она не ответила, вышла из зарослей и направилась к запруде. Нет, это невозможно, нельзя подвергать ее такому испытанию. Я взял ее под руку, но она отстранилась. О, как долго тянулись бесконечные минуты, пока я смотрел в воду на искаженное отражение моей матери, одетой по-городскому, в шляпе и перчатках, под раскрытым зонтиком!

— Вернемся,— сказала она наконец.

Мы пошли по песчаной дороге, которая для маленькой Серис оказалась последней дорогой в ее жизни. Я должен был показать маме, на каком расстоянии от меня то чинно шагала, то весело подпрыгивала бедная Красная Шапочка.

— Ах! — прошептала она. — Вот тропинка, к которой она побежала, когда увидела тебя...

— Да, здесь она свернула в лес.

Словно отыскивая затерянный след, мама расспрашивала меня, пристально вглядываясь в землю:

— Ты уверен, что именно здесь она свернула?

В лес мама не пошла. Она стояла неподвижно, возвышаясь над папоротником, лицом к соснам, которые видели все... Я попытался взять ее за руку, но она вырвала ее и, не поворачивая головы, произнесла вполголоса:

— Все оттого, что она тебя боялась. Если бы ты просто не обращал на нее внимания, как всякий юноша твоего возраста на любого ребенка, она бы и не подумала бежать, ничего не случилось бы, она была бы жива. Она пришла в такой ужас, потому что знала, как ты ее ненавидишь...

— Нет, мама, нет! Она знала, и ни от кого другого, как от тебя, что я не хочу этого брака, задуманного из корыстных соображений.

— Не из корыстных. Это ты мне их приписывал.

— Ты никогда ни о чем мне не говорила, я не мог предполагать ничего другого...

— Но ведь ты так ее ненавидел, что я боялась произнести при тебе ее имя. Едва бы я раскрыла рот, ты заставил бы меня замолчать, ты ушел бы, хлопнув дверью. Она знала, что ты дал ей эту мерзкую кличку. Вот отчего она умерла. Да, она была уже ранена насмерть, когда бросилась в лес. Давно уже ты нанес ей этот удар шпагой.

— Ты слишком несправедлива, мама.

Я снова хотел взять ее под руку, но она оттолкнула меня почти грубо и пошла вперед одна, а я тащился следом, повторяя: «Ты слишком несправедлива, слишком несправедлива...» Тогда она полуобернулась и сказала с вызовом:

— Да, это ты! Это ты...

— Неужели, бедная моя мама, ты не видишь, что если я виновен в этом несчастии, то и ты тоже, ты прежде всего. Ведь ты сделала все, чтобы этот план стал мне омерзителен. В прошлом ты всегда решала за меня, но в конце концов мне двадцать два года, у меня вся жизнь впереди, а ты собиралась распорядиться ею по своему усмотрению, и напрасно ты отрицаешь — ни о чем другом, кроме земель Сериса, не было и речи. Никогда, ни в какую минуту не мог я догадаться о твоей привязанности к девочке...

— Потому что я боялась рассердить тебя еще больше, если бы ты узнал, что я люблю ее...

— Больше, чем меня?

Она не ответила. Она взбиралась на террасу Мальтаверна, останавливаясь на каждой ступеньке. В прихожей она снова оттолкнула меня:

— Мне надо остаться одной. Мне больше никто не нужен. Пойми меня, никто.

Я услышал, как закрылась дверь в ее комнату, и присел у камина. Поднялся ветер, сосны, размахивая ветвями, казалось, подавали мне знаки в окно. Их протяжный жалобный стон сливался с рвущимся из меня неммым криком, с ропотом против бога.

Я не стал зажигать лампу. На что мне решиться? Мало сказать, что моей матери я сейчас не нужен: мое присутствие для нее невыносимо. И все-таки я должен охранять ее, быть рядом, чтобы отозваться на первый ее зов. Ее враждебность смягчится, волей-неволей ей придется прибегнуть ко мне: ведь, кроме меня, у нее нет никого. Да, но если она откажется уехать отсюда, что будет со мною? Проведем ли мы с глазу на глаз всю зиму в Мальтаверне или я останусь один на улице Шеврюс, под присмотром Луи Ларпа?

Мои мысли сменялись без всякой связи. Сам не знаю, сколько времени прошло, пока я сидел, не зажигая света, у камина. Сумерки за окном сгущались, и я различал уже только два бледных пятна вместо моих рук, лежавших на острых

коленях, когда я услышал на лестнице мамины тяжелые и медленные шаги. Обедать было еще рано. Значит, она возвращалась ко мне. Она вошла. Я не встал с кресла. Она провела рукой по моему лбу и откинула волосы назад, как бывало в детстве для вечернего поцелуя, но в этот вечер поцелуя не последовало. Тем не менее она заговорила с нарочитой нежностью, вообще ей несвойственной.

— Надо забыть все, что мы наговорили друг другу, бедный мой мальчик. Мы оба были несправедливы. Помню, я огорчалась, когда ты уверял, что между нами нет никакого обмена мыслями, что мы никогда друг с другом не разговариваем по-настоящему, как в театре или в романах. Ну что ж, по дороге с мельницы мы наверстали упущенное.

— Да, все это вырвалось у нас против воли.

— То, что у нас вырвалось — у меня во всяком случае, — надо забыть. Я искала, на кого бы пожаловаться, на кого бы свалить вину. И ты тоже... Вот мы и сваливали друг на друга...

— Да, — ответил я мрачно, — как два сообщника на суде, обвиняющие один другого.

Она сказала:

— Замолчи!

Я не видел ее, но слышал, что она плачет. Я встал, обнял ее, попросил прощения.

— Нашей вины тут не было, мама. Все, что мы делали, могло привести на худой конец только к недоразумению, а оно бы в конце концов рассеялось, даже очень скоро рассеялось: ведь мне не терпелось узнать, кто эта купальщица, и я узнал бы это в тот же вечер, не приди телеграмма от Симона.

— Это ничего бы не изменило. К тому времени все уже свершилось.

— Да, мама, и ни ты, ни я не виноваты в этом ужасном совпадении. Такие преступления всегда бывают случайностью. Всегда можно сказать: «Если бы девочка пошла по другой дороге...»

Она прошептала:

— Теперь все кончено. Это было, это свершилось.

Мы сидели молча. Я различал только неясную темную фигуру в кресле напротив.

— Послушай, Ален, оставим пустые слова и будем говорить прямо. Для тебя вопрос решен, тебе надо уехать. Так будет лучше для нас обоих. Ты будешь часто писать мне: в письмах люди не раздражаются. Будешь рассказывать о своей жизни, вернее, о той части своей жизни, о которой сможешь мне рассказать. Я стану заниматься твоими делами; если я заболею, достаточно послать телеграмму — «дион» может ждать тебя в Бордо, и в тот же вечер ты будешь здесь.

— Да, на расстоянии тебе будет легче со мной, ты снова ко мне привыкнешь...

И на этот раз она не стала спорить. Но слышала ли, поняла она меня? Она спросила:

— Ты твердо решил ехать послезавтра? Один день, так или иначе, надо провести в Бордо...

— Нет, мама. Книжки, которые я хочу взять с собой, у меня здесь. Автомобиль отвезет меня прямо к парижскому поезду. Он отходит в одиннадцать чetyре.

— Но ведь почти все твои вещи на улице Шеврюс...

— У меня здесь есть все необходимое для студента, которым я собираюсь стать для начала, а студента никто не станет приглашать в гости, он ни с кем не знаком.

— Но в конце концов у тебя завяжутся знакомства...

— Возможно... Но прежде чем выходить в свет, я все-таки посмотрю, как одеваются в Париже. Вспомни, чего только не натерпелся бедный Люсьен де Рюбампре, когда явился в Париж одетый, как в Ангулеме.

— Кто этот Люсьен де Рюбампре? — спросила она рассеянно, словно не ожидая ответа.

— Полно, мама! Ты ведь читала «Утраченные иллюзии»! Я сам тебе давал их.

— О, ты знаешь, я ведь не то, что ты: у меня в голове ничего не остается, все проходит насквозь.

Она принялась ворошить головешки в камине, опершись, как всегда, локтями на колени, и вдруг сказала:

— Надо телеграфировать этой особе, пусть встретит тебя на вокзале и посадит в поезд.

— Нет, мама. Меня уже не нужно сажать в поезд. К тому же я ненавижу вокзалы не меньше, чем кладбища. Я начну новую жизнь послезавтра, в одиннадцать часов. Это будет мое второе рождение.

Жена Прюдана доложила, что обед подан.

— Подумать только, — сказала мама, поднимаясь, — я буду есть с удовольствием: я голодна.

Мы сидели друг против друга под висячей лампой, она коптила, пахло керосином. Я вдруг почувствовал радость при мысли о скором отъезде в другой мир, в другую жизнь.

Нет, это была не радость — это было нетерпение, какое испытываешь в нескончаемом душном туннеле: нужно вырваться из него во что бы то ни стало, как можно скорее, бежать навсегда, не оглядываясь, унося все свои сокровища в самом себе.

Моя мать тяжело поднялась из-за стола, и мы снова устроились, каждый в своем кресле. Она подбросила полено в огонь и, как всегда, приподняла юбку, чтобы погреть ноги. Не глядя на меня, она сказала:

— Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что тебе следует известить эту особу о своем отъезде и сообщить ей, когда отходит поезд.

— Тебе не кажется смешным, мама, что именно ты...

Я вовремя остановился, побоявшись причинить ей боль каким-нибудь неосторожным словом.

— Да, — сказала она, — я дурно о ней думала. Она была для меня женщиной, которая угрожала счастью моей малютки. Разве могла я вообразить, что, прежде чем погубить это счастье, погубят ее, бедную мою девочку, и какой страшной будет эта гибель. Все мне представляется теперь по-иному, и люди и их поступки... Или, вернее, я их вижу такими, какие они есть, не хуже, не лучше. Ах, теперь мне будет нетрудно выполнять заповедь: «Не судите...» Нет, больше я судить не буду. А кроме того, я знаю эту особу лучше, чем ты думаешь. Я не рассказывала тебе подробно, о чем мы говорили в те два часа, когда ты спал как убитый после показаний в жандармерии. Она не разыгрывала комедию, поверь мне. Она думала только об одном — чтобы я не выпускала тебя из виду. Она боится, что ты страдаешь недугом, который она наблюдала у отца Х., сыгравшего такую роль в ее жизни. Я поняла, чем она была для тебя, чем могла быть и дальше... Да и не все ли равно теперь, она ли, другая... Она заняла бы мое место, она защищала бы тебя, охраняла, не требуя ничего взамен. Когда-то ты сказал мне, что больше, чем она, не выстрадала ни одна девушка ее возраста. Теперь я понимаю, что это значит: она переступила черту, за которой больше нет ничего. Раньше, хотя я была уже старухой, я жила своей надеждой, ненавидела все, что ей угрожало. Но теперь... почему бы и не она в конце концов? Я протяну еще некоторое время, но не так уж долго. Ты останешься один. Так вот, почему бы и не она?

— Нет, мама. Не начинай все сызнова, не будем начинать сызнова. Моя жизнь здесь подобна смерти, мне нужно вырваться из нее, и я вырвусь. Если не выдержу и погибну, что ж — чем скорее, тем лучше. Но нет, я буду жить! Я буду жить!

— Неблагодарный! Ты всегда был неблагодарным. Теперь это узнает и эта особа, а я это знала всегда.

— То, что могла мне дать только она, и то, что она дала мне,— я никогда не забуду, сколько бы я ни прожил на свете. Но пойми меня, мама, я тоже переступил черту, за которой уже нечего думать о счастье: речь идет о том, чтобы заставить себя жить. Эту черту я переступил в двадцать два года, а ты — после шестидесяти.

Эти слова я говорил маме за день до моего отъезда в Париж. Но теперь они превратились в письменную речь. Я занимался этим транспонированием, с тех пор как начал свои записи, без всякой задней мысли, только потому, что всегда был первым по сочинению и продолжал писать с привычным рвением прилежного ученика. Теперь для меня настал час, не умирая от стыда, взглянуть прямо в лицо искушению, поддаться которому я смогу, лишь когда мамы больше не будет: пусть книжка в бумажном переплете, ценой в три франка, станет завершением всей этой муки. Новый, родившийся во мне человек проявит свои силы и мужество, дерзнув использовать для своего восхождения собственную судьбу, которая станет содержанием книжки в бумажном переплете ценой в три франка.

Мы еще долго беседовали во время этого вечернего бдения, пока, наконец, не поднялись молча в свои комнаты (неся перед собой все ту же сохранившуюся с былых времен лампу «голубку» — иначе нельзя было бы выключить на первом этаже электричество!). но в моей памяти не сохранилось больше ничего. Наверное, я был несколько рассеян; все мое внимание было поглощено возникшей передо мной очевидной истиной, которую до той поры я никогда ясно не признавал: я понял, что отказ от мамы и отказ от Мари был продиктован мне одной и той же необходимостью; дело было не в моей эгоистической или жестокой натуре, не в моей сухости по отношению к другим. Чувство, наконец проявившееся во мне, чувство, которому я подчинился с холодной решимостью, заключалось в желании выжить, и это двойное отречение стало для меня непрременным условием.

Долгой осенней ночью, вытянувшись на ледяных простынях, безуспешно пытаюсь согреться в своей деревенской спальне, я методически продумывал все от начала до конца. Лампа «голубка» еще горела, но вне узкого светового круга комната была залита полумраком, столь удобным для призраков, живых и умерших. Я спрашивал себя, поможет ли мне полная безликость номера в парижском отеле заклясть эти призраки? Нет, я не боялся их, но начать эту новую и неизвестную жизнь я смогу, лишь когда они умолкнут и не будут отвращать меня от предстоящей битвы.

Я не останусь одинок, это я знал. Я буду любим, это я знал. Но я заранее решил не перекладывать свое бремя на чужие плечи. Достаточно я чернил себя, чтобы еще подбавлять черной краски в описание моего характера. Этой ночью у меня не было и мысли о том, чтобы использовать других людей, заставить их служить моему успеху или моим удовольствиям. Я не знаю, что называет господь грехом против духа, который он провозгласил грехом непростительным, но я знаю, я всегда знал, что такое грех против плоти. Малютка Серис, изнасилованная и задущенная, это и есть чудовищный образ преступления против духа, безнаказанно совершаемого множеством людей, которые даже не знают, что они виновны, а может быть, они и на самом деле не виновны. Но я, господи, что бы я ни делал, я виноват перед тобой. Я буду стараться вернуть себе чистоту.

Таково было содержание моей молитвы в эту предпоследнюю ночь в Мальтаверне: мысль моя блуждала между прошедшими временами и грядущими, между пережитыми страданиями и теми, что еще предстоит мне пережить вместе с новыми встречами, крушениями, ошибками, болезнями и неожиданностями. Я всегда думал только о своей собственной истории, как будто история Франции меня не касалась.

Я снова принимаюсь за эту тетрадь в комнате, такой же тихой и мирной, как моя комната в Мальтаверне. Окно ее смотрит в узкий садик отеля «Эсперанс» на улице Вожирар, против семинарии кармелитов. Гул Парижа глуше, чем гул сосен в парке под дыханием равноденственных бурь; я спокоен, я не страдаю. Вчера, воскресным утром, я продавал газету Санье «Демократия» при выходе после большой мессы в церкви Сен-Сюльпис. На второй же день после приезда я пошел записаться на бульвар Распай. Для начала мне дали это поручение, не поглядев на звание лицензиата философских наук, которым я, кажется, похвалился впервые. Без сомнения, они были правы, подвергнув меня такому испытанию — оно оказалось решающим: больше они меня не увидят. Пять или шесть лет назад я бы на это согласился; сейчас слишком поздно. Итак, не остается ничего другого, как посещать библиотеки, записаться на факультет слушать лекции, быть студентом среди студентов, ничем не выдавая того, что я несу в себе, хотя, возможно, мой груз не тяжелей того, что отягощает любого из них. Но за эту историю отвечаю я, и никто другой, это я слежу, чтобы ничего из нее не пропало, чтобы не пропало ничего из отрочества, не похожего на все другие. Да, это было отрочество, самое богатое и вместе с тем самое обездоленное, а главное — самое одинокое; и как ни мало участников в этой драме, у кого из других юношей есть такая мать, как у меня, кто из них хранит в своем сердце оскверненную и задушенную маленькую девочку?

Последние страницы этой тетради должны ясно ответить на один, казалось бы, простой вопрос, от которого, однако, я ухожу с тех пор, как приехал в Париж. Андре Донзак живет напротив моего отеля в семинарии кармелитов, но он полагает, что я еще в Бордо. Почему я не дал ему знать о себе? Сначала я рассчитывал на случайную встречу, которая казалась мне неизбежной, как будто улица Вожирар была улицей Шеврюс! Говоря откровенно, я боюсь этой встречи. Почему? Я ведь отлично знаю, что обязательно должен ее добиться. Мне нужно, чтобы кто-нибудь ввел меня в Сорбонну, и не просто торопливый и равнодушный посредник, а друг, такой, как Донзак, который знает меня и взялся бы руководить мною, пока это понадобится, — в Сорбонне, в библиотеках, а также в музеях. Я живу в двух шагах от Люксембургского музея, от зала Кайеботта, где Андре бывает чуть не каждый день; я поклялся ему, что не пойду туда без него: он хочет видеть, как я впервые взгляну на «Балкон» Мане. Я подожду, я терпелив: парижские улицы стоят всех музеев.

По правде говоря, у меня есть более настоятельный повод выманить Донзака из берлоги: я жажду снова заполучить мои тетради, которые он держит у себя. Ах! Это главное! А вдруг пожар уничтожит ветхую семинарию, вдруг Донзак умрет скоропостижно... Дневник подростка. Какое безумие ставить свою жизнь на одну эту карту! Однако же я поступаю именно так. Слава богу, кроме меня, никто об этом не знает и не может надо мной посмеяться.

Сейчас мне еще нужно заполнить четыре страницы еженедельного письма к маме. Душевные переживания ей ни к чему, я должен, как она говорит, «что-нибудь рассказать». До сих пор я писал ей только о своем отеле, о том, как меня кормят и обслуживают. В двух кратких ответах она сообщала о своем здоровье и о продаже леса.

Но копнем немного глубже. Донзак принадлежит, по крайней мере в данный момент, к тому же подзолу, к тем же пескам, из которых я вырвался, чтобы не умереть. Боюсь, что, как только мы встретимся, одно его присутствие развеет чары Парижа. Как определить эту пьянящую колдовскую силу? Я брожу, словно хмельной, я погружаюсь в людскую реку, меня уносит ее течением, и я то плыву по поверхности тротуаров, то ныряю в бары и погребки вроде «Тavernы Пантеона» на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суффло. В Бордо я был молодым Гажаком и боялся людей, но в Париже я — никто, не известный никому на всем белом свете человек, лишенный имени, хотя к сожалению, не лишенный лица — дело в том, что тут полно охотников за приятными лицами, но я их не

боюсь, в подобной охоте дичь должна быть сообщником ловца, а этого, я уверен, со мной не случится.

Я брожу по ночам, пока ноги способны носить меня. Ах! Теперь я знаю, почему столько лет я шагал через леса Мальтаверна то в сторону «большой сосны», то к «старика из Лассю»!

Первые вечера я не переходил на другой берег Сены. Я стоял, облокотившись на парапет моста, — я любил эти парапеты, на них опирались Бодлер, и Морис де Герен, и множество вымышленных персонажей! Я читал про себя «Пьяный корабль» (Рембо я узнал только в этом году) и Виктора Гюго, чей дух витал над любимым камнем. Но вот однажды я перешел через Сену и теперь перехожу почти каждый вечер. Подле Лувра, у самой стены дворца, есть каменные скамьи, где по ночам никто не сидит. Я сажусь передохнуть и созерцаю прославленную, неизменную декорацию, — но сейчас, в 1907 году, Стефан Пиншон, Бриан, Баргу (хотя, правда, еще Клемансо и Пикар...) — это лилипуты, резвящиеся в шекспировских декорациях. Я поднимаюсь по улице Риволи до площади Конкорд. И там подмостки пусты, антракт: в 1907 году не происходит ничего. Все, что произойдет в будущем, я еще увижу, мне двадцать два года! Я всегда увлекался историей, сам того не зная. В Париже я это понял. Всматриваясь в оба дворца, возведенные Габриелем, я думаю о том, что зарождается в этом лилипутском 1907 году и что мне суждено увидеть...

Окончательно выбившись из сил, я останавливаюсь у кафе Вебера, единственного, куда я решаюсь заходить, кроме привычных кафе Латинского квартала. От постыдного страха истратить лишний грош, связывавшего меня в Бордо, не осталось и следа. Я заказываю дюжину устриц и полбутылки «мумма». Не знаю, какой у меня при этом вид, на кого я похож, за кого меня принимают. Но, говоря по совести, вряд ли я зашел бы еще хоть раз к Веберу, если бы не пара, которую я встретил там в первый же вечер и встречаю теперь всегда. Старая женщина приходит первой. У нее волосы с проседью, подстриженные, как у Жанны д'Арк. Да, старая Жанна д'Арк — вот на кого она похожа. Ей подадут холодное мясо по-английски и кружку пива. Она курит, не сводя глаз с входной двери. Другая появляется незадолго до полуночи, у нее усталый вид, она голодна: интересно, после какой работы она приходит? На Жанну д'Арк похожа и эта, но у нее белокурые волосы и она одних лет с Жанной д'Арк. Когда я ее увидел во второй раз, она посмотрела на меня, она меня узнала. Старуха наблюдала за ней в зеркале.

Домой я возвращаюсь в оинибусе на резиновом ходу, отыскав по цвету фонарей тот, что идет на улицу Вожирар.

Иногда в ненастную погоду я не иду дальше кафе, расположенных на бульваре Сен-Мишель. Я избегаю только кафе Арку из-за толкующихся там жалких назойливых и гнусавых проституток. В такие вечера я попадаю под власть своей навязчивой идеи. Тайна зла, являвшаяся для меня лишь одним из аспектов духа, раскрывается передо мной воочию. Зверь, набросившийся на маленькую Серис в лесу у мельницы г-на Лапейра, кажется мне, бродит повсюду, но здесь за каждым чудовищем злобно следят другие, и оно мечется без маски, не скрывая свои безумные глаза и омерзительный рот, который надо прятать от всех.

Я еще не решаюсь добраться до Монмартра. Латинский квартал и его фауна мне уже привычны, у меня тут есть знакомые, но Монмартр внушает мне страх. Я немало слышал о нем в «Таверне Пантеона», где всегда много народу, где любой может обратиться к вам с вопросом. Я отвечаю охотно: ведь я — никто.

Я ложусь около двух часов и погружаюсь в глубокий сон, которого не знал в Мальтаверне, где утренние петухи будили меня на заре. В Париже я выплываю на поверхность, когда рабочий люд уже несколько часов занят своим делом. Слишком поздно, чтобы идти к утренней мессе, если это не воскресенье. В полдень я завтракаю вместе с другими студентами, живущими в отеле, — единственное время дня, когда я разговариваю с себе подобными, с людьми, которые знают

мою фамилию и имя, знают, из какой провинции устремился я в Париж, которые ненавидят или боготворят Моррасса, а мне настолько безразличны, что я их просто не вижу.

Потом я снова брожу; но после полудня стоянками мне служат церкви, хотя мой дневной путь не отличается от ночного: во всем, что видели мои глаза ночью, я требую отчета у бога. Я начинаю всегда с церкви Сен-Сюльпис, к ней я спускаюсь по узкой улочке Феру, где жил студентом мой отец в последний год империи. Внутри церкви мой маршрут тоже неизменен: я останавливаюсь справа от входа перед фреской Делакруа. Я чувствую себя одновременно и Иаковом и ангелом; я сам в смертельной схватке с самим собой. У меня рассеянный вид, но нет, я тверд и упорен, я требую ответа, стоя за главным алтарем перед святой девой Пигалья, которую Донзак терпеть не может, а я люблю. Я остаюсь там долго, сколько могу выдержать, потом выхожу на улицу Сервандони. Добравшись до набережных, я поднимаюсь вдоль Сены до Собора Парижской богородицы. Я ныряю в него, я погружаюсь на самое дно, как в церкви Сент-Андре в Бордо, но попадаю во власть бушевавшей здесь человеческой истории, и она заслоняет от меня бога.

Иной раз я просыпаюсь еще до рассвета. По деревянной мостовой шуршат колеса запоздалого фиакра. Мне кажется, что больше со мной ничего не случится, все выпито до капли, съедено до крошки, и та ночь на балконе Мальтаверна рядом с Мари, которая меня любила, — это все, что было мне суждено. Я — нищий, уже получивший подаяние, и нечего мне больше ждать — даже горя, потому что и свою долю горя я получил в тот день, когда маленькая девочка бежала передо мной по дороге от мельницы г-на Лапейра, а потом сухой сучок хрустнул у меня под ногой и она оглянулась.

И все-таки кое-что случилось, но это такая малость, что я даже не знаю, стоит ли вспоминать. Вчера вечером старая Жанна д'Арк не появилась у Вебера: может быть, заболела. Я думал, что молодая тоже не придет, однако же все время поглядывал на дверь. Она вошла в обычный свой час, села за столик, долго изучала меню, словно не зная, что все равно закажет мясо по-английски; потом подняла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась.

Перевела с французского Р. Лицнер.



ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Генерал-лейтенант
Г. СОФРОНОВ

★

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Жизнь моя сложилась так, что мне посчастливилось видеть и слышать Владимира Ильича Ленина. И не раз. Разумеется, тогда никто из нас — ведь мы были молоды, хотя в рядах партии находились не один год, — и в мыслях не имел, что Ильич так скоро уйдет от нас. Он вел всех к будущему, жил будущим, олицетворял это будущее. Мы жадно, всем существом внимали каждому его слову, следили за каждым его жестом, взглядом, выражением лица, но мы не думали о том, как бы получше сохранить в своей памяти — и уж тем более на бумаге — его слова, тон, каким они были сказаны, какие-то лично тобой воспринятые черточки облика и неповторимое ощущение от общения с ним. И все же кое-что сохранилось.

...Март 1918 года. В Москве созывается IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Я прибыл на съезд делегатом от Румчерода¹. На этом съезде, как известно, рассматривался вопрос о ратификации Брестского мирного договора. Среди делегатов были не только большевики, но и представители других партий — меньшевики, эсеры, анархисты. С сообщением выступил заместитель наркома иностранных дел Г. В. Чичерин. Около получаса он рассказывал об условиях Брестского договора, текст которого был роздан нам накануне. Голос Чичерина был слаб для Большого театра, где происходил съезд. Да к тому же в переполненном зале стоял шум. Выкрики меньшевиков и других противников Брестского договора несколько раз прерывали Чичерина. Затем с докладом по этому вопросу выступил В. И. Ленин. Вот тогда я и услышал впервые выступление вождя трудящихся. Впоследствии, как уже упоминалось, я еще не раз видел и слушал Владимира Ильича, даже разговаривал с ним, но это его выступление 14 марта 1918 года — горячее, полное веры и убежденности — особенно крепко врезалось в память.

Объявление председательствующего о том, что слово предоставляется товарищу Ленину, было встречено дружными аплодисментами большевиков и злобными выкриками и свистом меньшевиков, социалистов-революционеров и других противников договора, заключенного Советским правительством с немцами 3 марта.

Свой доклад о ратификации этого договора Ленин произносил не с трибуны, а спокойно похаживая по сцене. В одной руке он держал небольшой блокнот, в который изредка заглядывал, а другую то засовывал в карман брюк или за вырез жилетки, временами закидывал руку за спину. Выразительно жестикулируя, Ленин усиливал впечатление от сказанных им слов.

¹ Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа, существовавший с мая 1917 по март 1918 года.

Он говорил быстро — по подсчетам стенографисток от ста до ста двадцати слов в минуту, — но каждое из них доходило до слушателей. Вначале шум и выкрики правого крыла прерывали речь Владимира Ильича, но вскоре его сильный голос и, главное, личность и убежденность заставили внимательно слушать всех. Закончил свое выступление Ленин под аплодисменты.

Затем с докладом выступил левый социалист-революционер Б. Д. Камков¹. В начале своей речи он для приличия слегка покритиковал правых эсеров и меньшевиков за участие их в правительстве Керенского и за соглашения с Францией, Англией и Америкой, но в основном речь его была направлена против ратификации Брестского договора. В заключение Камков заявил, что ввиду несогласия с Брестским договором представители левых социалистов-революционеров выходят из состава Советского правительства.

Ленин в заключительном слове не стал отвечать на клеветнические заявления эсеров и меньшевиков, а подверг резкой критике содоклад Камкова. Тот, находясь в партере, несколько раз подавал с места, и довольно громко, реплики, но Ленин не реагировал на них. Тогда Камков вскочил и, размахивая газетой, начал что-то кричать, стараясь заглушить голос Ленина. Председательствующий принялся наводить порядок.

Ленин продолжал говорить относительно выступления Камкова и, приведя его вопрос относительно того, каков будет срок передышки, с лукавой усмешкой ответил словами старинного изречения: «Один дурак может больше спрашивать, чем десять умных ответить». Ответ Ленина вызвал шумные аплодисменты почти всего зала.

Как известно, при голосовании 15 марта IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов 784 голосами против 261 при 115 воздержавшихся ратифицировал Брестский мирный договор — такова была сила ленинских доводов.

Летом 1918 года меня направили на учебу в Москву в Военную академию. Там меня сразу же выбрали секретарем партбюро. По делам академии мне часто приходилось бывать в Московском комитете партии, Моссовете, у командующего войсками Московского военного округа. Участвовал я и в различных заседаниях, получал гостевые билеты на партийные, советские и профсоюзные конференции и съезды, где выступал В. И. Ленин и другие видные партийные и государственные деятели.

Помню, как торжественно праздновали в Москве первую годовщину Октябрьской революции. Улицы города были иллюминированы, украшены флагами и гирляндами. На домах висели портреты революционных вождей международного пролетариата. На площадях были построены подмостки для оркестров и выступлений артистов. Особенно красочно были убраны Театральная, Красная площадь и площадь Революции.

Над входом в Большой театр висело огромное панно с изображением Степана Разина. На площади Революции на здании Исторического музея висели плакаты и портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Либкнехта, Маклина, Дебса, Адлера, Серрати.

В канун годовщины, 6 ноября, открылся VI Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, на котором с большой речью выступил В. И. Ленин, но я, к сожалению, не попал на это заседание. Вечером 6 ноября вместе со слушателями академии и трудящимися Москвы я принимал участие в народном гулянье. По Тверской улице к Красной площади шел нескончаемый поток людей. Здесь в восемь часов вечера происходило «сожжение старого режима». На Лобное место вынесли чучело буржуа, облили керосином и под ободряющие возгласы зрителей сожгли. После фейерверка выступали артисты. Прямо на площади танцевал народ.

¹ Б. Д. Камков (1885—1938) — лидер левых эсеров, один из организаторов левоэсеровского мятежа в Москве. За контрреволюционную деятельность был осужден, впоследствии работал в области статистики.

Утром 7 ноября на площади Революции должно было состояться открытие памятника Марксу и Энгельсу, а на Красной площади — мемориальной доски памяти бойцов, погибших в Москве в дни Октябрьской революции и захороненных у Кремлевской стены.

Накануне я договорился с Н. И. Мураловым — командующим Московским военным округом, с которым работал еще в 1909—1914 годах в Серпуховской партийной организации, — что встретимся с ним у памятника Марксу и Энгельсу.

Когда я 7-го утром шел через Театральную площадь, у здания Большого театра строилась колонна. Это были делегаты VI съезда Советов. В голове колонны я увидел В. И. Ленина, Я. М. Свердлова, В. А. Аванесова¹ и других.

Аванесов хорошо знал меня и пригласил пристроиться к их колонне. Я поблагодарил Варлаама Александровича и встал в строй сразу же за ним.

Вокруг сновали фоторепортеры, то и дело щелкая аппаратами. Позже выяснилось, что мне очень повезло: я попал в объектив и был запечатлен на фотографии вместе с Лениным, Свердловым, Аванесовым и другими делегатами VI съезда Советов. Я находился всего в двух-трех шагах от Ленина. Владимир Ильич был в зимнем пальто и шапке. Он, видимо, еще не совсем поправился после ранения, был задумчив и только изредка перебрасывался короткими фразами со Свердловым и Аванесовым.

Я не сводил с Ленина глаз. Раза два и он взглянул на меня, наши взгляды встретились.

Вскоре кто-то сообщил, что пора идти, и колонна без всяких команд дружно двинулась на площадь Революции. Ровно в десять часов колонна делегатов VI Чрезвычайного съезда Советов во главе с Лениным подошла к памятнику. Он был сооружен неподалеку от нынешнего входа в станцию метро «Площадь Революции». В толпе, окружавшей памятник, я сразу же нашел Муралова. Рядом с ним стояли ярославский губвоенком М. В. Фрунзе и работник штаба военного округа мой школьный товарищ Г. П. Самсонов. Я присоединился к ним.

Памятник был еще закутан полотнищем. На одной стороне его постамента была надпись: «Революционный вихрь отбрасывает всех ему сопротивляющихся». На другой: «Освобождение рабочих есть дело самих рабочих».

Владимира Ильича встретили аплодисментами. Он подошел к памятнику и, обращаясь к собравшимся, произнес свою известную речь о великой всемирной исторической заслуге Маркса и Энгельса.

Потом Владимир Ильич дернул за шнур — и покрывало соскользнуло под звуки «Интернационала», который исполнял оркестр, к подножию памятника. Присутствовавшим открылись фигуры беседующих Маркса и Энгельса. Взоры обоих устремлены вдаль.

Этого памятника давно уже нет на том месте. Он был сделан, видимо, из алебастра. Дожди и морозы быстро разрушили его, и он был снят.

К Ленину подошел Я. М. Свердлов и другие товарищи, они стали рассматривать детали памятника. Владимира Ильича репортеры несколько раз фотографировали. Как же я был взволнован и обрадован, когда в недавно изданной книге П. Виноградской «События и памятные встречи» я увидел фотографию «В. И. Ленин на открытии памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу» и узнал на ней себя, Муралова и других старых партийцев, стоявших тогда возле Владимира Ильича.

С площади Революции колонна депутатов съезда Советов направилась на Красную площадь. Мы с Мураловым присоединились к ней. За этой колонной к Кремлевской стене последовали и колонны трудящихся Москвы. Оркестры играли «Марсельезу» и «Интернационал». Все пели.

¹ В. А. Аванесов (1884—1930) — член партии с 1903 года. В 1917—1919 годах — секретарь и член Президиума ВЦИК.

Колонна депутатов с Лениным во главе остановилась у братских могил. Здесь на Кремлевской стене была накануне установлена мемориальная доска в память захороненных в этих могилах нескольких сотен борцов, павших в Москве в дни Октябрьской революции.

Председатель Московского Совета П. Г. Смидович, открывая торжественный митинг, передал В. И. Ленину поручение Московского Совета открыть мемориальную доску. Владимир Ильич поднимается на возвышение, чтобы разрезать ленту и освободить от красной завесы мемориальную доску. С трудом дотягивается до ленты. Ему стараются помочь В. Н. Подбельский и другие товарищи. Но это, видимо, лишь причиняет Владимиру Ильичу физическую боль, так как рана от эсеровских пуль на его плече еще не успела зажить.

Но вот лента перерезана. Оркестр и хор исполняют кантату Шведова на слова С. Есенина, С. Клычкова и М. Герасимова. Завеса падает, и мы видим белокрылую женскую фигуру с развевающимся красным знаменем в одной руке и с зеленой пальмовой ветвью в другой. Надпись на доске гласит: «Павшим в борьбе за мир и братство народов».

Владимир Ильич, поднявшись на трибуну, обратился с короткой речью к трудящимся Москвы, призвал их почтить память павших борцов клятвой быть такими же бесстрашными героями, какими были они.

27 ноября 1918 года я был на собрании партийных работников Москвы. С докладом о мелкобуржуазной демократии выступил В. И. Ленин. Меня особенно взволновало то место его доклада, где он говорил о патриотизме. Дело в том, что за несколько дней до этого (21 ноября) в «Правде» была помещена статья Владимира Ильича «Ценные признания Питирима Сорокина», в ней он также затрагивал вопросы патриотизма, и у нас в академии среди преподавателей и слушателей разгорелись споры. Мне не все было ясно в этом вопросе, и я, как секретарь партийной организации, испытывал серьезные затруднения, да и просто сам для себя хотел разобраться во всем этом. Когда Владимир Ильич сказал прямо и честно, что, заключая Брестский мир, мы шли против патриотизма, требовали от коммунистов принести в жертву все свои патриотические чувства во имя международной революции, которая придет, которой еще нет, но в которую они должны верить, раз они интернационалисты, и что теперь даже мелкобуржуазный патриотизм поворачивает в нашу сторону, — мои сомнения и неуверенность сразу же отпали. И я впоследствии уже уверенно вел политико-разъяснительную работу в академии.

Слышал я Ленина и в марте 1919 года на VIII съезде партии. Хотя на этом съезде я был гостем, но присутствовал на всех заседаниях. Гостей было очень мало, и мы сидели вместе с делегатами, даже имели доступ на заседания комиссий, выделенных съездом.

Съезд открыл короткой речью Ленин. Под его председательством съезд избрал рабочие органы и утвердил порядок работы.

В зале находились представители Исполкома Коммунистического Интернационала. Их избрали почетными членами президиума. Ленин сначала на немецком, потом на французском языке обратился к ним с предложением занять места в президиуме. Затем, передав председательствование кому-то из членов президиума, Владимир Ильич выступил с отчетным докладом о деятельности ЦК партии. Когда он с папкой в руках взшел на трибуну, зал разразился громом аплодисментов.

Владимир Ильич сжато доложил съезду о политике партии за время, прошедшее после VII съезда. Все время доклада он не сходил с трибуны. Папку с бумагами он положил перед собой, но во время доклада ни разу в нее не заглянул. Говорил он с подъемом, очень просто, доходчиво. Зал живо реагировал на сказанное им.

Ленин на этом съезде выступал несколько раз, и все выступления я слушал. Пересказывать их нет нужды: они опубликованы.

В 1919 году мне снова посчастливилось видеть Владимира Ильича и даже обмолвиться с ним словом. Произошло это 19 апреля 1919 года, когда Владимир Ильич был гостем слушателей и преподавателей академии и выступал перед ними с большим докладом о политическом и военном положении страны. Однако прежде чем рассказать в подробностях об этом, мне хочется сказать несколько слов о нашей академии.

Прежняя Академия Генерального штаба (она называлась Николаевской) фактически прекратила свое существование летом 1918 года. Она была эвакуирована из Петрограда в Екатеринбург (ныне Свердловск), и ее не сумели своевременно вернуть с Урала в дни наступления войск Колчака. Часть преподавателей перешла на сторону колчаковцев, часть сумела отступить с Красной Армией. Почти все вывезенное из Петрограда имущество — учебники, карты, наглядные пособия, оборудование кабинетов — попало в руки белогвардейцев.

Таким образом, академию пришлось создавать заново. Далеко не все понимали тогда важность ее существования для Красной Армии. Более того, одно время руководство Главного управления военно-учебных заведений (ГУВУЗ) Наркомата по военным делам считало, что вообще никакой академии не нужно. Было отдано распоряжение создать на базе бывшей Николаевской военной академии гражданское учебное заведение.

Потребовалось вмешательство В. И. Ленина для того, чтобы отменить это по меньшей мере странное распоряжение. Документ, подписанный им, гласил:

«Ввиду того, что ликвидация военной академии или же преобразование ее в высшее учебное заведение гражданского типа совершенно не соответствует ни видам правительства, ни потребностям времени, Вам предлагается немедленно задержать Ваше распоряжение от 9-го сего марта за № 2735 на имя начальника Николаевской военной академии и предварительно представить в Совнарком Ваш проект реорганизации Николаевской военной академии.

О выполнении сего довести до сведения Председателя Совета Народных Комиссаров»¹.

К осени 1918 года реорганизуемая, воссоздаваемая академия размещалась на старой московской улице — Воздвиженке, в доме, где до революции находился охотничий клуб. И не удивительно, что в вестибюле красовались чучела животных и птиц. Но если охотничьи трофеи были представлены в достатке, то об учебных пособиях этого сказать было нельзя. Нам, слушателям академии, приходилось довольствоваться самым минимальным. Да что говорить о книгах и схемах, если нам даже писчей бумаги и чернил не хватало! В аудиториях было холодно и приходилось заниматься в шинелях и полушубках. Некоторые слушатели жили в общежитиях на Тверской и Лесной улицах, а часть — человек двадцать — размещалась в самом здании академии.

Состав слушателей был довольно пестрый. Среди них — много бывших офицеров царской армии, перешедших на сторону новой власти. 5 процентов слушателей было из красных командиров, 18 процентов — из солдат, а 12 процентов вообще не имели никакой военной подготовки: это были преимущественно партийные работники. При таком составе, при столь различном уровне общих и военных знаний вести занятия было, разумеется, очень трудно. Однако преподаватели справлялись со своим нелегким делом.

В академии была большая по тем временам партийная организация — сто восемьдесят человек. Председатель бюро — член партии с 1911 года Владимир Николаевич Павлов. За плечами у него был опыт подпольной работы, побывал он и в ссылке и в эмиграции. После февральской революции был членом Петербургского комитета РСДРП(б), а в июльские и октябрьские дни — одним из руково-

¹ В. И. Ленин. Военная переписка (1917—1920). М. Воениздат. 1956, стр. 31—32.

дителей Красной гвардии столицы. Секретарем партийного бюро академии коммунисты избрали меня. К сожалению, я не обладал таким опытом партийной работы, как Павлов. Зато уже успел повоевать на Восточном фронте. До поступления в академию я был комиссаром штаба 3-й армии. В нашей академии тоже существовала должность комиссара. На нее был назначен один из старейших членов большевистской партии — Владимир Николаевич Залежский, образованный марксист, обладавший к тому же и большим опытом партийной работы.

Павлов и Залежский были непосредственно связаны со многими членами Центрального Комитета большевистской партии. Неоднократно встречались они и с В. И. Лениным.

Владимир Николаевич Павлов, с которым мы жили в то время в одной квартире, однажды высказал мысль о том, что хорошо было бы пригласить Владимира Ильича к нам в академию для встречи со слушателями и преподавателями. Зная об огромной занятости Ленина, я усомнился, придет ли он. Но Павлов с уверенностью сказал:

— Судя по тому, какое огромное значение придает Владимир Ильич работе с военными кадрами, он обязательно придет.

И Павлов оказался прав. Несмотря на свою занятость, Ленин принял наше приглашение. Условились, что эта встреча состоится 19 апреля 1919 года. Однако в назначенный день нам позвонили из Кремля и сообщили, что ее, видимо, придется отложить в связи с изменившимися обстоятельствами. Тем не менее Владимир Ильич просил передать, что, может быть, он все-таки поближе к вечеру сможет заглянуть к нам, но людей специально не стоит так долго задерживать: ведь приезд мог и не состояться. Посоветовавшись, мы решили отпустить товарищей. В случае необходимости их можно было быстро собрать.

Владимир Ильич приехал в академию вечером один, без сопровождающих. С ним в машине был лишь шофер. Встречать В. И. Ленина вышел Павлов. Он был уверен, что Владимир Ильич выполнит обещание, и ожидал его в вестибюле у окна.

Дежурный по академии отдал Ленину рапорт. Затем к Владимиру Ильичу подошли комиссар академии Залежский и я. Ленин, видевший Залежского на съездах партии, встретил его как старого знакомого. А мне он энергично пожал руку.

Залежский сказал, что слушатели сейчас находятся в общежитиях, но их быстро соберут на митинг.

— Это хорошо, что народ не томился в ожидании. Уж лучше я теперь подожду их,— проговорил Ленин.

Залежский предложил Владимиру Ильичу пройти к нему в кабинет. Проходя через вестибюль, где стояли чучела зверей и птиц, Ленин задержался. Особенно понравилось ему чучело медведя.

— Какой красавец! Где вы такого раздобыли?— спросил он нас.

— Да все это нам досталось в наследство от прежних хозяев дома,— ответил Павлов.

В кабинете Залежского, узнав, что слушатели соберутся минут через двадцать, Ленин спросил, не найдется ли у нас стакана чая, хотя бы без сахара.

Павлов поручил мне достать чаю и чего-нибудь съестного. Я помчался к повару.

Возвратившись в кабинет Залежского, я увидел Владимира Ильича у большой висевшей на стене карты. Линия фронта на ней обозначалась булавками с красными флажками. Позже товарищи рассказывали, что в мое отсутствие В. И. Ленин бегло обрисовал обстановку на главных операционных направлениях, показал соотношение сил и определил задачи наших войск. При этом он называл фамилии командующих армиями и даже некоторых начальников дивизий. Разбирая обстановку на фронтах, Владимир Ильич продемонстрировал и хорошую осведомленность в боевых делах действующих армий. К сожалению, я вошел уже к концу рассказа, когда Владимир Ильич говорил о роли Вятского укрепленного района, создаваемого в тылу 3-й армии Восточного фронта.

Улучив момент, я сказал Владимиру Ильичу, что принес ему чай. Он поблагодарил.

Пока Владимир Ильич неторопливо пил чай, Залежский докладывал о положении дел в академии. Всех подробностей этого доклада я теперь уже не помню, так как мне несколько раз приходилось выходить, с тем чтобы проверить, как собираются слушатели. Естественно, что в памяти у меня остались только отдельные моменты.

Делая доклад, Залежский все время заглядывал в довольно-таки объемистые записи. Слушая его весьма внимательно, Владимир Ильич время от времени задавал ему вопросы. Он интересовался, например, взаимоотношениями слушателей с преподавателями, материальным обеспечением преподавателей и их семей, системой снабжения в академии.

Докладывая о партийной организации академии, Залежский познакомил Владимира Ильича с персональным составом бюро: председатель — Павлов, член партии с 1911 года, секретарь — Софронов (с 1912 года), члены — Станкевич (с 1904 года), Васильев (с 1905 года), Евсеев (с 1907 года), Кангелари (с 1908 года) и Стецкий (с 1915 года).

Ленин с улыбкой заметил, что такому составу бюро может позавидовать любой губернский комитет партии.

Затем Залежский рассказал, что среди слушателей первого набора 80 процентов коммунистов.

— А чем объяснить, что в вашу академию принято мало беспартийных слушателей? — спросил Ленин. — Скажите откровенно, не пересолили при приеме, не поприжали беспартийных?

— Думаю, нет, — ответил Павлов. — Лучших товарищей из беспартийных приняли в академию. Кстати, среди кандидатов их было мало.

Далее Залежский рассказал о дискуссиях и спорах среди слушателей. Дело в том, что в то время широко обсуждался вопрос о милиционной системе комплектования Красной Армии. В обсуждении участвовали и преподаватели академии, которые высказывали различные точки зрения. Павлов доложил об этом Ленину и попросил его высказаться по данному вопросу. Владимир Ильич ответил, что о переводе армии на милиционную систему говорить пока рано. Такое может произойти лишь на завершающем этапе строительства Советских Вооруженных Сил.

В конце беседы В. И. Ленин рассказал о положении на фронтах и особо отметил тяжелое состояние Восточного фронта. Он сетовал на то, что у нас в армии мало грамотных военных специалистов. Подчас командирами частей и даже соединений приходится назначать бывших младших офицеров старой армии. Многие из них пользуются у красноармейцев доверием, но не все они в состоянии по-настоящему организовать бой и управлять войсками. Особенно тяжело с работниками штабов.

— Нельзя ли уже теперь взять из числа слушателей академии человек двадцать — тридцать грамотных военных работников и послать их в действующую армию, в первую очередь на Восточный фронт? — спросил нас Ленин.

Мы сказали, что такое количество слушателей на должности начальников штабов бригад найти, безусловно, можно. Вскоре такая группа была отобрана и досрочно выпущена из академии.

Так за беседой Владимир Ильич выпил чай и съел бутерброд.

Вскоре дежурный по академии доложил, что люди на митинг собрались. Их было человек двести пятьдесят — слушателей, преподавателей, членов их семей. Залежский предложил Владимиру Ильичу перейти в зал.

Ленин попросил Павлова выйти на сцену первым и открыть собрание. Президиума мы не выбирали. Места за столом заняли Ленин, начальник академии Климович, Залежский, Павлов и я.

Владимир Ильич говорил минут сорок. Его выступление было посвящено

задачам Красной Армии, роли красных штабистов в их решении. К сожалению, эта речь не была застенографирована.

Сидя в президиуме, я записал лишь основные мысли из выступления Владимира Ильича, чтобы потом перенести их в протокол. Последнего, к сожалению, не успел сделать: срочно выехал на фронт. Тезисы составляли три машинописные страницы. Многие годы я бережно их хранил. Однако во время Отечественной войны мой личный архив, где находилась и запись речи Ленина, погиб. Но я до сих пор хорошо помню ее, поскольку не раз цитировал ленинские слова, выступая перед слушателями с воспоминаниями о Владимире Ильиче.

В. И. Ленин начал речь с обзора международного положения. Он говорил, что мировая война, развязанная империалистами, закончилась. Итоги этой войны оказались неожиданными для ее инициаторов и вдохновителей. Из лагеря империалистов выбыла капиталистическая Россия, где власть перешла в руки рабочего класса и трудового крестьянства. Больше того, пролетарская революция вышла за границы бывшей России. Она совершилась и в ряде других стран: в Германии и Венгрии. Классовые бои идут и в других государствах капиталистического мира. Почти каждый день газеты сообщают о революционных выступлениях рабочих. Мировая революция зреет. Теперь имеется и штаб этой революции — Коминтерн.

Капитализм, предчувствуя свою гибель, оказывает отчаянное сопротивление. Он принимает все меры к тому, чтобы подавить революционное движение в своих странах, а главное, ликвидировать основной очаг свободы — Республику Советов. Но этого им сделать не удастся. Наше международное положение за последнее время заметно улучшилось. Империалистам, при их общей ненависти к коммунизму, не создать против нас единого фронта. После победы над Германией они грызутся между собой из-за колоний и сфер экономического влияния.

Попытка международного капитала задушить нас с помощью мятежа военнопленных чехословаков провалилась. Империалисты пробовали посылать на нашу землю и свои воинские части. Но и это успеха не имело. Солдаты иностранных армий, убедившись, что в Республике Советов земля отобрана у помещиков и бесплатно передана крестьянам, что хозяева заводов и фабрик теперь рабочие, стали отказываться воевать против Красной Армии, требовать отправки их из Советской России.

Гражданскую войну развязали не большевики, а мировой капитал — в первую очередь английские, французские и американские империалисты. Им удалось сколотить белую армию с бывшими царскими генералами во главе.

В войне побеждает тот, кто ведет справедливую войну, у кого больше войск и резервов. У советской власти все это есть. На нашей стороне рабочие и трудящиеся крестьяне. К нам бесповоротно стала переходить основная масса крестьянства — середняки. Нас начинает поддерживать и сознательная часть интеллигенции. Силы Красной Армии с каждым днем растут. На фронтах гражданской войны у нас уже больше войск, чем у противника. Моральное состояние у наших бойцов несравненно выше, чем у солдат белой армии.

Почему же Красная Армия все еще нередко терпит поражения?! Основная причина — в недостатке у нас грамотных командиров, способных правильно организовать бой и управлять войсками. Многие царские офицеры, не разобравшись в сущности советской власти, остались в белой армии. Лишь единицы их в октябрьские дни перешли на сторону Советов. Правда, теперь в Красной Армии служат тысячи бывших царских офицеров, в том числе полковники и генералы. Советская власть высоко ценит их добросовестный труд.

Военная академия — это кузница, где куются кадры новых военачальников. Они не только знают военную теорию, но и имеют богатый боевой опыт.

В заключение Владимир Ильич пожелал нам успеха в освоении военных и политических наук.

Речь его была выслушана с большим вниманием и несколько раз прерыва-

лась аплодисментами. Павлов от имени слушателей и преподавателей поблагодарил Владимира Ильича за выступление, пожелал ему доброго здоровья.

Мы проводили Ленина к автомашине, которая стояла во дворе академии. Владимир Ильич крепко пожал всем руку и уехал. А мы долго еще не расходились, вспоминая и осмысливая ленинские слова, услышанные в этот вечер.

Видел и слушал я Владимира Ильича на VII съезде Советов и в марте 1922 года — на XI партийном съезде. Был я делегатом с решающим голосом от Архангельской партийной организации. Как известно, на этом съезде Ленин делал политический отчет ЦК партии и несколько раз выступал по ходу работы съезда, но на заседаниях присутствовал нерегулярно. Он был уже тяжело болен. Побыв немного, он уходил в свой служебный кабинет или к себе домой: оба эти помещения соединялись с залом съезда коридором. На заседаниях сидел в глубине сцены, накинув на плечи пальто. Он не выходил, как всегда, в перерывах в фойе беседовать с делегатами и гостями.

Правда, Ильич на съездах и прежде редко занимал место за столом президиума, а чаще сидел во втором ряду и внимательно слушал ораторов, особенно рабочих и незнакомых ему товарищей, делая записи в своем блокноте. Он никогда не прерывал выступающих резкими репликами, а на высказанные ими оригинальные мысли или предложения реагировал покачиванием головы или кивком, улыбками, а то и смехом, откидывая при этом немного назад голову.

В те времена ораторы очень редко читали свои речи, а обычно импровизировали. Так поступал и Ленин. Я не помню случая, когда бы он свою речь читал. Выступая, Ильич имел в руках небольшой листок из блокнота, в который он изредка заглядывал. Иногда он выходил на трибуну с папкой с тем, чтобы привести какие-нибудь цитаты или цифры. Говорил Ильич горячо, даже страстно, с душевной убежденностью, сопровождал свою речь выразительными жестами, — он был прекрасным и опытным оратором.

Помню Владимира Ильича в тот день работы съезда, когда рассматривался вопрос о некоторых членах «рабочей оппозиции». Оживленные споры велись о судьбе Шляпникова, Коллонтай, Медведева. На голосование было поставлено два предложения: первое — оставить их в партии, предоставив право ЦК партии их исключить, если эти товарищи будут продолжать антипартийную деятельность, и второе предложение Комиссии ЦК — исключить этих товарищей из партии. В конце концов большинством всего лишь в несколько голосов было решено оставить их в партии.

Во время голосования этих предложений Ленина на съезде не было. Он появился в президиуме несколькими минутами позже. На ходу снял пальто и сел за стол.

Взгляды всего зала были прикованы к Ленину.

Встав и обращаясь к делегатам, председательствующий заявил:

— Товарищ Ленин просит внеочередное слово.

Раздался взрыв рукоплесканий и голоса:

— Просим дать, просим!

Когда Ленин вышел на трибуну, рукоплескания усилились. Усталое, осунувшееся лицо Владимира Ильича, который, как я упоминал, был тогда уже очень болен, оживилось, на нем появилась улыбка. Рукоплескания не прекращались. Ленин поднял руку, и ему наконец дали говорить.

— Товарищи, почему вы рукоплещете? Ведь вы еще не знаете, о чем я буду говорить.

В зале снова разразилась буря аплодисментов, и не скоро Ленин смог продолжать свое выступление.

Ленин сказал, что он, к сожалению, утром не мог присутствовать на заседании, а было принято неверное решение, которое он просит пересмотреть. Ленин сказал, что речь идет о решении съезда, запрещающем печатать в «Правде» объявления, которое защищал Рязанов. Рязанов с места попытался возразить Ленину.

Продолжая свою речь, Ленин спросил:

— Откуда возьмет деньги «Правда», которую вы лишили объявлений?

Все как-то сконфузились и притихли.

Председательствующий предложил делегатам высказаться. Желающих не нашлось. Предложение Ленина было поставлено на голосование, и съезд единогласно, за исключением одного Рязанова, отменил свое решение.

XI съезд закрывал Ленин.

В своем заключительном слове Владимир Ильич отметил большую сплоченность, большее единодушие и большее организационное единство съезда по сравнению с предыдущим съездом.

Тогда я, да и большинство делегатов съезда в последний раз видели и слушали Владимира Ильича. Больше он уже не выступал перед многолюдными аудиториями.

В моей памяти он и остался таким, каким я видел его на XI съезде партии. Он был и остается — как точно выразили это в январе 1924 года в своем воззвании Исполком Коминтерна и Исполбюро Профинтерна — «нашим бессмертным вождем».



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

В. БАРДИН

★

ДЕНЬ НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

На острове том есть могила,
А в ней император зарыл!

М. Ю. Лермонтов.

На земном шаре есть немало удивительных мест. Но и среди них встречаются такие, само название которых будит воображение. Остров Святой Елены? Да ведь тут прошли последние годы жизни императора Наполеона.

Интерес к этой исторической фигуре не угас и в наши дни — изобразительное искусство, литература, театр, кино воссоздавали и сегодня воссоздают образ Бонапарта. Правда, сейчас трудно узнать что-либо новое об этой выдающейся личности, но все же очень заманчив маленький островок, где суждено было окончательно разрушиться его честолюбивым замыслам.

С такими вот мыслями подходили мы к острову Святой Елены.

Это происходило в конце дня 19 апреля 1967 года. Наш дизель-электроход «Обь» по стечению обстоятельств вынужден был зайти в гавань. Мы — нас было около двухсот человек — возвращались из Антарктики. Вокруг вот уже который день расстилалась лишь пепельная поверхность океана. Давно не видели мы зеленых берегов, не вдыхали земных запахов. В памяти все еще жили холодные белые антарктические пейзажи. Мы уже забыли вкус свежих овощей, а апельсины и яблоки видели только во сне. А у «Оби» кончились запасы пресной воды и горючее подходило к концу. И поскольку наш курс пролегал вблизи острова Святой Елены, капитан — Эдуард Иосифович Купри — решил попытать счастья.

«Обь» еще ни разу не заходила на Святую Елену, да и вообще советские суда бывали здесь очень редко. Из справочников, найденных у первого помощника капитана Виктора Алексеевича Ткачева, мы узнали, что остров площадью в сто двадцать два квадратных километра населяют около пяти тысяч человек (причем женщин на двести больше, чем мужчин), что он — колониальное владение Великобритании. Административный центр острова, он же и единственный порт, — город Джемстаун. Жители в основном англичане, есть также африканцы, а в одном из старых справочников (в книжном шкафу Виктора Алексеевича большой выбор подобной литературы) упоминались даже китайцы.

Основное занятие святоеленцев — земледелие и животноводство, а также обслуживание и снабжение заходящих в порт судов. Главная сельскохозяйственная культура — сезаль, или, как его еще называют, новозеландский лен. Выращиваются также овощи и фрукты. Климат весьма благоприятен для жизни человека. Юго-восточные ветры смягчают тропическую жару, и температура воздуха в течение года колеблется от 15 градусов тепла зимой до 32 градусов летом, но в горах — остров, оказывается, вулканического происхождения — немного прохладнее. Этим, пожалуй, и исчерпывались наши сведения о Святой Елене.

К счастью, на корабле отыскалась отличная крупномасштабная карта острова, изданная Британским адмиралтейством еще в 1922 году, и мы принялись за ее изучение.

Святая Елена лежит в южной части Атлантического океана между 15° и 16° южной широты и 5° и 6° западной долготы. В длину остров протянулся на девятнадцать километров, в ширину — на одиннадцать. В центральной части есть высоты более восьмисот метров.

Очень интриговали географические названия. В центре острова — гора Удовольствий, но рядом, как предостережение, — пик Дьявола. Многочисленные узкие долины, круто спадающие к морю, носили названия: Юная, Лимонная, Старых женщин, Часовни и т. д. Затем на карте были помечены: Яблочный коттедж, Дом плантатора, Мертвое дерево, Дерево жены Лота, Дерево Томпсона и даже Ослиные уши. Ближе к побережью были обозначены батареи: батарея Симпсона, Пауэлла, Внезапная и т. д., но в скобках стояло — «руины». А это уже говорило о том, что история острова отнюдь не бедна событиями.

Обозначены были и несколько церквей: святого Матфея, святого Джемса, святого Джонса, две последние — в Джемстауне. В черте города указывались: офицерский квартал, замок, обсерватория Купола, лестничный холм и у самого моря — ворота.

Примерно в семи километрах от Джемстауна, в центральной части острова, был показан населенный пункт Лонгвуд, где четким шрифтом было выведено: «Дом, в котором умер Наполеон I», а в двух километрах от Лонгвуда, совсем недалеко от церкви святого Матфея, стояла другая надпись: «Могила Наполеона».

Пока мы с любопытством изучали карту — она была выполнена в одном цвете, но с искусством, которым славилась старые картографы, — «Обь» все ближе и ближе подходила к острову.

Мы увидели, вернее угадали, Святую Елену еще издали по шапке тяжелой кучевой облачности. Потом выступил, сначала еле заметно, ее мрачный гористый контур. Постепенно остров стал увеличиваться в размерах, и в крутых обрывах берега уже можно было различить разноцветные пласты вулканических пород. Корабль обогнул край острова на почтительном расстоянии, опасаясь рифов, а затем пошел прямо к берегу. Я спустился в каюту перезарядить пленку в кинокамере, впопыхах перепутал все на свете, и когда снова вышел на палубу, «Обь» уже бросала якорь в бухте Джемс, в полумиле от берега.

Как гигантские декорации предстали перед глазами высокие сумрачные обрывы, почти отвесно спускающиеся в воду. Узкая, словно игрушечная долина рассекала скальные уступы. Поперек ее стояли маленькие домики. Над строениями возвышался сухошавый шпиль церкви. На вершинах крутых утесов по бортам долины лепились домики и остатки каких-то укреплений, стены которых, сливаясь в одну плоскость со скалой, ниспадали к морю.

Когда отгремела якорная цепь, на корабль навалилась тишина; нигде вокруг не было видно ни души. На причале, вдоль небольшой набережной, которой заканчивалась долина, покачивались на легкой зыби маленькие заякоренные суденышки. Временами моросил дождь. Заходящее солнце, пробиваясь сквозь просветы массивной облачности, создавало впечатление фантастичного потолка над безмолвным, словно заколдованным островом. Даже не верилось, что все это происходит на самом деле.

После полудня ожидания от безлюдного берега отчалил легкий катер. Он подплыл к «Оби». В нем находилось восемь мужчин. Это была портовая администрация. Управлял катером негр. Он улыбался и, подводя катер к борту, что-то покрикивал. Остальные держались строго деловито. Поднявшись по веревочному трапу на борт, они вежливо поздоровались. Некоторые из них были очень смуглые, бронзоволицые. Всех повели наверх, к капитану.

Опустился теплый тропический вечер. Мы стояли на палубе и считали мигающие огоньки — зеленые, белые и красные, всего-то их было тринадцать. Временами среди тьмы, окутавшей остров, медленно соскальзывали к берегу близко поставленные, сверкающие «глаза» — это по горной дороге спускались в город автомашины. Одна пара огней выкатилась на набережную. Погасла. Потом снова вспыхнула, скользнула по

водной глади залива и скрылась в темноте. Очевидно, кто-то приезжал посмотреть на нас.

Не прошло и получаса, как на борт «Оби» поднялись островитяне, а по кораблю уже прошел слух. На судах всегда ходят разнообразные слухи. Иногда это бывают досужие вымыслы на потеху себе и другим, но чаще они имеют под собой реальную почву и начинаются обычно следующей фразой: «Я слышал, капитан сказал стармеху, что...» и т. д. В основном, слухи ходят вокруг злободневных корабельных тем: куда зайдём, что купим, когда придем домой и т. д. Первым сведением такого рода было:

— На острове ничего нет!

И в подтверждение этому:

— Просили четыре тысячи яиц, нам предложили сто двадцать. Курам на смех!

— Луку обещали собрать по всему острову аж тридцать килограммов. Даже на окрошку не хватит!

Сообщали друг другу расписание работы местных магазинов: с 7 до 8, с 9 до 13 и с 14 до 17.30.

Пока шло горячее и всестороннее обсуждение этих сведений, любители рыбной ловли не теряли драгоценного времени. Через борт в море забрасывались самые разнообразные снасти. Этот ночной лов был умопомрачительным. Рыба, привлекаемая корабельными прожекторами, прямо-таки лезла на крючок. Скоро в плавательном бассейне, который соорудили для себя на палубе любители морских купаний, метались десятки рыб. Среди них попадались красные и золотые рыбки. Но часть рыб, извлеченная со значительной глубины, не могла приспособиться к условиям корабельного бассейна и гибла. Их тут же скармливали большому императорскому пингвину, которого везли из Антарктиды для Ленинградского зоопарка. Пингвин был вял и заглатывал рыб, судорожно подергивая шейю: какой уж аппетит на такой жар!

Скоро поступили новые сведения. Завтра в восемь часов утра начнется высадка на берег. А уйдет «Обь» поздно вечером. Значит, впереди у нас целый день. День на острове Святой Елены! Это завтра. А сейчас вокруг безмолвная тропическая ночь.

Пользуясь ночным безмолвием, я засел в судовой библиотеке с благим намерением хоть что-нибудь узнать об истории острова. Сведения были весьма скудными, и их я пополнил только на следующий день. Сойдя на землю Святой Елены, я приобрел там брошюру Х. Е. Уолша «Святая Елена» (1960)— одну из немногих книг, изданных на самом острове. И вот что я почерпнул из нее об истории острова.

Остров был открыт в 1502 году португальскими мореплавателями, возвращавшимися из Индии. Командира португальского корабля звали Яго де Нова Каstellо. Предполагают, что это произошло 21 мая, в день святой Елены, чье имя и было дано этому необитаемому острову.

В 1516 году на Святой Елене нашел убежище спасающийся от преследований и изувеченный врагами португальский дворянин Фернандо Лопец. Он стал первым постоянным жителем острова. Позже он получил возможность уехать обратно на родину, но вскоре предпочел вернуться снова на остров, где и умер в 1545 году.

Португальцы длительное время хранили свое открытие в тайне. Их корабли посещали Святую Елену по пути в Индию для пополнения запасов пресной воды и отдыха. Здесь же высаживали заболевших моряков, которые обычно быстро поправлялись в здешнем прекрасном климате. Так в северной части острова образовалось небольшое поселение. Была построена деревянная часовня, и место это поэтому получило название долины Часовни.

Англичане появились на Святой Елене впервые в 1588 году, когда капитан Кавендиш, совершавший кругосветное плавание, высадился здесь и провел на берегу двадцать дней. Он оставил описание плодородия земель, богатства растительного и животного мира острова. Он обратил внимание на сотни диких овец и коз — потомков животных, когда-то завезенных сюда португальцами. Позднее эти овцы и козы, подобно кроликам в Австралии, нанесли большой вред растительности острова. Не меньший вред причинили ей и термиты, неумышленно завезенные сюда кораблями.

Когда о Святой Елене узнало уже несколько государств, между ними участились случаи военных столкновений. Английский флот подстерегал и грабил вблизи острова

суда португальцев и испанцев. Вскоре в грабеже стали принимать участие и датчане. После ряда неудачных сражений португальцы и испанцы оставили эти места. Но не было ни одной страны, которая удерживала бы остров в течение многих лет.

Таким образом, когда в 1659 году английская «Восточно-Индийская компания» решила занять Святую Елену, особых препятствий к этому не было. Первым делом здесь построили форт, названный позднее фортом Джемс. Город, который вырос подле форта и вблизи которого стала на якорь и наша «Обь», был назван Джемстауном. Вскоре сюда прибыли первые поселенцы из Лондона.

Со времени правления «Восточно-Индийской компании» на остров стали завозить рабов. Положение их, особенно в первое время, судя по всему, было ужасным. За малейшую провинность их подвергали жестоким наказаниям: пороли, прикладывали раскаленный сургуч к обнаженному телу, сжигали, кастрировали, четверговали без всякого суда, по указанию губернатора. Среди рабов и гарнизона участились случаи беспорядков и мятежей. Во время одного из них, известного в истории как заговор Джексона, в 1693 году восставшие захватили корабль и покинули ненавистный остров.

К концу XVIII века законодательство на Святой Елене становится несколько более гуманным. Население на острове в это время в основном английское и состоит из служащих компании, гарнизона и рабов. В 1792 году ввоз рабов запрещен. Но в результате недостатка рабочей силы губернатор ввозит китайских кули. Регулярные заходы кораблей улучшают положение, хотя население острова тогда, как и сейчас, не может обеспечить себя всем необходимым. Но к началу XIX века наступает новое оживление торговли (в основном мясом и фруктами) с кораблями, так что ко времени прибытия на Святую Елену императора Наполеона остров становится относительно мирным и процветающим.

* * *

Утром одна за другой стали отваливать на берег шлюпки. Хотя была безветренная погода, неизвестно откуда взявшаяся зыбь сильно раскачивала их. Временами из набегающих облаков сыпался тонкий дождик. Мы смотрели на приближающийся берег, а когда оборачивались, видели нашу «Обь», которая с воды казалась непривычно большим кораблем.

Мы высадились у небольшого причала в северной части набережной. Здесь нас уже ждали машины — современные легковые и многоместные допотопные колымаги с откидывающимся тентом. Выбираем старый вместительный кабриолет. Водитель, пожилой худощавый человек с мрачным лицом, дожидается, когда все усядутся, и трогает. Он, очевидно, знает, что нужно таким гостям острова, как мы, и везет, не задавая лишних вопросов. Миновав небольшую набережную, перегораживающую устье долины, мы через украшенные гербом ворота въезжаем в Джемстаун.

Город вытянулся вверх по узкой долине. Машина медленно поднимается по центральной улице, вдоль которой стоят одно- и двухэтажные домики, вполне городские по виду, с вывесками магазинов и учреждений. Все удивительно миниатюрно и декоративно, и долго не удается избавиться от впечатления, что все это не настоящее, что это не дома, а макеты, подготовленные для съемки какого-то фильма.

Дорога покидает город и начинает взбираться по краю долины все выше и выше. И теперь, если оглянешься назад и вниз, увидишь пестрый ковер цветных крыш, а вдаль — темно-синюю воду, на глади которой наша «Обь» выглядит игрушечным корабльком. Склоны долины сплошь поросли, как называют ботаники, ксерофитами — растительностью жарких засушливых мест. В нашем непросвещенном понимании — все это сплошь кактусы и алоэ. На самом деле растения здесь очень разнообразны. Часть их покрыта красными цветами, полураскрывшиеся бутоны которых ярко алеют среди мясистых зеленых стеблей, усеянных длинными острыми шипами. И словно окончательно дополняя эту яркую расцветку, на прогалинах между колючими кустарниками проступает оранжевая, маслянистая после дождя земля.

В верхней части долины — буйная тропическая растительность. Из-за теплых деревьев выглядывают аккуратные коттеджи. Сплетение антенн выдает здание радиоцентра. Светлое, с зеленой окантовкой двухэтажное здание, во дворе которого спуют, как рыбки в аквариуме, маленькие человечки, — несомненно, школа.

Зелень, зелень! Глаза жадно впитывают зеленые краски, от которых мы, «жители Антарктиды», были надолго оторваны, и вот сейчас утоляем цветовой голод.

Дорога делает еще несколько петель. Временами море исчезает совсем за холмами. Мимо проскакивают несколько сплюснутых продолговатых одноэтажных домиков типа бараков, только приятно окрашенных и с многочисленными наружными дверями, отдельными входами для каждой семьи. Очевидно, это поселения местных крестьян, работающих на плантациях.

Во многих местах мы видим на склонах посадки незнакомых нам сельскохозяйственных растений. Возможно, это новозеландский лен, изделия из которого (канаты, шпагат) составляют основной предмет экспорта.

Местами пологие, поросшие сочной травой безлесные склоны холмов огорожены колючей проволокой, а на этих великолепных пастбищах разбросаны, словно игрушки по зеленому ковру, разномастные коровы.

Мы смотрим по сторонам, обмениваемся мнениями, а водитель наш по-прежнему молча правит, устало глядя на дорогу. Я спрашиваю, как его зовут.

— Фрэд Янг,— отвечает он и опять замолкает.

Мы начинаем расспрашивать Фрэда о растениях и птицах острова. Он отвечает, но английские, а может быть, и чисто местные наименования чаще всего ничего нам не говорят. Все же удается установить, что на Святой Елене растет около ста двадцати видов деревьев и кустарников. Это разнообразные плодовые деревья — бананы, манго, фиговые, апельсины, множество цветов и папоротников. Из овощей здесь выращивают тыквы, капусту, горох, помидоры, но главное — картофель. Многие растения, а также все птицы, за исключением одной — канатоходца, серой птицы с длинными ногами, — завезены на остров. Однако совсем не все из них освоились здесь. Не приспособились к местным условиям дрозды, жаворонки и даже лондонский воробей, зато яванский воробей и канарейки, куропатки и фазаны сейчас на острове в большом количестве. В 1958 году в долине Рыбаков поселился аист, но, недолго прожив, погиб. Животные на острове только домашние. Змей нет, и единственные вредные создания — скорпионы и сороконожки.

Но мы замечаем, что разговор о флоре и фауне утомителен для Фрэда Янга.

— Скажите, а сколько машин на острове? — меняю тему, спрашиваю я.

Он несколько оживляется, испытующе смотрит на меня.

— Четыреста.

— Ваша очень старая?

— Да,— вздыхает он.— Очень.

— А сколько километров дорог на острове?

Фрэд задумывается, продолжая неторопливо вести машину по узкому шоссе. Осторожно разъезжается с встречной легковой машиной, которой управляет пожилая белокурая дама. Наконец отвечает:

— В километрах не могу, а в милях больше тридцати.

— Это значит около шестидесяти,— быстро переводит кто-то сзади.

— Шестидесять километров,— говорю я Фрэду.

Он не совсем уверенно кивает головой.

Почти на каждой стоянке, где мы высаживаемся, чтобы сделать фотографии, мотор машины Фрэда безнадежно глохнет и не хочет заводиться. Но в самый критический момент подъезжает вторая колымага той же конструкции, которую ведет крепкий смуглый парень. Он, весело посмеиваясь, вылезает из своего кабриолета, снимает и аккуратно вешает на руль цветастую нейлоновую рубашку и, подойдя к нашей машине, испытующе оглядывает нас. Мы внимательно следим за его движениями. Тогда он нагибается и начинает быстро вращать рукоятку ручного завода. Мотор начинает уливленно пофыркивать и наконец заводится. Парень разгибается. Снова, теперь уже торжествующе, оглядывает нас. Сжимает руку в локте, довольно осматривая бицепсы, и, посмеиваясь, уходит к своей машине. Мы трогаемся дальше. Очень скоро на одном из очередных поворотов дороги, среди густых зарослей зелени, машина снова остановилась. Фрэд Янг обернулся и деловито провозгласил:

— Могилла Наполеона.

Здесь мы подошли к тому времени, которое в истории острова справедливо значится как «эра Наполеона».

* * *

Четырнадцатого октября 1815 года английское военное судно «Норсхамберлэнд» с императором Наполеоном на борту в сопровождении эскорта из семи кораблей бросило якорь в заливе против Джемстауна.

Попытка организовать дальнейшее сопротивление союзникам после битвы при Ватерлоо потерпела неудачу, и Наполеон вынужден был отречься от престола. План бегства его в Америку не был осуществлен в результате ошибки Наполеона, решившего, что английское правительство, которому он сдался, предоставит ему право пребывания в Англии. Но все сложилось иначе, и император был сослан на остров Святой Елены. Наполеону разрешили взять с собой небольшой штат из особо приближенных лиц, а также прислугу.

Семнадцатого октября к вечеру Наполеон со своей свитой высадился на Святую Елену и провел ночь в портовой гостинице. На следующий день император и несколько сопровождавших его лиц отправились на лошадях искать место для жительства. Поднялись на холм в поместье Лонгвуд, где предполагалось поселить Наполеона, но дом был в плохом состоянии. Возвращаясь в Джемстаун, Наполеон увидел на холме вблизи города маленькое поселение Бриас. Всадники подъехали туда. Одно из зданий, называющееся Павильон, понравилось императору, и он решил поселиться здесь. Хозяин дома не возражал.

В Бриасе Наполеон провел сравнительно спокойные дни на острове. Однако близость города и охранявших его солдат, назойливость властей, которым он был известен как генерал Бонапарт — титул, на который он отказывался отвечать, — досаждали ему. Поэтому, когда в начале декабря 1816 года был приведен в порядок дом в Лонгвуде, Наполеон был рад туда перебраться.

Дом в Лонгвуде был слишком мал для всей свиты, поэтому часть ее устроилась поодаль. В первое время некоторые спали под тентом, натянутым в саду. Однако и в Лонгвуде император был ограничен в своем передвижении. Вокруг днем и ночью стояла охрана, за каждым шагом Наполеона следили. К этому прибавились еще мелкие ссоры между обитателями его дома, ревность, зависть, воровство слуг.

Но еще более худшие времена настали для императора, когда по приказу британского правительства на губернатора острова сэра Гудзона Лоу была возложена личная ответственность за охрану Наполеона.

Лоу, как отмечает святоеленский историк, был человек посредственный во всех отношениях. Боясь потерять свои должностные двенадцать тысяч фунтов в год, он решил проявлять в отношении Наполеона «твердость». Но он не учел твердости характера своего пленника, и это привело к серьезным столкновениям и осложнениям. Тогда Лоу начал всячески ограничивать французских поселенцев: угрожал владельцам магазинов, предоставлявшим им кредит, предостерегал армейских офицеров от всяких сношений с ними. Лишенный такта и воображения, Лоу, обращаясь к Наполеону, всегда называл его «генерал Бонапарт», неожиданно вызывал его без предварительного уведомления и удивлялся, когда Наполеон отказывался видеть его. Не всегда Лоу действовал только по своей инициативе, но и по требованию Лондона. Так или иначе, Наполеон ненавидел Лоу, и их взаимоотношения становились все более напряженными и резкими. Это очень скверно сказывалось на ссыльном императоре. К тому же росла разногласия в его свите. Несколько человек из его окружения покинули его и возвратились во Францию. К этому времени Наполеон уже был больным человеком. Он прекратил физические упражнения, сократил часы диктовки своих мемуаров. Он стал принимать очень горячие ванны и сильно обрюзг.

В 1818 году здоровье Наполеона серьезно ухудшилось, хотя губернатор не верил этому. Однако сам Наполеон, очевидно, уже понимал, что жить ему осталось недолго. Из Франции на Святую Елену были посланы капеллан и врач. Священник сам был стар и немощен и нуждался в помощи, а врач был совершенный невежда, какой-то лабора-

торный ассистент. Хотя в Англии и Франции знали, что Наполеон слабеет, но не представляли, как серьезно он болен, и никаких мер не принимали. Состояние его продолжало ухудшаться. Когда оно стало критическим, Лоу послал ему своего врача, но Наполеон отказался от его услуг. Позже он все же позволил ему осмотреть себя.

Семнадцатого апреля 1821 года врач сообщил губернатору, что у Наполеона полный упадок сил. Три недели спустя, 5 мая 1821 года, несмотря на приезд в последнюю минуту двух врачей, император скончался. Вскрытием, произведенным немедленно после его смерти, было установлено, что Наполеон умер от рака. Ему не было и пятидесяти двух лет.

Его похоронили в долине Гераней на месте, которое он сам себе выбрал для могилы.

Его друзья требовали, чтобы на надгробном камне было высечено одно-единственное слово — «Наполеон». Лоу упрямо не соглашался и предлагал или «Наполеон Бонапарт», или ничего. Так и не было сделано на могиле никакой надписи.

Спустя почти двадцать лет, в 1840 году, Адольф Тьер, премьер-министр при правительстве Луи-Филиппа, убедил своего монарха обратиться к англичанам с просьбой возвратить останки Наполеона во Францию. Просьба была удовлетворена.

Восьмого октября 1840 года на Святую Елену прибыли фрегат «Ла Бель Поль» и корвет «Фаворит».

Ночью 14 октября из могилы были извлечены останки Наполеона. По свидетельству очевидцев, тело императора удивительно хорошо сохранилось. Оно было уложено в специальный трехстенный ящик из олова, красного и черного дерева. По дороге, вдоль которой были выстроены французские солдаты, под звуки салюта из форта и всех кораблей, находящихся в гавани, процессия двинулась к берегу. Гроб был помещен в специальной часовне на борту корабля. 18 октября прах Наполеона покинул остров Святой Елены.

— Могила Наполеона, — повторил Фрэд Янг тонэм, которым кондуктора объявляют очередную остановку.

Экскурсия продолжалась.

Мы спустились вниз по скользкой после дождей глинистой дорожке. Вокруг — настоящее царство тропических растений. Отступив всего несколько десятков метров от шоссе и избавившись от бензинной гари, мы буквально «оглушены» букетом тончайших, не изведанных дотоле ароматов. Приходит мысль о том, что, если бы на земле существовал рай, он выглядел бы именно так. Но вот перед нами деревянные ворота, укрепленные на двух каменных колоннах. Ворота закрыты. Сбоку к ним примыкает колючая проволока. Вот тебе и рай!

Мы останавливаемся перед заграждением. Сбоку на откосе дорожки на красном грунте еще можно разобрать старую надпись, выдавленную острым предметом: «Мы из Одессы!» Земляки. Тоже побывали на Святой Елене. Это вдохновляет. Теперь, не раздумывая, берем ворота штурмом. Правда, есть пострадавшие. Соскакивая с другой стороны, некоторые поскользнулись, и рукава белоснежных сорочек в красной грязи.

— Ничего, ничего, грязь-то тропическая, — успокаивают их.

Преодолев таким образом ворота, наша группа бодро устремляется дальше вниз по скользкой тропинке. Следующим препятствием оказывается маленький ослик, стоящий посреди дороги. Он выжидающе смстрит на приближающуюся к нему сверху лавину и недоуменно похлопывает ушами. По сведениям, почерпнутым нами из корабельных справочников, на острове всего тысяча ослов. Это — первый, с которым мы повстречались. Когда мы подходим к нему почти вплотную, постепенно невольно замедляя шаг — штурм ворот научил нас осторожности, — он, взбрыкнув, отскакивает метров на пять вниз по тропе и снова останавливается.

Так, рывками, наша группа движется все же вниз, с каждым мигом приближаясь к могиле Наполеона. Наконец ослик, поняв, что от него требуется, уступает дорогу. Мы проходим через узкую калитку, мимо маленькой будочки, где, возможно, в свое время находился солдат-гренадер, охранявший могилу. И вот под сенью высоких деревьев,

как щитом, прикрывающих жаркое тропическое солнце, посреди небольшой поляны почерневшая железная ограда. Внутри прямоугольная, серая, местами с зеленоватыми подтеками каменная плита. На плите нет никаких надписей.

— Хоть бы дощечку какую ему поставили,— сетует кто-то из наших ребят,— а то просто неудобно как-то.

Потом начинается фотосъемка. Приходится долго ждать, пока могила «освободится», чтобы сфотографировать ее в естественном виде, без улыбающегося полярника на переднем плане.

«Почему Наполеон полюбил это место и выбрал его для своей могилы?» — думаю я. За прошедшие полтора года деревья вокруг поляны так разрослись, что совсем скрыли вид на море. А раньше он, наверное, мог видеть отсюда море — бескрайнее и бирюзовое, за которым лежала Франция.

Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей,
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей...—

писал А. С. Пушкин.

Сверху слышатся звуки клаксона. И мы вспоминаем, что нас ожидает Фрэд Янг. Быстро, без остановок проделав обратный путь, выходим на дорогу. Наша машина уже предусмотрительно заведена и, стоя на месте, судорожно подергивается.

Еще несколько километров по живописной дороге, и мы въезжаем через небольшие ворота в Лонгвуд. Пересекаем луг, где мирно пасется с десяток коров. Впереди высокие деревья. Лонгвуд в переводе означает длинное дерево. Среди деревьев на поляне приземистый одноэтажный дом. Близ него на тонкой мачте вяло болтается французский флаг с обтрепанным полотнищем. Перед домом две маленькие, совсем игрушечные пушечки, выкрашенные по чьей-то прихоти в зеленый цвет.

Вокруг дома цветники. Внутри музей. Здесь же в дальнем крыле здания помещается французское консульство. И мы сами находимся уже не на английской, а на французской территории. Как же это произошло?

После отъезда французов с острова почти все оставшееся было растащено, а дом превращен в ферму. Сад пришел в запустение, а могила так и оставалась открытой. В 1858 году английская королева Виктория подарила Лонгвуд и участок земли у могилы Наполеона тогдашнему королю Франции Наполеону III. Сразу же после этого кое-что в доме было восстановлено и могила закрыта. Но этим дело и кончилось. Лишь в 1931 году благодаря помощи Общества друзей Святой Елены (оказывается, существует даже такое общество) сюда прибыл архитектор. Он установил, что в Лонгвуде поселились термиты и все выполненные ранее реставрационные работы по дереву были погублены. В 1949 году совет министров Французской республики выделил некоторые ассигнования для восстановления императорской резиденции. Пять лет тут велись различные работы. Частично восстановлена мебель и обстановка. Так что современный Лонгвуд имеет неплохой вид, хотя, как утверждает местный историк, не отражает того, что было при императоре.

Нынешний французский консул, говорят, знает русский язык и даже работал когда-то в Москве. Возможно, для него это поселение в Лонгвуде — почетная ссылка или что-либо в этом роде. Портовые чиновники говорили, что он будто хотел повидаться с нами. Мы искали его, но так и не нашли. А жаль, он единственный человек на острове, знающий русский язык, и у нас к нему было бы много вопросов.

Входим в музей. Вход платный — два шиллинга.

В этом доме Наполеон прожил почти пять лет. Вот его спальня с низкой кроватью, кабинет, бильярдная, где на подоконнике аккуратно сложены желтоватые, слегка побитые шары, с которыми, по-видимому, имел дело сам император. На стенах комнат развешаны старинные гравюры и литографии. Картины былого величия: Наполеон в расцвете сил, со сложенными на груди руками — поза великого человека, или сцена коронации — торжествующий Наполеон, взяв из рук перепуганного папы корону, сам возлагает ее на свою голову. А вот другие картины. Наполеон совсем иной — уже

позади Ватерлоо, впереди неведомая ссылка. Картина называется «Наполеон прибывает на борту «Норсхамберлэнда» на остров Святой Елены». Император один на палубе, в своем обычном сюртуке и треуголке, устало смотрит вперед, где, очевидно, виден уже мрачный, вырастающий из морских пучин остров, а далеко позади, как бы подчеркивая его одиночество, стоят его приближенные.

А вот последние секунды жизни Наполеона. Император мертвенно-бледный на своей низкой постели, глаза его закрыты. И приближенные, обступив постель, вглядываются в его уже успокоенное лицо.

О Наполеоне слишком много написано. И хотя от современности его отделяет жизнь многих поколений, тем не менее события того времени трогают и тревожат нас. И как ни странно, а вернее, совсем не странно, что мы, русские, посещаем наполеоновские места с волнением, вызванным не столько интересом к жизни знаменитого человека, — Россия знала достаточно своих великих людей, хотя хорошо знала и Наполеона, да и он узнал ее слишком хорошо. Наполеон для нас — не абстракция, не египетская мумия, а живые страницы истории, Отечественной войны 1812 года. Вспоминая о Наполеоне, вспоминаешь прежде всего Бородино.

Фрэд Янг везет нас дальше по горным дорогам Святой Елены. На одном из разветвлений он притормаживает и спрашивает. предпочитаем ли мы ехать обратно в город или дальше по острову, если дальше, то нужно платить еще по два шиллинга с брата. Так в высокие наши исторические размышления вторгается проза жизни. В кабриолете замешательство. Раздаются голоса:

— Давайте лучше обратно.

То есть в город, поближе к кораблю. Уже, кажется, все потеряно. Искатели нового, бескорыстные романтики, что-то робко мычат, нерешительно протестуют и вот-вот сдадутся. Но спасает положение один из нас; взглянув на часы, он говорит:

— Половина первого. Магазины скоро закроются. Сейчас возвращаться в город ни то ни се.

— Конечно, ни то ни се! — уже решительно подхватывают романтики.

— Трогай дальше! — быстро говорю я Фрэду, не ожидая продолжения дебатов. Он быстро сворачивает налево, в гору. Дорога поднимается все выше, к вершине острова — горе Актюн (818 метров). На подъеме нас застигает дождь. Откинутый было тент колымаги приходится спешно поднимать.

— Ну вот, надо было возвращаться, — слышится недовольный голос сзади. — Вымокнем до нитки.

— Вымокнуть боишься, а еще полярник, — парируют спереди.

Но через десять минут с перевала открывается захватывающе прекрасный головокружительный вид — лежащее внизу море и каскадом сбегаящие к нему красные скалы.

Все смолкают.

— Такое зрелище стоит двух шиллингов! — восклицает кто-то сзади.

Машина начинает скатываться вниз и вскоре сворачивает в тенистый парк, где на лужайке стоит большой дом. Больше чем просто дом — двухэтажный особняк. Это резиденция губернатора острова Святой Елены, и не только Святой Елены, а и подчиненных ему еще нескольких мелких островов в южной части Атлантического океана — Тристан да Кунья (252 жителя), Вознесенья (196 жителей) и других, совсем необитаемых. На лужайке перед домом прекрасный теннисный корт (кстати, единственный, который мы видели на острове), рядом устроена площадка для гольфа. Ближе к зданию на длинных тонких столбах установлены домики для певчих птиц.

Наше внимание привлекает что-то большое и бесформенное, лежащее на траве между теннисным кортом и площадкой для гольфа. Мы пристально вглядываемся, пока не узнаем в этой серой массе гигантскую черепаху.

— Ей двести лет, — не без гордости говорит Фрэд Янг.

Да, это гордость острова. Старая, мудрая черепаха, которая столько видела на своем вку. Единственное живое существо на острове, несомненно, знавшее Наполеона. Умей она говорить, сколько могла бы рассказать эта старая черепаха и о последующих событиях, происшедших на этом острове.

* * *

После смерти Наполеона гарнизон на Святой Елене был сокращен, корабли стали заходить сюда реже, и маленькая колония постепенно стала приходить в упадок. В 1832 году на острове отменили рабство. Но не находя работы, многие жители покинули остров и эмигрировали, в основном в Южную Африку.

Губернаторы Святой Елены многократно пытались развивать собственное выгодное производство. То это были попытки организовать выращивание хинного дерева и новозеландского льна, то организация китобойного промысла и рыбоконсервной промышленности. Однако все эти начинания закончились неудачно. И ко второй половине XIX века положение на острове изменилось от плохого к худшему. Этому способствовало также сокращение парусного флота и особенно открытие в 1869 году Суэцкого канала, что сильно уменьшило заходы судов на Святую Елену.

В 1879 году Англия начала войну против зулусов, которая закончилась пленением зулусских вождей. Сын предводителя зулусской армии был сослан на Святую Елену вместе со своими женами, которые после обращения в христианство сделали слугами. На содержание пленных зулусов английское правительство выделяло около тысячи фунтов в год.

Экономическое положение острова несколько улучшилось во время англо-бурской войны 1899—1902 годов, когда решено было превратить Святую Елену в тюремный лагерь для буров. В 1899 году четыре тысячи шестьсот пленных: буров было вывезено на остров, в дальнейшем число их увеличилось до шести тысяч. Заключенные и охранявшие их солдаты приносили доходы острову. Таким образом, не имея своей собственной развитой экономики, остров паразитировал, извлекая выгоды из войны и бедствий в окружающем мире.

После окончания войны и репатриации пленных экономическое положение здесь вновь ухудшилось. К этому времени в качестве основной промышленной культуры на острове утвердился новозеландский лен. Для его обработки было построено несколько небольших фабрик. Но успех этого предприятия сильно зависел от уровня мировых цен. Во время первой и второй мировых войн цены на новозеландский лен были очень высоки. В эти периоды на Святой Елене вновь были созданы военные гарнизоны и многие жители записались в армию.

Во время второй мировой войны произошел случай, оставивший след в местной истории.

Шестого ноября 1942 года английский пассажирский пароход «Каир», плывший из Бомбея, был торпедирован в тысяче миль от побережья Африки германской подводной лодкой. Двести девяносто четыре пассажира в шести шлюпках взяли курс на Святую Елену. Однако только части шлюпок удалось достигнуть острова, и сто сорок восемь человек нашли здесь спасение.

С окончанием второй мировой войны ход жизни на острове снова приобрел унылый, рутинный характер. Губернаторы приезжали, губернаторствовали положенные им годы и уезжали домой. Другие колониальные чиновники также по истечении срока службы подавались в родные края. И почти совсем ничего не делалось для того, чтобы развить экономику острова и уменьшить его зависимость от Англии. Так как остров не имел стратегического значения, деньги на его нужды выделялись в виде скудного пособия, чтобы дать возможность островитянам кое-как существовать. Поэтому многие святоеленцы жили очень бедно. Заработная плата сохранялась чрезвычайно низкой, а число безработных росло. Молодежь, не находя работы, покидала остров. Часть мужчин находила работу в американских ВВС на острове Асеньсон, расположенном в семистах милях северо-западнее Святой Елены. Святоеленский историк и публицист Х. Уолш, на книжку которого я уже ссылался, пишет: «Бедняки этой колонии настроены лояльно, но есть все же признаки, что этот добрый, много страдавший народ близок к тому, что терпение его кончится».

А ведь помочь населению острова вполне возможно. Прекрасный климат, живописная природа, местная экзотика могли бы при не столь уж больших вложениях превратить остров в отличный курорт с многочисленными удовольствиями и развлечениями: купанием, рыбной ловлей, теннисом, крокетом, футболом и т. д. Пока же здесь есть

один-единственный отель, к тому же очень маленький. Нет мола, так что пассажиры вынуждены переправляться с корабля на берег в шлюпках. А главное — отсутствует аэродром.

И Х. Уолш, очевидно, искренне озабоченный судьбой своей родины, обращается в конце своей книги к читателям с мягким призывом — поведать всем о трудной судьбе его острова: «Если больше людей узнают о нашем бедственном положении, тогда, может быть, ответственные лица займут по отношению к нам более реальную позицию...»

И живой свидетель всего этого — большая серая черепаха, лежащая посреди лужайки перед губернаторским домом. Некоторые из нас устремляются к воротам. Они открыты, но пожилой темнокожий мужчина, подметающий дорожку большой синтетической метлой, преграждает путь, объясняя, что вход сюда посторонним воспрещен. Таким образом, наше свидание с губернатором Святой Елены и подопечных ей территорий не состоялось. Но через плохо прикрытую калитку с другой стороны ограды мы прорвались на лужайку к гигантской черепахе. С любопытством наблюдала за нашими передвижениями со второго этажа губернаторского дома какая-то молодая женщина. Черепаха тем временем была окружена и подвергалась перекрестному обстрелу из фото- и кинокамер. Это происходило перед окнами губернаторского дома, на зеленой лужайке между теннисным кортом и площадкой для игры в гольф. Губернатора мы так и не увидели. Говорят, он уже стар, живет на острове четыре года, ездит в отпуск в Англию и, очевидно, дорабатывает до пенсии. А девушка, глядевшая на нас из окошка, даже помахала нам рукой, когда мы, оставив в покое черепаху, направились к автомашине. Лишь черепаха была явно разочарована и порывалась уползти за нами: очень надоело ей, видно, двести лет лежать на площадке перед губернаторским домом. Но вскоре, поняв тщетность своих усилий, снова замерла посреди лужайки.

* * *

Наша экскурсия по острову подходила к концу.

Дорога теперь пошла под уклон, мы спускались к юго-западному краю острова. По мере приближения к морю растительность становилась все беднее, снова пошли унылые склоны, заросшие ксерофитами. Среди колючих, в рост человека кустарников виднелись отдельные обшарпанные домики. Школа среди них была не так нарядна, как в городе, хотя с такой же пестрой россыпью ребятшек во дворе. Всего школ на острове двенадцать. Одна из них средняя, остальные начальные. Школьников — около полутора тысяч, а учителей около шестидесяти, из них только тринадцать мужчин. Среди учителей немало очень молодых — шестнадцати—восемнадцати лет. Да и вообще около половины населения острова моложе шестнадцати лет.

Мы спускаемся все ниже и ниже по этой голой, покрытой колючками местности, где отдельные строения выглядят убого. И нам не совсем ясно, почему они поставлены здесь, а не в центральной, цветущей части острова. Не совсем ясно также, чем занимаются живущие здесь люди. Может быть, это рыбаки, которые поселились в этих местах, чтобы быть ближе к морю: ведь местные воды изобилуют рыбой самых различных видов, черепахами, омарами, устрицами. Тунец, альбакор и баракута в здешних водах искушают даже рыбаков из Южной Африки. Некоторые рыбы носят здесь забавные названия: длинная ножка, старая жена, рыба-ружье и т. д. Но главной промысловой рыбой, безусловно, является макрель.

Машина делает еще несколько поворотов, и мы оказываемся снова близ Джемстауна. Вернее, над ним, теперь уже с южной стороны. Здесь на вершине скалы находится старая крепость, когда-то охранявшая подступы к берегу, а теперь превращенная в школу. Прямо со школьного двора, отделенного небольшой балюстрадой от двухсотметрового обрыва к океану, ребята смотрят вниз на застывшую под скалой «Обь». Школьники в большинстве смуглые. Редко-редко можно увидеть типично европейское, бледное, веснушчатое лицо. Однако когда кто-то заинтересовался у самых темных из них, какой они национальности, ему ответили:

— Мы — англичане.

Большинство жителей Святой Елены родилось здесь, на острове. Выходцев из других мест совсем мало, около ста человек.

С уступа на краю обрыва, где в бывшем крепостном здании находится школа, вниз, к центру города, идет очень крутая и узкая лестница, едва ли не самая длинная и крутая лестница в мире. Построена она еще в 1829 году. Длина ее около трехсот метров, высота почти двести метров, а крутизна достигает местами 44 градусов. В ней семьсот ступеней, правда, самая нижняя ступень уже сравнялась с землей. Дух захватывает, когда смотришь с вершины лестницы вниз. Лестница эта, как и черепаха, тоже достопримечательность острова.

Не рискуя пересчитывать все оставшиеся 699 ступеней, мы съезжаем вниз в город по узкому шоссе, искусно проложенному вдоль края обрыва.

Поездка по острову закончена. Нам остается еще несколько часов побродить по самому городу. Мы прощаемся с Фрэдом Янгом, заплатив ему положенные двенадцать шиллингов с брата. Почти одновременно с нами заканчивают экскурсии и остальные пассажиры «Оби», и скоро двухсотенная толпа русских заполняет миниатюрный центр Джемстауна, осаждает его маленькие магазинчики, к удовольствию их хозяев.

Местные жители словно растворяются в нашей толпе. Со стороны, наверное, может сложиться впечатление, что город захвачен нами. Одиноким полисмен, регулирующий несуществующее движение в центре города, вежливо здоровается с проходящими русскими. Он оттерт куда-то в сторону и, беспомощно улыбаясь, позирует фотолюбителям. Рядом с ним вертится все время большой рыжий петух, явно смущающий его.

Главную городскую площадь, шириной не более сорока метров, окаймляют небольшой универсальный магазин, крытый рынок и два бара — один почище, другой погрязнее, напоминающий темный сарайчик. В магазине и барах толпятся наши полярники, на рынке одна-единственная женщина продает несколько плодов манго. Вдоль стены рынка сидят несколько старушек. Они вяжут и переговариваются друг с дружкой, зорко поглядывая на иностранцев, то бишь на нас. Ну совсем как в наших дворах и у подъездов.

Возле старушек стоит смуглая молодая женщина, держа за руку совершенно черненького мальчика. В красном, вызывающе ярком костюме, она нисколько не смущается присутствием посторонних. Когда я прошу разрешения сфотографировать ее, она утвердительно кивает и смеется, но затем вдруг начинает громко хохотать, показывая рукой куда-то в сторону. Я смотрю туда и вижу двух негритянок, испуганно прикрывающих лица. Этим они, очевидно, показывают, что не хотят сниматься. А женщина в красном заливается хохотом, словно говоря: «Смотрите, какие они отсталые».

Через центр городка проходит много девочек-подростков, чаще с мамами, реже одни — те повзрослее, смуглые и стройные девушки «на выданье». Весело постукивая каблучками по мостовой, они двигаются легкой, грациозной походкой.

Центральная и по сути единственная улица Джемстауна очень уютна и чиста. В начале ее — у моря — расположена церковь святого Джемса, в конце — церковь святого Джонса. Какая разница между ними, мы узнать не смогли. А в средней части улицы, по левую сторону, если идти от моря, расположена совсем маленькая церквушка адвентистов седьмого дня с выведенными на ограде призывами к населению. Рядом с этой церковью — дом Армии спасения, на «доске объявлений» которого типографски на русском языке отпечатано воззвание к верующим. А так как на острове никто русского языка не знает, кроме французского консула, то, значит, тут имели в виду нас. Очевидно, дома Армии спасения снабжаются литературой из центра на всех языках, и даже Святая Елена не обойдена в этом отношении.

По дороге мы заходим на почту и покупаем на память святоеленские марки. На них изображены местные рыбы, птицы и, как на большинстве английских марок, вечно юная королева Елизавета в уголке.

Походить бы еще по городу, свернув с центрального проспекта, но уже вечерет, и нам пора к причалу. Мы направляемся к морю. На крохотной набережной молодые мамы прогуливают в колясочках детей, здесь же вертится уйма ребятшек. У причала особенно многолюдно. Наши парни уже купаются здесь, ныряя в теплую зеленую воду с каменных ступенек. К ним присоединяется кое-кто из нашей группы. Среди местных жителей мы видим уже знакомую нам женщину в красном. Рядом с ней стоит еще одна молодая мама с симпатичным, чисто русским лицом. Поодаль в ма-

ленькой колясочке полулежит маленькая девочка — ее дочка. Девочка во все глаза смотрит на окружающих ее русских моряков. Очевидно, ее сначала удивляет, а потом пугает моя черная, отращенная в Антарктиде борода. И вдруг, всмотревшись в меня повнимательнее, она заливается горячими слезами. Мать быстро подхватывает ее на руки. Я фотографирую их. Молодая женщина бросает протестующий взгляд, но, встречая мою улыбку, улыбается.

Подошла шлюпка, мы вскакиваем в нее и тут же отчаливаем. Прощально машут нам женщины и ребяташки, и мы машем им в ответ. Пристань удаляется, удаляется насовсем, потому что не может быть на свете такого чуда, чтобы человек дважды в своей жизни посетил этот затерявшийся в океане крохотный, как говорят, «богом забытый» остров.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. БОРИСОВА

★

ВСТУПЛЕНИЕ

(О творчестве Виктора Астафьева)

Один из героев В. Астафьева, старый охотник дядя Петр, однажды (не на охоте, а просто пошел во время сенокоса набрать кружку ягод) столкнулся в малинике с медведем. «Самое странное было в том, что он вроде бы и не испугался медведя и тот вроде бы тоже не испугался его, Они ошарашенно смотрели друг на друга.

Совсем не сознавая, что делает, дядя Петр сорвал ягоду, положил в рот и нажал на нее языком. Сладко! Медведь помедлил, затем прижал одной лапой кусты к пню, другой лапой деловито сорвал горсть ягод вместе с листьями и запихал их в розовую пасть. Сладко!

Дядя Петр деликатно отщипнул вторую ягоду и, глядя немигающими глазами в оцепенелые зрачки медведя, отступил на шаг. Так, обирая кустик за кустиком, они уходили друг от друга. И только после того, как сажень в ста, уже за логом, медведь подурному рывкнул и, затрещав кустами, ринулся прочь, дядя Петр тоже хватил во все лопатки, не бежал, а летел, можно сказать, вроде бы и земли ногами не касался. Откуда и прыть взялась!

Чудные, памятные штуки в жизни бывают. Четырнадцать медведей положил дядя Петр, а отчетливо помнил только этого, не убитого, пятнадцатого».

Как человек, видевший разнообразные способы истребления жизни, Виктор Астафьев остро воспринимает любое покушение на жизнь, будь то жизнь человека, животного, дерева, птицы. Человек сстается «венцом всего живущего». Дикого козла надо убить, чтобы спасти ослабевших от голода ребят. Иерархия ценностей сохраняется. И

нет ни ханжества, ни слезливости в жалости к убитому оленьему теленку. Тем не менее «живущий не сравним». Пожалуй, ни в одном из произведений В. Астафьева это не становится особой темой, нигде не рекламируется как программа или мировоззрение. Однако высокое ощущение ценности живого и разрушительности убийства для героев В. Астафьева является первоначальной, ненадуманной моралью и в общении с миром, и когда речь идет о самосохранении души. Для них это естественное и постоянно пульсирующее чувство, от которого они не отключаются никогда. Даже десятилетний Захарка (из одноименного рассказа), кормилец в осиротевшей и голодающей семье, стреляя в диких уток, замечает с недетским вниманием к смерти: «Утки не то, что гуси — теряли друзей без криков и паники. Казалось, они просто на ходу вытряхивали из табуна одну-две птицы и, чуть дрогнув, спешили без оглядки дальше».

Другой малолетний кормилец — герой повести «Где-то гремит война», прибывший на недолгую побывку в родную деревню фэзэошник, — отправляется стрелять диких коз, которые растаскивают сено, заодно и мяса добыть. Охота оказалась удачной.

«С боязливым любопытством я приблизился к козлу. Он был еще жив, хрипло дышал и дергался, подбрасывая свое непослушное тело. Он пытался ползти к лесу, да только выгребал яму в снегу и зарывался все глубже и глубже.

Я целил ему в грудь и, должно быть, угодил, куда целил. Вожак приподнял голову, рванулся еще раз и осел на подломившиеся ноги. Так, по-кроличьи, на лапах лежал он

и глядел на меня. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь.

Я попятился, загоразживаясь ружьем, но тут же бросился на козла и принялся колотить его по рогатой голове прикладом:

— А-а, шаман! А-а, оборотень! Чего глядишь?! Чего глядишь?! Сено жрал! Сено жрал!..

Хрустнула кость. Я проломил жожаку голову, затоптал еще живое, но уже вялое его тело в снег и все кричал и бил, бил. Расщепал бы я приклад ружья, если б не подбежал Кеша.

— Ты че? Сдурел? Совсем сдурел?..— оттолкнул он меня.

Я упал в снег лицом. Так и лежал какое-то время... Потрогал лицо рукавицей, почувствовал, что оно все еще болит, и принялся заматывать его шалью.

Я сидел в снегу опустошенный, раздавленный, а Кеша вертел в руках тулку и виноватым голосом бубнил:

— Ружье-то тятино, голова! Поломал бы...»

В любой точке земли — где ни тронь, куда ни забреди — жизнь творится и противостоит уничтожению то прямым физическим отпором, то отпором душевным, нравственным неприятием и противодействием: непритупляющееся ощущение этого повсеместного, непрекращающегося действия заставляет В. Астафьева каждого считать достойным художественного существования так же, как и физического. Может быть, именно это обостренное чувство ценности жизни и сделало В. Астафьева писателем. Литература — это род творчества, и в желании творить жизнь В. Астафьев чрезвычайно близок своим героям. В его произведениях каждый герой существует прежде всего волей к деянию — материальному или духовному, и ценность каждого исчисляется его способностью гнущать, а не истреблять могущество жизни, наращивать, говоря современным языком, ее потенциал. Вот рассуждение из ранней повести В. Астафьева «Стародуб», рассуждение как будто бесхитростное, но для писателя оказавшееся очень существенным и в будущем:

«Есть люди, которые умирают, не оставив на земле никакого следа. Зачем рождались? Зачем жили? Хорошо, если они наплодят детей и хотя бы этим продолжат свой малый ручей, который сольется с другими, ра-

створится в них и будет уже тем велик, что станет частицей живой жизни.

Но есть и такие люди, которые при жизни кажутся бросовыми, никому не нужными, как бы созданными только для того, чтобы поскорее исчезнуть из памяти людской. Культыша жители Вырубов уподобляли раннему снежку. Нагрнулся снежок неожиданно-негаданно, а выглянуло солнце — и нет его: пропал.

Только не взяли жители той деревни в расчет того, что после такого снежка озимь в поле зеленеет ярче, листья на деревьях делаются шумливее и полет птиц стремительней».

Жизненный путь героев В. Астафьева, как это бывает в творчестве каждого писателя, часто на каких-то отрезках совпадает с жизненным путем самого автора, разумеется, нигде не повторяя его полностью. Из этих многократно перекрестившихся путей, из перемножившегося опыта достаточно четко проступает путь и опыт малолетнего сироты, которого сначала худо-бедно, но вырастила деревенская бабка, потом поглотил детдом, затем пошло ФЗО, дальше — армия, война. Миллионнократный опыт!

В любой аннотации к сборникам В. Астафьева можно прочесть, что В. Астафьев пишет о жизни простых людей. В аннотации к сборнику рассказов и повестей «Звездопад», изданному в издательстве «Молодая гвардия» в 1962 году, говорится: «При всем драматизме герой В. Астафьева, простой человек, морально крепок и по-настоящему оптимистичен: сколько в нем неистребимого здоровья и силы, если после всех перенесенных невзгод нет в нем ни уныния, ни пессимизма». Спустя шесть лет, выпуская в свет новые повести В. Астафьева — «Кража» и «Где-то гремит война», то же издательство снова отмечает как характерные особенности писателя «любовь к простым людям нелегкой судьбы, к родной природе, народность языка и драматичность сюжета».

Все эти характеристики совершенно правильны, несмотря на очевидную стертость. Но за этой стертостью могут быть скрыты дерзкий поиск, и бездушность конъюнктуры, и основательное исследование. В. Астафьев не торопился себя определить. Он писал о том, что знал, терпеливо дожидаясь, когда его знание обнаружит свою серьезность. То, что В. Астафьев действительно пишет о «жизни простых людей», это не только следствие его личного житейского опыта, его биографии, и

не только послушный отклик на призыв писать о жизни рядовых тружеников. Это связано со всем мироощущением писателя, которому обычное, рядовое кажется почвой наиболее жизнедеятельной. Он стремится слышать и угадывать, как в «море народной жизни» (Л. Толстой) возникают и циркулируют силы созидательные и разрушающие, как движутся они безостановочно, хотя и бесшумно и часто настолько привычно, что трудно вычленишь изменения, в них зреющие. Должно пройти время, чтобы эта новизна набрала напряжения и существование ее стало явным для всех. С годами у В. Астафьева обостряется зоркость и предвидение подобных изменений.

Рассказы и повести В. Астафьева обычно немногочисленны. Два раненых солдата, бредущих в тыл в поисках госпиталя. Одинокая вдовья изба на краю деревни. Несколько ребят-новобранцев в поезде недалекого следования. Кучка детдомовских ребят в заполярном Краесветске — когда они, притихшие, сбились все вместе, узнав о смерти одного из них («Если бы весна наступила бы после Нового года, он не помер бы»), то обнаружилось, что их не орава вовсе, а куда меньше, чем казалось обычно, когда они бегали враспынную. Другой российский перекресток — порожистая сибирская река, по которой сплавляет лес бригада сплавщиков: «В те годы на сезонных работах можно было встретить кого угодно, начиная от бывшего члена Государственной думы и кончая распоследним босяком».

Любовь к простому человеку и любовь к живому, будучи для писателя чувствами одного порядка, в творчестве его питают друг друга. Поэтому, хотя каждая из вещей В. Астафьева, как правило, немногочисленна, хотя писатель часто обращается к судьбам одиноким, даже заброшенным, все равно, читая его произведения одно за другим, постепенно оказываешься втянутым в человеческую гущу — где-то в растянувшемся солдатском строю, в тесноте барака, временно приютившего переселенцев (временно ли?), в одной «из прочих деревень, натканных там и сям по горбистому Уралу», «тянутся деревушка за деревушкой, одна выше, другая ниже, одна больше, другая меньше, но все очень схожие».

Из этих деревень, лесов, солдатских казарм, общежитий ФЗО, бараков, с которых начинается любая новостройка, писатель выхватывает одну судьбу, другую... Какая-

то точка в этом огромном пространстве вдруг привлечет его внимание. Он приблизился к ней, разглядел, и она опять пропала. Героя В. Астафьева всегда ощущаешь точкой, затерянной в пространстве. В этом нет уничтожения. Скорее наоборот — есть ощущение причастности к огромному, бескрайнему, труднопостижимому миру, который представляется таковым даже тогда, когда пробуют определить его границы: «Расеей у нас зовется все, что за Сибирью, то есть за нашей деревней, а уж за городом — конец земли».

Прославленные пространства России дают этому чувству овеществиться в бродяжничестве, в тысячеверстных переселениях, добровольных и иных. Среди героев В. Астафьева почти нет праздных путешественников, но в его рассказах и повестях все время перемещаются люди. Рассказ В. Астафьева почти всегда оказывается местом встречи, как правило, временной, порой мимолетной. Его герои бредут, плывут, едут, их переселяют. Отсюда ощущение шири, все удаляющегося горизонта и бескрайности личного существования, которое сливается с общим, чтобы уравнивать всех не только перед лицом смерти, но и перед лицом жизни — в праве на нее.

Эти чувства, воспетые и осмысленные нашими могучими предшественниками, в творчестве В. Астафьева не являются ни книжными, ни заемными. Берется ли он писать о годах после коллективизации, или о военном времени, или о сегодняшнем — он стремится охватить десятилетия, пережитые народом, и пространства страны, подобно той заполярной растительности, о которой сам он с удивлением пишет в повести «Кража»:

«Все в жизни наоборот. Надо бы южной растительности ложиться на обогретую землю, добрую, изнеженную, так нет же: пальмы, кипарисы, чинары рвутся вверх, прочь от взлелеявшей их нежной, теплой материземли. Надо бы взмыть к солнцу, на цыпочки подняться хилым северным растеньицам, а они жмутся к груди земли, греют ее своим, еле ощутимым дыханием, не дают загаснуть живым, только им и слышным токам».

И что тянет сюда птиц! Что?

Почему они не живут в тепле и довольстве юга? Почему через поздние заморозки, через многие версты и невзгоды, через смерть они спешат сюда и здесь успокаиваются, продолжают птичий род свой, воспол-

принят поредешние в пути табуны? Чем притягивает к себе живое эта почти мертвая земля? Может быть, все живое, и городок этот далекий, возникло по исконному мудрому закону жизни, не по прихоти, а именно по закону. Город такой здесь нужен. Но город поднимается не ради города, не ради той прибыли, которую он дает государству, торгуя с иностранными державами.

Есть смысл этой нелепой на первый взгляд стройки. И если бы не было этого смысла, город был бы только ссылкой для заключенных и раскулаченных переселенцев. Но в Красветске половина, если не больше, жителей вольных, приехавших по своему желанию, и, обживая Север, оттаивают они мерзлоту дыханием своим».

Ища больше объяснений, чем оправданий, писатель стремится понять еще неясные ему самому «исконные мудрые законы жизни». В этих поисках бывает наивность, но есть и поэзия. Духовный опыт народа, не умерший, не отмененный, вновь и вновь требует своего осмысления — и художественного, и нравственного, потому что прожит еще один кусок истории, а с ним естественно рождается новое знание, которое ждет, чтобы его определили.

В творчестве В. Астафьева есть мужественная попытка прикоснуться к этому новому знанию.

Если судить по количеству изданных книг (их больше двух десятков), писательская биография Виктора Астафьева складывалась на редкость удачно. Его книги издавались быстро и часто: видимо, газеты, журналы и издательства охотно печатали взявшегося за перо недавнего солдата и коренного сибиряка, который истоптал родную землю вдоль и поперек еще тогда, когда не думал писать. В такого рода опыте обычно нет ни умысла, ни системы, ни рачительности хозяина, заготавливающего впрок всякого рода знания о травах, о людях, о нравах, о разном зверье. Жилось как жилось. Что запомнилось, то осталось и пошло врассыпную по газетным корреспонденциям, очеркам, рассказам для детей и подростков, обычным (преимущественно охотничьим) рассказам с четкой здравоучительной мыслью о том, что природе надо беречь, взрослых — слушаться, то варишей в беде не оставлять. Это были ясные, незатейливые рассказы то о пожилом солдате Матвее Савинцеве, который исправ-

но, будто у себя на дворе, делал на войне невидную рядовую работу, а она-то и оказывалась героической («Гражданский человек»), то о двух ребятишках, не поленившихся набрать первой редкой земляники для страдающего от старых ран одинокого человека («Земляника»), то о старом сплавщике Андрее Никифоровиче, которого, несмотря на жестокий ревматизм, каждую весну заново тянуло на сплав, и он всякий раз обещал домашним, что этот сплав будет последним («До будущей весны»). Не сквозил в этих рассказах свежий взгляд на вещи, не встречалось свежего характера, а все казалось самым расхожим, привычным. Тем не менее эти рассказы если не обогащают, то как-то очищают наше зрение своим простодушием и неподдельно искренним, лишенным какой бы то ни было назойливости и полемичности желанием писать о тех, кто не заметен. Тишина и авторская скромность давали свою привлекательность этим неприхотливым рассказам и в какой-то мере купали их художественную скромность.

Словом, в литературу Виктор Астафьев не вошел резко, самобытно, а пришел по тропе самой исхоженной. Не было здесь никакой самонадеянности — ни художественной, ни гражданской. «Как все». Не было никакой дерзости и посягания на дерзновенность. Он делал простую солдатскую работу... Шла пехота.

Не было дерзости, и была доверчивость. Казалось, молодой писатель не только не посягает на что-то новое, но даже боится, что не сумеет сделать то, что все умеют. Его огромный опыт, житейский и нравственный, может быть, именно потому, что он был отражением и повторением опыта сотен тысяч его сверстников, при первой примерке очень легко входил в рамки распространенных представлений о деревне, о войне, о сибирских просторах. Спрессованный горький опыт его сиротской и солдатской судьбы давал легкую возможность найти подтверждение и пример едва ли не любому начинанию в хозяйственной, общественной или литературной жизни страны, и — какая удача! — все оказывалось кстати, все уместно. Нет, он вовсе не писал обязательно «на злобу дня». Но казалось, он чувствует себя некрепко, если сам себя к лихой злободневности не прикрепит. Он видел себя не своими глазами, а свои веки были опущены.

Крохотная, изданная на серой слабой бумаге книжечка «До будущей весны» (Мо-

лотов, 1958), первая в будущей благополучной серии едва ли не ежегодно выходивших книг В. Астафьева, живописна именно этой своей наивной иллюстративностью. В рассказе «Земляника», который уже упоминался, есть все та же прелесть незатейливости, прелесть описания ранней земляники в молодой еще траве и всего, «что, радуясь простору, будет тянуться к солнцу», как тянется к небу новая поросль на месте лесного пожара; есть чистая трогательность (хотя и сбивается она порой на сентиментальность) в том, как дети приносят в больницу землянику одинокому человеку, а потом за ними приходит их мать, вырастившая их без отца, погибшего на фронте, и палата, мигом сориентировавшись, деликатно отвлекает детей, чтобы дать побыть одним этим двум обездоленным людям. Но финал так же наивно иллюстративен, как незатейлив весь рассказ: дети убегают, а «под белыми воротничками от быстрого бега у них трепетали галстуки цвета спелой земляники».

Старый сплавщик Андрей Никифорович Варакин, который никак не может оторвать себя от любимого дела (рассказ «До будущей весны»), самому писателю, видимо, кажется недостаточно возвеличенным, и он! торопится объяснить, что лес, который сплавлял Варакин, предназначался для Сталинградской ГЭС. Последняя фраза рассказа — «Это дымил завод, на котором заботливые советские люди спешили выполнить заказ великой стройки». Сколько сил, опыта и риска понадобилось Варакину, как надо было не щадить себя, стареющего и разбитого болезнью, чтобы в очередной сплав совершить очередное, никем не принимаемое за подвиг дело — на бурном течении из крошева смешавшегося сплава выдрать одно «виноватое» бревно, чтобы разбить образовавшийся затор? Сам писатель цену всему этому знает твердо, но как будто боясь, что цене не поверят, начинает оправдывать себя, героя, обоих вместе.

Сколько нужно времени, сил, какого напряжения инстинкт свободы и истины должен быть заложен в писателя, чтобы рискнуть довериться собственному слуху и собственному зрению, довериться, не устранившись в то же время от всех влияний своего времени? Не оглушаясь ими, не зачаровываясь и не презирая их?

И где здесь искренняя доверчивость неуверенной в себе молодости, не нажившей опыта неподкупности, а где близорукие со-

блазны душевного и материального удобства?

Сбор подписей за мир, торфоперегонные горшочки, сибирские староверы, одно время ставшие мишенью обличения, знаменитый фельетон «Плесень» в «Комсомольской правде», возвращение в колхоз людей, ушедших оттуда, борьба с архитектурными излишествами, народные дружины и даже сакраментальное воспевание родной березки (рассказ «Самое прекрасное дерево»), способной утешить не в пример южной растительности. «...Эти растения, виденные мною впервые, многим из которых я даже и названия не знал, удивляли, но не радовали» — всему В. Астафьев отдал дань, всего коснулся, ко всему привязывал себя.

Спустя пять лет после выхода первого сборника рассказов в том же издательстве вышла первая большая вещь В. Астафьева — роман «Тают снега». Что было в этом романе? Отсталый колхоз и молодая женщина-агроном Тася Голубева, приехавшая с сынишкой в новое, неизвестное ей место и именно здесь встретившая отца своего ребенка, когда-то ее обманувшего. Приютившая Тасю многодетная вдова Макариха, женщина прямодушная, но замкнувшаяся в своем горе. Другой хороший человек, отошедший от больших колхозных дел и оковавшийся в своей бригаде, — Яков Григорьевич Букреев... К концу романа пьяницы и расхитители будут разоблачены и изгнаны. Букреев заменит разложившегося Птахина на посту председателя колхоза и женится на Макарихе, которую любит смолodu (как раз к этому времени умрет его злая, ненавистная и вечно болеющая жена Евдокия — заболела же Евдокия в свое время оттого, что выволакивала из холодной воды ящик с деньгами, несправедно нажитыми ее отцом-кулаком). Народ поднимется. Бригада доярок, до сих пор безропотных, самостоятельно составит акт на нерадивого ветеринара, погубившего корову-рекордистку. Была в этом романе также красавица распутница Клара, жена Птахина, — она-то, как выяснится, и толкала своего слабодушного мужа на преступление. Был бывший интеллигент-ленинградец и бывший фронтовик, а теперь спивающийся тракторист Василий Лихачев, которого от окончательного падения спасает любовь Таси Голубевой. Все было в этом романе. Штампы, кочевавшие в литературе того времени, почти все нашли себе здесь приют. В большой роман В. Астафьева они

вошли так по-хозяйски, что, казалось, вовсе вытоптали автора, не оставив ни духа, ни печати его особого присутствия.

Не вытоптали все-таки.

В названии романа «Тают снега» В. Астафьев вольно или невольно перефразировал название нашумевшей тогда повести И. Эренбурга «Оттепель». В его варианте было меньше точности, но проступало желание надежности и устойчивости, которое, при тогдашней отзывчивости писателя на все ходовое и новое, было особенно важным. Эти две, казалось бы, взаимоисключающие склонности еще долго будут сопутствовать друг другу в творчестве В. Астафьева. По складу характера, неотторжимого от склада дарования, его притягивают к себе люди прочные, желающие основывать, а не разрушать, строящие — надолго, любящие — навсегда. Не случайно рассказ о пожилом солдате, открывающий первую книжку В. Астафьева, называется «Гражданский человек». Писатель рос из этого зерна. Он ли родил своего героя или герой нашел своего писателя, от колоса — зерно или от зерна — колос — трудно сказать. Но при этом кровном вкусе к основательности, который составляет основу основ его существа, без которого его нет, — какая доступность всем ветрам!

А может быть, только просквозившись на этих ветрах, писатель найдет свое слово? «И себе присвоив чужой восторг, чужую грусть...». Есть в первом романе В. Астафьева свой восторг и своя грусть. Их трудно оголеть от штампов, в которые они замурованы, но дыхание их все-таки пробивается. Оно проступает в описании наступающей осени и деревни Корзиновки, в описании Макарихиной избы, висящей над обрывом, в характере Мишки-кладовщика, который от окружающего воровства прячется в придурковатость, в трезвом самобичевании Букреева, который тоже нашел было для себя нору и философию: буду с тихой добросовестностью трудиться на малозаметном участке — по крайней мере совесть чиста. За то же самое, за то, что не по силам мало взяла на себя в жизни, бранит автор и Макариху: «...В какое-то время спасовала Лидия Николаевна. Да, она ступала по земле так же твердо, работала, за детьми смотрела, не опустила, как говорится, с горя. Но и только». И дальше поучает ее наивно, конечно, но верно, если исходить из реальных возможностей, а из интересов челове-

ческой души: «А ведь ей нужно было драться, защищать людское добро, и тогда гореть свое, может, не свило бы в душе долговечного гнезда. Тогда и людям и ей бы с ребятишками жилось лучше». Приходящий в себя после многолетнего пьянства Василий Лихачев, объясняя Тасиному сыну, что такое героизм, вспоминает убитого на Днепровском плацдарме солдата и говорит: «Нет, Сережа, герой не тот, кто больше убил, а тот, кто победил во имя жизни».

«Все отошли в сторону от ответственности, позволили хапугам прибрать колхоз к рукам», «хорошие люди от жизни отступились» — мысль эта, не реализовавшись четко ни в сюжете, ни в характерах, все время присутствует в романе о деревне Корзиновке, разбредаясь по случайным репликам, побочным линиям и поворотам. Кажется, что автору все время хочется мобилизовать хорошее, наскрести в людях добра побольше, потому что жизнь замирает, если хорошие люди от нее отступаются. Не о том уже, кажется, речь идет, в чьих руках колхозное руководство в деревне Корзиновке, а в чьих руках сама жизнь, кто творит ее, кто определяет ее вкус и цвет, кто дает ей тон. Может быть, именно это чувство и помешало В. Астафьеву до конца следовать избранному штампу и все грядущее процветание Корзиновки связать преимущественно с энергией молодого агронома Таси Голубевой.

Каждый из трех героев трех лучших повестей В. Астафьева, написанных в последние, шестидесятые годы («Стародуб», «Кража» и «Где-то гремит война»), поставлен в такое положение, что он вынужден выручать из беды других, вынужден спасать. Каждый из них был в свое время спасен от беды, и теперь предстоит спасать самому. Сам по себе никто из них этой связи в своей судьбе не ощущает, не возникает также никаких соображений по поводу оплачивания долгов, и тем более никто из них не видит в своих поступках возвышенной и возвышающей миссии, ни даже просто благородства. А вот так складываются житейские обстоятельства, что приходится действовать именно им.

Осудив на первых страницах повести «Стародуб» староверов-кержаков за темноту и религиозный дурман, В. Астафьев начинает рассказ о человеке, которому в голый год пришлось кормить тех, кто его

преследовал и гнал. Но когда-то, прежде, в далекие годы, волей-неволей спас. Действие повести происходит в предреволюционные годы. История эта, по словам автора, из тех, которые не забываются.

Однажды на бешеной реке Онье в труднопроходимом месте, где река, прорубающаяся сквозь горы, идет почти внаклон, разбился плот, и от безвестной артели плотников остался в живых только мальчик. Его покружило-покружило и кинуло на берег к деревне. Эту деревню, укрытую горами и тайгой, прилепившуюся к мысу, который вклинивался в буйную реку, поставили староверы, жаждавшие отгородиться от мира. Такие угрюмые раскольничьи скиты и села встречались изредка на Онье, и плотгоны знали, что ждать помощи от Вырубов нечего — кержакам не было резона спасать тех, от кого они надежно спрятались: от чужих одна порча. Мальчик был изранен, оглушенный, лишился речи, и староверы решили, дабы не навести напасти, а с другой стороны — не замарать себя убийством, привязать мальчика к маленькому плоту-салику и пустить по реке — чему суждено быть, то и сбудется. Только сапожник Троха, перевязавший мальчику раны, робко протестовал, но с ним, получужим и пришлым, никто не думал считаться. «Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и, захлебываясь слезами, карабкался на яр... Троха не выдержал, убежал за баню — от «ужасти». А мужики уже волоком затащили на салик малого человека и придавили коленями к бревнам. Мальчишка барахтался, выскальзывал, как рыбка, кусал трясущиеся руки мужиков. Внезапно он ослабел, завял, но и беспомощство не усмирило его. Мокрое худенькое тело мальчишки все еще содрогалось. Мужикам казалось: часует малая душа, но ловится за жизнь».

В это время пристала к берегу лодка, и из нее вышел большой чернобородый охотник Фаефан, который и спас мальчика. Настоящее же имя охотника было Феофан, «но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает острые камни, сделали его более гладким для произношения». Однако самого Фаефана обкатать не удалось. Как ушли староверы от мира, спрятались от него в тайге, так еще дальше в тайгу ушел от староверов Фаефан. Вырубы стали для него тем миром, от которого надо бежать. Своего воспитанника, спасенного им мальчика,

которого за покалеченную руку стали звать Култышом, он поучает: «В мир не ходи. Страшен мир наш». А сам Култыш, теперь уже подросток, думает, «что надо очень возненавидеть людей, вовсе отрешиться от них, чтобы бродить одному по тайге с падучей болезнью». Пойдя против староверов, Фаефан на их дикость отвечает их же ответом — отколом, уходом. Когда Фаефан умирает, его жена Мокрида, в противоположность мужу верующая фанатично, ставшая после смерти отца уставщицей у своих единоверцев, хвалит мужа за то, что отказался он быть похороненным на кержацком кладбище, а только в лесу. Волю мужа она объясняет тем, что не захотел он, оскорбившийся в миру, поганить собой кержацкое кладбище. Амос, их сын, дает толкование более трезвое: «Может, он сам не хотел о нас поганиться...»

Трезвость Амоса идет не от единодушия с отцом. Это временная пронизательность, временная устойчивость человека, над которым уже рассеялся туман прежнего верования, но который еще не обрел и не стремится обрести нового духовного капитала. Потребности в этом — никакой. Он испытывает счастливую для себя освобожденность от всех заблуждений и страхов. Связи, делавшие его рабом, оборвались, и ему теперь легко представляется, что любые связи — это рабство. Поэтому он чувствует себя освобожденным ото всего, от обязанностей перед людьми, перед жизнью — в том числе. К тому же природа не обделила его способностями — он умен, очень толков, то есть для всех открывшихся ему свобод сам он, не скованный ни глупостью, ни слабостью, открыт вдвойне, втройне. «Страшный человек может выйти, пострашнее всех двуперстников наших, потому как умен, бес!» — говорит про Амоса умирающий Фаефан.

Печать раскола, лежащая на этой семье, на всех ее поколениях, не бледнеет, но смысл ее в каждом поколении видоизменяется. «Стародуб» — повесть не психологическая. Каждый из характеров не исследуется автором «во всей плоти и крови». Это почти легенда, сказка, это «история, рассказанная...», история, которую где-то поймали, подобрали и вот передали, не разжав тех пружинок, которые в скрученном состоянии порой веками лежат в подобных преданиях, выросших из житейских случаев.

Отец Мокриды и дел Амоса Агафон был у вырубчан уставщиком. Хранитель и тол-

кователь устоев, он пошел против своих единоверцев, когда они, проявив, на его взгляд, слабодушие, жизнь и даже просто житейские удобства предпочли верности устоям. Когда волостное начальство, обнаружив в лесу деревушку Вырубы, обложило ее, как положено было, налогами и потребовало рекрутов, старики предложили рекрутам сжечься в молельне, лишь бы не обмирщиться в солдатчине. На это никто не согласился — к тому времени вера была уже не настолько сильна. Тогда старики предложили «более сподручную поклажу» — взяв иконы, распятыя и книги, двинуться в леса, где нет власти, поставленной от людей. Но и эту поклажу не потянули вырубчане. Тогда Агафон «проклял их всех, заперся в молельне и три дня и три ночи молился без питья и еды, а на четвертый день поджег молельню и сгорел в ней». Рекрутов все же взяли (среди них был и Феофан), и брали до тех пор, пока вырубчане, обретя мирскую гибкость, не научились откупаться от рекрутчины.

Религиозный фанатизм отца в Мокриде не смягчился, но стал более формальным. Ее душевная энергия приняла несколько другое направление. Если для Агафона жизнь, обычная жизнь его единоверцев и односельчан, была лишь поводом для осуществления его религиозных убеждений, то житейски ловкая мать Мокрида была занята не столько тем, чтобы, подобно своему отцу, привести жизнь в соответствие со своими религиозными устоями, сколько тем, чтобы эти устои привести в соответствие с жизнью, как-то исхитриться и обойти их. Поэтому, когда на деревенский скот напал мор, она, понимая, что мужики замышляют сжечь ее приемыша Култыша, сама предлагает им этот выход, но одновременно тайком посылает в лес Амоса за Феофаном, зная, что муж этого не допустит. За это умение «править жизнь» Феофан и уважал свою жену, хотя любви к ней не было.

У Амоса осталось голое «умение жить». Казалось бы, он вселил: оков никаких, а ум есть, хватка — волчья, жалости — ни к чему. Но это самое выигрышное сочетание оказывается и самым бесплодным. Чувствуя в сыне силу, Мокрида мечтает воспитать в нем замену себе: односельчанам нужен уставщик, который волей своей укрепил бы в них пошатнувшуюся веру. Она не понимает, что в ней самой вера вытеснена житейской хваткой, что в ее лукавых компромиссах, вызывавших если не восхи-

щение, то почтение даже у Феофана, — не спасение веры, как ей казалось, а растление ее. И вот Амос — естественное завершение того кризиса, который шел уже тогда, когда Агафон сжигал себя. В Амосе не осталось ни дедовской жертвенности, ни материнской, по-своему азартной заботы о делах общих, а только холодная житейская сметка. С нею он идет в тайгу, от нее же и гибнет, потому что, отказавшись от веры деда и матери, он отказывается от всякого человеческого закона вообще, в том числе и от таежного, который исповедовали твердо Феофан с Култышом, — нельзя убивать теленка, нельзя убивать самку, нельзя бить слабого. Принеся в голодающее село тушу сохатого, сам Култыш к мясу не притрагивается, потому что убил лося против воли.

«Култыш... сник весь.

— Нет горше дела, чем добывать.

— Смотря кого.

— Хоть кого. Слабого только слабый бьет.

— Ха, ей-богу, слушать тошно! Будто он всю жизнь овсяным киселем питался, — взъелся Амос.

— Но ослабелого зверя не бивал, самку в тягостях не трогал, гнезд не зорил...

— Говори, — махнул рукой Амос. — Бабе моей говори — она восчувствует, а мне заливать не след...

— Не бивал! — стукнул кулаком Култыш. — И этого не тронул бы ради себя. Я его из огня выгнал, к рассолу выгнал. Ушибло, опалило его. Но он бы выжил. А я его... Он ведь там у рассола и лежал. На пять сажень подпустил. Доверился. А я его...»

У захмелевшего Култыша Амос выведывает, где найти недобитую самку с теленком (на них Култыш руку поднять уже не мог), идет в тайгу, находит, бьет их, а на обратном пути гибнет. В его гибели, по повести, нет никакого иррационального возмездия. Все объясняется очень просто, почти житейски. Обличая своих односельчан, Амос кричит Култышу: «А тебя, тебя пожалуют? Ты им мясо роздал, душу свою бабью истерзал. А попади в огонь, они тебя выгонят к рассолу? Они тебя дальше в пекло, в пекло загонят... Любят кержаки, когда люди на огне жарятся. Ране сами себя жгли, а теперь оскудодушили. Теперь они других на уголья. А ты им мяса! Давай! Вали! Ангел с крыльями! Когда гореть

будешь, они этими крыльями жар под тебя подгребнут».

Амос «оскудел душой» вместе с другими односельчанами, но и больше их. Те еще боятся, их еще вера держит не ходить воровски на чужие солонцы. Амос уже ничего не боится. Шагая по тайге с награбленной сохатиной, он упоенно мечтает, как приползут к нему соседи канючить мяса, как на вырученные деньги он мельницу поставит. А Култыш-одиночка ему не страшен, «его в расчет брать не стоит. Для него бог — тайга и превыше всего — таежный закон. Но защитить этот закон он один не в силах. Каждый закон, худой ли он, хороший ли — миром создается и держится миром». Амос думает, что он идет против одного праведника, да и то безоружного. А за Култышом защита куда более вечная, чем он сам. Как ни бил в свое время Феофан Амоса, все равно не смог привить ему знания тайги, того кровного, неначетнического знания, которое дается только вместе с любовью. Не мог полюбить тайгу Амос, и потому недоступно стало ему настоящее знание ее, а в лучшем случае — только осведомленность об отдельных приметах и повадках. Духовная ослепленность и, казалось бы, более преодолимая чисто практическая профессиональная охотничья слепота сошлись в одном корне, в одном происхождении. Казалось бы, Амос мог и не заблудиться и не заболеть, но при той внутренней опустошенности, которая отключила его от живой жизни тайги, почти наверняка должен был, что и случилось.

«Сам не зная, что делает, подгоняемый страхом и жадной жизни, Амос ночью пополз куда-то и внезапно услышал голос родника...

Долго мочил голову Амос в холодной воде, облизывал стекающие на губы струйки, соленые от слез, и грясь в покаянном плаче.

— Господи! Помог, помо-ог! Милостивец! Тятя простил!

Ружье и котелок Амос давно уже потерял. Холщевый домогканный шабур изорвал в клочья. В лохмотьях, в ичигах, раскисших от воды, свернулся трясушимся комком возле живого родника и впитывал сердцем, головою, всем своим нутром, всею душою незмысловатый говор и радовался этому говору так, как ничему в жизни еще не радовался.

Шуршал дождь.

Было то тихо, то ветрено.

Сияло солнце и скатывалось за горы.

Звезды протыкали ночь. Выплывала луна с подтаявшим боком. Амос силился что-то вспомнить и не мог. Все перепуталось, стерлось и поблекло в памяти.

Где-то за вершинами леса приходил и уходил рассвет, а он все лежал и лежал, уже безразличный ко всему, даже к говору родника, лежал покорный, смирившийся, то просыпаясь, то впадая в забытьё.

С трудом открывая глаза, видел Амос над собой по-братски обнявшуюся ветвями тайгу. И думалось ему, это она, тайга, не пропускает слабый шепот его до неба, до спасителя. Это она душит его, забрасывая колючими холодными лапами, и слой этих лап делался все тяжелей и толще, и втискивает он его в землю, давит грудь, что каменная плита».

Как сжигал себя Агафон и как правила Мокрида — так же как и все, что связано со староверским селом, — В. Астафьев подробно не описывает. Все это дано контурно и отодвинуто к краям, а главное место занимает тайга. И значение у нее тоже — главное. Здесь в одной точке сошлась вся история агафонѳвского рода со всем, чем ознаменована, когда духовной иступленности Агафона ближе оказались пришлый зять Фаефан и пришлый приемный Култыш, чем кровный внук Амос. Тайга оказывается верховным судьей. В тайгу идут за истиной, как в голодный год за сохатиной. Вывозя из тайги труп Амоса, Култыш думает о том, что «великая сотворительница тайга все предусмотрела и все сделала правильно», но тут же автор добавляет: «Все, что делалось в тайге, не подлежало в его разуме осуждению и сомнениям. А вот в мире у людей следовало бы кое-что перевероршить, следовало бы...»

Так завершаются эти «несколько страничек из жизни» предреволюционного кержацкого села.

Видимо, и в творчестве самого писателя приближалась тогда минута расставания с тайгой. Тайга не могла ответить на все вопросы. Она отвечала, когда писатель писал книги для детей, но уже в повести «Стародуб» она сама потребовала от героев, чтобы они вышли за ее пределы. Это не было расставанием только в пространственном, географическом смысле. Речь шла не о том, чтобы «выйти из леса», из леса по реке

Онье, или по Енисею, или по Оби. Те живые жизненные силы его героев, «гражданских людей», охотников, землепроходцев, землешащев, лесорубов, которые славил и защищал В. Астафьев в первых же строках своих первых произведений, созрев и проверив себя в тайге, потребовали для себя новых пространств, новой арены действия и самих действий — других. Прежние характеры не выдерживали больше внутреннего напора своих же собственных сил. Тайги и таежных отношений стало уже недостаточно, и герои начали требовать от писателя, чтобы он по-новому на них взглянул, по-новому их услышал, испытал на новых рубежах. Не торопясь с определениями, а с рецептами — тем более, падая и поднимаясь, еще греша штампами в стиле, тривиальными поворотами — в мысли, поспешностью — в нравственных оценках, писатель вместе со своими героями ищет естественного русла для их душевного таланта, для их жизненной энергии, для того чувства справедливости, без которого они истлевают.

Большой сборник рассказов В. Астафьева «Синие сумерки», вышедший совсем недавно, в 1968 году, в Москве, в издательстве «Советский писатель», представляет собой живейшее свидетельство этого своеобразного кризиса канонических характеров и ставших столь же каноничными ситуаций, в какие попадают астафьевские герои. Кризис этот протекает без взрыва и шума в характерах, и в авторском отношении к ним тихо происходит новая кристаллизация, хотя она не сразу улавливается. Сам В. Астафьев знает и, пожалуй, даже любит эти крутые, но притом медленно совершающиеся перевороты в духовном бытии его героев. Чем больше укрепляется за нашим веком репутация стремительного, тем настоженней, кажется, относится писатель к его прославляемым бешеным ритмам. Он признает их существование, но не находит в них полноты бытия. Герои В. Астафьева могут быть людьми очень порывистыми, писатель порой даже любит эту свистопляску, которую они способны устроить не только в праздник, в загуле, но из всей своей жизни вообще. Ни в одном, однако, порыве, ни в одном бесшабашном рывке его героев не гложет трезвая (и в этой трезвости есть своя поэзия) осмотрительность писателя: а не вытаптываем ли мы сами себя, не рвем ли нить творения?

Все мы найдем в этом сборнике — и старого охотника-правдолюбца, и солдатскую вдову, и отчаянных пропойц, и бабушку, трудами которой выращено не одно уже поколение, но в отличие от романа «Тают снега» эти встречи в совокупности своей не кажутся знакомыми, испытанными. Дело не в том, что выросло мастерство писателя и он сумел даже традиционным характерам дать жизнь, а с ней — новизну. Дело в том, что все эти люди живут и перемещаются в совершенно новой стихии авторского чувства, которая как бы меняет их очертания; не изменив сами характеры конструктивно, она заставляет по-новому ощутить их, понять, чем отличается их присутствие именно в сегодняшнем времени.

Описание вечерней синевы, которым открывается сборник «Синие сумерки», является его лирическим прологом.

«Лес, поляны, лога, буераки затопляют они (сумерки), нараяжая синевой пустоши и провалы в тайге, глухие ямы шурфов, битых здесь еще при царе,—словом, нараяжают все горелое, хламное, уродливое, что могло бы угнетать глаз человеческий. Но синева, так же как и солнце, не застит таежной красоты. Снега как были белы, так белыми и остались. Они чуть поголубели только. Березник, утомленно свесивший перевитые космы, не тронут был синим даже в кронах, лишь слегка потемнел он в глубине, и оттого резче отразились в стеклянном воздухе шеренги пестрых стволов. Липы сделались совсем черны, а голотелые осинники нервно рябили, и все вокруг казалось погруженным в онемелое море, в глубине которого остановились земные стихии».

Как онемелое море описывает В. Астафьев жизнь вдовы Фаины после того, как убили на войне ее мужа. Рассказ называется «Тревожный сон». Это рассказ о том, как горе выключило из жизни человека, остро даровитого к жизни. Убит Василий, и убита Фаина. Жизнь обеднела не на одного, а на двух людей. О птице, подстреленной Василием, В. Астафьев пишет грустно, но не безнадежно. «Оборвалась песня птицы, оборвался еще один полет, еще одна живая любовь. Но над березовым колком, на грани темного леса, уже совсем в темноте и все же отделяющиеся от темноты черными размашистыми тенями летают и летают с хорканьем и цвырканием другие птицы, томимые любовью и жаждой вечно-

го восполнения той жизни, которая ежегодно и ежеминутно уходит с земли». В этом ежегодном и ежеминутном восполнении В. Астафьев, великолепный знаток природы, находит неоднократное и бесконечно разнообразное подтверждение неисчерпаемо могучим силам жизни, а вместе с подтверждением — утешение и даже своеобразный оптимизм. И вдруг это утешение перестает утешать. Все так же безостановочно и бесперебойно действует в природе механизм обновления, все так же безотказно тайга-утешительница дает тому множество примеров, но за пределами тайги, «в одной из прочих деревень, натканых там и сям по горбистому Уралу» или по равнинной Сибири, этот механизм вдруг забуксует, и что-то сообразится в наладившемся было авторском мирозерцании.

Казалось бы, рассказ завершается в строгом соответствии с этим мирозерцанием. На земле бушует все обновляющая весна, а за печкой плачет Фаина, только теперь впервые, двадцать лет спустя после смерти мужа, прощаясь с ним навсегда. Судя по всему, пойдет она за «детного вдовца» Вахмянина («мужик непьющий, негулевой, со всех точек зрения вдове подходящий»). Мог быть в рассказе такой счастливый конец, мог быть и другой, житейски более распространенный, и тогда Фаина вовсе останется одна.

Главное, казалось бы, что она вновь воскресает к жизни. Но сколько в ней пропало, сколько потеряно и не восполнится, сколько недодала она жизни и миру, потому что горе оборвало эту отдачу! Еще в счастливые времена всякий раз, видя, как Василий целится, она замирала. «Фаина видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Фаине цепенеет и даже молоко останавливается. Она, притиснув дочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть».

Ждет.

...Фаине хочется закричать Василию, остановить птицу, но она не в силах оторвать от птицы взгляда, как птица не в силах остановить... своего полета».

Сила рассказа в том, как написано двадцатилетнее оцепенение живого человека и превращенный в могилу чисто прибранный

вдовый дом. Чем живее воспоминания Фаины, чем бережней и осторожней обращается с ней Суслопаров, друг Василия, который хочет как-то помочь ей, чем больше трепета, чуткости, живой даровитости в ней самой, тем страшней то медленное двадцатилетнее истребление, на которое ее обрекла смерть мужа. И хотя финал рассказа решает все в пользу жизни, в пользу весны, хотя и без финала ясно, что такой живой человек, как Фаина, должен очнуться, успокоения, равновесия не наступает... Острое чувство необратимости того, что произвела война в жизни Фаины и во всеобщей жизни, потому что изъята была из нее Фаина, чувство это остается неразрешенным.

Писатель ведет счет потерям. Кажется, он боится, что их чаша перевесит. В творчестве В. Астафьева все отчетливей и настойчивей растет хозяйское чувство дома, распространяемое на всю доступную его писательскому обозрению жизнь. Нет, не спрятаться надеется он в этом доме, а защитить, успеть спасти все лучшее, что он видит, все любимое. О Фаине он пишет, что ночами ей снились нерожденные дети.

За разные судьбы — разные страхи. Азартно и лихо живет грузчик Генка Гуштин (рассказ «Дикий лук»). Даже просто глядеть в Генкины глаза и то было радостно — столько там светилось жизни. «Катя еще ни у кого не видела таких, через край переполненных жизнью, глаз». Шумно и щедро встречает он Катю в Игарке. Генкин восторг, Генкино великодушие захлестывает и воскрешает скудный северный пейзаж, где в середине лета на двух грядках небойко растет морковка, а в деревянном городе, оказывается, все сгорает, кроме горсовета. Все это Генка показывает и обо всем повествует с бесшабашной удалью, даже о том, что мать раньше во какая была! — «а теперь только остожье осталось. С горя. Отца на войне убили, брата убили, а еще одного — в печке сожгли, живьем. Вот они все на портретах. Это я отдавал увеличивать». Место, где сожгли брата, Генка никак не научится правильно выговаривать. Так и говорит все время — Махаузен. И не хочет учиться, потому что слово нехорошее: «Там людей живьем в печку бросали, а я буду стараться? Ни в жись!» Но и слово «жизнь», которое ему уже явно нравится, он тоже калечит. «Легко живет» Генка Гуштин, «с хохотком». И безграмот-

ность у него такая веселая, с вызовом, с кренделями.

Но не завораживается В. Астафьев этой удалью, не захлебывается азартом. Воспевали эту удалю? Воспевали. Кажется, не Астафьеву ли, который так сторожит жизнь, любоваться этой бесшабашностью, то взмывающей в самоотречение и поэзию, то срывающейся в самодовольное хамство? Не в этом ли и есть разгул жизни, ее высшая точка? Но любя своего героя, В. Астафьев не любит его. В любовании почти всегда есть момент отчужденности, отъединенности. С Генкой Гушиным В. Астафьев не чувствует себя ни гостем, ни зрителем. Приезжая здесь Катя. И разумная, назидательная Катя, потрясенная тем, что Генка ни за что ни про что, просто так, из озорства пальнул в чайку, обозревая будущую свою с Генкой жизнь, размышляет: «Надо же научить его хоть немного задуматься, хоть на шаг, на два вперед смотреть».

Кто-то должен научить? Она? Сумеет ли? Пожалуй, не сумеет. Но она знает твердо лишь одно — Генка не должен так жить, чтобы знакомых у него было рой, а друга ни одного. Он от силы бесится. Не знает, куда ее девать. Сегодня в чайку пальнул, завтра, может, в человека пальнет. Генка Гушин все может. От него что угодно жди».

Катя будет придумывать свои меры, продиктованные ее молодостью и комсомольским опытом, — она захочет обратиться к коллективу. Писатель, еще давним штампом, придумает ободряющую метафору, сравнив своего героя с диким луком, у которого «корень цепкий, живучий», а «набухающими стрелками он упрямо будет целиться в небо». Но и Катини меры, и эта вроде бы хорошо прилаженная к сюжету метафора (Катя с Генкой едут за диким луком, который северяне запасают на зиму) не исчерпывают и не разрешают ту тревогу за судьбу этого характера, за его место в мире, которой рожден и наполнен этот рассказ, повествующий о разнообразных зигзагах Генки Гушина. Круг грозит замкнуться. Генка с его глазами, «через край переполненными жизнью», может пойти против самой этой жизни — просто так, из своеволия, по бесшабашности. Или чтобы покрасоваться. Или просто по своей беззаботной малограмотности.

В маленьком рассказе писатель успел определить несколько путей, несколько возможностей этого характера. Сделано это

ненавязчиво и не перечислительно. В пределах рассказа Генка живет очень естественно. В. Астафьев не стесняет его своими версиями, да и не торопится с ними — пока он только вопрошает сам себя, своего героя, ту самую жизнь, наконец, которой так переполнен Генка и которую он готов невзначай и подсечь. Даже тогда, когда с Генкой вроде бы и не поспоришь — когда во время загрузки чужого судна он «укоротил» пьяного западногерманского штурмана, который, пользуясь экстерриториальной безнаказанностью, издевался над нашим пограничником, — даже в этой истории похвальба Генки не вызывает безоговорочного восторга, а скорее настороженность: «А меня все-таки вызывали в одно место. Беседовали: «Так и так, товарищ Гушин. Ты нам международные конфликты не устраивай». Слово дал. Терплю. Только неправильно все это. Ну да пока там чего, а я одного аденаурца обезвредил. Приемчик знаю. Вербованный один научил. Сразу-то он ничего не почувствует, но в случае войны годен будет только в обоз. Как это Теркин-то говорил: «Жилец, но уж не отец».

Есть в этом сборнике отличный рассказ «Бабушкин праздник». К бабушке на именины раз в году приезжают ее дети, некоторые из них, сами уже деды, приезжают со своими детьми, племянниками, внуками. Гулянка расходится на всю деревню, захватывая и дальних родственников, и близких соседей. Мальчик-сирота, растущий у бабушки (рассказ идет как бы на его воспоминаниях) успевает обежать все углы в доме и все переулки вокруг него, все увидеть и все услышать, но в центре остается бабушка с ее хлопотами, с ее тонкой домашней политикой и стремлением всех устроить и привести в согласие. Даже запевая песню про реченьку, она заводит ее так, чтобы сделать ее «удобней... для подхвата». «И в песне она заботилась о том, чтобы детям было хорошо, чтоб песня пришлась им впору и будила бы только добрые чувства друг к другу». И уже заливаясь слезами, она «однако не губила песню, а мужественно вела ее дальше, к концу». Ничего переделывать в жизни своих близких бабушке как будто не удается, и понятна ирония, с какой рассказчик говорит о бабушкиных ухищрениях в семейных делах; старческая слабость бабушки так очевидна среди пьяного разгула ее могучего потомства. Тем не менее в каждой сцене бабушкина наив-

ность как бы высвечивает и делает рельефным каждого из ее многочисленных гостей. Это чисто художественный эффект. Но одновременно это и реальность здорового читательского чувства, всегда готового обрадоваться любой попытке надежды, утешения и согласия.

Любимец мальчика дядя Левонтий когда-то год отсидел в тюрьме. «Сидевших в тюрьме, ссыльных и всяких других людей с запутанной биографией немало водилось в нашей деревне, но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий». Когда дядю Левонтия пытаются успокоить, напоминая, что «компания ведь», а потом обещают вожжами связать и под скамейку поместить, что в конце концов и осуществляют, бабушка его донимает: «Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! — трясла за плечо дядю Левонтия бабушка.— Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ведь исправился?..»

Тоска дяди Левонтия, так же как и Фаинино вдовство, в пределах рассказа останется неразрешенной. Дядя Левонтий будет лежать связанным и грызть ножку стула. Его потихоньку от взрослых развяжет мальчик. Что же касается писателя, то он снова, внезапно и незаметно отвлекшись от быта, вдруг обнаружит горький предел этого буйства и этого разгула, не тот предел, который ставится естественной смертью и о котором напоминает финал рассказа, завершаясь описанием сельского кладбища, успокоившего в скором времени многих из бабушкиных гостей, а тот, который еще в границах жизни, в расцвете ее возникает оттого, что огромные жизненные силы, талант жизни, кроющийся в человеке, оказывается непризванным, невостребованным и потому либо тихо меркнет в Фаинином вдовстве, либо вытряхивается в «подвигах» Генки Гущина, либо источает себя в буйстве и смирении дяди Левонтия. Писателя все чаще останавливают эти вспышки, он все меньше любит их яркостью и внезапностью, и все острее и острее забота: нет ли в этом расточительстве бесплодия, а в этой бесплодности — самоистребления? В ранних рассказах В. Астафьев учил детей охранять природу. Сейчас он думает о том, как охранить жизнь. В нем, человеке XX века, эта забота естественна.

В рассказе «Восьмой побег» есть опять внутренне не разрешенная попытка свести человека сильного, преступно темного, раз-

давленного своей темнотой, и человека праведного склада. Сопоставление это проведено схематично, с очень сильным прикусом мелодрамы, и на рассказе этом, может быть, не стоило бы останавливаться особо, если бы писатель с такой силой не выразил порыв к свободе у человека, вконец озверевшего, не единожды замазанного кровью. Вот одно из состояний Хыча: «Месяца два уже минуло с тех пор, как началось «это». Оно начиналось всегда одинаково: тяжким, дубовым комлем давило плечи, душу, всего давило. На Хыча наваливались вши, с которыми уже никакой бане было не сладить, и его переводили в изолятор. Хыч делался угрюмым, молчаливым, терял аппетит, начинал бояться своего прошлого. Хотелось ему удавиться по-поганому — на кальсонах. От «этого» мог вылечить только побег, только несколько глотков свободы, и больше ничего.

Охрана в колонии знача, как начинается «это» у Хыча и ему подобных. За ним зорче следили, на работу отправляли под усиленным конвоем, надеялись, что «переболеет». Ведь ему осталось отбывать в заключении только год. Да и возраст уже перевалил за ту черту, когда люди задумываются о жизни своей и на смену безрассудству приходит чувство усталости и запоздалое раскаяние.

В последние дни Хыч заметно повеселел, вши с него схлынули. Он переселился в общий барак». У Хыча составил план последнего, восьмого побега, о котором и написан рассказ.

Авторские оценки и симпатии выражены в этом рассказе более чем четко, тем не менее рассказ не задерживается в том поверхностном слое, в котором держит его сюжет, а вторгается в более сложную область одинокой и преступной свободы, жаждой которой одержим старый уголовник Хыч.

Порой кажется, что писатель боится остаться со своими героями один на один и надолго. Он ускользает в облегченные сюжеты, обороняется словами, высота которых обманчива, смысл давно вытерся, и они свидетельствуют не о глубине размышлений и чувств, а скорее наоборот — об инертности их, иногда, может быть, даже намеренной заторможенности. Тогда появляются «обветшалые молитвы», «земная утроба», «благость моей души», «грустный вздох об уходящем навечно дне», «цепкие

корни» и так далее. Сказать, однако, что в этих словах не содержится никакого смысла, что все это холостые шаблоны и псевдонародная бутафория, значит проявить ту же самую инертность. Видимо, писатель еще не всегда в состоянии вычленишь, дать образ, со многими корнями и следствиями, тем знаниям, которые в нем сосредоточились и зреют. Не гражданская, не художественная, а прежде всего духовная робость мешает писателю окунуться в это знание, довериться ему. Тогда-то он и берет наспех штампы, пользуется знаками, которые уже ничего не обозначают или даже способны дезориентировать. В минуту малодушия он цепляется глазом за эти знаки, вдруг пристрастившись к ним прежней верой.

А может быть, в этих отменяемых знаках писатель различает еще какой-то смысл, который помогает ему находить свои ориентиры в мире, и тогда не стоит его торопить? Одно дело чисто стилистическая безвкусица и другое — еще не умершие, еще дышащие представления, которые безнаказанно не отсекаются; некоторые из них ждут и могут дожидаться своего переосмысления. Так или иначе, но драгоценную горечь самостоятельного поиска подделывать невозможно, ее нельзя ни убивать, ни терять в лавине подделок, поставляемых сейчас подоспевшей хлесткой конъюнктурой, весьма материальной в своих притязаниях на духовность и тщетной в духовных усилиях.

А идтч надо.

В повести «Кража», самом крупном и значительном произведении В. Астафьева из всего изданного им до сих пор, промелькнувшее воспоминание о корнях естественно, необходимо, обязательно. Корни отсечены у всех ее героев, детдомовских ребят, — все они сироты, безнадежно потерявшие родных, большинство из них — дети и внуки раскулаченных переселенцев. Корни отсечены и у любимого воспитателя, директора детдома, бывшего дворянина и белого офицера Валериана Ивановича Репнина, не пожелавшего покинуть родину и не раскаивающегося в этом, несмотря на все лишения, которые он терпит в качестве ссыльного. Перед ними — огромная страна, позади них — безродность и океан: город называется Краесветск, но и в самом Краесветске, который, «как и все города... постепенно и стыдливо оттер на окраины ла-

геря, тюрьму, дом инвалидов, детдом — оттер все, что угнетало глаз и душу людей», они на самом краю существования. Все они начинают с нуля. Для каждого из них сотворение мира происходит заново.

Здесь есть две задачи. Первая, осознаваемая всеми, — выжить. Вторая, осознаваемая немногими, — не сломаться. Главный герой повести Толя Мазов принадлежит к этим немногим, хотя благородство является вовсе не программой его, а существованием, слагающимся неподвзято, непроизвольно. Группа детдомовских ребят украла в бане деньги из кассы. В результате кассирша была арестована, а двое ее детей, растущих без отца, отданы в детдом. Толя Мазов идет один против всех, спрятанную часть денег возвращает, остальную — пытается отработать со своими обретенными сторонниками. Простую эту историю можно было рассказать сентиментально и назидательно, на фоне краесветской стужи и детдомовской нищеты тем более. Но то, что могло быть фоном, возбуждающим довольно поверхностную читательскую жалость, оказалось коренным условием, грунтом, на котором Толя Мазов закладывает основы своего благородного, истинно рыцарского духовного существования, единственно для него приемлемого и возможного.

Он попал в эти края совсем мальчишкой вместе с переселенцами. Вместе со всей своей семьей Толя пережил первый отрыв, первое сиротство — расставание с родной землей, с родным хозяйством. Их привезли в Краесветск. «Среди болот складывали люди времянки-печки, забирали сверху тесовым козырьком, с боков тоже. Варили на этих печках похлебку и даже пекли пироги. Понемногу одолев страх, растерянность и сделав открытие, что жить здесь тоже можно, стали российские люди погуливать, песняка драть, как и на всякой другой земле, ревновать и колотить жен, влюбляться, жениться, выходить замуж, рожать.

И строили, строили, строили...»

«Орава мазовская» переводилась один за другим — кто от цинги, кто от мороза, кто от тоски. В конце концов Толя остался один со столетним дедом Яковом, который берег своего правнука «пуще глаза». Умирающий Яков «грузно лежал... будто выпитый из ливневницы, суковатый, витой краж, от которого отскакивает топор,

а зубья пилы на нем ломаются, как орехи. Таких кражей за ненадобностью много валется на лесосеках и новостройках».

Однако ненадобность Якова обернулась, по повести, великой надобностью. В предсмертном сне Якову, которого изводит тоска и забота об оставляемом правнуке, все время видится горящее дерево, которое он встретил на одной из сибирских дорог. Сейчас ему, умирающему, кажется, будто «к ногам подкатывала холодная вешняя вода, леденила их, отделяя корни от догорающей вершины, на которой беспомощно бьют крылышками листья, и угорело хрипят меж ними голобрюхне грачата в гнездах».

Пережив второе сиротство — потерю всей семьи, «голобрюхий галчонок» Толя Мазов брошен один на один с миром. Умирающему Якову Мазэву казалось, что это семья брошено в бездну на явную гибель. Но взяв живучесть прадеда, оно стало пускать новые корни, и завязываться стал другой цвет. Хозяйский размах деда, вбравший в себя и беспощадную хватку, и черное самодурство, и мудрость, насыщенную религиозностью, и безжалостное к себе отрицание бога — перед смертью Яков, замахнувшись «огромным немощным кулаком», наотрез отказался от поа, — в Толе обернулся новым содержанием. Как и Яков, он держится хозяйским чувством заботы, но, взяв дедовский размах и решительность, он, в отличие от деда, силу свою обращает не на материальное приобретение (тем более что на его долю выпало увидеть, какой все это прах), а на приобретение и строительство духовное. Подобно своим землякам, переброшенным в болотистую местность, он строит, строит, строит... Только его строительство осуществляется в области нравственных отношений. Они являются для него более вещественной реальностью, чем материальное накопление. Маленький крестьянин, оторванный от земли и семьи, он кажется совершенным перекасти-полем, но именно здесь, как в высшем испытании, он обнаруживает ту устойчивость нравственного здоровья и ту силу созидания, которую предки его копили веками. Ширь мира он обозревает теперь с тем хозяйским чувством, с каким деды его обозревали свой двор и свое поле. Но у него нет ни двора, ни поля. Однако, подобно своему деду, будучи натурой сильной, одаренной, нравственно деятельной, Толя Мазов даже опустошающее сиротское горе

превращает в нравственную силу. В нем заложена не только сила сопротивления, но нечто большее — сила ответного, встречного деяния, огромный импульс духовного творчества.

Когда комиссар Ступинский, любимый людьми за человечность и справедливость, пришел в мазовский барак-сушилку как раз, когда умер Яков, он окликнул Толю, которого знал и любил:

«— Жалко дедушку?

— Жалко, дяденька. Всех жалко».

Ступинскому приходится забрать Толю в детский дом, а подвода увозит Якова.

«Толя прностановился, провожая прадеда взглядом, а потом перевел взгляд на тусклые, залепленные снегом окна сушилки, как-то ушибленно сгорбился, быстро-быстро побежал впереди Ступинского, потому что тропка была узкая и рядом идти им было невозможно».

Следом за мальчиком шагал хозяин города. Оступаясь в заносах, он начерпал в валенки снега, но не чувствовал ногами холода. Он думал и, думая, не отрывал взгляда от маленькой фигурки, которая рябила в плотной пряже снега, и снег ему казался черным, а мальчик все высветлялся, высветлялся.

Ступинский нагнал мальчика, стянул с его шапки и со спины снег, положил ему руку на плечо и шел сзади, уже не отпуская мальчика от себя далеко, и если бы кто-то увидел их, то принял бы мальчишку за поводыря, который вел за собою слепого человека».

Повесть В. Астафьева сильна не тем, что характеры Толи или Репнина разработаны с большой психологической тщательностью. То историческое, социальное, нравственное содержание, которое стоит за судьбой Толи Мазова, писатель не проследил во всех тонкостях характера, во всех сложностях этой цельной и в то же время еще только формирующейся натуры. Характер написан очень непосредственно, с живой угловатостью, но не взят полно. Эпизодические персонажи выглядели более исчерпывающими, может быть, потому, что они проще и для понимания и для воплощения. На Толю Мазова В. Астафьев смотрит как бы взглядом Ступинского: в скрещении сильных разнонаправленных лучей он видит маленькую фигурку мальчика, очень уместную в этой точке пространства и времени. Прони-

зять эту фигурку светом, увидеть ее насквозь — вероятно, следующая возможность для этого или другого писателя. Но обнаружить ту почву, на которой вырос этот лишенный дома и куска земли мальчик, В. Астафьеву удалось. Чтобы получился такой вот Толя Мазов, надо было, помимо злоключений «мазовской оравы», чтобы судьба занесла в Краесветск с Кавказа истопника Ибрагимку, верного советчика Толи («вроде бы только затем и появлялся из человеческого скопища Ибрагим, чтобы людям помочь. И опять растворялся в густо смешанном населении сушилки, как соль в хлебе — незаметная, но и необходимая человеку»). Нужен был Репнин, через которого шла к Толе веками копившаяся культура. Нужен был Ступинский, не только нашедший и понявший Репнина, но и сумевший оградить его от травли. Сцена разговора Ступинского с Репниным, когда Ступинский предлагает Репнину взять на себя детдом, «сто с лишним жизней», идет как будто на фоне окутанного полярной ночью Краесветска, куда «бродяги вербованные валят валом». А тут и без того «прйдох, типов да придурков девать некуда» (Ступинский), когда обращаются «с опальными взрослыми ровно с огородным овощем: выкопали — и в подвал!» (Репнин), когда «специалистов только на заводы и в порт дают, откуда реальная прибыль есть». Ступинский же хочет, чтобы к детям шли специалисты репнинского уровня, а где взять? «Недостает нам в Заполярье интеллигенции. А которая есть — несерьезная какая-то, культуры ей не хватает. Скороспелка, она и есть скороспелка». Отвечая ему, Репнин с гордостью вспоминает о «русской интеллигенции, которая выростала веками на нашей твердой российской почве». Оба они, преодолевая первоначальную настороженность, забывая о себе (Ступинский давно забыл, Репнин же к моменту получения паспорта признается: «Меня как-то уже перестало заботить мое положение»), думают о том, как спасти тех людей, которые оказались в их распоряжении, спасти и физически, и (о чем особенно заботится Репнин, что поручил ему Ступинский) — духовно. «Стараемся помогать людям, спасать их. Спасать здесь, где сделать это не так уж просто», — зовет Ступинский Репнина, вытаскивая того из омута личной неустроенности, чтобы в Репнине же найти себе опору.

Сила повести «Кража», так же как и написанной вслед за ней маленькой повести «Где-то гремит война», — в обостренном чувстве взаимозависимости всех героев. Их отбрасывают друг от друга переселения и войны, разделяют происхождение, культура, не говоря уже о личных устремлениях... часто не от них, кажется, зависит преодолеть эти безнадежные дистанции. Тем не менее лучшие из них поднимаются, чтобы восстановить связь. В месиве тривиальных житейских забот и столкновений писатель с зоркостью, которая все обостряется, отыскивает людей, способных к этому восстановлению. Он узнает их раньше, чем они узнают сами себя.

В повести «Где-то гремит война» действуют те же герои, что и в рассказе «Бабушкин праздник». И написана повесть так же страстно. Только теперь не праздник, а голодный, промерзший, растерявший отцов и сыновей тыл военного времени. Далекая деревня с избами, замкнувшись каждая в своем горе — кажется, наглухо. Снова, как и в «Краже», огромное, заполненное ветром и стужей пространство, сугробы и торосы на застывшей реке, и пробирающийся в родную деревеньку, куда его вызвала получившая похоронку тетка, упрямый фэзэошник. Этот мальчик будет утешать, уговаривать, добывать мяса, рыдать после своего первого охотничьего убийства, мять и курить табак, который тетка Августа посадила только ради цветов, — «девчонкам забава». Будет спасать и хозяйничать, чтобы в минуту, когда он почувствует себя старшим и сильным, вдруг обнаружить, что его самого поддерживает чья-то спина, с которой он только что снял ношу.

«— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно прибавила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла, дрова на ней осенью из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет, девчонки тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть и им смерть... — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубить, кабы не завалился; что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Манской гриве рыжиков и бруслицы будет, по приметам, хоть коробом вези.

Я сжал лицо руками, сдвинул обморожен-

ные щеки, чтоб мне больно сделалось, и какое-то время стоял шатаясь.

— Перестань! — завыл я и затопал ногами, терзая свое лицо, и боялся отнять от него руки. — Перестань! — еще громче закричал я, хотя Августа уж ничего и не говорила.

Девчонки затолпили по шатким половикам и затихли, должно быть, снова укрылись под кроватью.

Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по моим ушам.

— Да ты что?! — размахивая руками, горячим шепотом орал я. — Ты понимаешь, чего говоришь?! Спятила! Не бабушка, а ты спятила! — Меня колотило всего, как прошлой ночью в шорнищкой избушке. Что бы побороть этот согрязающий все нутро озноб, я бегал по кутье, махал руками, сбивался с шепота на крик, говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о ФЗО, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить... Приводил исторические примеры. Великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристов и декабристок, ссыльного Васю-поляка, других ссыльных, которые не переводились в нашем селе.

Пришла на ум недавно прочитанная книга о Томмазо Кампанелле.

— Вон Кампанелла — итальянец! — громвым голосом вешал я, бегая по кутье. — В крокодиловой яме сидел! В воде по горло! На колу сидел и не сдавался, даже книжку сочинял! «Горд солнца» называется. Про будущее про наше. Как все станут жить в радости и согласии...

Тут я обнаружил — Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я враз сконфузился и умолк.

— Какой ты у нас умный человек! Откуда же и берется. Вот бы бабушка-то послушала... — молвила Августа тихо, устало и что-то опять поцепляла щепоткой во рту, а затем промакнула платком лицо.

Я стоял ушибленно посреди кутьи и хлопал глазами. Огонь прилил к моему и без того горячему лицу, и я принялся нетерпеливо мять табачные листья.

Августа еще посидела, затем неторопливо повязалась платком, ровно бы пере-

дышку она сделала среди трудного пути и вот снова снарядилась в дорогу...»

В конце повести будет перечислено то, что ждало Августу на этой дороге: «Коровы Августа лишится весной — променяет ее на семенную картошку. Потом продаст дом и перейдет жить в пустующую бабушкину избу. После, уже совместно с бабушкой, они проедят одну половину нашего дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмется домовничать с детьми Августы, а она поступит на лесозаготовку валить лес.

...И еще, спустя время, Августа расскажет о том, что мужа ее, Тимофея, не убили на войне и без вести он не пропал. Он подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее».

Утешая Августу, ее племянник призовет на помощь имя Томмазо Кампанеллы. Развлекая оставленную без присмотра малолетнюю дочку Августы — Капу, он будет показывать ей фокус — изо рта пулять луковицей о стенку. Что же касается автора, то он как будто замирает в удивлении перед этим Августиным долготерпением. Не он первый это качество открыл, но первенство не существенно там, где речь идет о человеческой беде. Здесь всякая боль новая и первая. Однако снова, как и при встрече с Генкой Гуциным, изумляясь, увлекаясь даже, автор не любит Августиним подвижничеством, его не завораживает ее самоотреченность и смирение, и он вовсе не видит в ее долготерпении высший нравственный капитал — тем более что капитал этот не так уж бесконечен. Вдруг бы Августа действительно удавилась? Не располагая теми средствами утешения, которыми располагает его герой. В. Астафьев все устремленной делает то, что должен делать писатель, — в меру отпущенных сил выясняет цену человеческой жизни, одновременно ища и отбирая среди своих героев тех, кто способен к нравственному творчеству, к духовному деянию, к тому «подвигу любви», который в разных масштабах, но с равной отвагой может совершить и итальянский утопист, и призвавший его на помощь уральский фэззошник, и краесветский детдомовец, и кто-то четвертый, пятый, еще не распознанный, не названный и кто названным, может быть, не станет, поскольку одно из возможных свойств этого подвига — безымянность.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Швейцер. Прожить жизнь человеком...— **А. Лебедев.** Новая книга по эстетике.— **С. Кайдаш.** В. Даль и его биограф.— **Т. Шах-Азизова.** Новое о театре.— **О. Чайковская.** Внятный голос прошлого.— **Т. Мотылева.** Три книги о Чапеке.

ПОЛИТИКА И НАУКА

К. Тарновский. «Коллективный организатор» революционного подполья.— **Л. Лазарев.** Пусть читатель думает.— **В. Кобрин.** Русская реформация.— **А. Кондратов.** Ключ к мириадам шедевров.— **Г. Церава.** Науковедение: проблемы и исследования.

Литература и искусство

ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКОМ...

С. Соловейчик. Мокрые под дождем. Повесть. «Детская литература». М. 1968. 95 стр.

«...Если бы кто-нибудь разбудил меня еще года три-четыре назад; если бы мне делали прививки не против тифа и скарлатины, а против дремоты и безделья; если бы кто-нибудь научил меня бесстрашию перед неизвестными науками и толстыми книгами; если бы мне хоть намекнули, что можно не довольствоваться тоненькими школьными учебничками, что можно не в ручейках, где курице по колено, плавать, а в глубоких водах; если бы...». Такие грустные и горькие мысли рождает у восьмиклассника Сани Польшина поразивший его вопрос: «А может, прожить жизнь человеком — это и есть самое полезное, что можно сделать?»

Этот вопрос не оставит равнодушным и любого из читателей повести С. Соловейчика «Мокрые под дождем» — в книге о школьниках и для школьников С. Соловейчик говорит о смысле и назначении жизни, о месте человека в мире, об одиночестве и человеческих связях. Само обращение к этим «взрослым» темам выделяет повесть «Мокрые под дождем» из потока детских книг, где в большинстве случаев важнейши-

ми жизненными проблемами (часто, для большей «современности», изложенными этиким шутивым, ироническим тоном) оказываются успеваемость, дисциплина, удачное поступление в институт или, напротив, коллективное устройство выпускников в колхозе или на новостройке. Безусловно, эти практические дела играют огромную роль в жизни и волнуют и каждую семью и педагогов. Но они не исключают и — главное — не заменяют, особенно у тех, кто только вступает в жизнь, интереса к высшим проблемам.

В центре внимания С. Соловейчика не жизнь класса в целом как некоего неразложимого множества. Автор как бы выхватывает своих героев из толпы и дает их «крупным планом», в самых существенных духовных проявлениях. Отметки, посещаемость, участие в «мероприятиях» не имеют решающей цены в его глазах, его интересует — человек ли его герой, есть ли у него свое за душой.

В «Мокрых под дождем» три героя. несколько друг на друга не похожих, но до-

полняющих и оттеняющих один другого и составляющих вместе некое триединство. Повесть написана от лица Сани Польшина, и это дает возможность читателю последовательно и пристально следить за его человеческим формированием. Столкновение взрослого Сани, пишущего записки, с тем, каким он был подростком, оказывается для автора не только сюжетным, но и психологическим ходом, позволяющим видеть и процесс развития героя, и его результат. Как бы на глазах читателя из вполне обыкновенного мальчишки, весьма поверхностно относящегося к окружающим, вырастает юноша, научившийся серьезно думать, глубоко чувствовать и сопереживать другим людям. Саня строго, почти беспощадно относится к себе. Разве иначе мог бы он написать: «Люди, про которых я ничего не знал, как бы не существовали для меня и не вызывали никакого интереса. К тому же я слишком охотно пользовался общественным мнением, безмятежно и без сомнений соглашаясь с ним...» Или: «Когда я встречаюсь с белой, первое мое движение — спрятаться от нее, отодвинуться. Особенно если это такая беда, что ничего нельзя сделать». Несомненно, надо преодолеть в себе эти качества, чтобы так открыто о них говорить. Этот процесс преодоления, события и люди, сыгравшие решающую роль в нем, а среди них прежде всего Сергей Разин, — и составляют содержание повести С. Соловейчика.

В отличие от ничем не выделявшегося Сани Валька Дорожкин был известен в школе как двоечник и завзятый прогульщик. В классе он ни с кем не общался и единодушно был признан «шутком гороховым, пустым местом». Не зная ничего про Вальку, Саня, по своему обыкновению, не обращал на него ни малейшего внимания: «так, фигура на пятой парте». Но однажды в очереди в кино они с Сережкой Разиным оказались свидетелями незаслуженного Валькиного унижения. Как бывает в очередях, произошел беспричинный и бессмысленный скандал, в результате которого Вальку утащили в администраторскую. Саня готов был, махнув на него рукой, идти в кино, но Сережка заставил его остаться. Они дождались Вальку, когда тот уже снова шел к кинотеатру с ломиком в руке, намереваясь кого-то убить. Оказалось, что в администраторской его били, «трое на одного». Вот это и была та чужая беда, от которой Сане хотелось спрятаться. Но

Сережка пошел к Вальке, желая помочь ему, и Саня не мог отстать от друга. (Кстати, через два дня Сережка привел к Вальке дружинника, который его бил, и заставил извиниться.) Вот когда Саня «впервые в жизни переживал беду незнакомого... человека, как свою», тогда впервые для него приоткрылся внутренний мир другого человека. Саня обнаружил с удивлением, что Валька вовсе не «ничто», что он обладает и человеческим достоинством, и смелостью, что у него собственное отношение ко всему, своя заветная идея (он одержим страстью к радиоделу, и человечество делится для него на тех, кто разбирается в радиотехнике, и на остальных, «олухов») и что живет он очень трудно, но очень насыщенно. Не случись скандала в кинотеатре, а главное, не будь рядом Сережки, Саня незаметно отвернулся бы и прошел мимо Валькиной беды и мимо Валькиной жизни.

Третий член «триумвирата» Сережка Разин и есть главный герой повести «Мокрые под дождем». О нем пишет свои записки Саня Польшин, он — центр замысла С. Соловейчика. Это — интеллектуальный герой, как ни странно звучит это слово в применении к персонажу, с которым мы знакомимся, когда ему двенадцать, а расстаемся, когда шестнадцать лет. В том возрасте, когда ребята больше всего увлекаются футболом и приключенческими фильмами, Сережка Разин открыл для себя, что жизнь его единственна и неповторима, что в бесконечной шкале годов она помещается между двумя определенными зарубками: «Значит, я каким-то образом связан с этим кусочком, отрезком исторической шкалы, я ее владелец и хозяин... Отметки на шкале истории только мои, следовательно, я полностью отвечаю за все, что между ними заключено». Это редкое даже для взрослого человека чувство связи со своим временем, ответственности за него и перед ним заставляет Сережку искать путей, на которых он мог бы повлиять на время и совершить нечто на благо человечества. Еще в двенадцать лет он поклялся: «Клянусь пробиться ко всем тайнам, разорвать все цепи и сделать людей всемогущими!» Для этого Сережка намерен полностью развить все свои способности и потенциальные возможности, поэтому занимается с одержимостью человека, боящегося не успеть. Давно оставив позади все школьные учебники, он самостоятельно изучает физику и выс-

шую математику. В его голове множество научных идей и теорий. Не беда, что эти теории разбивает известный в городе математик профессор Н., не важно, что Сережка проваливается на олимпиаде в Москве, — все это не сламывает Сергея, которому нужны не пятерки, грамоты и похвалы, а подлинное приближение к высотам человеческого знания.

Правда, в конце повести Сережка добивается многого: профессор Н. признал одну из его работ заслуживающей внимания и даже публикации, а самого Сережку позвал еще до окончания школы поехать работать к нему лаборантом в Академгородок. Вероятно, автору кажется, что он воздаст должное Сережке, показывая практический результат его неистовых занятий. Но это тот внешний успех, которого был чужд его герой и который совершенно не нужен в этой повести. О цельности и незаурядности Сергея гораздо больше, чем этот эпизод, говорит его способность внутренне преодолевать поражения, не теряя веры в себя и свое призвание.

Сергей Разин — не сухарь, не некий автомат по переариванию науки, как может показаться. Такой вариант не давал бы оснований говорить об удаче автора. Сережку отличает то, что он пытается проникнуть в смысл и понять ценность человеческой жизни. К тому же при всем увлечении точными науками Сережка остается мечтателем и фантазером, и не только его идея возникла не без влияния научной фантастики, но и сама наука в его представлении вбирает в себя и фантастику и поэзию. Он мечтает уловить, «вместить в сердце» гармонию мира, но уже понимает, что это чрезвычайно сложно, может быть, невозможно, что «ощущается некая неподвластность мира».

С. Соловейчик не знакомит нас непосредственно с Сережкиными родителями, читатель узнает их через Сережку, но, мне кажется, не один из юных читателей будет считать, что Разину повезло с родителями, и завидовать ему. Его никто не опекает по мелочам, постоянно подчеркивая, что он еще ничего не знает и не умеет, не проверяет его занятий, знакомых. Сережке предоставлена полная самостоятельность, и этим родители оказали ему доверие, которого он не обманул и не захотел бы обмануть. В пятом классе Сережке отдали маленькую комнатку за кухней, где до

этого много лет занимался отец, учившийся заочно и получивший диплом уже под сорок. «Не навсегда, — сказал отец, — на пять лет. Как раз до конца школы. Потом пойдешь в общую, а там Алеша будет жить... Сиди! Пять лет — это много». В этих словах по существу изложена система воспитания, которой придерживались родители Разина и которой открыто сочувствует автор повести.

Воспитателем такого типа является и дядя Мирон, фигура в повести эпизодическая, но очень важная. Постороннему дядя Мирон может показаться чудачком: без семьи, без своего дома, работая на самой скромной должности, «он позволял себе роскошь, мало кому доступную: он учился ни для чего — просто в свое удовольствие. Это доставляло ему наслаждение». Дядя Сани с Сережкой дядя Мирон — серьезный и умный друг. Это именно он в споре с ними поставил вопрос: «А может, прожить жизнь человеком — это и есть самое полезное, что можно сделать?» Дядя Мирон разговаривает с ребятами на равных, он обладает редким талантом вести беседу и спорить, не унижая собеседника своими знаниями и опытом, а поднимая его в собственных глазах. С ним можно говорить и спорить обо всем, начиная с «Евгения Онегина» и кончая самыми отвлеченными вопросами, при этом его интерес к тому, что говорит другой, так неподделен, что заставляет его раскрыться, проявить себя. Встречи с дядей Мироном учат Сережку и Саню думать, рассуждать, а иногда и переоценивать общеизвестные истины. И все это — без какого бы то ни было насилия или принуждения, в свободном умственном и нравственном состоянии.

Кажется, все перепутано в повести «Мокрые под дождем»: главный герой, которого автор считает человеком будущего, живет вне классного коллектива и его интересов, двоечник оказывается интересным и достойным человеком, а репутация отличников и общественников подвергается сомнению (официальный отличник Витька Лунев хитрит и в получении пятерок, и в отношениях с товарищами, а активист школы Вадик Зеленин непрерывно лавирует между ребятами и учителями, понемножку предавая и тех и других). О преподавателях школы говорится без привычного пиетета, а какой-то дядя Мирон, заведующий районной фильмотеккой, выдается чуть ли не за учителя жизни. Однако «перепутано» все лишь с

точки зрения заранее известных канонов, для автора повести все стоит на своих местах. Он отказывается от «школьных» критериев в оценке людей, утверждая в первую очередь значение личности каждого человека. С. Соловейчик протестует против понятия «простой» человек, всей своей повестью доказывая, что «простых» людей нет, что их нельзя судить и мерить скопом, что за каждой самой обычной и даже примитивной внешностью скрывается особый и сложный мир. Он призывает с вниманием и уважением отнестись к внутренней сущности человека — в этом гуманистический смысл его книги. И хотя полемика не является для С. Соловейчика самцелью и открыто он ни с кем не спорит, повесть «Мокрые под дождем» все-таки полемична.

Форма записок-воспоминаний, выбранная С. Соловейчиком, дает ему возможность установить доверительные отношения с читателем, позволяет автору очень горячо и искренне говорить о своем главном герое — ибо записки принадлежат перу его преданного и восторженного друга. Но это же предопределяет и некоторые слабости в обрисовке героя. Ведь Сня не мог дать последовательную картину Сережкиного развития — слишком тесно переплелись в то время их жизни, поэтому характер Разина не развивается на страницах повести, а лишь раскрывается в разных своих проявлениях. Автор несколько облегчил здесь свою задачу, ведь читателю было бы особенно интересно следить за психологическим развитием такого характера.

С. Соловейчик написал серьезную и умную книгу. В ней есть над чем задуматься, и потому, несмотря на небольшой объем, она читается медленно. Для автора «школьная» тема не случайна: он знает школьную жизнь не понаслышке, а изнутри, оттого его первая повесть так органично и достоверно передает дух и быт современной школы, воссоздает внутренний мир сегодняшнего подростка. В свое время Гайдар, создав «Тимура и его команду», не только открыл новый тип литературного героя, но положил начало большому и многолетнему движению среди ребят. Образ Сережки Разина не вызовет к жизни никакого массового движения, но «открыв» его для читателей, С. Соловейчик, не отказываясь от лучших традиций нашей юношеской литературы, возможно, начал в ней одну из новых линий.

А почему «Мокрые под дождем»? Не странное ли название для повести, изданной детским издательством? «Когда идет дождь, надо быть мокрым», — сказал однажды дядя Мирон. И Сережка продолжил его мысль: «Нельзя уклоняться... А дождь идет непрерывно и хлещет тебя, хлещет, и прятаться так легко... А прятаться нельзя...» Дождь — это жизнь, со всеми ее взлетами и падениями, трудностями, неудачами и открытиями. И надо быть достойным, прожить жизнь человеком — вот какой главный вывод сделают читатели повести С. Соловейчика.

В. ШВЕЙЦЕР.

★

НОВАЯ КНИГА ПО ЭСТЕТИКЕ

Ю. М а н н. Русская философская эстетика (1820—1830-е годы). «Искусство». М. 1969. 304 стр.

Предлагаемая книга, — читаем мы во «Введении» к новой работе Ю. Манна, — посвящена нескольким деятелям русской эстетики первой половины прошлого века, которые еще недостаточно изучены, а широкому читателю подчас и малоизвестны. Между тем эти литераторы представляют для нас сегодня большой интерес. И вот почему. Несмотря на интенсивное изучение русской эстетической мысли, «поле» этого изучения остается неправоммерно суженным и все еще ограничивается несколькими именами. Вместо живых, динамических пред-

ставлений мы подчас оперируем тем, что в современной литературной критике называют «обоймой» — то есть считанным количеством апробированных и готовых на все случаи имен. С уверенностью можно причислить к «обойме» Белинского, Чернышевского, Добролюбова и еще два-три имени; но последние, вероятно, уже вызовут разногласия и споры.

Мысль правильная. Добавим лишь: всякая «обойма», если уж употреблять это скверное слово, плоха тем, что провоцирует прямолинейное мышление на создание не-

кой «обоймы» противного характера. Например, такой: В. Соловьев, К. Леонтьев, может быть, даже тот же И. Киреевский, тот же С. Шевырев... Все дело, впрочем, все-таки в том, с какой целью обращаемся мы в каждом данном случае к тем или иным деятелям прошлого. Кстати сказать, злоупотребление как раз наиболее плодотворной традицией может дать, как известно, наибольший конъюнктурный успех.

Свою позицию Ю. Манн в данном случае определяет достаточно ясно. «Говорят,— пишет он,— что в науке, оперирующей понятиями, а не художественными образами, последующее явление «снимает» предыдущее, а поэтому тот, кто, скажем, изучил Белинского, может не читать его предшественников. Едва ли это так... Не все, что найдено «второстепенным» критиком, «снимается» его великими продолжателями. Кое-что мы можем услышать только от него самого и ни от кого другого. В сущности, каждый критик, если он честно искал и самостоятельно мыслил, достоин внимания потомков».

Конкретно же речь в книге Ю. Манна идет о таких именах, как В. Одоевский, С. Шевырев, И. Киреевский, Д. Веневитинов, В. Майков, о времени «со второй половины 20-х до начала 40-х годов прошлого века» в России. Автор полагает, что этот период представляет собой относительно самостоятельный этап в развитии русской эстетики. «В этот период,— говорит он,— в ней сталкивались и развивались различные направления: от классицизма, впрочем, значительно видоизменившегося и оставившего авансцену литературной жизни, до романтизма. Но главенствующую роль играла философская эстетика. Именно она наложила отпечаток на все это пятнадцатилетие. Хотя,— читаем мы далее,— для самих представителей русской философской эстетики в высшей степени было характерно ощущение новизны и общности их деятельности, но впоследствии наука не захватила и не обьяснила эту общность. Обычно исследователи не различают русскую философскую эстетику как качественно новое образование».

Надо сказать, что исследование Ю. Манна выполнено с завидной тщательностью. Обильное использование архивных материалов (и речь тут идет не о каких-либо мелочах, а о документах первостепенной значимости — дневниках Шевырева, письмах Надеждина к С. Аксакову, неопубликованной

пространной биографии Станкевича), оригинальная атрибуция важных материалов, знакомство с источниками в оригиналах, свободное оперирование обширным литературным материалом, сопутствующим непосредственной теме работы,—все это уже и само по себе делает честь автору. Но все это — «не ради славы», а ради дела.

В исследовательской скрупулезности Ю. Манна сказалась прямая необходимость. Действительно, чего проще доказать ныне, что эстетические взгляды Плеханова, к примеру, «оставили далеко позади себя» эстетические воззрения ну хотя бы, предположим, Веневитинова! В известном смысле подобное утверждение для нас ныне самоочевидно. Совсем иной случай — попытаться увидеть в эстетических воззрениях того же Веневитинова подготовку революционно-демократического, а затем, как пишет Ю. Манн, и марксистского этапа отечественной эстетики. Это в каком-то смысле даже требует максимальной доказательности. Одно дело лишний раз отметить всю меру мировоззренческой противоположности, предположим, Чернышевского — с одной стороны, и такого монархиста, как Надеждин, — с другой. Это тоже едва ли не самоочевидная вещь. И совсем иное дело показать, как «монархист» Надеждин подготовил в известной мере, как пишет Ю. Манн, революционно-демократическое развитие русской общественной мысли, и объяснить, почему Чернышевский — формирующийся революционер-демократ и материалист — так высоко «поднял» Надеждина. Это требует мобилизации всех возможных аргументов. Это трудное дело.

Автор вполне осознает особую сложность своей задачи. «Не без смущения,— признается, к примеру, он,— перехожу я к анализу эстетических взглядов Шевырева. Само сочетание этих понятий кажется нам сегодня непривычно-странным: какая может быть у Шевырева эстетика? И какой может быть анализ этой эстетики? Шевырева принято потчевать лишь бранными эпитетами, да еще в превосходной степени...»

У иного читателя тут может возникнуть, конечно, некоторое сомнение: оправдана ли в данном случае такого рода интонация? Ведь многие из тех имен, к которым «не без смущения» приступает автор рецензируемой книги, в последнее время то и дело мелькают на страницах некоторых наших

вполне академических и даже вполне не академических изданий. Причем интонация, с которой имена эти подчас упоминаются, способна порой вызвать впечатление, что, скажем, Ап. Григорьев с его несомненным артистизмом куда как предпочтительнее рационалистического и категоричного Добролюбова. И что несомненное «западничество» некоторых предшественников русской социал-демократии уступает в исторической ретроспекции «почвенничеству» славянофильского толка.

Однако пафос книги Ю. Манна вызван совсем иной заботой. Быть может, более скромной. Он зовет отрешиться от такой узкой трактовки проблемы «предшественников и продолжателей», при которой продолжатель непременно делает то же самое, что предшественник, или по крайней мере отзывается о нем сугубо одобрительно... «Бывает и так,— замечает Ю. Манн,— что литературное наследование предполагает и оттаивание, и борьбу, и прямой разрыв последователя с предшественником, словом, все то, чем характеризуется движение вперед».

Авторы, о которых пишет Ю. Манн, жили в трудное, тяжкое время, в страшное время. В ту пору, читаем мы в одном из новейших исследований, «официальная народность» была, по сути, родом могущественной светской религии, навязанной оцепеневшему после разгрома декабризма обществу. Смысл этой религии сводился к обожествлению государства. То был поистине языческий культ политического идолопоклонства. По сути, гигантская попытка навязать России фельдфебеля в Вольтеры. Пушкинское «Клеветникам России» и «Выбранные места» Гоголя достаточно ясно говорят о беспрецедентной опасности такой попытки, грозившей в конечном счете вырождением русской культуры. Вспомните, какие имена — Тютчев, Вяземский, Жуковский, Надеждин, на время даже Бакунин и Белинский! — смог завербовать на свою сторону режим в этот короткий страшный промежуток 1825—1840 годы, в моровые годы России¹.

Неплохо сказано! Как видно, эмоциональная убедительность свидетельств, оставленных нам деятелями отдаленной эпохи,

иной раз все-таки бледнеет как-то под патиной времени. В этом случае живая интонация современного автора, столь естественно ужаснувшегося тут, способна сказать нам больше примелькавшихся цитат.

То было время, читаем мы в книге Ю. Манна, когда «вера в близкое торжество справедливости рассеялась. Свойственное просветителям отношение к современности как к преддверию «золотого века» не выдерживало проверки опытом. Перспектива «золотого века» отодвигалась в безграничную даль, а вместе с тем удлинялась и полоса «борений», искания истины...».

Не естественно ли, что в такую пору люди особенно были склонны к скептицизму? «Мы знаем,— пишет Ю. Манн,— немало вдохновенных слов, посвященных скептицизму. Мы помним замечательную характеристику скептицизма у Белинского: «Истинный скептицизм заставляет страдать, ибо скептицизм есть неудовлетворенное стремление к истине...» Но редко кто писал «о желании выйти из скептицизма»... с такой силой страдания, как Одоевский:

«Было время... когда скептицизм почитался самою ужасною мыслью, которую когда-либо изобретала душа человека... Но есть еще чувство, ужаснейшее самого скептицизма, может быть, более благого в своих последствиях, но зато более мучительное для тех, которые осуждены испытать его... У скептицизма есть удовлетворенное желание — ничего не желать; исполненная надежда — ничего не надеяться; успокоенная деятельность — ничего не искать; есть и вера — ничему не верить. Но отличительный характер настоящего мгновения — не есть собственно скептицизм, но желание выйти из скептицизма, чему-либо верить, чего-либо надеяться, чего-либо искать — желание ничем не удовлетворяемое и потому мучительное до невыразимости».

«Выстрадать истину»... Быть может, мы порой склонны бываем слишком узко и ограничительно толковать смысл этого замечательного ленинского выражения. Бывает, мол, период «выстрадывания» истины, потом — счастливого «обладания» ею. В первый период, понятно, случается много исканий, метаний, путаницы, заблуждений. Потом все это остается позади, а при нас — истина. И искать, страдать больше нечего. Но истина — не мертвая вещь, истина — живое явление.

Да, истина развивается. И процесс разви-

¹ А. Янов. Славянофилы и Константин Леонтьев. «Вопросы философии», № 8, 1969, стр. 101.

тия истины диалектичен, противоречив. В развитии истины подчас принимают участие люди самых разных точек зрения, жизненных и прочих позиций, в конечном счете — общество в целом, в итоге — человечество на всем протяжении его истории. Истину открывают не только те люди, кто умеет ответить на вопросы, но и те, кто наделен способностью эти вопросы задавать. Развитие истины идет, как известно, не по прямой линии, а по спирали. Спираль является как бы графическим выражением этого процесса — тех «метаний» и того «смятения», которые и «закручивают» эту спираль. Можно, конечно, посетовать на «неэкономичность» подобного способа постижения истины. Да вот беда — другого способа нету! Прямолинейная траектория совсем не является кратчайшей для достижения истины. Это вообще не ее путь. И потому любое «спрямление» спирали познания всегда означает только одно — истину в этом случае стремятся уложить в прокрустово ложе какого-либо априоризма, знание стремятся постулировать. Вот почему, кстати сказать, в иные исторические периоды столь исторически естествен, столь органичен бывает и тот скептицизм, о котором говорил Белинский, и то «страдание сознания», о котором так хорошо сказано у Одоевского.

Не потому ли, в частности, и те русские литераторы, о которых пишет Ю. Манн, так заинтересовались Шеллингом, «оставляя в стороне многие, специально эстетические стороны шеллингианства и ценя в нем прежде всего снятие априорных моментов в нашем знании — в том числе художественном...»? Подобный ход мысли позволяет глубже понять, к примеру, «почему И. Киреевский преследовал ненавистный ему буржуазный эгоизм в образе некоего олицетворенного схематизма и односторонности, враждебных полноте жизни; почему позднее Аполлон Григорьев протестовал против абстрактного понятия о человечестве, подведенного под некий централизованный принцип — католический, самодержавный или какой другой. Еще не выделен, — замечает Ю. Манн, — и по достоинству не оценен тот факт, что в русском общественном и художественном сознании складывалось особое течение, в котором социальная критика велась в основном в форме «антисхематизма» (как научного, так и общественного)».

Как видим, книга Ю. Манна касается некоторых действительно серьезных вопросов. И написана она, повторяю, с завидной обстоятельностью, в высшей степени добротно.

Вот характерная интонация книги: «Еще в дореволюционном литературном и общественном сознании, — пишет Ю. Манн в главе «Д. В. Вeneвитинов и начало русской философской эстетики», — наметились два противоположных образа Вeneвитинова. Один Вeneвитинов — питомец грусти и «незлойной» поэзии, «кроткий Агатон» (П. Г. Ободовский), чей «взор небесно-голубой сиял как ангел без печали» (Трилуный). Широкоизвестные факты биографии Вeneвитинова подкрепили этот образ и вошли в него на правах поэтических реалий... Но еще современники поэта выделили противоположные черты в его облике. Некоторым из них было известно, что в кружке любителей с его в основном философско-умозрительной настроенностью Вeneвитинов (вместе с И. Киреевским, А. Кошелевым, Н. Рожалиным) представлял левый фланг и одно время — как раз накануне восстания декабристов — увлекался сочинениями французских либеральных публицистов, живо обсуждал возможность «перемены в образе правления» России... Естественно, — замечает Ю. Манн, — что после революции нашим литературоведением была в основном подхвачена и развита вторая точка зрения на Вeneвитинова. В 1934 году Д. Д. Благой выдвинул требование «заменить обаятельный романтический призрак бесплотного мечтателя-идеалиста... ничуть не менее волнующим, но живым историческим лицом, вписавшим одну из ярких и примечательных страниц в историю русской поэзии и русского общественного сознания». Эта статья оказала влияние на последующее изучение Вeneвитинова и содействовала выработке более полного о нем представления».

Казалось бы, о чем же беспокоиться!

«Но, — прибавляет Ю. Манн, — все ли «реалии» жизни и деятельности Д. Вeneвитинова активно входят в это представление?» Конечно же, как вполне справедливо замечает тут же исследователь, «нет необходимости возвращаться к взгляду на поэта как на «кроткого Агатона». Но нужно, чтобы понимание Вeneвитинова обнимало собою противоречия его творчества и облика». И затем — в итоге постепенного разбора длинного ряда фактов — автор приходит к

некоторым общим выводам, с основным смыслом которых мы уже успели тут познаться.

Так в основном и написана вся книга — вполне неприязнательно по стилю, вполне бесхитростно по своему методу. Кажется, что автору престо «пришло в голову» пристальнее к некоторым из устоявшихся историко-литературных концепций и — не полениться! — сопоставить их с действительными историко-литературными фактами. Так у него дело и идет: концепция сопоставляется с фактами — выясняется, что в чем-то концепция фактам не очень соответствует, тогда она уточняется. Иногда совсем чуть-чуть. Но до чего ж трудным оказывается этот нехитрый метод! Кажется, что просто видишь, как, завершая наконец свой труд, автор с облегчением перевел дух и чуть ли не отер даже пот со лба. Более того: чувство, отдаленно сходное с этим, испытывает, закрывая книгу, и ее читатель. Он тоже немало потрудился. И авторская напряженность в какой-то мере успела передаться ему. Далеко не всякий, к примеру, захочет, найдет нужным «просто так» проверить точность вполне частного факта, сообщаемого к тому же в труде, первоклассном, по его же мнению, чуть ли не во всех отношениях. Ю. Манн склонен даже и к подобной перепроверке.

Вот характерный образец: «Одоевский, — читаем мы в одном из подстрочных примечаний, — работал над текстом «Русских ночей» до осени 1843 г., когда они были представлены в цензуру» (Сакулин, II, 214). П. Сакулин в качестве самой поздней реалии назвал ссылку Одоевского на книгу И. Ястребцова «Исповедь.», вышедшую в 1841 г. Но есть, — пишет Ю. Манн, — и более поздние реалии. В эпилоге Одоевский дает характеристику книги А. Улыбышева о Моцарте (1,366); эту книгу Одоевский получил только в феврале 1843 г. (см.: В. Ф. Одоевский, Музыкально-литературное наследие, М., Музгиз, 1956, стр. 586). В «Ночи третьей» Одоевский приводит рассуждения из книги Мишеля Шевалье, вышедшей в 1843 году (1,60—61)».

Конечно, подобного рода крайняя исследовательская скрупулезность — скрупулезность напряженная — требует и читательской напряженности. Нельзя сказать, чтобы книга эта читалась легко, но в данном случае подобное обстоятельство вряд ли можно отнести лишь к недостаткам авторской

манеры и стиля. Тут есть и более существенная причина: слишком велика еще, как видно, была сила той методологической традиции легковесного отношения к реальным фактам, которую оспаривает автор, слишком ошутим — почти физически! — ее гнет. Чувствуется, что автору действительно очень нелегко — настолько, что напряжение, постоянно испытываемое им в борьбе с этой традицией, в следовании поставленной перед собой цели — быть неукоснительно точным в мельчайшей детали — порой как-то даже ограничивает его внутреннюю творческую свободу. Здесь уместно будет отметить, что статьи, опубликованные Ю. Манном в последнее время в некоторых наших «толстых» журналах, скажем, в «Вопросах литературы», написаны им с заметно большей внутренней раскованностью. Книга же, явившаяся, думается, своего рода фундаментальным предварением последующих журнальных выступлений, еще не вполне отмечена подобным свойством. Но это так в данном случае понятно! Вся работа была еще впереди, и автор вполне справедливо не уверял себя заранее в полном успехе задуманного дела. Кстати сказать, такая исходная «установка» — в духе лучших традиций нашей современной литературной и исторической науки. Не погому ли, в частности, автор, столь не склонный, как мы могли успеть это заметить, к какому-либо завышению оценки каких-либо научных авторитетов, с такой готовностью опирается, к примеру, на труды покойной Т. Усакиной (мне уже доводилось писать о них на страницах «Нового мира») — общность исходных исследовательских позиций в данном случае очень видна и достаточно характеризует упомянутую традицию.

Тем более, конечно, досадны те немногие случаи, когда автор проявляет вдруг непоследовательность, неожиданно отдавая дань вульгарному «осовремениванию» материала, «легкому» отношению к нему.

И тогда мы натываемся в книге на прямые параллели, скажем, между теми или иными идеями Одоевского и... Маяковского, Брехта, Меißерхольтца, на бегло высказанное соображение о том, что «философский универсализм» того же Одоевского «подготовил последующее развитие нашей научно-художественной литературы». Или встречаем такой вот «эффектный» пассаж: «Эстетическое наследие Веневитинова подобно двуступенчатой ракете, и если голов-

ка ее, прорезав 30-е годы, ушла в будущее, то основание послужило опорой деятельности ближайших последователей критика. Нет, подобного сорта легкость указывает лишь на известную несвободу автора уже и в отношении к идеям, столь близким ему.

Да, не прям путь истины...

Вот и в основе столь странной, на иной взгляд чуть ли не библиофильской страсти к давно забытым, казалось бы, именам, в общей историко-литературной перспективе как будто бы второстепенным, бывает порой очень серьезная общественная потреб-

ность. Перелистывая пожелтевшие страницы, мы иной раз испытываем особое чувство «прикосновения к истине» — к самому ее «ходу», и тогда мы видим, как в действительности шло ее развитие, как бы присутствуем при самом ее происхождении. И потому оказываемся способными глубже усвоить ее, не тщась присваивать.

Автор новой книги по истории отечественной эстетики тоже испытал это чувство «прикосновения к ходу истины».

А. ЛЕБЕДЕВ.

★

В. ДАЛЬ И ЕГО БИОГРАФ

М а й я Б е с с а р а б. Владимир Даль. «Московский рабочий». 1968. 263 стр.

Трудная, но увлекательная задача стояла перед автором книги о Владимире Ивановиче Дале, выпущенной не столь давно издательством «Московский рабочий». Мы знаем Даля-писателя, выступавшего в сороковые годы в качестве талантливого представителя «натуральной школы», Даля — этнографа, краеведа, естественника. Но главным подвигом труда и любви Даля к народу, любви неподдельной, органической, было, как известно, создание четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка», просторного хранилища богатств живой народной речи, откуда уже ничто не могло ни пропасть, ни затеряться в небрежении и пыли. Собранные Далем русские пословицы, как и его словарь, представляют собой национальное достояние русской культуры.

Правда, взгляды Даля носили консервативно-славянофильский характер. Однако наше литературоведение уже давно в силах объективно и спокойно судить о значении такого рода фигур в общественно-литературном процессе.

Даль-писатель, Даль — автор «Толкового словаря» и собрания русских пословиц: каждая из этих сторон деятельности могла бы служить темой отдельной книги. (Так, недавно вышедшая в издательстве «Детская литература» книжка М. Булатова и В. Порудоминского «Собирает человек слова...» живо изображает Даля как создателя прославленного словаря. Интересные «Страницы из жизни В. И. Даля» напечатаны в альманахе «Прометей» В. Порудоминским). Задача М. Бессараб, взявшейся за создание жиз-

ненной и творческой биографии Даля, была труднее и существеннее. Ее книга написана в свободной беллетристической манере и по типу принадлежит к популярному в последнее время жанру литературных биографий.

Как биограф М. Бессараб проделала немалую работу, которая увенчалась интересными разысканиями. Ей удалось обнаружить, например, неопубликованную прежде сказку Даля «Сила Калиныч, душа горемычная...», с которой мы имеем теперь возможность познакомиться по книге. Не часто такие находки вознаграждают даже самых кропотливых исследователей.

М. Бессараб увлечена, захвачена яркой жизнью своего героя и посвящает большую часть книги его личной судьбе. Перед нами проходит вся жизнь Даля: детство, отроческие годы, проведенные в морском петербургском корпусе, годы учебы в Дерптском университете, служба армейским лекарем, первое литературное выступление со сказками, женитьба, служба в Оренбурге под началом генерала Перовского и участие в Хивинском походе, общение с Пушкиным и смерть Пушкина в руках Даля, работа над составлением словаря, собрание русских пословиц, обширная литературная деятельность, служба Даля в Нижнем Новгороде, отставка, переезд в Москву, смерть жены, смерть Даля...

Автор намечает основные вехи биографии своего героя на широком историческом фоне, дает характеристики различным литературным и общественным деятелям, рисует сценки то в кабинете царского наследника, то в студенческой квартире, то в палате

госпиталю. Немало достоверных деталей, забытых фактов содержится в новой биографии Даля.

Однако в книге такого рода важны не только биографические подробности. Ведь В. И. Даль прожил долгую жизнь — несколько эпох русской истории сменились на его памяти. Восстание декабристов, борьба славянофилов и западников, Крымская война и смерть Николая I, отмена крепостного права, реформы шестидесятых годов — все это выпало ему на долю пережить. Отношение Даля ко всем этим событиям далеко не всегда может быть теперь разделено нами. Но автор, словно не замечая этого, так восхищен своим героем, что, рисуя его портрет и эпоху, порой сбивается на тон и жанр «житийной» литературы с легендами о подвигах, страстях, хождениях по мукам... Это невольно вынуждает М. Бессараб более чем избирательно отнестись и к истории. Некоторые узловые моменты книги, связанные с историческими событиями, способны вызвать недоумение у читателя.

Нет никаких сомнений в том, что Даль был настоящим русским патриотом и все лучшее, что создано им, сделано на благо народа и страны. Однако само понятие патриотизма трактуется автором несколько специфически: «В годы, когда казенные лжепатриоты до такой степени затаскали самое слово «патриотизм», что честному человеку было совестно его произносить, — пишет М. Бессараб, — нужен был патриотизм воинственный, от самого сердца идущий, чтобы просто и ясно сказать солдату: «Земля Русская, отечество наше, обширнее и сильнее других земель. Гордись тем и величайся, что родился ты русским». Не слишком ли узко такое определение патриотизма, и не напоминает ли оно как раз официозный патриотизм? Не смазывает ли оно также социально-историческую сторону дела? Ведь речь идет, напомним, о царской России, «тюрьме народов».

Однако этому «воинственному патриотизму» посвящена большая часть книги — значительно большая, чем та, где разбираются литературные и филологические труды Даля, благодаря которым он и вошел в историю русской культуры. Подавление польского восстания 1831 года царскими войсками, как известно, не самая славная страница отечественной истории. М. Бессараб же с увлечением описывает, какие подвиги совершил во время польской кампании «ар-

мейский лекарь» Даль, награжденный за них «Владимирским крестом с бантом» и грамотой генерала (Даль выстроил плавучий мост через Вислу из пустых пивных бочек, по которым переправились русские войска, спешащие к Варшаве, а когда на мост вступила польская конница, ловко уничтожил его. Описание этого моста с приложением чертежей вышло вскоре в типографии Греча).

Так выглядит в книге трагический эпизод подавления царскими войсками восстания поляков. Надо ли говорить, что передовая русская общественная мысль всегда расценивала это событие иначе.

А вот 1839 год. Даль на службе у оренбургского генерал-губернатора Перовского, который готовит завоевательный поход русских войск на Хиву. Необходимость этого похода объяснена в книге следующим образом: «В далеком Оренбурге... что ни день можно было услышать: вышел за городской вал, зазевался, а его схватили и продали в рабство в Хиву... Население ждало освобождения своих родных, томящихся в неволе». Это одна причина, но была еще и другая: «Богатейшие казахские степи и могущественные среднеазиатские ханства: Кокандское, Бухарское и Хивинское — были важны для России и как источники сырья, и как рынки сбыта».

Однако колонизаторских устремлений одного из завоевателей Средней Азии, В. А. Перовского, М. Бессараб, к сожалению, не замечает. Поэтически рисуется в книге «красочное зрелище: объезд Перовским всего войска». «Генерал на белой лошади в сопровождении казака лихо гарцевал вдоль линии, даря улыбки солдатам и офицерам». Автор описывает поход «героического отряда» во всех подробностях, с умилением сообщая читателю, что «везли даже походную церковь, радуясь тому, что в этих диких степях благовест раздастся впервые от сотворения мира».

Кстати, о благовесте и церкви. Автор не раз возвращается в книге к вопросу о вероисповедании Даля, который, как известно, был лютеранином, но перед смертью перешел в православие. М. Бессараб с пафосом пишет: Даль «был верующим, поскольку верующим в подавляющей массе своей был русский народ, а Владимир Иванович любил его непритворно». И еще: «он перешел в лоно православной церкви, чтобы ничем не отделяться от русского народа». Удиви-

тельное объяснение. Можно подумать, что создатель «Толкового словаря», собиратель народных пословиц, известный русский писатель, лишь перейдя в православие перед смертью, сумел подтвердить свою «непритворную любовь» к народу.

Вернемся, однако, к походу.

Безоглядность увлечения и любовь к своему герою, сами по себе вызывающие нашу читательскую симпатию, автор зачастую переносит на все окружение, обстоятельства, сопутствовавшие его судьбе, и это дает порой странные результаты. О Перовском и Николае I, которые отнеслись к Далу хорошо, рассказано доброжелательно. Сочувствие автора к Перовскому так велико (хотя биограф и оговаривается мелко, что это был один из «столпов самодержавия»), что М. Бессараб с волнением повествует нам о страхах Перовского после неудачного похода, в котором погибло немало русских солдат, — как бы «придворные интриганы» не отстранили его от должности. Однако «интриганы» были посрамлены. Николай I проявил великодушие: «государь был в отличном расположении духа. Он с улыбкой подошел к Перовскому и обнял его, как старого знакомого». Правда, замечает автор, «прошло долгих тринадцать лет, прежде чем Перовскому удалось реабилитировать себя как полководца: в 1853 году он вновь предпринял поход на Хиву и присоединил к владениям России крепость Ак-Мечеть, названную в его честь форт Перовский». Автор словно болеет душой за то, чтобы Перовский оправдал себя перед «государем», за то, чтобы он «реабилитировал себя» в глазах царя. Так мог, пожалуй, воспринимать эти события Даль, но как может думать подобным образом наша современница?

Отношением Даля к царю овеяно в книге и изображение «самого государя». Автор рассказывает нам, к примеру, трогательную историю о том, как благородно поступил с Далем Николай I. Он не послал молодого лекаря, арестованного III отделением за неосторожные сказки и освобожденного по заступничеству Жуковского, на эпидемию трахомы, чтобы тот не подумал, будто «его усылают за сказки». Мельников-Печерский, из книги которого взят этот эпизод, пишет: «Владимир Иванович всегда с чувством умиления рассказывал о таком тонком и деликатном отзыве императора Николая Павловича. ярко обрисовывающего прекрасную его душу».

Стремление к упрощенным решениям, желание представить все с наилучшей стороны, даже когда материал сопротивляется этому, заметно и в других местах книги. Вот что пишет М. Бессараб по поводу публикации Далем в 1862 году «Пословиц русского народа»: «Ни в одной книге, изданной в полицейском государстве, нельзя было напечатать того, что напечатал в 1862 году Владимир Иванович Даль» — и приводит, к примеру, такие пословицы: «про харчи ныне молчи», «кто кого смог, тот того и с ног» и пр. Конечно, пословицы яркие, ничего не скажешь, но ведь в том же 1862 году появились в печати статьи Чернышевского и Д. И. Писарева, новые стихотворения Некрасова, «Письма об Осташкове» В. А. Слепцова и другие произведения передовой русской литературы. Слова Герцена: «Литература у народа, не имеющего политической свободы, единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести» — были актуальны для России и в 1862 году.

Сосредоточив свое главное внимание на изображении жизненного пути Даля, автор, к сожалению, уделяет значительно меньше места творческой биографии писателя. Конечно, каждый исследователь имеет право на выбор своей темы, своего «сюжета» повествования. И все же читателям, пожалуй, было бы интереснее больше узнать о повестях Даля сороковых годов, о том месте в истории русской литературы, какое они занимают, чем о подробностях Хивинского похода или военной биографии сына писателя во время Севастопольской кампании. Однако дело не только в выборе «сюжета». Важна и верность исторической правде, точная оценка фактов.

М. Бессараб предпочитает не говорить о том, что ей не нравится и что не может украсить, по ее мнению, писателя (между тем как интереснейшая фигура Даля вряд ли нуждается в такого рода заступничестве). Сказки Даля Белинский подверг суровой критике, но в книге не приведено ни одного его критического отзыва, зато, разумеется, не упущены его похвалы, как и восторженный отзыв Пушкина о сказках Даля. Серьезно полемизировал с Далем Добролюбов — об этом в книге сказано невнятно и глухо; резкую рецензию на сочинение Даля напечатал в «Современнике» Чернышевский — она также не упомянута.

Как известно, заслуги того или иного дея-

теля выступают тем ярче, чем безрадостнее общий фон, на котором он действует. Это обстоятельство по-своему учитывает М. Бессараб. Оказывается, «о русском крестьянине писали и до Владимира Даля; почти всегда это был или идиллический пастушок, или злой дикарь», — читаем мы, невольно воображая Даля в некой пустыне русской литературы. Нет ни «Деревни» и «Антоня Горемыки» Григоровича, ни «Записок охотника» Тургенева, ни «Сороки-воровки» Герцена — словом, нет ничего. Такой апологетизм вредит Далю куда больше, чем самая строгая критика В. Г. Белинского, которую не учитывает М. Бессараб. Высоко ставя физиологические очерки Даля, Белинский вместе с тем подметил его слабую сторону: «Мы люди письменные... Пременять же нам Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина на губернаторов из простолюдины в овчинных тулупах и смурых кафтанях — уж поздно».

В книге Бессараб всякая критика в адрес Даля рискует быть названа «охранительной» и «аристократической» или не упомянутой вовсе. Приведем лишь один пример. Рассказу «Подкидыш» в книге дана самая высокая оценка: «этот социальный портрет мелкого чиновника стоит в одном ряду с образом Акакия Акакиевича». Чернышевский же в своей рецензии, имея в виду «Подкидыша», утверждал, что это даже не рассказ: «Даль слышал анекдот, взял да и пересказал его». Когда мнения расходятся столь решительно, разумнее представить на суд читателя обе точки зрения. Конечно, нельзя настаивать, чтобы автор принимал — как единственно верный — взгляд, положим, Чернышевского или Белинского. Однако делать вид, будто иного мнения вовсе не существует, вряд ли справедливо. Вот, например, нашушевшая история с «Письмом к издателю А. И. Кошелеву» Даля («Русская беседа», 1856, кн. III), которая имела громкий общественный резонанс: по словам Добролюбова, Даль в этом случае «обнаружил в себе упорного врага крестьянской грамотности».

«Перо легче сохи, — писал В. И. Даль в своем письме, — вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие... Он склоняется не к труду, а к туеядству... Сутяжничество и все бесчестные увертки появляются там, где грамота вытесняет совесть и занимает ее место, где совесть замещается грамотой».

Резкое сопротивление и возражения вызвала эта статья в демократических кругах. Против Даля выступили революционные демократы. И славянофилы не поддержали его. С тех пор прошло более ста лет, и мы можем уже более беспристрастно вникнуть в логику рассуждений В. Даля, неудачно противопоставившего образование понятиям нравственным, но озабоченного и тем и другим. М. Бессараб, не вдаваясь в подробности, не цитируя ни одной строки из письма, не сообщая о развернувшейся полемике, пишет лишь, что «...письмо это содержит много неверных и путаных положений... Однако при личной встрече Владимиру Ивановичу всегда удавалось доказать свою правоту». И далее говорится о личной встрече Добролюбова и Даля, состоявшейся в Нижнем Новгороде. Однако, как именно Даль сумел доказать Добролюбову свою правоту, автор нам не сообщает.

Кто же представлял для Даля, по книге, безусловный идейный авторитет, в ком и в чем находил он себе сочувствие и поддержку?

«Погодин, Аксаковы, Киреевские, Хомяков, Писемский — словом, и прогрессивная московская интеллигенция, и воинствующие славянофилы не были безразличны к труду Даля», — характеризует автор московский период жизни писателя начала шестидесятых годов. Вероятно, из числа названных «воинствующие славянофилы» — это Аксаковы, Киреевские, Хомяков. Но ведь оба брата Киреевские — Иван и Петр — умерли еще в 1856 году, старик Аксаков — в мае 1859 года, когда Даль еще служил в Нижнем Новгороде (Даль вышел в отставку в 1859 году), в 1860 году умер и Константин Аксаков. Из Аксаковых в живых был один Иван. Хомяков умер в сентябре 1860 года. «Прогрессивной московской интеллигенцией» остается считать, таким образом, консервативного историка М. П. Погодина и известного писателя А. Ф. Писемского, к этому времени уже скомпрометировавшего себя в глазах всей русской публики антинигилистическим романом «Взбаламученное море», печально знаменитыми фельетонами Никиты Безрылова...

Нельзя не подивиться выбору, сделанному автором, — ведь Даль-то, конечно, знал, кто жив, кто умер, и хотя увлекался спиритизмом, все же покойников от живых отличал.

Узко понятый патриотизм составляет

основной идейный стержень книги. Эмоциональный же ее тон определяется ярко выраженным «романическим» интересом автора. В книге можно познакомиться с любовными историями не только Даля, но и его друзей, знакомых, наконец, дальних родственников. Мы узнаем со многими подробностями (тут и цитаты из писем, и диалоги) о любовных историях Н. И. Пирогова (сначала неудачная любовь к Катеньке Мойер, затем счастливая к ее подруге), Тараса Шевченко (Шевченко просил руки у молодой актрисы, но имел несчастье высказать в газете о ее игре критические замечания. «Для Кобзаря правда была дороже всего на свете. И он жестоко поплатился...»), наконец нас знакомят даже с семейными преданиями о романах времен молодости... сестер тещи Даля.

Отдельную новеллу представляет собой повествование о замужестве дочери Даля — Ольги: тут и соперники, и «плечистый кучер», стучащий «кнутовищем в двери», в котором случайно выглянувшая мать узнает переодетого поклонника своей дочери...

«Имел большое состояние и был завидным женихом», «несчастный жених уехал в Петербург» (о Тарасе Шевченко) — все это так и мелькает на страницах книги.

Автор любит беллетризировать воспоминания, зачастую просто раскавычивая и обильно цитируя известные тексты. Так, скажем, поступает он с некоторыми эпизодами из воспоминаний Мельникова-Печерского, с

воспоминаниями самого Даля о смерти Пушкина. При таком способе беллетризации особенно важна безупречность в отборе биографических материалов. Однако здесь проявляется досадная неразборчивость: излишне широко, например, М. Бессараб пользуется воспоминаниями дочери Даля, заимствуя из них для своего труда красочные семейные предания. Но, как известно, друг Даля декабрист Завалишин подверг их в печати резкой критике. «Цель настоящей статьи,— писал Завалишин,— предостеречь будущего биографа Даля, чтобы он статью г-жи Даль не счел надежным источником для биографии Даля». Жаль, что М. Бессараб не прислушалась к этому совету.

Нам пришлось так подробно остановиться на недостатках работы М. Бессараб потому, что появившиеся в печати рецензии на эту книгу содержали в себе лишь похвалы самого общего свойства. Книга М. Бессараб полезна как попытка осмысления биографии Даля, но, к сожалению, нельзя сказать, чтобы эта попытка была во всем успешна. Автору помешала некоторая тенденциозность в освещении исторических событий XIX века. Даль не нуждается в приукрашивании — пусть с самыми лучшими намерениями, а его литературная и творческая биография так ярко и интересна, что к ней еще не раз обратятся исследователи и писатели.

С. КАЙДАШ.



НОВОЕ О ТЕАТРЕ

Театральные страницы. 1969. Составление и редакция Б. Зингермана. «Искусство». М. 1969. 540 стр.

Новый сборник, посвященный театру, — изящная, со вкусом, с хорошими иллюстрациями изданная книга «Театральные страницы», — не повторяет родственные ему издания, московский и ленинградский ежегодники «Вопросы театра» и «Театр и драматургия». Они менее пестры по составу, по специфичности выбранного материала — ближе к альманаху; в них есть новый и обширный раздел театральной беллетристики.

У книги, в целом строгой и точной, верной факту и чуждой деклараций, есть и свой пафос. Это пафос защиты театра как самостоятельного и равноправного среди

других вида искусства. Возникнув с первых страниц, эта мысль затем на разном материале будет повторена разными авторами. Театр, гибель которому пророчат уже не одно десятилетие, не сдастся под напором любых новейших искусств, потому что он в человеческой жизни незаменим.

Звучит она в открывающей сборник статье Ю. Завадского и Я. Ратнера «Служить народу — призвание советского театра», где речь идет обо всем пути советского театра и о тех особых качествах, которые сложились и утвердились в нем за пятьдесят лет. Звучит и в других работах.

Больше всего в сборнике — о Станиславском. Ему посвящены три статьи: Н. Берковского, Е. Поляковой и А. Мацкина.

Н. Берковский («Станиславский и эстетика театра») представляет нам Станиславского в целом, в универсальности его гения, в совокупности его театральных идей, в их соотношении с театром, бывшим до Станиславского, при нем и после него. Об этой статье уже писалось в № 10 «Нового мира» в рецензии А. Гладкова на сборник Н. Берковского «Литература и театр». Разделяя общий смысл рецензии, добавим кое-что о том, как сделана эта статья.

Театральные проблемы, казалось бы, давно и основательно исследованные, вырываются Н. Берковским из сферы узко профессионального обращения и возводятся до явлений общественных и жизненных. Так, в новом и высоком плане решаются главные проблемы эстетики и творчества Станиславского — перевоплощение, импровизация, реализм.

Статья, трактующая вопросы и сложные и специфичные, написана вовсе не для посвященных. Везде — виртуозный анализ профессиональных «секретов» театра, будь то категория времени, текст и подтекст, взаимоотношение актеров и зрителей, «натурного человека» и условности, суть и методы режиссуры, но нигде нет зашифрованности и той научности, которая выражает себя лишь в специальных терминах и построениях. Научная высота, эрудиция, блеск свободной и острой мысли сочетаются с ясностью. Беседа идет на равных, не в поучающе-просветительских тонах. Но и равному не обязательно понимать с полуслова, а потому все говорится точно, четко и до конца. Поистине, «точность — вежливость королей».

В статье нет академического холода и тематической выверенности формул. Она соответствует своему прекрасному предмету: ведь написана она о театре, а потому с живым чувством, увлеченно, порой страстно и даже с крайностями.

Н. Берковский может быть и несправедлив, если речь заходит о явлениях, полярных Станиславскому. Антитеза «переживания» и «представления», к примеру, потеряла свой безусловный смысл. Перегородки сметены. Уже нельзя противопоставить переживание как идеал «неполноценному» представлению — иначе мы не поймем ни Мейерхольда, ни Брехта.

Но есть в этой великолепной статье внутренний драматизм. Он не в противоречиях — их нет; статья целостна и завершена в своих идеях. Драматизм — в отношении автора к современному нам театру.

Два примера из сферы драматургии. «Драма последовательно истребляет всякие следы автора». Это дано как закон, как идеал, рожденный высокой классикой. Но современная драма во многом меняет свою природу. Такого настойчивого авторского вмешательства драма не помнит с давних времен: рассказчики и ведущие, зримые и незримые, от себя, от театра, от автора. Дело здесь — в повышенной активности театра, в нетерпении, с которым борются за душу зрителя.

«Современные драматурги очень любят экспериментировать с временем в драме. Их соблазняют эксперименты, проводимые в современных романах». Это опасно: «...разорвите естественный порядок — и естественное течение актерского искусства остановится». Но что же делать: естество теперь часто иное. Драматург не всегда из подражания, актер не всегда из лености ума сегодня не могут творить только в границах образа, показывать героя, а не свое отношение к нему, не переходить из будущего в прошлое и обратно, не разрывать ткань пьесы всевозможными отвлечениями. Это — тоже своего рода закономерность, не отменяющая открытий Станиславского, а пребывающая с ними в состоянии диалектического взаимодействия.

Но главная причина недовольства сегодняшним, думается, в самом нынешнем театре, в неопределенности его перспектив. При всей творческой активности и реальных достижениях, театр сейчас в ожидании, в преддверии очередных «новых форм». Многие авторы сборника отмечают признаки кризиса: с одной стороны, вялая копия жизни, с другой — эклектика и художественный произвол. Пока еще неясно, что станет с открытиями великих мастеров: ждет ли их синтез, или механическое соединение, или параллельное существование, или замена чем-то непредвиденным.

Легче исследователю, который берет тему более локальную и замкнутую во времени. Е. Полякова в своей статье «Станиславский — Добужинский — Бенуа» тоже говорит об эстетике, но уже не театра вообще, а конкретной эстетике Художественного театра. Взят мало исследованный и очень важный,

переломный отрезок творческого пути Станиславского — 1910-е годы. Станиславский, показанный здесь в его работе над классической, увлекательно динамичной, неожиданный, открытый для нового.

Прорывая рамки темы, статья все время выводит нас за пределы театра — в поэзию, в живопись, в умонастроения интеллигенции, в трудную русскую жизнь между двумя революциями. И вместе с тем Е. Полякова владеет искусством яркой реставрации спектаклей. Их просто видишь, от мелочей обстановки до живых людей, действующих на сцене, окунаешься в эмоциональную атмосферу каждого спектакля, то одухотворенного «Месяца в деревне» с его психологическим кружевом, то озорного «Многомного больного», где воздух сцены пропитан свободой и радостью творчества.

Главная проблема статьи не собственно режиссерская — как Станиславский ставил, а проблема соотношения художника с режиссером и через это — «новые соотношения реальности и условности» во МХТ.

Что такое был «Мир искусства» и почему МХТ после своих «передвижнических» увлечений двинулся к нему? Е. Полякова дает «мирискусникам» спокойную и разностороннюю характеристику, отмечая и их известную ограниченность, и редкую культуру, глубокую и перспективные опыты в области стилизации. Станиславского сблизало с ними стремление к «воплощению житейской, исторической, художественной неповторимости каждого писателя», к решению «вопросов стиля» и «принципов воплощения прошлого в искусстве». Это правда, но еще не все. Из статьи следует вывод более обобщенный и широкий: МХТ в своем развитии следовал естественным путем, который проходили и другие искусства. Как в живописи «Мир искусства» был необходимым этапом, так и «мирискусническая» эстетика стала этапом на пути МХТ; он должен был через это пройти.

А. Мацкин (статья «Пять чеховских ролей») берет тему еще более конкретную: пять ролей Станиславского в чеховских спектаклях МХТ; но таких ролей, которые — уже за скобками статьи — во многом определили поэтику и эстетику театра. В пяти медальонах, пяти графически четких, строгого абриса портретах автор показывает несколько разных и неравноценных работ. От первой, неудачной, Тригорина — к лучшим, Астрову и Вершинину, и дальше, к ролям и

исполнению иного типа, где актер, до того слитый с героем, отстраняется от него.

Одно вызывает возражение в этой серьезной, вдумчивой статье: объяснение успеха в Астрове, в «Дяде Ване». Описание этого спектакля интересно; автор точно передает суть созданного Станиславским образа: «Натура, трагически не выразившая себя». Но вряд ли можно увидеть в этом «триумф старого реализма XIX века». Средствами старого реализма в чеховских спектаклях победить было нельзя — и неудача с Тригоринным еще одно тому объяснение. С Чеховым Художественный театр входит в XX век.

Наряду со Станиславским много внимания уделено в книге Мейерхольду. И Н. Берковский и Н. Велехова (статья «Говоря с Мейерхольдом») справедливо считают, что объединять двух режиссеров, искать в них внутреннее тождество — невозможно. Это два мира, каждый со своими законами и своей системой ценностей, и с ними двумя — разными — наш театр богаче, чем если бы они были сходны.

Статья Н. Велеховой — не анализ творческого пути Мейерхольда, а рассказ о его вкладе в современное искусство, о традициях зрелого Мейерхольда. Очень важна лейтмотивом проходящая через статью мысль о том, что искания Мейерхольда были не формальны, а идейно, интеллектуально насыщены. Это доказывается настойчиво и последовательно.

Главным в Мейерхольде автор считает власть над «субстанцией драмы», драматическим действием, выражение действием идей, при помощи актеров, «в музыкальном измерении, в пространственных формах, в движении». Особое внимание уделено работе Мейерхольда с актерами, которым он прививал «мышление образное, действенное, поэтическое, ассоциативное, не дающее исчерпать себя». Трудный разговор о биомеханике поднят на высокий уровень, где ее нельзя свести к ремеслу, к сумме приемов, нельзя не увидеть ее мировоззренческих корней.

Не менее важна постоянная обращенность статьи к послемейерхольдовскому искусству: театру и кинематографу, где прослеживаются и живые традиции режиссера, и отступления от них, и искажение их.

Иногда, защищая свой «объект исследования», Н. Велехова несколько «высветляет» полный контрастов образ и путь режиссера или становится несправедливой к другим.

Мейерхольд у нее наделяется «позитивно-поэтическим характером... мирозерцания». Чтобы усилить это, Н. Велехова слишком много тени накладывает на противоположные явления: на бытовую театр, на «непозитивные» настроения.

Есть в статье и некоторые противоречия. К примеру, тезис о «первородстве» режиссуры в театре Мейерхольда, о принципе «режиссерской драматургии». В конкретном анализе критик вдруг отступает: ставя классику, Мейерхольд «прибегал к неожиданно новым формам, но он выражал мысли Гоголя, мысли Островского, Грибоедова, а не свои собственные...». Это сказано, чтобы подчеркнуть лояльность Мейерхольда по отношению к классике. Но где же тогда «первородство»?

Третья из главных тем сборника — театральные художники. Кроме Е. Поляковой, об этом пишут В. Турова («Театр и Петров-Водкин») и Б. Зингерман («Шекспир глазами Тышлера»). Театральный художник в этих работах взят в его лучшее время, когда из робкого составителя декораций он стал равновеликой с актером и драматургом величиной, соавтором спектакля, пусть и подчиненным замыслу режиссера.

В. Турова рассматривает Петрова-Водкина в контексте его времени и его эпохи — он поддержан традициями русской живописи и овая ветрами времени. Автор проследживает те элементы в творчестве художника, которые закономерно вели к театру: тягу к монументальной форме, к декоративности и одновременно к психологизму, его потребность в широкой аудитории, внутреннюю драматургию его картин. Мы проникаем в лабораторию художника и вместе с тем видим развитие советского театра двадцатых—тридцатых годов: и по времени и по духу эволюция театра и Петрова-Водкина удивительно совпадали.

Статья Б. Зингермана, посвященная одному из своеобразнейших театральных художников, поэту и сказочнику театра А. Тышлеру, написана с редким проникновением в психологию, побудительные мотивы творчества, в причины перемен. Работы Тышлера описаны легким и острым пером, образно, без цветистости метафорично, без детализации точно — Зингерманом найдены слова, которые к другому живописцу не отнесешь.

Мир Тышлера странен. Декорации не похожи ни на какие другие; портреты шекспировских героев выламываются из наших

обычных представлений о них. Первым чувством при взгляде на них бывает удивление; мысль о странности может привести к неприятию. Зингерман предлагает свою трактовку такого видения шекспировских пьес, такого решения сценического пространства и делает это так убедительно, что мы с легкостью входим в непривычный душевный и эстетический мир.

В разделе публикаций — два интереснейших документа. Первый — речь Калининна на 5-м Всероссийском съезде работников искусств в 1925 году, отрывок из нее, где он говорит о задачах театра. Калинин, человек, казалось бы, далекий от профессиональных забот театра, мыслит его задачи и будущее так, как это представляли себе лучшие люди театра. Надо «приблизить театр к массам и отбить от кино те позиции, которые кино отбило от театра...». Надо стимулировать «проявление творческого возбуждения, которое свойственно каждому человеку», а для этого — сблизить зал со сценой, вовлечь зрителей в действие.

Вторая публикация — запись Вахтангова, сделанная им за год до смерти. В набросках тяжело больного человека поражает неисчерпаемость душевной энергии. Он полон творческих планов; мечтает о театре будущего — не бытовом, а с трагическим и комическим гротеском; хочет ставить классику, ставить — как трагедию — «Чайку». Он оценивает, сравнивает своих коллег, пророчествует им.

О Мейерхольде Вахтангов пишет с редкой для соперника увлеченностью, которая рождает уважение прежде всего к самому Вахтангову. Он видит принадлежность Мейерхольда будущему, и его недооцененность современниками, и его ограниченность — в работе с актерами, и свое преимущество перед ним — более богатую интуицию. Есть в суждениях Вахтангова крайности, понятные у столь увлеченного человека. К сожалению, в комментариях к дневнику они объяснены так, что суть дела затемняется.

Вахтангов пишет о Мейерхольде: «Какой гениальный режиссер, самый большой из доселе бывших и существующих». Пусть это не так. Но комментатор Б. Ростоцкий, не споря с Вахтанговым впрямую, как бы смещает адрес его слов, относя их только к западным режиссерам. Ростоцкий словно хочет оградить «художественников», спасти их приоритет. Зато, когда Вахтангов критикует Мейерхольда в пользу МХАТа, это заост-

рляется, и крайность опять проходит неотмеченной. «Мейерхольд не умеет вызвать в актере нужную эмоцию, нужный ритм, необходимый театральность». Вахтангов не прав: ритм и театральность Мейерхольд вызывал, как никто.

После этих публикаций идет театральная беллетристика: три пьесы, рассказ и стихи Брехта. Пьесы эти: «Варшавская мелодия» Л. Зорина, «Жил-был каторжник» Ж. Ануйля и «Мещанская свадьба» Б. Брехта. Две последние пьесы у нас не печатались, хотя театры уже обратились к ним. Но «Варшавская мелодия» была опубликована в журнале «Театр». Что заставило снова обратиться к ней? Может быть, то, что за последние два года она стала одной из самых репертуарных пьес? Или есть некая связь в том, что три эти пьесы расположены рядом?

Читатель вступает в область догадок, и пришло время сказать о том, чего в сборнике нет. В нем нет предисловия, никаких слов составителя о намерениях и дальнейших планах. Цифра «1969» на обложке может быть знаком периодичности, ежегодности, а может быть просто знаком текущего года, подобно тому, как иногда на зданиях обозначают год постройки.

В сборнике угадывается программность, — угадывается, потому что никак не заявлена. Основная масса статей здесь — о русской сцене XX века, о режиссерах и художниках. Здесь нет рубрик, которые обязательны в других театральные ежегодниках: нет статей о драматургии, западном театре или театроведческой науке. Будет ли так и дальше? Будут ли «Театральные страницы» печатать пьесы как таковые, оставив разбор их на долю филологов?

Современному театру специально посвящена одна статья, и то на сравнительно частную тему. Есть ли в этом умысел: говорить больше об эстетике театра, чем о его быстротекущих процессах? Может быть, в этом повинно издательство? Ведь современный материал не сохранит свежести при таких темпах издания: книга сдана в набор в октябре 1967 года, а подписана в печать в феврале 1969-го.

Возникают и остаются вопросы, которых могло бы не быть. Быть может, со следующим выпуском они получают ответ. А выпуск, надо надеяться, будет, потому что дело начато свежо, интересно, основательно.

Т. ШАХ-АЗИЗОВА.



ВНЯТНЫЙ ГОЛОС ПРОШЛОГО

А. П. Каждан. Византийская культура (X—XII вв.). «Наука». М. 1968. 233 стр.

Изучать прошлое трудно и еще труднее писать о нем: оно рискует умереть под пером историка. С одной стороны, нельзя объять необъятное, рассказать о прошлой жизни в ее сколько-нибудь исчерпывающей полноте, а с другой — всякое расчленение и обособление частей (экономика отдельно, политика отдельно, быт отдельно, мысль отдельно) грозит значительным перекосом. Задача, которую поставил перед собой автор книги «Византийская культура» А. Каждан, — «построить модель византийского общества в его функционировании» — необыкновенно трудна (особенно для популярной книги, потому что ученому несравненно легче разговаривать с другими учеными, чем с «неучеными»), но и очень заманчива — такая «модель» общества предполагает постижение его основных законов и невозможна без человека, действующего и думающего, так как именно человек яв-

ляется субъектом истории — прошлой жизни и объектом истории — науки. Без него «модель» не станет работать.

Действительно, автор вводит нас в жизнь, в самую ее повседневность. Мы узнаем, например, что ели римляне, мы узнаем, чем они ели (руками; двузубая вилка, которая, кстати сказать, появилась именно в Византии, была принята только в кругу аристократии), и даже, так сказать, с каким чувством они ели. «Византийские вельможи, — пишет автор, — были скорее обжорами, чем гурманами». Мы узнаем, на чем ездили римляне, на чем плавали, какие одежды носили. Чем пахали и жали, каков был уровень ремесленного производства. От самых простых связей автор идет к более сложным — к искусству и мысли. Шаг за шагом знакомимся мы с этим странным для нас миром, который был одновременно и недвижимым и текучим, замкнутым и расплывча-

тым, двойственным чуть ли не во всех своих проявлениях.

Византийская империя предстояла перед историком загадкой. Когда античный мир пришел в упадок и ждал только толчка, чтобы рухнуть, западная часть его и в самом деле рухнула под ударами германских племен, а восточная с трудом, но сохранилась. Рим был взят варварами, а Константинополь победил или откупился. На территории западной части Римской империи стали возникать варварские королевства, там из синтеза старых (римских) и юных («варварских») отношений начала воздвигаться новая социальная структура, давшая жизнь современным государствам. А Византия, лишенная этого синтеза, обречена была на загнивание и смерть.

Но тут возникало законное недоумение: за счет чего же этот нежизнеспособный организм существовал еще целое тысячелетие, почему, без конца умирая, никак не мог умереть? Одно время бытовала концепция, согласно которой приток свежих сил в Византии обеспечивали славяне, постепенно колонизовавшие византийские земли и сыгравшие здесь ту же роль, что и германцы на Западе. При этом славяне вели себя еще лучше, чем германцы: они только сосидали, ничего не разрушая. Теория эта была столь же стройна, сколь и безосновательна.

А. Каждан принадлежит к числу историков, которые решительно отвергают версию тысячелетнего умирания и возражают против представления о Византии как средоточии отсталости и косности. «Византия на протяжении столетий была передовой страной средневековья», — пишет он. И главное — доказывает. Мы узнаем, как высоко стояла здесь научная мысль, расширялось образование, «подготавливалась та сумма знаний, которую затем Византия передаст европейскому Ренессансу». Мы узнаем, как интересны были эстетические принципы ромеев, как прекрасно было искусство. Из этого не следует, что византийское общество было лишено внутренних тяжких противоречий.

Византия, говорит А. Каждан, была централизованным феодальным государством, в котором лишь возникали тенденции феодальной раздробленности. В связи с этим автор высказывает мысль, которая заслуживает особого внимания. Слабость Византийской империи, говорит он, обуславливалась не развитием феодальных порядков, а,

напротив, недостаточным их развитием. Страна страдала не от раздробленности, а от излишней централизации.

Мы привыкли к обратному ходу мысли: феодальная раздробленность для нас является синонимом упадка и слабости, признаком болезни государственного организма. Но А. Каждан прав: средневековая государственная организация — феодальная рыцарская иерархия, основанная на системе соподчиненных ленов, — являла собой крепкую и гибкую систему, на определенной стадии развития феодального общества вполне целесообразную (прав автор и тогда, когда противопоставляет прочную корпоративность Запада слабости византийских корпоративных связей, крайне невыгодных в тот период для развития ремесла). Продолжая мысль автора, можно сказать, что в 1204 году, когда западные рыцари штурмом взяли и разгромили Константинополь, это была победа крепкой феодальной раздробленности над злокачественной централизацией. (Читая подобные определения, мы часто забываем, что за привычными научными терминами в жизни стояло режущее море огня, в котором погибал великий город, а с ним и люди — те, кто без шума и натуги двигал исторический процесс и мог бы еще двигать, да сгорел или был зарублен. Но это, как говорится, эмоции.)

Автор убедительно показывает нам, как социальный строй Византии пагубно сказывался на всей жизни империи — на ее экономике, политическом устройстве, на ее литературе, искусстве и, наконец, нравственности. Вот это последнее интересует нас более всего. Ведь социальная структура, крепкий базис, погибает вместе со своим политическим устройством, надстройкой из невесомых мыслей и чувств, казалось бы, столь непрочная, как раз и остается жить.

Вначале А. Каждан сетует на то, что «византизм сделался чуть ли не бранным словом», считая это несправедливым. Ну а все-таки есть ли у нас такое понятие — византизм? Да, конечно, мы говорим «византиец», предполагая нечто лисье, нечто лицемерное и холодное. Откуда пошло такое понимание давно уже не существующего византийского характера и, главное, справедливо ли оно?

Анна Комнина, принцесса и писательница, написала историю царствования своего отца Алексея I, имея целью показать, как был он мудр и справедлив. «Тринадцатый

апостол!»! Но вот с изумлением видим мы в делах царя хитрости да умыслы — и какие! Чтобы рассорить Боэмунда Тарентского с родным братом и вассалами, «тринадцатый апостол» подбросил провокационные письма, где говорилось об их несуществующих изменах. Желая уличить еретика, вождя богомилов Василия, Алексей прикинулся его восхищенным поклонником, заставил беднягу раскрыть ему свою душу — а за занавеской писал писец. Обычно подобную грязную работу монархи поручали другим, — Алексей со знанием дела выполнил ее сам, а принцесса без тени смущения об этом рассказала.

Может быть, перед нами нравственный вывих этой царственной семьи? Но обратимся к книге Кекавмена, полководца и писателя XI века. «Главный принцип Кекавмена, — пишет А. Каждан, — осторожность и недоверие... Только на свою осторожность и хитрость можно уповать. Ни верность, ни дружба не существуют, и именно друзей Кекавмен опасается больше всего». Это все-таки опять же знать. Но вот вам интеллигент — Михаил Пселл, силой ума и таланта выбившийся из низов. Автор, несомненно, симпатизирует ему и, может быть, именно потому не остановился на этической стороне этой богато одаренной натуры. А натура выглядит очень странно в свете наших нравственных представлений. Простое сопоставление его «Хронографии» с его же письмами обнаруживает редкое двоедушие. Так, он отлично видел, что Константин Мономах — личность ничтожная и распутная. «Мне стыдно за моего императора», — пишет он в мемуарах. А вот его послание к этому государю: «Кто уподобится тебе, царь? Какой земной бог сравнится с тобой? Поистине, добродетель твоя покрыла небеса...» и т. д., целыми страницами. Когда патриарх Михаил Кируларий был у власти, Пселл называл его богом. Когда тот был сослан, Пселл взял на себя роль «общественного обвинителя» перед собором. Его речь не только клевета, но и самопоругание: известно, как сам он любил античных авторов, теперь он обрушивается на них с рвением инквизитора. Обвиняя патриарха в том, что тот читал Платона, Аристотеля и Прокла (а Прокла, кстати, Пселл любил особо), писатель идет на явный донос: он сообщает собору, что Кируларий, когда сжигали сочинения Порфирия, выхватил из пламени не успевшие сгореть листы.

Поразительно бесстыдство, с каким Пселл выворачивает наизнанку факты. Патриарх, перестраивая храм, сломал его ветхую часть — Пселл стонет и кричит о святотатстве. Когда свергли Михаила VI и произошли убийства, Пселл возлагает вину за это на патриарха. Позднее, уже в угоду новой власти, Пселл скажет, что патриарх в те дни, напротив, спас Михаила. Обучая учеников искусству риторики, Пселл демонстрирует им, что при желании можно воспеть все что угодно — хоть блоху, хоть клопа, — и тут же в самом деле составляет похвальное слово и блохе и клопу.

Что же это такое? Что случилось с этой душой? Она изуродована деспотизмом, она и есть суть византинизма. Столь слабые и кривые позвоночники возникают только в условиях страха. Кстати сказать, анализ социально-политического строя, произведенный А. Кажданом, это подтверждает.

Сравнение с Западом, к которому прибегает автор, закономерно (эти два мира давно уже сами сравнивали себя друг с другом, отталкивались друг от друга и, коря друг друга, сознавали все же свое «единство в противоположности»).

Я ни в какой степени не собираюсь идеализировать западное средневековье — то были свирепые времена и свирепые люди, — но все же сравнение западноевропейских порядков с византийскими нередко будет не в пользу последних. И тут автор тоже прав.

В среде византийского чиновничества выживали самые угодливые, самые ловкие в холуйстве. Чин! Его мечтали получить, его боялись потерять, за него шла непрерывная грызня. Лен получали по наследству, взамен клятвы верности или завоевывали силой, за чином же ползли на брюхе.

Принцип социальной подвижности, о котором говорит А. Каждан, слабость сословных преград, которая, казалось бы, так выгодно отличала Византию от средневекового Запада, — все это на самом деле ни в какой мере не улучшало социального строя. Да, простолюдин мог выбиться в ряды знати и даже мог стать императором, но это ничуть не смягчало свирепого характера деспотии.

Таким образом, византинизм как нравственное понятие все-таки существует, ибо социально-политический строй Византии создал свою этическую систему и свою этическую практику.

Какая-то степень двоедушия была и в придворном ритуале. Он походил на богослужение — ризы, кадилный дым, песнопения. Императорские приемы были обставлены с умыслом. Над троном висели золотые ветки с птицами, по бокам трона сидели золотые львы. Один итальянский епископ оставил рассказ о том, как был потрясен, когда ветки закачались, птицы запели, а львы взревели, забив хвостами. Когда епископ после поклонов поднял голову, трон с императором был уже под потолком, и одежды на монархе были другие. А как скучно было, должно быть, императору в который раз возноситься под потолок, и как скучали при этом придворные, которые отлично знали про водяной механизм, обеспечивающий это императорское величие!

По-видимому, «отрицательный отбор», действовавший в Византии, определил нравственный облик императора и тех, кто находился в сфере его «излучения». А. Каждан отмечает, что императорская власть, в общем не очень-то сильная, обладала неограниченными карательными правами. И, следует добавить, усиленно этими правами пользовалась. То и дело читаешь о смертных казнях и увечьях. Ослепление стало повседневною настолько, что существовала даже формула грамоты, выдаваемой такому слепцу, — формула, то есть образец грамоты, как бы бланк ее, в который вписывалось только имя! Слепых в Византии было много, о них то и дело сообщают хроники — тут и слепой кесарь, и слепой император, и даже слепой полководец.

Дикие сцены рисуют нам современники. Вот, например, император Исаак II Ангел пирует, одержав победу над своим противником Алексеем Враной. Во время десерта, как сообщает историк рубежа XII—XIII веков Никита Хониат, ему принесли голову врага («с закрытыми глазами, оскаленным ртом»), и придворные, веселясь, начали ею перебрасываться. Эта сцена произошла в тот век, когда была написана «Владимирская» божья матерь.

Когда читаешь византийские хроники, тебя то и дело бросает в жар и холод. Между тем повествование А. Каждана отличается редким спокойствием и ровностью тона. Вы не найдете здесь описания обеда с головой Враны вместо десерта. Нет здесь дикого шума пьяной константинопольской толпы. Нет и картины империи, раздираемой врагами на части.

Признаться, поначалу мне было странно такое хладнокровие. А потом я поняла, что автор намеренно идет мимо мятежей и придворной борьбы, проходит сквозь этот шумный, лежащий на поверхности слой, чтобы углубиться в самую жизнь страны и народа — жизнь менее вызывающую и несравненно более плодотворную, в конечном счете и создающую ту культуру, которой занят автор. Пафос его не в обличении или восхищении, это пафос понимания. Но все-таки, быть может, именно для более всестороннего понимания византийской культуры, столь сложной и двойственной по своей природе, как раз и нужно было бы автору хотя бы по временам изменять своему спокойствию?

Но само это стремление понять безмерно важно. Оно позволяет А. Каждану и к проблеме религии подойти без той предвзятости, с какой у нас нередко о ней пишут. Очень искусно изложена автором сложнейшая система христианского мировоззрения. Думается, однако, что христианский спиритуализм не пронизывал так уж насквозь сознание ромея. Это хорошо видно опять-таки в сравнении с Западом и прежде всего на примере проблемы античного наследства.

Мне кажется, что автор несколько уменьшает роль античных традиций в жизни византийцев. Традиции эти оставались живыми. Духовные лица здесь пишут комментарии к Гомеру, ученые штудируют Платона. Труды историков полны ссылок на античных авторов и примерами из античной мифологии. Храброго рыцаря Анна Комнина сравнивает не со св. Георгием, а с Гераклом или Ахиллом, прелестного ребенка — не с ангелом, а с эротом. И это не просто привычная фразеология — она так видит.

Дело не только в том, что западное средневековье было меньше знакомо с античными авторами — отношение к ним было другим: античной премудрости здесь гораздо больше страшились, чем искали. Мне приходится на ум другая знаменитая женщина средневековья — монахиня и поэтесса Гросвита Гендерсгеймская. Сравнение тут вряд ли возможно: Гросвита жила в дремучей Саксонии более чем за сто лет до Анны. К тому же Анна — женщина весьма банальная, а Гросвита талантлива и оригинальна, недаром немецкие гуманисты так увлекались ею, называя новой Сапфо и

сестрой Аполлона. «Редкая птица Саксонии», — писали они. Но все же этих писателей любопытно сопоставить в их отношении к античному наследию. В сочинении Анны нет потустороннего — никаких чудес, никакой религиозной аффектации. Она жила в эпоху Первого крестового похода и осталась равнодушна к идее освобождения гроба господня. В своем рационализме она на редкость современна. Зато пьесы Гросвиты, написанные по образцу античных, ныне производят очень странное впечатление. Одну из этих пьес можно было бы назвать комедией о мучениках и мученичестве. Некий нечестивец с самыми гнусными намерениями идет к трем сестрам-христианкам, заключенным под стражу. Но происходит чудо: ум его помрачается, и он, к великому веселью сестер, обнимает горшки и целуется со сковородами. По его жалобе сестер обрекают на мучительную казнь, и тогда святые девы покидают свои тела, оставляя их в руках мучителей, а сами, тоже очень весело, уносятся на небо. Таков чисто спиритуалистический «хэппи энд». Перед нами странный духовный мир, к которому Анна отнеслась бы с недоумением.

Здесь уместно вспомнить, сколь различна была роль монашества в Византии и на Западе и как различно было само это монашество: могущественное и сплоченное, аскетическое — на Западе; разобщенное, находившееся в руках светской власти и погрязшее в мирских делах — в Византии.

Мне могут возразить: а столпники? Разве это не высшее проявление спиритуализма? Что, кроме иступленной духовности, поддержанной мировоззрением эпохи, могло загнать человека на столп и заставить сидеть там двадцать, тридцать, сорок лет в зной, мороз и бурю? Да, столпники — характернейшее явление Византии (кстати, совершенно не затронутое в книге, где вообще, как мне кажется, монашеству не уделено достаточного внимания). Они обладали огромным влиянием, читали проповеди, пророчествовали и переписывались с императором. Этим «земных ангелов» было настолько много, что относительно них существовало особое законодательство (так, в случае нашествия варваров им разрешалось слезать). Но, быть может, это желание подняться на несколько метров над землей и тем самым над остальным монашеством было обусловлено именно тем, что само это монашество мало выделялось из

среды мирян и не пользовалось тем почтением, каким было окружено на Западе, — и тем более той властью?

Мысль А. Каждана о чувстве социальной необеспеченности византийца и его социального одиночества кажется мне очень плодотворной, особенно если отнести ее к византийскому искусству. Неотступная внутренняя тревога, ожидание беды, предчувствие катастрофы — все это должно было оказать влияние на духовный мир людей. Думается, что автор уж слишком «идейно» и философично излагает искусство. Полагая его целью единую и неподвижную богословскую идею, он и самое искусство воспринимает как нечто единое и неподвижное. Мне не кажется оно единым. Даже репродукции, подобранные к книге, свидетельствуют о его разнообразии. Пластинка слоновой кости (она на обложке книги) с изображением коронации императора Христом являет собою как бы приспособление эллинистических форм к христианской идеологии. Блестяще выполненная, она все же не отвечает своему назначению: в статном и уравновешенном господине можно скорее увидеть крупного чиновника, но никак не бога. Христианство искало и нашло другие, более духовные — и более человеческие — формы.

По-видимому, старые формы видения мира с сильным влиянием эллинизма и новые формы долгое время сосуществовали. Вот как пишет Никита Хониат (речь идет о расставании императора с дочерьми): «Дочери солнца, они плакали янтарными слезами». Этот образ, взятый из античности, ближе к византийской мозаике.

Мне кажется, что автор несколько преувеличивает и статуарность византийского искусства. Его утверждение о том, что неподвижность фигур является признаком святости и что подвижны в живописи только темные силы и отрицательные персонажи (мысль эта идет от «Умозрения в красках» Евг. Трубецкого), не кажется мне абсолютно достоверной — достаточно вспомнить оплакивание Христа, где святые в смятении заламывают руки, или сошествие Христа в ад, это ликующее поправление смерти. С другой стороны, самая статичность византийских святых не представляется мне такой уж статичной. Конечно, фигуры святых стоят фронтально и недвижно, зато в них часто видно внутреннее напряжение. В Ленинградском Эрмитаже есть икона

Григория Богослова, она лучше всего может опровергнуть мысль о пассивной созерцательности византийского искусства и бесстрастности его героев. Перед нами строгое лицо мыслителя, энергичное лицо, полное силы и готовности вмешаться в жизнь. Впрочем, восприятие искусства—дело субъективное.

В изложении автора искусство подчас сливается с богословием, в нем оказывается много рационалистической символики и не всегда достаточно чувства. Между тем при первом взгляде на «Владимирскую» божью мать (только не на репродукции в книге, где ее нельзя узнать; впрочем, по счастью, и надпись к ней потерялась) нетрудно убедиться, что перед нами не отвлеченное богословие, не дидактика и не душеспасительные упражнения, а выражение глубокого и живого чувства. А. Каждан очень точно говорит об этой иконе. «Они одни во всем мире,— пишет он о матери и ребенку,— и тянутся в безысходном своем одиночестве друг к другу». Но можно увидеть еще и другое. Богоматерь обращена к людям и уже одним этим не одинока. Она озабочена судьбой рода человеческого. Может быть, только мир социальной необеспеченности мог породить такую исступленную мечту о помощи и милосердии.

Любопытно, что наше русское искусство взяло из Византии не столько мозаику и перегородчатую эмаль—искусство, близкое к ювелирному, мерцающее, холодноватое, отталкивающее свет кубиками смальты или поверхностью эмали, сколько именно икону, живопись—глубокую, вбирающую в себя свет. Наши предки взяли самое живое— печальных богоматерей, скорбные плачи по Христу, трогательное сретение,

радостное воскресение—то, что более всего соответствовало живому движению души. Восприняв эти формы, они сделали их своими, а заодно, как мне кажется, более глубокими и человечными.

Удалось ли автору построить модель византийского общества в ее функционировании? Я думаю, что удалось. Автор раскрыл нам самые принципы действия этого социально-политического организма. С большим искусством сумел он изложить (да еще в маленькой книге!) основные социальные и культурные процессы, никогда не теряя из поля своего внимания человека—мы все время ощущаем живую действительность, слышим живые голоса.

Ну, а как быть с эмоциями, о которых шла речь, с нравственно-эмоциональными оценками? Я думаю, что такие оценки—это скорее дело читателей исторического произведения, автор же его должен прежде всего показать, как было дело и почему. Нравственная оценка должна естественно, сама собою вытекать из происходящего. Исторический труд прежде всего должен дать нам понимание, которое, конечно, не в малой степени способствует выработке нравственного идеала. Именно понимание. Можно пролить потоки слез над разгромленным Константинополем (и тут, кстати, нет ничего худого: несчастные жертвы непонятных им исторических процессов вполне заслужили того, чтобы их вспомнили и оплакали), но всего важнее понять, почему великий город, стоявший неприступно в течение веков, на этот раз не смог защитить свои стены.

О. ЧАЙКОВСКАЯ.

★

ТРИ КНИГИ О ЧАПЕКЕ

О. Малевич. Карел Чапек. Критико-биографический очерк. «Художественная литература». М. 1968. 206 стр.

И. А. Бернштейн. Карел Чапек. Творческий путь. «Наука». М. 1969. 198 стр.

С. Никольский. Роман К. Чапека «Война с саламандрами» (Структура и жанр). «Наука». М. 1968. 208 стр.

Изучение крупного художника—это, как правило, дело коллективное.

Очень отраднo, что у нас за короткий срок появились три разные книги о Кареле Чапекe. В критико-биографическом очерке О. Малевича дан живой портрет писателя и человека. И. Бернштейн анализирует твор-

ческий путь Чапека на фоне литературы его времени. С. Никольский написал научную монографию о главном произведении Чапека—антифашистском романе «Война с саламандрами». Опираясь на все то, что сделано чешскими и словацкими коллегами, советские литературоведы вносят в изуче-

ние Чапека собственный вклад. За каждой из трех книг стоят годы исследовательского труда, статьи, уже вошедшие в научный обиход, длительные занятия в чехословацких библиотеках и архивах. Между тремя авторами иногда возникают разноречия по частным вопросам — об этом я скажу ниже, — но нет принципиальных разногласий: по ходу изложения они ссылаются друг на друга, и это не просто дань академической вежливости, а выражение общности взглядов. Однако три книги не повторяют, а скорей дополняют одна другую. И из всех них, взятых вместе, встает многогранный, очень непростой и по-человечески обаятельный образ Чапека — домоседа и путешественника, газетчика и философа, певца «обыкновенной жизни» и дерзкого фантаста.

Для современных чехов имя Карела Чапека — законный предмет национальной гордости. С. Никольский в самом начале своей книги напоминает: литература Чехословакии в XX веке удивительно богата талантами — Ярослав Гашек, Витезслав Незвал, Ванчур, Ольбрахт, Пуйманова, Фучик — целая плеяда блистательных имен, даже если говорить только о писателях-чехах. Чем объяснить такой стремительный взлет? «Во многом он был обусловлен тем, что в центре духовной жизни Чехословакии оказались коренные проблемы современности. Борьба чехов и словаков за независимость развертывалась на ее завершающем этапе в обстановке мировой войны и гигантских революционных сдвигов в жизни человечества. Был потрясен до основания весь старый порядок вещей». Чешская и словацкая литературы между двумя мировыми войнами развивались в условиях напряженных социальных конфликтов.

Для творчества Чапека особенно характерно интенсивное взаимодействие отечественной проблематики, традиций фольклора с новейшими тенденциями мировой литературы. Это сказалось уже в первом его произведении, которое приобрело международный резонанс, — драме «R.U.R.». У истоков этой драмы — старинная пражская легенда об искусственном человеке Големе. В оригинальном сюжете пьесы-инсценирования преломились антагонизмы буржуазной цивилизации, и придуманное молодым драматургом слово «робот» вошло во все языки мира.

О. Малевич рассказывает о природе и ат-

мосфере, в которой рос будущий писатель. Предгорья Крконош — живописный, овеянный преданиями край Божены Немцовой и Алоиса Ирасека; дом фабричного врача, куда шел за помощью местный бедный люд... «В приемной отца, на дедовской мельнице, у соседей Чапек постоянно общался с народной — преимущественно ремесленной и крестьянской — средой». Уже здесь корни демократизма писателя, которого лишь недалеко люди могут считать космополитом и снобом.

В книгах С. Никольского и И. Бернштейн Чапек поставлен в широкий контекст европейской литературы. И не только западной: он знал и читал классиков русского реализма, в обеих книгах цитируется его пронизательный отзыв о Достоевском. Критики верно говорят о творческой ответственности, связывающей Чапека как мастера фантастического романа-утопии, ставящего коренные проблемы эпохи, с Анатолем Франсом, Гербертом Уэллсом. И. Бернштейн отмечает, что наследниками Чапека в дальнейшем развитии жанра философской повести-притчи оказались Камю, Фриш, Веркор, Дюрренматт. С. Никольский дает любопытные примеры переклички Чапека и Шоу.

К тем свидетельствам международного признания Чапека, которые приводятся исследователями, стоит прибавить и еще одно. Томас Манн писал Чапеку в 1937 году из Швейцарии после того, как увидел на сцене его драму «Белая болезнь»: «Не устаю восхищаться мастерской отвагой, с которой вы владеете театром и используете его средства для воплощения и внедрения духовного, идейного начала. В пьесе есть та же фантастика и символика, какую можно найти и в вашей прозе, и здесь она так же сочетается с величайшей живостью и пластичностью образов». Далее Т. Манн делился впечатлением от романа «Война с саламандрами»: «Давно уже ни один рассказ не увлекал и не волновал меня так. В вашем сатирическом взгляде на пагубную глупость Европы есть нечто грандиозное, и за эту глупость страдаешь вместе с вами, следя за гротескными и ужасающими событиями повествования, в котором фантастика обретает властную и необходимую жизнь»¹.

¹ Опубликовано в сборнике автографов Музея чешской письменности (Прага—Страхов, 1965).

В этих словах — высокое признание не только своеобразного таланта Чапека, но и той важности, которую приобрело его творчество конца тридцатых годов для прогрессивной литературной общественности.

В таком повороте судьбы Чапека есть отенок парадокса. Единственный крупный писатель Чехословакии, который упрямо оставался в стороне от левых политических сил, автор статьи «Почему я не коммунист» (1924) и книги «Беседы с президентом Масариком» (1935), рафинированный интеллигент и скептик, за несколько лет до начала второй мировой войны становится одним из виднейших антифашистских литературных деятелей Европы, занимает активную гражданскую позицию. Тут встает вопрос и об основах мировоззрения Чапека, и о характере сдвигов, которые произошли в нем в последние годы жизни.

Долгое время у нас имел хождение взгляд на Чапека как на писателя, который, придерживаясь ложной, насквозь буржуазной философии прагматизма, творил как бы наперекор собственным убеждениям, повинуюсь «логике жизни». Правда, в последнее время устанавливается более диалектическое и точное понимание того сложного единства, какое представлял собой Карел Чапек — мыслитель и художник.

О. Малевич вспоминает по этому поводу известные слова Ленина из письма к Горькому: «Я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии». Сколь бы ни были противоречивы и эклектичны взгляды Чапека, сам интерес к философским проблемам был плодотворен для него как художника, во многом определял напряженный интеллектуализм его творчества. Идеи прагматизма, как убедительно показывает О. Малевич, Чапек принимал далеко не безоговорочно. «Деяческий, утилитарный дух прагматизма» был глубоко чужд писателю — на место прагматического критерия личной пользы он выдвигал идею пользы общечеловеческой. В докторской диссертации по эстетике Чапек защищал объективность прекрасного. В книге О. Малевича цитируется одна из критических работ Чапека (1924), где реализм определяется как умение «идти за фактами, мыслить и жить в фактах, открывать действительность»... Отсюда не так далеко до написанной двенадцать лет спустя статьи — автокомментария к «Войне с са-

ламандрами», где писатель-фантаст горячо отстаивал право и долг художника «реагировать на окружающее с той силой, какая только дана слову и мысли»...

Во взглядах Чапека в последние годы его жизни произошел перелом. Но это не был механический разрыв с собственным прошлым. И. Бернштейн, говоря об этом периоде жизни писателя, высказывает верные общие соображения. «Не приходится говорить о прямой дороге, с несомненностью ведущей от абстрактного гуманизма к социалистическому. Путь был сложнее, трагичнее, и в нем отразились многие противоречия европейского антифашизма и литературы, им порожденной. Часто и крупнейшие писатели, как Хемингуэй, братья Манн, Фейхтвангер, предстают в нашей критике этакими вдруг прозревшими, наивными слепцами, которым потребовались кровавые события наступления фашизма, чтобы понять истину, ясную даже школьнику: когда на тебя идут с палкой или того похуже, с пулеметом, то единственная надежда спастись — тоже позаботиться об оружии и научиться им пользоваться. Дело обстояло далеко не так просто, и это видно на развитии Чапека в трагические 30-е годы».

Да, дело обстояло не так просто. Поворот к активному антифашизму был подготовлен предшествующим развитием писателя, той бескомпромиссной критикой буржуазных ценностей, которая содержалась и в его пьесе о роботах, и в деревенской повести «Гордубал», где по-новому варьировался сюжет толстовской «Власти тьмы», и в романах-притчах «Кракатит», «Фабрика Абсолюта». Вместе с тем и в поздних антифашистских произведениях сказались — не могли не сказаться — неразрешимо мучительные дилеммы, с которыми Чапеку трудно было справиться.

Мне вспоминается «Белая болезнь» в постановке Национального театра в Праге. Я ее видела двенадцать лет назад, но впечатление было сильное и таким осталось. Запомнился профессор Сигелиус, сановник от науки, — самодовольное, лощеное лицо, неуклюже-вежливые попытки преградить доступ в «свою» клинику талантливому конкуренту: «Вы, кажется, по происхождению иностранец?» Вырази гелен сценический образ диктатора Маршала. Незабываем момент, когда он, произнося перед толпой воинственную речь, внезапно задрожал, осекся — ударив себя в грудь привычным жестом

том демагога, он нащупал онемевший участок кожи, первый симптом роковой болезни... И особенно запомнился врач-гуманист, поборник мира Гален — невзрачный, застенчивый с виду человек с тихим голосом, исполненный неколебимой силы духа.

Очень легко по поводу этой пьесы упрекнуть Чапека в пережитках старых заблуждений, они и в самом деле налицо. Доктор Гален, милый авторскому сердцу, пытался в одиночку оказать давление на власть имущих, не нашел пути к народу, оттого и погиб. Но верно ли видеть смысл этого образа только в том, что он демонстрирует «бессилие индивидуалистического гуманизма», и считать — как считает О. Малевич, — что в «Белой болезни» персонажи, которые должны были бы наметить положительное решение, получились «неудачными и надуманными»? Тут скорей права И. Бернштейн: как бы то ни было, с Галеном в творчество Чапека впервые приходит человек, который отстаивает великую общественную идею. Прав и С. Никольский: «Трагический финал драмы не снижает моральной победы Галена».

В драме «Мать» Чапек наиболее решительно отстаивает простую истину, к которой пришли многие европейские интеллигенты в течение тридцатых годов: с фашизмом, с империалистической агрессией надо воевать упорно и беспощадно. Однако некоторые рецидивы старых взглядов писателя есть и в этой драме. Очень сложное, двойственное распределение света и тени — в тех эпизодах, где действуют Петр и Корнель, близнецы и политические противники. Корнель — воинствующий консерватор, Петр — революционер. Симпатии Чапека, само собой разумеется, скорей на стороне последнего. По мнению И. Бернштейн, Петр обрисован автором как коммунист, в его образе «нет ни одной черты, которая бы не соответствовала облику лучших людей своего времени». Так ли это? По верному замечанию О. Малевича, не только Чапек, но и мы не можем согласиться с Петром, когда он восклицает: «Пусть уничтожат город, пусть погибнет народ, пусть разрушится весь мир, только бы победило наше дело!» В этих словах нет ничего общего с марксизмом, здесь схвачена сущность нередких мелкобуржуазно-анархических его искажений. Налет экстремизма в воззрениях Петра был нужен драматургу для того, чтобы показать относительность истины, от-

стаиваемой обоими братьями-антагонистами. Именно в этих мотивах «Матери» обнаруживается связь между Чапеком конца тридцатых годов и Чапеком двадцатых годов, автором «Фабрики Абсолюта».

В той резкой неприязни, с какою Чапек в разные периоды жизни относился ко всяким максималистским течениям, в какой-то мере сказывалась его социальная пассивность и страх перед революцией. Но и не только это. «Можно сказать, — пишет та же И. Бернштейн в одной из первых глав своей книги, — что Чапека всю жизнь мучила тоска по Абсолюту, по идеалу, по позитивной вере. Его горячая любовь к людям не позволяла ему успокоиться утешительной мыслью, что все относительно и не о чем волноваться. Но разве так уж бесполезны были настойчивые напоминания о том, что «кровь людская — не водица», что догматизм и фанатизм могут заставить заблуждаться даже сторонников справедливых идей, что эти заблуждения слишком дорого обходятся человечеству?! В этом сила Чапека».

Понятны, таким образом, те субъективные мотивы, в силу которых Чапек оставил неразрешенным конфликт Петра и Корнеля. Но драма «Мать» зовет всех честных людей на борьбу с фашизмом — это в ней главное.

В круг лучших произведений мировой антифашистской литературы входит, конечно, и роман Чапека «Война с саламандрами». В детальном анализе С. Никольского показано новаторство этой книги. Исследователь относит ее «к типу романа о судьбах мира, действующим лицом которого становится все человечество, представленное как целое, а события охватывают весь земной шар»; такой тип романа «стал особенно заметным явлением мировой литературы с конца XIX — начала XX в.». Роман «планетарной проблематики» ассимилирует и растворяет в себе разнообразные жанры массовой культуры XX века — приключенческую и научно-фантастическую повесть, занимательный кинобоевик, документальную прозу, газетную хроника. Все это вместе образует оригинальнейший и по-своему цельный сплав. Сам образ саламандр многозначен: они воплощают и эксплуатируемых рабов капитала, и носителей механической буржуазной цивилизации, в дальнейшем — и бездушные силы агрессии. «Ассоциации читателя все время колеблются между представ-

лением о людях и животных, об одухотворенных и неодухотворенных существах. Акцентируя попеременно то одни, то другие ассоциации, слегка сдвигая представления читателя в ту или иную сторону, писатель получает богатейшие возможности для создания бесчисленных сатирических вариаций».

Голос самого Чапека звучит в предостерегающих призывах публициста Икса, обращаящегося к людям мира: «Безумцы, перестаньте наконец кормить саламандр!» Вместе с тем, отмечает С. Никольский, в романе сказывается предубежденность автора по отношению к принципу классовой борьбы, и «концентрация действительности остается в нем незавершенной». Роман, насыщенный антифашистским гневом, заканчивается нотой печального недоумения...

И все же — на этом сходятся все три ис-

следователя — итог трудной творческой жизни Чапека нельзя трактовать в духе пессимизма. Немаловажно, что в последний период его жизни у него возросли симпатии к Советскому Союзу, что он в повести «Первая спасательная», вышедшей за год до его смерти, в 1937 году, обратился к теме рабочего класса, прославил солидарность трудящихся, проявляющуюся в минуты бедствия.

После Мюнхена Чапек, тяжело больной, травмированный национальным унижением, не поддавался отчаянию. О. Малевич сообщает, ссылаясь на свидетельство вдовы Чапека: «Слова Гуса «Правда побеждает» — писатель и в эти дни не отверг. Он только чуть переименовал их: «Правда побеждает, но это стоит каторжных усилий».

Т. МОТЫЛЕВА.

★

Политика и наука

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР» РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДПОЛЬЯ

В. Н. Степанов. Ленин и русская организация «Искры». 1900—1903. «Мысль». М. 1968. 398 стр.

Несмотря на весьма значительный объем литературы, посвященной истории ленинской «Искры», проблема в целом разработана весьма неравномерно. Внимание исследователей привлекли прежде всего вопросы идейной подготовки большевистской партии: значительная серия работ посвящена борьбе В. И. Ленина и «Искры» с экономизмом, буржуазным либерализмом (в том числе — легальным марксизмом) и мелкобуржуазными течениями; внимательному анализу подверглись также разногласия и споры внутри редакции «Искры» по программным и тактическим вопросам. Завоевание «Искрой» местных партийных организаций и ее руководство рабочим и социал-демократическим движением — такова тематика другого крупного комплекса исследований. Здесь по необходимости преобладают работы местного, локального характера. Их множество: к настоящему времени влияние «Искры» на судьбы революционного движения исследовано применительно чуть ли не ко всем крупным районам Российской империи — от

Архангельской и Вологодской губерний до Закавказья и от Галиции до Сибири. Наконец, международный аспект деятельности «Искры», ее влияние на рабочее движение в других странах, ее борьба с оппортунизмом в рядах II Интернационала — таков еще один комплекс вопросов, довольно обстоятельно разработанных в советской историографии.

Что же касается организационной деятельности ленинской «Искры», и прежде всего деятельности сложившейся вокруг нее организации профессиональных революционеров, составившей костяк будущей партии, то эти вопросы отставали в исследовательской разработке. Правда, начиная со второй половины 1950-х годов стали появляться статьи и публикации, посвященные транспортировке газет, подпольным типографиям «Искры» в Баку и Кишиневе, работе некоторых наиболее выдающихся ее агентов. Появились и первые развернутые характеристики деятельности русской организации «Искры» — в первом томе «Истории Коммунистической партии Советского Союза», в

книге М. С. Волина «Ленинская «Искра» и в шестом томе «Истории СССР с древнейших времен до наших дней». Однако специального монографического исследования организационной деятельности В. И. Ленина и руководимой им Русской организации «Искры» вплоть до последнего времени выполнено не было.

Между тем интенсивно проходивший процесс накопления и осмысления нового фактического материала вскоре показал, на какой узкой фактической основе жидились некоторые общие представления, касающиеся деятельности организации «Искры» и ее агентов в России, сколько здесь пробелов, белых пятен, умолчаний и соответственно — необоснованных суждений. При таком состоянии изученности темы работа обобщающего характера не могла быть простой сводкой ранее выполненных локальных исследований: требовалась своеобразная «генеральная разборка» вопроса.

Такого рода исследование и проделал В. Н. Степанов. Частичное представление о том, как шел он к этой монографии, дают ранее напечатанные им работы, среди которых преобладают публикации документального и справочного характера — результат пристального изучения и систематизации огромного архивного материала. Благодаря этому и удалось В. Н. Степанову воссоздать с достаточной полнотой реальную конкретную картину возникновения, складывания и деятельности Русской организации «Искры».

Одна из важных особенностей монографии В. Н. Степанова — критическая проверка ранее высказанных в литературе суждений по различным вопросам истории Русской организации «Искры». В книге, к сожалению, отсутствует специальный очерк по историографии проблемы. Однако в примечаниях к тексту автор, когда нужно, обстоятельно анализирует существующие в литературе точки зрения и свое мнение, как правило, аргументирует системой неопровержимых фактов. Так поступает он, например, при определении места, где была расположена «группа лиц на Востоке», взявшаяся «помогать «Искре» в денежном отношении», весьма аргументированно, на наш взгляд, показывая, что эта группа располагалась не в Самаре, как было принято считать в историко-партийной литературе, а в Уфе. Это стремление к точности В. Н. Степанов целиком распространяет и на собственное изложение. Он, как правило, раз-

граничивает гипотезу или примерное решение (в большой работе без них обойтись невозможно) от решения более или менее окончательного. Это повышает доверие к изложенному, побуждает к раздумьям и тем самым к активному восприятию материала книги.

Говоря об особенностях работы, связанных с широтой привлеченного документального материала, отметим выявление автором всей системы искровской агентуры с поименным перечислением всех установленных им членов (агентов) Русской организации «Искры». До недавнего времени, как известно, ряд лиц необоснованно исключался из числа агентов ленинской «Искры»; бывало и так, что это ставшее столь почетным звание присваивалось весьма достойным деятелям большевистской партии, которые, однако, никогда не были агентами «Искры» в собственном смысле слова. Некоторые авторы, например, считают агентом «Искры» и членом ее Русской организации М. М. Литвинова, хотя, как это видно, в частности, из его собственных воспоминаний, он был арестован как член Киевского комитета РСДРП, а после побега из тюрьмы (август 1902 года) перебрался за границу и стал там членом заграничной (а не русской) организации «Искры». На нелегальную работу в России М. М. Литвинов вернулся после II съезда партии уже в качестве агента ЦК, а не «Искры».

В. Н. Степанов решительно отказался от «выборочного» подхода при освещении деятельности агентов искровской организации. Агенты — люди своего времени, воспитанные в определенных традициях партийной деятельности. Работая на «Искру», они росли и сами, становились профессиональными революционерами. В. Н. Степанову удалось в значительной мере индивидуализировать их портреты. Такая индивидуализация достигается обычно не специальной авторской характеристикой. Отдельные черточки характера своих героев, их манеру думать, говорить и действовать автор передает умелым цитированием писем агентов «Искры». Остается только пожалеть, что в этой изящно изданной книге не воспроизведены фотографии деятелей искровской организации, хотя они в большинстве своем сохранились.

Структура Русской организации «Искры» стала прообразом организационной струк-

туры российской социал-демократии, ее своеобразной моделью. Одним из центральных вопросов, разбираемых в этой связи В. Н. Степановым, является вопрос о соотношении централизма и демократии в искровской организации.

Необходимость создания партии революционного действия, и, следовательно, централизованной партии, была ясна В. И. Ленину с самого начала его революционной деятельности. В жестких условиях российской действительности конца XIX — начала XX века и в период раздробленности, разобщенности местных партийных организаций именно этот принцип партийного строительства подчеркивался Лениным с особой настойчивостью. Но им далеко не исчерпывалась вся совокупность ленинских представлений о том, какой должна быть создаваемая партия. «Как совместить необходимость полной свободы местной социал-демократической деятельности с необходимостью образовать единую — и, следовательно, централистическую партию?»¹ — вот вопрос, над которым Ленин особенно интенсивно размышлял в последний год сибирской ссылки, во всех деталях, по выражению Н. К. Крупской, продумывая свой план создания партии.

Опыт создания организации «Искры» был практическим решением сформулированного В. И. Лениным вопроса. Именно этот опыт с особой тщательностью и полнотой исследовал В. Н. Степанов, перейдя тем самым от рассмотрения ленинского плана создания партии — об этом так или иначе говорится в каждой работе, посвященной «Искре», — к разработке конкретной и сложной истории проведения этого плана в жизнь.

Вторую половину 1899-го и весь 1900 год В. И. Ленин настойчиво и целеустремленно пропагандировал идею о необходимости создания организации профессиональных революционеров и вместе с тем закладывал первые камни этой организации. Немало скептических замечаний пришлось выслушать ему за эти полтора года даже от некоторых близких по революционной работе товарищей. В 1901 году положение измени-

лось. Теперь уже российские практики доказывали Ленину необходимость создания организации.

Руководитель может только радоваться, когда высказанное им предложение возвращается к нему как предложение и даже требование членов формирующегося коллектива. В данном случае это означало, что необходимость создания организации централистского типа осознана в ходе революционного дела. И теперь уже другой вопрос подлежал обсуждению и практическому решению — как именно строить такую организацию. Многие оппоненты Ленина упрекали его за то, что в России заранее — до выхода в свет первого номера «Искры» — не была создана разветвленная, тщательно законспирированная организация, которая сразу же и как единое целое могла бы включиться в многостороннюю работу по обслуживанию газеты. Одно из возражений на такие упреки приведено на страницах рецензируемой книги. «Вы совершенно правы, — отвечали В. И. Ленин и Н. К. Крупская, — когда пишете, что «Искре» надо организовать. Неправы только, говоря, что надо было оставить после себя в России организацию. Сделать это, так сказать, наперед было немислимо: только когда дело в ходу, может выясниться, как должна сложиться организация»¹.

Таким образом, по мысли В. И. Ленина, организация должна была сложиться и оформиться не в результате выполнения кем-то в деталях разработанного плана и вытекающих из него директив, а в итоге коллективного опыта, опыта поисков и самостоятельных действий работающих в одном направлении единомышленников.

В литературе неоднократно отмечалось и иллюстрировалось многочисленными примерами исключительное внимание Ленина к мнению «низовых» работников-практиков. Но все это показывалось прежде всего как особенность личности Ленина, как свойство его неповторимой индивидуальности. Рассмотрев реальный ход строительства Русской организации «Искры», В. Н. Степанов принципиально иначе подходит к этому вопросу. Исключительное внимание Ленина к предложениям и мнениям членов Русской

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 190. Подчеркнуто мной.

¹ «Ленинский сборник», VIII, стр. 190 — 191.

организации «Искры» объясняется тем, что он не считал возможным делать что-либо без постоянного учета и изучения имеющегося опыта, каким бы незначительным на первый взгляд он ни казался, проверяя и корректируя им теоретически найденные положения, рассматривая реальный опыт как базу для дальнейшего развития основных принципов партийного строительства. Дело, следовательно, не только в личных качествах Владимира Ильича: речь идет об основных ленинских принципах выработки партийным коллективом научных основ тактического и политического руководства.

Одна из особенностей ленинского руководства разрастающейся сетью агентов заключалась в стремлении к созданию групп, специализированных на определенных отраслях партийной деятельности, к освобождению их от побочных для данной группы функций с передачей этих функций в исключительное ведение других групп. В результате, с одной стороны, в какой-то мере достигалась автономность, «суверенность» каждой структурной части организации, рассчитанная на минимальное вмешательство в ее практическую деятельность, с другой стороны, возникала взаимозависимость групп агентов, объективно требовавшая координации и централизации деятельности, что и являлось главной функцией общего руководства.

В. Н. Степанов показывает и другую особенность ленинского руководства: она состояла в разумном расчленении главной задачи, в умении наметить для каждого этапа деятельности реально достижимую часть этой задачи, выполнение которой обеспечивало бы максимальное развитие инициативы и энергии членов организации в интересах наиболее успешного продвижения всего дела. В рамках четырехлетней примерно Русской организации «Искры» — от оформления Литературной группы (автор, на наш взгляд, совершенно верно датирует этот факт серединой 1899 года) до II съезда РСДРП — В. Н. Степанов выделяет четыре таких основных этапа. Первый, подготовительный, заполнен внутри страны интенсивнейшей работой членов Литературной группы по подбору первых агентов и по организации трех групп содействия будущей газете, а за границей — конституированием редакции и налаживанием издания «Искры» и «Зари». После выхода в свет первого номера газеты (декабрь

1900 года) начинается второй этап истории Русской организации «Искры», в ходе которого складываются основные элементы организации — группы содействия в ряде промышленных центров, подпольные типографии в Кишиневе, Баку и, наконец, транспортные группы, связанные с головными (базовыми) и местными складами. На этом этапе своей деятельности члены организации не входили в местные комитеты и организации РСДРП; главная задача состояла в организации доставки газеты в рабочие районы и комитеты партии. Однако именно в ходе и в результате этой работы «Искра» завоевывает симпатии и авторитет в рабочей среде и ряде комитетов; с другой стороны, по мере развертывания и функционирования «социалистической почты» была осознана необходимость создания в России центрального органа, который непосредственно руководил бы постоянно разрастающейся сетью агентов.

К этому времени относятся и ленинские проекты создания такой организации, подробно разобранные В. Н. Степановым. В книге показано, что, во-первых, все три ленинских проекта создания руководящего органа искровской организации опирались на уже имевшийся опыт и конкретные предложения работников в России, а во-вторых, В. И. Ленин принципиально избегал диктата в отношении персонального состава и прав будущего органа. Поэтому он предлагал начать с организации централизованного распределения литературы в масштабе всей страны. Такой путь создания руководящего центра российских искровцев гарантировал, что в него войдут работники, на деле зарекомендовавшие себя среди агентов подлинными специалистами по доставке литературы. Определять же состав подобного центра директивой редакции Ленин категорически отказывался.

Со съезда искровцев в Самаре в январе 1902 года, на котором был избран Центральный комитет (позже он стал именоваться Бюро), начинается третий этап деятельности Русской организации «Искры». Он характеризуется объединением искровцев в коллектив профессиональных революционеров с более или менее строгим распределением обязанностей и координирующим всю работу центром. Вместе с тем рост авторитета «Искры» привел к тому, что некоторые социал-демократические комитеты официально признали ее своим руково-

дящим органом. Автономное положение Русской организации «Искры» по отношению к местным комитетам уже не отвечало дальнейшим задачам развития партийного строительства. Наступило время слить их в единый организм. Эта задача и была поставлена как очередная перед работниками организации короткой ленинской директивой: «Вступать в комитеты!»

Объединение не везде проходило гладко. В. Н. Степанов показывает, что в ряде случаев шла острая борьба за овладение теми комитетами, в которых до поры, до времени задавали тон противники «Искры». Принципиально важный итог этого периода В. Н. Степанов формулирует как достижение к исходу 1902 года фактического идейного и организационного единства РСДРП. С этого времени и начинается четвертый, заключительный этап истории искровской организации, связанный с непосредственной подготовкой II съезда РСДРП, официально закрепившего достигнутые результаты партийного строительства.

Таким образом, вся логика изложения автора убеждает нас: в отличие от заговорщических организаций (а в истории революционного движения в России встречались и такие) Русская организация «Искры» никогда не была чем-то законченным в смысле специально созданной замкнутости и постоянного состава сотрудников. Опираясь на самый революционный класс, завоевав симпатии и доверие этого класса, она постоянно расширялась за счет лучших его представителей, вырабатывая из них профессиональных революционеров. Воссозданная В. Н. Степановым история быстрого расширения организации с решительным нарастанием внутри нее центростремительных тенденций — убедительное доказательство

того, что ее создание и деятельность явились реализацией назревшей потребности всего революционного движения. Централизм организации, в тех конкретных ее формах, которые диктовались специфическими условиями России начала XX века, был выработан в ходе совместного ведения революционного дела и добровольно воспринят членами коллектива искровских агентов как наиболее целесообразная тогда форма организации профессиональных революционеров. «Централизм Русской организации «Искры» несомненен, — пишет В. Н. Степанов. — Но в то же время нельзя не отметить, что он был пределом возможного в нелегальных условиях демократизма, проявившегося с самого возникновения «Искры».

После ознакомления с исследованием В. Н. Степанова становятся понятнее те общие принципы партийного строительства, которые содержатся в работах В. И. Ленина «Что делать?» и «Шаг вперед — два шага назад». Ибо не подлежит никакому сомнению, что, разрабатывая свое учение о партии революционного действия, В. И. Ленин опирался и на опыт создания и функционирования организации «Искры». Это во-первых. А во-вторых, рецензируемое исследование показывает, насколько гибкой была организационная структура коллектива искровских агентов В. И. Ленин и его соратники по созданию партии менее всего стремились к абсолютизации и фетишизации найденных организационных форм, прекрасно понимая: то, что хорошо сегодня, завтра может не отвечать изменившимся обстоятельствам и потребностям дела.

К. ТАРНОВСКИЙ.

★

ПУСТЬ ЧИТАТЕЛЬ ДУМАЕТ

Ф. Вигдорова. Нем вы ему приходиться? «Московский рабочий». 1969. 176 стр.

Одну из своих последних статей Фрида Вигдорова написала, видимо, очень задетая строками из читательского письма. «Я послала документы в педвуз, но прочитала вашу статью и забрала их. Зачем всю жизнь мучиться? Лучше я буду журналистом: работы мало, а денег много», — сооб-

щала ей без тени смущения, даже с некоторым вызовом девушка, только что окончившая школу.

Этой молодой читательнице Ф. Вигдорова отвечала: «Если вы собираетесь всю жизнь писать так: «Вчера в Колонном зале состоялся бал выпускников средних школ. Бур-

ными аплодисментами встретили собравшиеся выступление отличницы учебы такой-то...», вас, конечно, никакие особые огорчения не ждут. Но если вы хотите вступить за невиноватого, или разоблачить подлеца, или просто помочь человеку — тогда легкого не ждите.

Вы вступитесь за человека, а вас спросят: «Да кто он вам, собственно?» Вы разоблачите подлеца, а вам вдогонку полетят анонимки, в которых вас обвинят в том, что, разоблачая, вы сводите счеты или получили взятку...

Есть журналисты, которые, если предложить им трудное задание, если надо спасти, вступить, говорят: а почему я должен этим заниматься? Но они не журналисты. Настоящий журналист не только там, где радостно и легко. Он и там, где трудно, где безвыходно.

Таким настоящим журналистом была и сама Ф. Вигдорова. И не только в ту пору, когда, работая в школе учительницей, стала выступать со статьями на педагогические темы, — она не порывала с газетой и тогда, когда у нее уже было прочное место в детской литературе и известность.

Ф. Вигдорова бралась не только за публицистические статьи и так называемые писательские заметки, она не чуралась и чисто журналистской работы, где девять десятых затрачиваемых усилий уходит на исследование обстоятельств дела и статья важна не только мыслями автора о тех или иных вопросах жизни, но в не меньшей степени тем, что помогает верно решить конкретное дело, защищает какого-то человека от несправедливости или навета.

Помню, лет десять назад сотрудники одной большой столичной газеты обсуждали сложную житейскую историю — из тех, к которым очень не легко подступиться. потому что обидчики выглядят вполне благопристойно и, уверенные в своей правоте и силе, выдают себя за потерпевших. Кто-то сказал: «Материал для Вигдоровой. Она распутает эту историю. Не вывернутся».

Так случалось нередко: если в газету приходило душераздирающее письмо — человек попал в беду и крайне нуждается в помощи, с ним поступили подло и надо вывести на чистую воду ловких мерзавцев или укротить влиятельного самодура, — Ф. Вигдорова, как бы ни была занята, откладывала все другие дела.

Чтобы вникнуть в обстоятельства запутанного дела, она, если требовалось, встречалась и беседовала с десятками людей, обходила одно за другим учреждения, отправлялась в далекие и нелегкие поездки. Все это затем становилось фундаментом статьи, который обычно не бросается в глаза читателю, — вовсе не всегда нам есть дело до того, как добывал журналист те или иные факты. И в статьях Ф. Вигдоровой очень немного деталей, по которым можно судить о том, какой труд предшествовал процессу писания. Несколько фраз в одной статье: «Стучат колеса поезда. Ночь. Далекие огни в темноте. Сутки, другие. Поезд. Катер. Самолет. Грузовик. Дрезина. И вот передо мной бывший ученик московской школы Виктор Петров. Темная спецовка, голова обрита». Какая-то подробность в другой: «Я уезжала из Ивановки к вечеру. Лошадь шла тихо: дорогу замело снегом». Еще один штрих: «Корреспондент так и не узнал, кто написал это письмо. Он разговаривал с тридцатью студентами — однокурсниками Клименко. Каждый из них горячо возмущался поступком директора, каждый из них мог быть автором этого письма».

Отзывчивость Ф. Вигдоровой объясняется не только тем, что по природе своей она была человеком доброй души, но еще и нравственным кодексом, которому она следовала во всем и который постоянно защищала и пропагандировала в своих статьях. Она писала с возмущением и гневом о дурном и низком, но больше ее привлекало хорошее и высокое, она обличала людей корыстных и равнодушных, но охотнее рассказывала о благородных и самоотверженных. И постоянно ощущала она жгучую ответственность за то, что происходит вокруг нее, страстную потребность во что бы то ни стало добиться правды и справедливости, бескорыстное родство с теми, кто нуждается в помощи и защите.

Этот сборник статей Ф. Вигдоровой (его составили О. Чайковская и С. Львов), писавшихся в разное время на протяжении почти двух десятилетий для разных газет — от «Известий» до «Пионерской правды», — оказался книгой цельной и целенаправленной, объединенной общей идеей и пафосом. Даже когда Ф. Вигдорова выступала по, казалось бы, совершенно конкретному поводу, даже в этом случае она непременно приводила читателей к большому

и серьезным вопросам, к животрепещущим моральным проблемам.

Назидательность — профессиональная «болезнь» многих педагогов. Ф. Вигдорова не только начинала свою деятельность учительницей в магнитогорской школе, она и писала главным образом о проблемах воспитания, однако статьи ее свободны от унылой дидактики, от хмурого назидания. Главная цель, которую она ставит перед собой, — заставить читателя самостоятельно думать, самостоятельно находить решение в тех порой очень сложных обстоятельствах, в которых его может поставить жизнь.

Излюбленный ее прием — заключить рассказанную историю не выводом, а вопросом, ответ на который читатель должен уже искать сам. Вопрос этот мог быть частным и конкретным («Откуда, из какого источника может возникнуть неуважение к учителю, хамское, грубое к нему отношение?») или более общим и широким, но ставился он перед читателем так, что каждый должен был ощутить всю его жизненную важность, необходимость решить его для себя. Случалось, что некоторые читатели, не разгадав замысла писательницы, сетовали на нее за отсутствие прямого вывода, подозревали ее в уклончивости и робости. Вот отрывок из одного письма такого читателя, которое Ф. Вигдорова опубликовала в качестве своеобразного приложения к своей статье: «Если вдуматься по существу, все эти случаи окончились трагически, хотя и не всегда смертью. Во всех случаях были жертвы. Да, жертвы! Чего? В Вашей статье я ответа на эти вопросы не нахожу. Убедительно и остро изложив фактическую сторону дела, Вы, подойдя к выводам, вдруг притупили перо, нашли обтекаемые формулировки там, где требуется ясная, четкая и резкая квалификация поведения всех участников жизненной драмы, особенно ее виновников». И дальше в своем письме читатель верно и основательно раскрывает причины и нравственный смысл случившегося. Думаю, что Ф. Вигдорова должна была читать письмо с удовлетворением и радостью: именно этого она добивалась от своих читателей, и не так уж важно, что автор письма не понял, что это Ф. Вигдорова точно поставленным вопросом подтолкнула его к правильным суждениям. Вопрос, обращенный к читателю, никогда у нее не был способом изящно уклониться от прямой оценки, никогда не сводил серьезную проблему

к частному случаю (как это делают ловкие журналисты) — наоборот, так она учила читателей мыслить широко.

Для Ф. Вигдоровой взаимосвязаны и взаимообусловлены самостоятельность мысли и нравственное здоровье. Она уверена, что механически заученные правила поведения непрочны и в кризисных ситуациях далеко не всегда «срабатывают», — только органичное, рожденное опытом жизни и серьезными размышлениями убеждение — гарантия подлинно нравственного поведения. Рассказав о судьбе одного неплохого паренька, которого «просмотрели», «прозевали», и он, связавшись с дурной компанией, оказался за решеткой, Ф. Вигдорова завершает это невеселое повествование неожиданным, но очень характерным для нее рассуждением: «Но чего же стоит чистота, которую надо так оберегать? Чего стоит твердость, которую надо так оградить? Разве дело в том, чтобы оберегать и ограждать?.. Оградить хоть и трудно, но можно. Но что толку — ограждать? Надо научить сопротивляться, надо создать такую «душевную химию», чтоб само собой возникло противоядие». Ф. Вигдорова выступит с резкой критикой вузовских курсов по педагогике за то, что в них «наука, которая сродни искусству», преподносится «как таблица умножения» — в результате молодой учитель «не готов к трудному, не готов к размышлениям и поискам». Говоря о недостатках пионерской работы, она будет утверждать ту же мысль: вся беда здесь в шаблоне, в отсутствии самостоятельности, в работе для отчета, для «галочки».

Всячески преследует Ф. Вигдорова показуху, создающую иллюзию благополучия средние показатели, за которыми трудно разглядеть и горькое пьянство, и распавшиеся семьи, и сбившихся с пути подростков, и двоечников, которым, чтобы не портить «процента», выводится тройка, — все, с чем мы сталкиваемся в жизни в порядке не такого уж редкого исключения, но что привыкаем рассматривать как случаи, а не как явления. А показуха в сфере воспитания и нравственности не менее опасна, чем на производстве и в экономике, — она приучает к двойному счету, к двуличию, делает зыбкими и неразличимыми нравственные границы, и бороться с ней здесь, пожалуй, даже трудней: действие ее, как радиоактивных осадков, может обнаружиться не сразу, а тогда уже, когда и лечение не даст должно-

го эффекта. Ф. Вигдорова отстаивала прямоту и правду как важнейшее, обязательное условие подлинно гражданского воспитания. И в своих статьях была всегда верна правде, хотя случалось, и до и после выхода статьи ей не так легко было доказать свою правоту, отбиться от агрессивных опровергателей.

Перечитывать статьи, с которыми мы впервые познакомились на газетной полосе, значит подвергать их очень трудному экзамену. Большинство на этом экзамене «срежется», не зря говорят, что газета живет всего один день. Многие статьи Ф. Вигдоровой, вошедшие в сборник «Кем вы ему приходиться?», крепко запомнились по первым публикациям, о них в свое время горячо спорили, они вызывали поток читатель-

ских откликов. И все-таки перечитываешь их с неослабевающим интересом, несмотря на то, что иные из конкретных проблем — скажем, школы, — первооткрывателем которых была Ф. Вигдорова, сегодня уже стоят на повестке дня не с прежней остротой. Ее статьи сохранили живую силу, потому что Ф. Вигдорова твердо и беззаветно отстаивала правду и справедливость, смело и бескомпромиссно выступала против шаблона и рутины, бездушия и самоуправства, а это противники, которые и сегодня не сложили оружия. И еще потому, что Ф. Вигдорова не поучала, а будила мысль, не предписывала правил поведения, а воспитывала чувство человеческого достоинства.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

РУССКАЯ РЕФОРМАЦИЯ

В. Ф. Миловидов. Старообрядчество в прошлом и настоящем. «Мысль». М. 1969. 112 стр.

О старообрядцах у нас знают мало. Борьба между Никоном и протопопом Аввакумом, самосожжения да описанные Мельниковым-Печерским скиты — вот и весь, в сущности, набор сведений о старообрядчестве у большинства людей, даже у тех, кто интересуется отечественной историей. А знания о существе разногласий между старообрядчеством и «православием» (я ставлю в кавычки этот термин, так как сами старообрядцы именно себя считают православными, и не нам искать правых и неправых в церковном споре) обычно исчерпываются историей борьбы вокруг двоеперстного и троеперстного крестных знамений.

Не посчастливилось старообрядчеству и в научной литературе. Многие из дореволюционных авторов относились к нему лишь как к порождению фанатизма и невежества, рассматривая взгляды старообрядческих идеологов как курьезные анекдоты. Была и другая тенденция — идеализировать старообрядчество, видеть в нем стража народных традиций. В советской же науке до сих пор нет большого обобщающего труда, посвященного истории этого сложного и интересного явления русской действительности. И если сравнительно неплохо изучена чисто фактическая история старообрядчества XVII — первой половины XIX века: оуб-

ликованы многие произведения самих старообрядцев и их противников, то о старообрядчестве второй половины XIX, а особенно XX века мы знаем очень мало. Вот почему с таким интересом открываешь небольшую книгу В. Ф. Миловидова, уже зарекомендовавшего себя в качестве автора двух серьезных исследований о современном старообрядчестве, основанных на материалах специальных экспедиций, в которых он сам участвовал¹.

Ожидания оказались не напрасными. Несмотря на небольшой объем, в книге В. Ф. Миловидова уместился достаточно подробный очерк истории старообрядчества. Читатель прежде всего получает в руки факты. Мы узнаем, как и из-за каких догматико-канонических разногласий произошел раскол церкви, как и когда образовались основные старообрядческие согласия и толки, в чем различия между ними, какие социальные слои были базой каждого из согласий.

¹ В. Ф. Миловидов. Распад старообрядчества в Рязанской области. — «Вопросы истории религии и атеизма». Сб. статей XI. Издательство АН СССР. М. 1963, стр. 126—137; его же. Старообрядчество и социальный прогресс. — «Вопросы научного атеизма». Вып. 2. Модернизация религии в современных условиях. «Мысль». М. 1966, стр. 198—224.

В книге немало интересных наблюдений, свежих мыслей. Мы видим, как постепенно уходит из старообрядчества средневековая кастовая замкнутость. Даже «странники» — наиболее фанатично настроенная часть приверженцев «старой веры» — засаживают огороды «бесовским многоплодным блудным растением» — картофелем и употребляют лекарства. Брадобритие и курение табака, общение с «миром» — все это ныне характерно и для многих верующих старообрядцев.

У нас иной раз забывают, что изучение истории религии нужно не только для атеистической пропаганды. Ведь религия — одна из форм общественного сознания — всегда играла важную роль в жизни общества. Достоинство книги В. Ф. Миловидова в том, что автор не забывает о самостоятельном значении предмета своего исследования. Давая обширный материал для пропагандиста-атеиста, он изучает и само явление.

Конечно, в рамках небольшой книги автор был не в состоянии сказать обо всем существенном. Книга — только первый приступ к теме, которая требует большого и серьезного исследования. Но и в нынешнем ее виде книге можно предъявить некоторый счет.

Прежде всего не всегда достаточно точна аргументация автора. Например, В. Ф. Миловидов пишет, что в Рязанской области к 1961 году количество верующих старообрядцев сократилось до восьмисот человек, и ссылается на одну из своих статей. Однако там в качестве обоснования этой цифры приводится лишь ссылка на материалы экспедиции. Как была получена эта цифра, насколько можно ей доверять, читателю неизвестно. Мы знаем, что многие старообрядческие общины не регистрируются (о чем автор, к сожалению, не упоминает), да и при регистрации учитываются далеко не все члены религиозной группы, законодательство же, охраняя свободу совести, запрещает включать в официальные документы пункт о вероисповедании. Следовательно, только прямой опрос жителей области мог дать точную цифру верующих. Население Рязанской области составляло в 1961 году без малого полтора миллиона человек. Какая их часть и на основании каких критериев избранная была опрошена, как проводился опрос? Без этих сведений приводимую автором цифру трудно считать достоверной.

На странице 25-й В. Ф. Миловидов пишет, что после того, как поморцы (одно из старообрядческих толков) ввели молитву за царя, «поморщина превратилась в умеренное беспоповское направление, отражавшее интересы купцов и промышленников Севера». Этот вывод никак не связан с тем, что говорилось о поморцах, и настораживает читателя своей прямолинейной категоричностью. Вряд ли стоит вообще столь непосредственно выводить из экономики такое сложное явление, как система религиозных представлений. Вероятно, в каждом старообрядческом согласии существовали разные социальные силы, вкладывавшие разное содержание в идеологическую оболочку «старой веры».

В. Ф. Миловидов убедительно показал в своей книге, что лозунг «старая вера» в действительности прикрывал и оправдывал как раз нововведения старообрядцев. Но, к сожалению, автор не пошел дальше — не проанализировал главного принципиального отличия старообрядчества от «православия». Неблагодарная задача — упрекать автора за то, чего нет в его труде. И все же нельзя правильно оценить старообрядчество, если не рассмотреть всех сторон проблемы. В русском средневековье церковь не была однородной. Могущественные князья церкви — митрополиты и епископы, архимандриты и игумены крупных монастырей — были плоть от плоти господствующего класса феодалов, владели (начиная со второй половины XIV века) огромными земельными богатствами, охватившими к концу XVI столетия треть всех пахотных земель и угодий страны, эксплуатировали зависимых от них крестьян. Эти иерархи стояли над «миром» и противопоставляли себя ему. Но в повседневной жизни крестьянин и посадский человек соприкасались не с епископом и архимандритом, а с рядовым священником. Служитель церкви так же пахал землю, как и его прихожане, вел почти такую же трудную жизнь, был принижен и задавлен феодальным государством почти так же, как и его паства. Ненамного отличался он и по своему образованию: известно, что в XV веке на Севере бывали неграмотные священники, знавшие церковную службу наизусть. Такой пастырь не стоял над паствой, а зависел от нее: миряне сами выбирали священника и представляли кандидатуру церковным властям. Священник был слугой мира, его представителем. Потому-то во многих народных

движениях участвовали на стороне восставших и рядовые священники и дьяконы. Поэтому-то низшее духовенство было той средой, где появлялись русские еретики-вольнодумцы XIV—XVI веков.

В XVII веке идет централизация церкви. Священник из слуги мира превращался в слугу церковной иерархии и феодально-крепостнического государства, а его отношения с паствой нередко приобретали характер глубокого конфликта. Спор о том, могут ли миряне быть судьями клириков — коренной вопрос всего реформационного движения, — издавна остро стоял и на Руси. Когда древнерусских вольнодумцев XIV века обвиняли в том, что они, пасомые, смеют судить своих пастырей, они гордо отвечали, что «егда пастуси возволчатся, тогда подобает овци овца паствити».

Старообрядчество не «уходит в область чисто религиозного протеста», как пишет В. Ф. Миловидов, нет, оно создает новую церковную организацию, где первое слово принадлежит мирянам, а не клирикам. В беглоповинной община находила готового уйти из господствующей церкви священника и нанимала его; в поморском и федосеевском согласиях культовые обязанности исполняли члены общины, не принимавшие «священства», считавшиеся такими же «простецами», как и их собратья. Спасовское согласие исходило из того, что каждый благочестивый муж может принять покаяние своего единоверца, а в случае необходимости можно и без посредников, наедине со своей совестью, очиститься от грехов. И даже после создания самостоятельной иерархии в одном из старообрядческих согласий — поповщине — не епископат, а московские купцы-миллионеры распоряжались полновластно в идеологическом центре согласия — на московском Рогожском кладбище. Распорядителями в общине могли быть купцы или крестьяне, но все же они были мирянами. И в отличие от официальной церкви они смели свое суждение иметь по всем вопросам жизни своего согласия. Старообрядчество — это протест в религиозной форме, но не только религиозный протест. Это своеобразная русская реформация.

Жаль, что В. Ф. Миловидов не нашел места, чтобы остановиться на культурном значении старообрядчества. Лишь благодаря старообрядчеству до нас дошли многие из

древнерусских рукописных книг. Протопоп Аввакум был не только фанатичным религиозным вождем, но и блестящим писателем, который одним из первых ввел в высокую литературу просторечие и интерес к мелким бытовым подробностям повседневной жизни. Один из основателей поморского согласия, Андрей Денисов, получивший прекрасное по тем временам образование, знавший древние и новые языки, был крупным ученым. В «Поморских ответах», которые были написаны в начале XVIII века, он разоблачил подложность сфабрикованного церковниками для борьбы со старообрядцами «Соборного деяния на еретика Мартина Мниха» — рукописи якобы XII века. Денисов проанализировал и почерк рукописи, и хронологические несообразности, и отступления от языка эпохи. Работа Денисова была первым в России опытом научной критики источника, и опытом блестящим.

Бегло, скороговоркой сказал В. Ф. Миловидов о преследованиях, которым подвергались старообрядцы в царской России. Ссылка и каторга за «совращение в раскол», монастырские тюрьмы — весь арсенал средств «секущего православия» применялся правительством для уничтожения опасного религиозного разномыслия. Эти преследования были тем тяжелее, что порождали зависимость от полицейского чиновника, которого надо было улаживать взятками, от приходского попа, которому приходилось платить за все: чтобы не окропил своей еретической «святой водой», чтобы не записал в «православные» (потом вернуться в «раскольники» нелегко и опасно), чтобы не донес, что совращаешь православных в раскол... С историей трехвекового гонения старообрядцев за веру, за убеждения нужно познакомиться каждому, кто так или иначе соприкасается с этими людьми, которых века несправедливости приучили к большей осторожности в отношениях, к скрытности, часто — к недоверчивости. Надо помнить их нелегкую судьбу, чтобы не упрекать за эти черты характера.

Многое в старообрядчестве еще ждет исследования. До сих пор не подняты во всей полноте архивные материалы, не изучена настоящему рукописная и гектографированная полемическая литература старообрядцев XVIII—XX веков, не подвергнуто научному анализу содержание старообрядческих рукописных сборников — «цветников», — соз-

дававшихся с самого возникновения старообрядчества и почти вплоть до наших дней. Будем надеяться, что в недалеком будущем мы сможем прочитать такие исследования и что среди них будет и новая книга В. Ф.

Миловидова — автора первой советской обобщающей работы по истории старообрядчества.

В. КОБРИН,
кандидат исторических наук.

★

КЛЮЧ К МИРИАДАМ ШЕДЕВРОВ

Г. Л. Пермяков. *Избранные пословицы и поговорки народов Востока.*
«Наука». М. 1968. 376 стр.

Едва ли не каждая народная пословица и поговорка — это законченная художественная миниатюра, в предельно кратких образах обобщающая действительность. На нашей планете не отыскать народа, у которого не было бы пословиц и поговорок. Причем число их достигает огромных величин. В Финляндии, например, фольклористы не поленились подсчитать количество пословиц и поговорок, бытующих у финнов; оказалось, что оно приближается к двум миллионам!..

Народам Востока принадлежит значительный вклад в сокровищницу «мини-фольклора». Здесь отразился и восточный юмор, и конкретные условия жизни того или иного народа, и философское осмысление человеческой природы, и социальные отношения. И всегда это — в предельно краткой, лаконичной, образной форме. Судите хотя бы по таким образцам: «где тебя знают — почет тебе, где не знают — шубе» (башкирская), «не в бороде честь — борода и у козла есть» (турецкая), «умный дурак хуже всех дураков» (тамилская), «трудно с богатым судиться и с богатырем бороться» (бурятская), «мой привычный ад лучше твоего непривычного рая» (киргизская)... Список подобных миниатюр можно было бы продолжать очень долго. Почти каждая из семи тысяч пословиц и поговорок, принадлежащих семидесяти двум народам Востока, собранных в рецензируемой книге, является маленьким шедевром устного творчества.

«Лепешки в рот» — так по первоначальному замыслу должен был называться сборник. Изменение звучного названия на более сухое не случайно. Ибо это не только сборник пословиц, но одновременно и серьезное научное исследование.

Всех исследователей фольклора поражало сходство пословиц и поговорок, существующих у народов, разделенных тысячами километров пространства, живущих в раз-

ных социальных и географических условиях. «Сытый голодного не понимает» — говорят русские; «сытый не понимает голодного, всадник — пешего» — персы; «сытый не знает мучений голодного» — монголы; «сытый нарезает ломти для голодного не спеша» — арабы. «Кто плюет против ветра, тот плюет себе в лицо» — эта пословица есть и у японцев, и у курдов, и у тамиллов, и у азербайджанцев. Ни о каком заимствовании здесь говорить не приходится.

В приведенном примере совпадения текстуальные. Еще больше изречений, по содержанию идентичных, но в зависимости от условий жизни того или иного народа варьирующих реалии быта. Русская пословица «куй железо, пока горячо», восточноафриканская «лепи из глины, пока она сырая», древнееврейская «готовь тыкву, пока не погас огонь» — все они являются по существу различными формами выражения одной и той же мысли: делай дело, пока не поздно.

Чем объяснить такое поразительное сходство? И нельзя ли на этой основе каким-то образом сгруппировать, научно классифицировать все бесчисленное множество народных речений? Краеугольным камнем классификации, предложенной Г. Л. Пермяковым, является положение о том, что пословицы, поговорки, другие изречения данного жанра есть своеобразные знаки — знаки определенных ситуаций, отношений между вещами и свойствами вещей. Все многообразие, всю «многопредметность» пословиц и поговорок можно, таким образом, рассматривать как разные способы выражения ситуаций, в зависимости от культуры, географических условий и тому подобной специфики жизни того или иного народа.

В самом деле, как отыскать нужную пословицу или поговорку в сборнике? На первый взгляд, нет ничего проще, если расположить изречения в алфавитном порядке, по-

добно словам в словарях. Но ведь имеются многие варианты одной и той же пословицы — они начинаются с разных букв и потому попадут в разные места, хотя говорят об одном и том же. А переводные пословицы? Ведь при желании можно перевести любую из них так, что она будет начинаться с любой буквы!

Быть может, пословицы и поговорки стоит размещать по «опорному», ключевому слову? Но тогда в одну и ту же категорию могут попасть изречения, совершенно разные по смыслу; наоборот, одинаковые по смыслу изречения будут «разбросаны» по различным «опорным словам».

Казалось бы, разумней всего было бы располагать пословицы и поговорки по их тематике. Именно так поступал отец русской фольклористики В. И. Даль, этой системе следует и большинство советских публикаций фольклора. И все-таки здесь также имеется свое «но». Во-первых, у исследователей нет, да и не может быть, строго очерченного «темника», который бы определял все многообразие явлений жизни, отраженных в фольклоре. Во-вторых, намеченные темы могут перекрещиваться. В самом деле: куда поместить пословицу о «глулости попов», если в сборнике есть раздел «о глулости» и раздел «антирелигиозных пословиц»? Притом большая часть изречений многопланова, они имеют не только прямой, но и переносный смысл. И пословицу вроде «каков поп, таков и приход» никак нельзя помещать среди «антирелигиозных», ибо ей по смыслу родственна пословица «яблоко от яблони недалеко падает», не имеющая ничего общего ни с попами, ни вообще с религией.

Г. Л. Пермяков предложил принципиально иной подход — «знаковый». Все множество пословиц и поговорок разделено на логико-семиотические классы.

Например, русская пословица «как волка ни корми, он все в лес смотрит», японская «воробей и до ста лет будет прыгать», бенгальская «вода всегда течет вниз», киргизская «не бывать чугуна сталью, не бывать зороне соколом», армянская «сколько ни бей осла, он не станет мулом» и т. д. — все эти изречения моделируют отношения между вещью и ее свойствами и отвечают формуле: если какая-либо вещь обладает свой-

ством X, то она обладает и свойством Y. Все пословицы такого рода составят один логико-семиотический класс.

У одного и того же народа можно найти изречения, в которых определенная мысль утверждается, отрицается, оказывается в равной степени неверной. Так, одна японская пословица гласит: «Жена да циновка чем свежее, тем лучше», в то время как другая утверждает: «Жена да кастрюля чем старее, тем лучше», в то время как третья полагает, что «лучшая из одежды — новая, лучший из друзей — старый». Подобные примеры можно отыскать в изречениях любого народа. И тут возникает закономерный вопрос: в чем же тогда заключается прославленная «народная мудрость», если одни пословицы утверждают что-то, другие то же самое отрицают, третьи признают и утверждают и отрицание, а четвертые ставят и то и другое под сомнение?

Ответ на этот вопрос не так уж труден, если вспомнить, что изречения — это знаки ситуаций. А ситуации в жизни могут быть самыми разнообразными, в том числе и прямо противоположными по смыслу. Как справедливо отмечает Г. Л. Пермяков, «любые, даже самые, казалось бы, «неправильные» изречения оказываются верными, когда их применяют «к месту», то есть в соответствующей ситуации. В этом и состоит секрет давно подмеченной... но до сих пор не получившей настоящего объяснения взаимной противоречивости пословичных изречений и всей пословичной логики в целом».

Изречения народов Востока с их мудростью, лукавым юмором, изящным лаконизмом не потеряли, будучи научно классифицированы, ни своих «человеческих», ни своих эстетических качеств. Возможна ли строго научная классификация именно этих сторон фольклора, а не просто их «знаковой», «лингвистической» стороны, которая, разумеется, не является главенствующей в фольклоре? На этот вопрос ответит лишь будущее. Но, может быть, именно при изучении «малых жанров» фольклора исследователям удастся нащупать подход к созданию точной науки о художественном творчестве, если только такая наука вообще возможна.

А. КОНДРАТОВ,

кандидат филологических наук.



НАУКОВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Очерки истории и теории развития науки. Под редакцией В. С. Библера, Б. С. Грязнова, С. Р. Микулинского (ответственный редактор). «Наука». М. 1969. 421 стр.

В свое время Рабле устами Гаргантюа констатировал: «Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшие книгохранилища... и скоро для тех, кто не понаторел в Минервиной школе мудрости, все дороги будут закрыты... Женщины и девушки,— и те стремятся к знанию, этому источнику славы, этой манне небесной». Эти слова были сказаны четыреста лет назад. Сегодня в ряде источников приводятся данные ЮНЕСКО, согласно которым современное поколение ученых составляет девяносто процентов от общего числа ученых, когда-либо живших в этом мире. Если даже принять во внимание поправку на обозначившуюся особенно резко в послевоенные годы девальвацию определенной части научных работников, сливающихся по квалификации и эрудиции с огромной армией рядовых специалистов с высшим образованием, приведенный показатель достаточно красноречиво рисует состояние науки в наши дни и дает обильную пищу для размышлений. В таких же примерно масштабах возрос и объем научно-технической информации. С другой стороны, по сравнению даже с недалеким прошлым необычайно возросли материальные затраты на научные исследования, исчисляемые, например, в США, десятками миллиардов долларов в год. Наука уже не умещается в привычных лабораториях и испытательных станциях; для ее развития теперь необходимы дорогостоящие экспериментально-производственные комплексы, сооружение которых под силу только государству или международным объединениям. Наука превратилась в важнейший фактор экономики, стала объектом государственной политики и планирования. Отсюда общественная необходимость во всестороннем изучении самой науки, ее организации и социального назначения, путей ее развития в обозримом будущем. Так на наших глазах возникла новая отрасль знания — науковедение.

Джон Бернал не без основания утверждает, что науковедение «является самым коренным завоеванием второй половины двадцатого века». Правда, и в минувшем столетии как в нашей стране, так и за рубежом делались попытки осмысления науки

как особой сферы проявления духовной энергии человека, однако это были единичные исследования, скорее научно-исторического, чем науковедческого характера. В настоящее время проблемами науки о науке занимаются авторитетные историографы естествознания, философы, социологи, экономисты ряда стран, созываются международные симпозиумы, издается обширная литература. В Советском Союзе науковедение заняло достойное место среди новейших научных дисциплин. Одним из результатов исследований советских ученых является рецензируемая книга, представляющая собой сборник статей девятнадцати авторов.

Было бы преждевременным думать, что за истекшие пятнадцать — двадцать лет «самостоятельной жизни» науковедение уже представляет собой вполне сформировавшуюся отрасль знания. Отнюдь нет, и об этом со всей определенностью говорится в редакционном предисловии к книге. Там же мы читаем: «Коллектив, участвовавший в подготовке настоящего труда, стремился по крайней мере определить круг основных проблем, исследование которых необходимо для раскрытия закономерностей развития науки, и обосновать важность их изучения. Задача настоящего сборника, таким образом, хотя и очень широкая, но в то же время весьма ограниченная, в том смысле, что авторы далеки от претензий на решение поставленных вопросов. Они осознают также неполноту охвата подлежащих изучению проблем». Редакция предупреждает также, что она «не стремилась искусственно сглаживать различия и даже противоречия во взглядах авторов», что можно считать достоинством книги.

В «Очерках» четыре раздела, в которых освещаются общие проблемы науковедения, возникновение нового знания, эволюция науки и структура научного знания.

В статье Б. М. Кедрова, первой по порядку в сборнике, трактуется принципиальной важности вопрос — о путях нахождения научной истины. Анализируя различие между марксистской диалектической логикой и логикой формальной, автор, воздавая должное последней как необходимому, но ограниченному в своих возможностях мето-

ду, доказывает, что только диалектическая логика «составляет истинную логику и методологию современного естествознания». Свои мысли автор иллюстрирует, рассматривая узловые моменты из истории науки.

С. Р. Микулинский и Н. И. Родный выдвигают и защищают тезис о неотделимой связи науковедения и истории естествознания, хотя и оговаривают при этом их неидентичность. Аргументированно, со ссылками на высказывания крупнейших естествоиспытателей, они определяют важное место, занимаемое историей естествознания и техники в системе человеческих знаний. Полемизируя с теми, кто считает историю науки лишь приятным времяпрепровождением, авторы пишут, что от историографов науки теперь ждут конкретных рекомендаций по ряду актуальнейших проблем науки и технологии. Касаясь непосредственно науковедения, авторы обосновывают целесообразность и своевременность выделения науковедения в особую самостоятельную отрасль, определяют ее предмет исследования, задачи и место среди других наук.

Роли логических представлений в изучении прогресса науки посвящена статья М. Г. Ярошевского. Он утверждает, что логика в качестве философской дисциплины и логика развития науки как раздел науковедения имеют не совсем совпадающие познавательные функции.

В работе В. В. Быкова «О некоторых методах изучения науки» замечен иной, чем в других статьях, подход к теме. Автор как бы рассекает процесс познания науки на три составляющих: мысленное моделирование, к которому обязан прибегать исследователь-научковед, историю естествознания, находящуюся, по мнению В. В. Быкова, пока в стадии описательной дисциплины, и гносеологию науки.

Представляет познавательную ценность очерк А. М. Кулькина о значении и месте науки в общественном производстве. Приведенный им фактический материал, в том числе статистические данные, наглядно свидетельствует о таких присущих нашему времени явлениях, как индустриализация научно-исследовательской деятельности, этизация («огосударствливание») науки, превращение науки в непосредственную производительную силу.

Классификации типов научных исследований посвящена статья В. И. Дуженкова. Он рассматривает главным образом соотноше-

ния между двумя основными видами научных исследований — фундаментальными и прикладными. Настаивая на примате теоретических исследований, столь нужных для дальнейшего прогресса науки, В. И. Дуженков в то же время отмечает весьма низкий уровень их финансирования. Ссылаясь на известного физика С. Ф. Пауэлла, он пишет: «Хотя наша современная цивилизация в основном базируется на достижениях теоретической науки прошлого, все, что когда-либо затрачено на теоретические науки, равно всего лишь стоимости современного промышленного производства за две недели». Трудно даже вообразить, какой темп приобретет развитие науки, если вдвое-втрое увеличить ассигнования на фундаментальные исследования.

Выше уже отмечалось, что науковедение насчитывает примерно полтора-два десятка лет самостоятельного существования. Но, разумеется, и задолго до этого многие из творцов науки задумывались о ее природе, законах и перспективах ее развития, о проблемах научного творчества и организации науки. Обо всем этом можно прочесть в работе Н. И. Родного, которой открывается второй раздел книги. Автор обратился к высказываниям крупнейших ученых — от Паскаля и Ньютона до наших современников. В центре исследования Н. И. Родного такая сложнейшая социально-психологическая категория, как творческий акт, а в связи с этим — проблема воображения и интуиции.

Третий раздел книги начинается обстоятельной, написанной в полемическом ключе, но без предвзятости статьей Э. Г. Лейкина «К критике кумулятивистских концепций в развитии науки». Имеется в виду учение, зародившееся еще в эпоху Канта и весьма популярное в настоящее время на Западе, согласно которому «знания о реальных фактах мира, однажды приобретенные наукой, не отбрасываются ее последующим развитием, но вбираются им и накапливаются (кумуляруются); в каждый данный период наука представляет собой сумму знаний, накопленных в этот период и во все предшествующие периоды и передаваемых всем последующим периодам, — сумму, которая, таким образом, от поколения к поколению возрастает». В позитивистском преломлении эта формулировка означает, что признание науки — описывать, и только описывать наблюдаемые в природе явления. Ав-

тор не отвергает идеи кумулятивности, но он против абсолютизации последней, ибо во главу угла он ставит другое: «вехами, критериями, двигателями прогресса науки являются не столько совокупности конкретных знаний, сколько изменения методов, принципов, теорий».

Э. Г. Лейкин особо останавливается на разборе воззрений двух крупнейших кумулятивистов — Дж. Сартона и Д. Прайса. Последний, кстати, известен и тем, что рьяно отстаивает созданные им (и не лишённые притягательности) измерительные методы изучения — наукометрию.

В статьях И. Б. Погребыского,

Я. Г. Дорфмана и И. М. Забелина интерпретируется и обобщается эволюция структуры предмета — соответственно механики, физики и географии.

Последняя часть «Очерков» содержит четыре статьи, в которых рассматривается, вероятно, наименее изведанная грань науки — её структура.

«Очерки истории и теории развития науки» являются, таким образом, как бы небольшой энциклопедией, вводящей читателя в самую гущу современной науковедческой проблематики.

Г. ЦВЕРАВА.

Вокситогорск.



ИЗ РЕДАКЦИИ (О)Н(О)И П(О)Ч(Т)Ь!

Уважаемые товарищи!

С большим интересом я прочла в № 9 вашего журнала письмо кандидата филологических наук Эр. Ханпирь по поводу создания «Словаря языка В. И. Ленина». Необходимость такой работы мне представляется бесспорной.

Я вполне согласна с мыслью автора о том, что «Словарь языка В. И. Ленина» не может быть только толковым словарем (хотя и такой словарь был бы крайне нужен), но должен быть словарем политическим и философским, что потребует, безусловно, совместной работы филологов, историков, философов. Такой словарь окажет помощь всем, кто обращается к произведениям В. И. Ленина, поможет разобраться не только в терминологии, потребляемой В. И. Лениным, но и лучше понять смысл его произведений.

А. Мосейко,

кандидат философских наук, доцент кафедры философии ВПШ

Уважаемая редакция!

В № 9 вашего журнала опубликовано письмо Эр. Ханпирь «Еще раз о «Словаре языка В. И. Ленина». Подобный словарь, как справедливо отмечает автор письма, нужен всем, кто обращается к ленинским трудам. «Словарь языка В. И. Ленина» сам по себе явился бы серьезным вкладом в изучение ленинского наследия. Словарь поможет и найти нужную цитату, и точнее понять смысл и оттенок ленинских высказываний. Поддерживаем предложение о подготовке «Словаря языка В. И. Ленина».

Л. Наринский,

младший научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР,

В. Карев,

научный редактор издательства «Советская энциклопедия».

Уважаемая редакция!

Я с большим интересом прочел содержательную статью Ю. Шрейдера «Наука — источник знаний и суеверий», опубликованную в № 10 «Нового мира» за 1969 год. Многие мысли автора безусловно заслуживают внимания и поддержки. Я имею в виду, в частности, высказанные в статье соображения о месте научных знаний в системе культурных ценностей человечества, о соотношении требований достоверности и содержательности, предъявляемых к научным утверждениям, о необходимости использования в науке как строгих, так и «размытых» понятий. Особенно интересен проводимый автором анализ суеверий, порождаемых неверной интерпретацией или неправомерным обобщением положений, выдвинутых наукой.

Вместе с тем Ю. Шрейдер высказывает некоторые идеи, с которыми, на мой взгляд, нельзя согласиться.

Серьезные возражения вызывает прежде всего понятие догмата, как его трактует Ю. Шрейдер. Он определяет догмат как «априорное положение, в которое мы именно

верим, хотя и не рассчитываем найти никаких доказательств». Это определение, может быть, и приемлемо, хотя, если приглядеться, в нем уже заложен источник путаницы: разве ученый, работающий над какой-то проблемой, должен сам доказывать справедливость всех посылок, из которых он исходит? Невольно удивляешься, однако, когда знакомишься с примерами догматов, приводимыми Ю. Шрейдером. Это, с одной стороны, догмат о непогрешимости римского папы, выступающего *ex cathedra*, а с другой стороны, — основные положения методологии науки, начиная с тезиса об объективности существования мира и закономерностей, которым он подчиняется.

Чтобы разобраться в поставленной проблеме, обратим внимание на то, что, как справедливо отмечает Ю. Шрейдер, в науке приходится иметь дело с разными категориями утверждений. Но при этом важно, что утверждения, относящиеся к разным категориям, доказываются совершенно различным образом.

Теоремы, то есть утверждения, высказываемые в рамках некоторой формальной системы, доказываются чисто дедуктивным путем — в конечном итоге путем их сведения к заранее принятым аксиомам. Гипотезы, высказываемые в эмпирических науках (как естественных, так и общественных), доказываются подтверждающими их экспериментами или наблюдениями, причем доказательство всегда содержит индуктивные компоненты, а доказываемое положение (если оно выражает некоторое общее положение, а не констатирует единичный факт) всегда представляет собой относительную истину: всегда сохраняется возможность того, что последующие эксперименты заставят внести в это положение изменения и уточнения. Существует и третий тип утверждений, а именно методологические принципы, используемые в научном исследовании. Ю. Шрейдер не отрицает их важности для науки, но почему-то относит их к догматам, то есть к недоказуемым утверждениям. Между тем эти принципы, конечно, доказываются, но, разумеется, не так, как теоремы, и не так, как гипотезы. Они доказываются (или опровергаются) практикой научных исследований, то есть состоятельными следует считать лишь те принципы, использование которых способствует успехам познания. Здесь находит применение общее положение марксизма о практике как главном критерии истины, которое, кстати, само является примером весьма полезного методологического принципа.

Как бы то ни было, методологические принципы, о которых идет речь, не имеют ничего общего с положениями, принимаемыми на веру только потому, что они подкреплены признанным авторитетом. Положения первого типа относятся к науке или научной философии, положения второго типа — к религии того или иного толка. Они совершенно различны и даже противоположны и по гносеологической природе, и по социальному значению, так что вряд ли имеет смысл объединять те и другие под общим названием «догмат».

Второй вопрос, по которому я хотел бы возразить Ю. Шрейдеру, касается соотношения между этикой и наукой. Ю. Шрейдер полагает, что существует опасность «подчинения этики науке», и предостерегает против такой опасности. «Речь, разумеется, не идет, — оговаривается он, — об отказе от логического анализа соотношений между этическими нормами, но основные принципы, лежащие в основе этики, следовало бы полагать априорными». Что значит «априорными» — остается неясным. Если имеется в виду априорность по отношению к формализованному логическому анализу, то процитированное высказывание представляет собой трюизм, а содержащийся в нем союз «но» вызывает недоумение. Действительно, чтобы можно было хотя бы поставить задачу доказательства тех или иных теорем, необходимо прежде всего иметь некоторую систему аксиом. Без аксиом, или, если хотите, «априорных принципов», проводить логический анализ вообще бессмысленно.

Если же имеется в виду априорность этических принципов по отношению к науке вообще, включая сюда результаты социологических, исторических, этнографических, психологических, медицинских исследований, то откуда же в таком случае можно черпать эти принципы?..

Ю. Шрейдер дает только один пример априорного этического принципа. Это представляющееся ему несомненным положение о том, что ценность человеческой личности бесконечна и потому измерять ее недопустимо. Но приходится признать, что, при

всей эмоциональной привлекательности этого положения, оно как раз не может быть выдвинуто в качестве исходного этического принципа, соблюдение которого обязательно при всех условиях. Возьмем простейший пример: действия военачальника. Разве он не обязан считать человеческие жизни, часто сознательно планируя потерю какого-то числа жизней, но вместе с тем стремясь достичь поставленной цели с наименьшими потерями? Если бы он отказался от таких подсчетов, то не только нарушил бы воинский долг, но поступил бы явно безнравственно, ибо в результате потери оказались бы большими. Можно возразить, правда, что войны — это варварский вид деятельности, который должен вскоре исчезнуть из человеческой практики. Конечно, мы надеемся на это, но пока, к сожалению, войны представляют собой реальность. И даже если с войнами будет покончено, то всегда останется возможность стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств, когда придется, как это ни тяжело, измерять ценности человеческих жизней.

Ю. Шрейдер пишет: «Будем сознавать свою нравственную ответственность в каждом конкретном поступке, будь то поступок врача, ученого, солдата, учителя или кого угодно». Это совершенно правильно. Но сознавать ответственность мало. Надо еще уметь принять правильное в этическом отношении решение. И если расчет помогает принять такое решение, то именно отказываться от расчета было бы безнравственно.

Наконец, последнее. «Многие ученые, — пишет Ю. Шрейдер, — считают бесспорным, что для науки нет запретных областей. Что не существует явлений, куда ученый не вправе вмешаться с инструментом научного исследования». Судя по всему, Ю. Шрейдер не вполне согласен с таким взглядом. Я же думаю, что он является одним из основополагающих методологических принципов, которыми должны руководствоваться ученые. Другое дело, что инструменты исследования должны выбираться с учетом не только сугубо научных, но и этических требований. Поэтому, скажем, в медицинских исследованиях (я не говорю о фашистской Германии) не применяются опыты на людях. Столь же верно, что в определенных общественно-исторических условиях работа ученых над определенными проблемами может быть употреблена во вред многим людям и человечеству в целом, причем последствия, как известно, могут быть крайне тяжелыми. Ученые должны в полной мере сознавать свою ответственность в этом отношении.

Все это так. Но все это ни в коей мере не колеблет того принципиального положения, что для науки, для рационального человеческого познания нет запретных зон. Многовековой опыт показывает, что никто не в силах установить такие зоны и попытки, предпринимаемые в этом направлении, способны вызвать лишь усмешку потомков. Подобные попытки всегда были характерны для поборников фидеизма и прямого обскурантизма, а передовые мыслители всегда противопоставляли им лозунг рационализма, лозунг неисчерпаемых возможностей научного познания.

Нет никаких оснований ставить этот лозунг под сомнение.

Г. Балл,
заведующий лабораторией Научно-исследовательского института психологии УССР, кандидат технических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



М. Д. ГАРИН, А. И. ДРУЗЕНКО, М. И. ОВЧАРОВ. Какая же нынче пошла молодежь? Социологический очерк. «Донбасс». Донецк. 1968. 142 стр.

Перемены в социальной структуре обычно не так заметны, как приращение материального богатства. Они накапливаются и обнаруживаются «вдруг», заставляя пересмотреть прежние представления. Нечто подобное происходит, по-видимому, и с прежними представлениями о рабочем классе, о наиболее характерных чертах его. Особенно наглядны в этом отношении исследования о рабочей молодежи: то, что проявилось в этом слое сегодня, может стать типичным для всех рабочих завтра. Все это подтверждает и книга «Какая же нынче пошла молодежь?», построенная на журналистских очерках, опубликованных в «Известиях».

Заметим сразу: в основе очерков — материалы опроса сотен рабочих крупного машиностроительного завода. Так что хотя перед нами и не научный труд, мы все же видим не случайные факты, а достаточно характерные явления.

Явление первое: впечатляющий рост квалификации и образовательного уровня рабочих. Тридцать лет назад в машиностроении было только 3,4 процента рабочих со средним и высшим образованием. Ныне из опрошенных авторами молодых рабочих 78 процентов имеют среднее образование, 3,2 — высшее, 18 — неполное среднее и только 0,8 процента окончили шесть классов. На заводе 1800 человек учатся в школах рабочей молодежи, вечерних и заочных техникумах, 1100 человек — в вечерних и заочных институтах. Грань между рабочим классом и интеллигенцией становится трудно различимой — таково одно из проявлений процесса преодоления существенных различий между физическим и умственным трудом.

Этот прогрессивный процесс несет не одни только радости: с исчезновением старых проблем возникают новые, иногда более сложные. Так, исследование журналистов подтвердило наблюдения, сделанные в других местах социологами: намечалась определенная диспропорция между успехами культурной революции и темпами технического прогресса. Сложной современной техники, требующей от рабочего глубоких знаний, на заводе становится все больше,

но не так много, как надо бы. А для работы с кувалдой аттестат зрелости не нужен. Отсюда неудовлетворенность своим трудом у части молодых рабочих: 26 процентов опрошенных на вопрос: «Удовлетворены ли вы вашей работой?» — ответили: «Нет». Почему? Сопоставление ответов на разные дополнительные вопросы показывает главные причины недовольства: однообразный, монотонный труд, отсутствие возможности повысить квалификацию, плохое оборудование. Неудовлетворенность заработком играет меньшую роль.

О чем думает рабочая молодежь — это, пожалуй, самое интересное. Материалы опроса показывают высокий интерес к делам завода и в то же время критическое к ним отношение. Беседа с токарем-комсомолкой: норма ее — обработать в день 48 роликов, социалистическое обязательство — 60, а дали 21. Вот и гуляет она по цеху в рабочее время. Запись в анкете: «У нас работает кран, а металл мы носим на руках. Наверное, я стыдилась бы, если бы меня называли инженером, а дела находились бы в таком состоянии».

Книгу завершает обзор откликов на газетные статьи, послужившие ее основой. Здесь и письма читателей, и отзывы зарубежной прессы. Нашу самокритику нет-нет да использует буржуазная печать. Издержки эти неизбежны, как неизбежны и обычные опасения: «Не дать бы им пищу». Но наиболее умные из зарубежных читателей именно в способности к смелой самокритике усматривают одно из условий дальнейшего развития нашего общества. Так случилось и со статьями о социологическом опросе на нашем заводе. Не в отдельных отрицательных фактах увидел главное корреспондент индийской газеты «Стейтсмен», изложивший в «Письме из Москвы» материалы советской газеты. Его главный вывод таков: советские молодые люди имеют перед собой добрую цель и ясную перспективу.

Т. Смирнов.



МИХАИЛ ЛОСКУТОВ. Немного в сторону. Рассказы и очерки. «Советский писатель». М. 1968. 256 стр.

Михаил Лоскутов — писатель, хорошо известный в начале тридцатых годов. Сборники рассказов, повесть «Тринадцатый ка-

раван», серия очерков «Рассказы о дорогах» сразу же привлекли внимание простой, поэтичностью, обилием интересных фактов. Писатель погиб, став жертвой ложного доноса. Его произведения не печатались более двадцати лет. Лишь в 1958 году было переиздано несколько рассказов и очерков, составивших сборник «Белый слон». А в настоящую книгу вошли наряду с уже широко известными и произведения, изданные впервые. Это главным образом очерки о людях редких профессий, необычных судьб.

«...по улицам Одессы, возможно, идет, покашливая, согбенный старик в старой соломенной шляпе... В Одессе стоит вечер, и в переулочек доносятся шумы Соборной площади, трамвая, бульвара, толпы — необыкновенное и одесское». Так неторопливо начинается М. Лоскутов рассказ о жизни старого скрипичного мастера Льва Владимировича Добрянского. По свидетельству знаменитых скрипачей-виртуозов Яна Кубелика, Вилли Бурмейстера, Иоахима, он делает скрипки лучше «страдивариев».

Елена Павловна Неджевецкая в далеком туркменском совхозе, расположенном в песчаной степи, учит детей музыке. В этом весь смысл ее жизни («Немного в сторону»). Мастер Мишель («Гражданин французской республики») делает духи не хуже парижских.

Все эти и подобные им очерки (очерки-жизнеописания — так, пожалуй, можно назвать) могли бы стать основой романа. Повести. Они только внешне просты и непритязательны.

Знание тончайших особенностей ремесла так же важно, как изображение духовного мира человека. В отношении к любимому делу больше всего раскрываются и характеры героев Лоскутова. В «Портрете скрипичного мастера» читатель присутствует при изготовлении скрипки. Впрочем, вряд ли правильно говорить «изготавливать» или «делать» скрипку. Существует специальное выражение «строить скрипку». Скрипку строят, «как дом, как корабль». В очерке «Гражданин французской республики» мастер Мишель уподобляет флакон духов «хору или оркестру».

Герои М. Лоскутова — люди тонкой душевной организации. Они поэтичны и щедры. Старик Добрянский «усовершенствует» скрипки студентам, школьникам, нищему скрипачу. Работает бескорыстно, в зябкие зимние вечера кутаясь в единственное одеяло. Для него, как и для всех героев М. Лоскутова, главное — творчество.

Но еще существует косная, рутинная среда. С иронией пишет М. Лоскутов о «заседаниях, комиссиях и громах публицистики», которые вновь и вновь «открывают» Добрянского. Музыкальные качества его скрипок нельзя не признать. Но комиссия ГИМН — Государственного института музыкальных наук — считает, что скрипка Добрянского настолько «отличается от обычной классической формы скрипки, что

комиссия не признает возможным ее рассматривать».

Новое издание произведений М. Лоскутова — не просто уважение к его памяти. Насыщенные свежестью авторского восприятия жизни рассказы и очерки писателя не потускнели от времени и читаются с большим интересом.

А. Сергеев.

★

БУДУЩЕЕ НАУКИ. Международный ежегодник. Выпуск второй. «Знание». М. 1968. 351 стр.

Этот ежегодник, так же как и его первый выпуск, вышедший в 1966 году, посвящен перспективам развития и не решенным еще проблемам в различных областях науки. И хотя за последнее время в нашей стране и за рубежом появилось немало работ, в которых делаются попытки дать социально-экономические и научно-технические прогнозы, каждая новая книга, написанная на эти темы, постоянно вызывает живой интерес. Это не удивительно, ибо вряд ли сейчас отыщется человек, которого бы не интересовало и не волновало, что принесут грядущие научные открытия, какое влияние они окажут на человеческое общество.

Среди авторов сборника — известные советские и иностранные ученые, которые делятся своими мыслями по широкому кругу вопросов, стоящих перед современной наукой, от микромира клетки до макромира космоса.

Как-то академик А. Н. Несмеянов провел параллель между научной и военной деятельностью. В военном деле первостепенное значение придается дифференциации различных видов оружия, а значит, возрастает роль связи и организации взаимодействия отдельных родов войск. Аналогичные явления происходят в подавляющем большинстве отраслей научных знаний, так как только комплексный подход позволяет успешно исследовать и решать проблемы сегодняшнего и завтрашнего дня. Это в одинаковой степени относится и к традиционным наукам, и к зарождающимся на наших глазах. В статье «Будущее человечества как предмет научных исследований» доктор исторических наук И. В. Бестужев-Лада, в частности, отмечает, что в настоящее время встает вопрос об общей теории прогнозирования, которая синтезировала бы методы прогнозов в разных науках. По существу речь идет о создании нового комплекса научных дисциплин — социальной пргностике, — науки о законах и методах прогнозирования, способной комплексно исследовать перспективы развития человеческого общества.

В своей статье академик А. Л. Минц указывает, что одной из главных проблем в физике, безусловно, является раскрытие природы элементарных частиц. Успешное решение этой задачи он видит в создании новых мощных протонных ускорителей, которые, подчеркивает академик, являются со-

бой пример замечательного синтеза многих отраслей науки и техники.

Для выяснения ряда актуальных проблем космологии чрезвычайно важное значение имеет вопрос о «начальной» температуре сверхплотного состояния. Из «огненной» или «ледяной» купели вышла Вселенная? С различными гипотезами по этому поводу знакомит в статье «Симметрия Вселенной» академик А. Д. Сахаров.

Можно ли утверждать, что физик, исследуя атомную структуру вещества, обнаружит в принципе те же явления, что и астроном, глядя в свой телескоп? Шведский физик Ханнес Альвен утверждает, что сейчас твердо установлена связь между микрокосмом и макрокосмом, предсказанная еще древними греческими философами.

О путях к созданию модели живого мозга и других проблемах, стоящих перед биологической кибернетикой и медициной, рассказывает профессор С. Н. Брайнес.

Сборник не свободен от недостатков. Очевидно, при его составлении стоило более строго отнестись к подбору тем для статей и к их систематизации. На страницах ежегодника, с одной стороны, не нашлось места для целого ряда важнейших научных направлений, но с другой — повторяются некоторые темы, так или иначе уже затронутые в предыдущем выпуске. К сожалению, не всем авторам удалось найти доходчивую форму изложения, доступную читателю, не обладающему специальными знаниями.

Хочется выразить надежду, что в дальнейшем издательство «Знание» окажется в состоянии выполнить им же установленные сроки и следующие ежегодники этой интересной и полезной серии станут выходить в свет каждый год.

А. Иглицкий.

★

М. В. НЕСТЕРОВ. Из писем. Вступительная статья, составление, комментарии А. А. Русаковой. «Искусство». Л. 1968. 452 стр.

М. В. Нестеров был не только выдающимся художником — жанристом, пейзажистом, портретистом, но и талантливым писателем, автором книги мемуаров «Давние дни», изданной дважды — в 1942 и 1959 годах. Литературный талант Нестерова явно ощущается и в его эпистолярном наследии, в тех 663 письмах, которые составляют рецензируемое издание (всего, судя по вступительной статье к сборнику, известно до двух тысяч писем художника).

Письма, вошедшие в сборник, охватывают всю сознательную творческую жизнь Нестерова (с 1887-го до 1942 года) и адресованы самым различным лицам — его ближайшим родственникам (родителям и сестре), А. А. Турыгину — другу художника, С. Н. Дурылину — будущему биографу Нестерова, художникам А. Васнецову, И. Остроухову, А. Бенуа, П. Корину и другим.

Письма очень ценны как для биографии и характеристики самого Нестерова, худож-

ника и человека, так и для познания искусства определенной эпохи в его самых различных проявлениях.

Они, в частности, наглядно доказывают глубокую органичность и искренность творчества Нестерова, — оттого-то так сильно и действует оно на душу зрителя.

Нестеров в своем творчестве как бы старался выразить в красках свои самые сокровенные думы: «Я пою свои песчи (курсив здесь и дальше Нестерова), они слагаются в душе моей из тех особенностей, обстоятельств моей личной жизни, которые оставляют наиболее глубокий след своей во мне...», «Талант... должен служить к выражению чувств добрых и прекрасных, путем ли живописи, музыки или всеобъемлющей поэзии...» (в письме к М. П. Соловьеву, 9 января 1898 года).

Огромное влияние на Нестерова имела родная природа и русская древность: церкви Переславля-Залесского, Ростова Великого, Углича и Ярославля поистине завораживали художника.

Из неразрывного сочетания природы и древней Руси в ее религиозно-эстетической окраске и родились такие знаменитые картины, как «Видение отроку Варфоломею», «Великий постриг», «Димитрий царевич убиенный», «Святая Русь».

Вопрос о их религиозности не может, конечно, вызывать сомнений, но эта религиозность — не официально-каноническая, а именно эстетическая, древнепростонародная, слитая с патриотической борьбой народа за национальную судьбу своей родины.

Нестеров не случайно писал (в письме к Д. И. Толстому от 16 июня 1909 года): «Картины «Св. Русь», «Св. Димитрий царевич» и всю серию «Сергиев» я, как и весьма многие, считаю по своей духовной сути наиболее «народными» из моих произведений, понимая это слово в обширном значении...»

Письма, раскрывающие внутренний мир художника, те или иные «тайны» его творческого процесса, показывают одновременно и его взгляды, прежде всего, разумеется, в области изобразительного искусства. Нестеров-художник был безусловно реалистом, но его реализм — очень широкого диапазона: он не чурался и новых явлений и веяний в искусстве, если они не превращались в самодовлеющие эксперименты. Интересен в этом отношении его отзыв (в письме к С. Н. Дурылину от сентября 1923 года) о Сезане: «Лучшие вещи Сезана проникнуты полнотой чувства, «душой», и она-то и роднит его с великим Ивановым». Перед Ивановым же Нестеров благоговел: «Явление Христа народу» я могу поставить рядом лишь с некоторыми небесными видениями Пушкина» (письмо С. Н. Дурылину от декабря 1923 года).

Интересы Нестерова в области культуры не замыкались изобразительным искусством, он был разносторонним человеком, очень любившим литературу, музыку, театр, что также широко отразилось в его письмах. В них мы находим много весьма лю-

бопытных характеристик П. М. Третьякова и И. П. Павлова, а также Гсрского и Шалляпина, великий талант которых художник оценил еще в ранний период их деятельности (письмо А. А. Турыгину от 18 мая 1900 года).

Письма, посвященные общению художника с Л. Н. Толстым, наиболее интересны как по богатству фактического материала, так и по изобразительности.

Письма, относящиеся к двадцатым—тридцатым годам — к эпохе Нестерова-портретиста — и адресованные П. М. Керженцеву, В. С. Кеменову и другим руководителям работникам на ниве культуры, характеризуют Нестерова как советского общественного деятеля. К книге-альбому приложен ряд репродукций с лучших картин Нестерова, примечания и именной указатель выполнены со всей необходимой тщательностью.

Ник. Смирнов.

★

М. П. НИКОЛАЕВ. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский. Приокское книжное издательство. Тула. 1969. 130 стр.

Творческие взаимоотношения Льва Толстого и Чернышевского не раз привлекали внимание литературоведов. Однако ценность рецензируемой книги заключается, на наш взгляд, в том, что в ней предлагаются новые пути изучения этой темы. Оставив в стороне творческие связи Толстого и Чернышевского, М. Николаев поставил главной своей задачей проследить, как отразилась в творчестве двух великих современников одна и та же историческая действительность, как они оценивали одни и те же общественные события и факты своей эпохи.

Стремясь охарактеризовать общее и различное в оценке Толстым и Чернышевским важнейших явлений современной им действительности, М. Николаев рассматривает их отношение к деятельности Шамиля, к балканскому вопросу, к теории Мальтуса, к роману Достоевского «Записки из Мертвого дома».

В главе «Два документа эпохи» рассмотрены взгляды Толстого и Чернышевского на организацию военного дела в России, на положение русской армии после Крымской войны. Здесь сравнивается «Проект о реформировании русской армии» Толстого с той «запиской» о положении в армии, какую пишет герой романа «Пролог» — Соколовский.

В ином ключе дана глава «Л. Толстой и роман «Что делать?»», где сопоставлены толстовские оценки знаменитого романа Чернышевского, сделанные до и после духовного кризиса. Основные наблюдения и выводы автора книги надо признать убедительными. Спорной, однако, представляется глава «Перед лицом царских жандармов», в которой по поводу обыска в Ясной Поляне говорится: «Бесчинство в Ясной Поляне следует рассматривать в связи с осуществлением общего плана правитель-

ства, рассчитанного на удушение освободительного движения, на уничтожение «коноводов», по выражению В. И. Ленина, «революционной партии». Это сказано слишком категорично: вряд ли Толстого шестидесятих годов можно отнести к коноводам революционной партии; вряд ли обыск в Ясной Поляне — часть «общего плана правительств».

Несколько отдаленное отношение к теме книги имеет глава «Минутная цензура», в которой освещается деятельность М. К. Элльдина, издавшего за границей многие произведения Чернышевского и Л. Толстого, запрещенные царской цензурой. Но ведь Элльдин издавал произведения и других авторов. Здесь Толстой и Чернышевский соприкасаются только внешне. Непосредственное же отношение к избранной теме имеют их эстетические трактаты, к сожалению, не попавшие в поле зрения исследователя.

Отмеченные недочеты касаются в основном частностей этой полезной книги. В общем же, она оставляет хорошее впечатление новизной и богатством материала.

Вл. Ковалев.

★

Ю. ХАНЮТИН. Предупреждение из прошлого. «Искусство». М. 1968. 288 стр.

Очевидная особенность этой книги, посвященной теме Отечественной войны в нашем киноискусстве, в том, что она написана кинематографистом. Именно кинематографистом, а не только человеком, пишущим о кино. «Кинематографичность» книги Ю. Ханютин — в монтажном остроте сопоставлений, ставшей принципом построения работы. Два кинокадра, помещенные рядом. Один — из игрового фильма военного времени «Секретарь райкома»: героиня картины Наташа в исполнении М. Ладыниной в соломенной шляпке с выбивающимися из-под нее завитками, в косынке вокруг шеи, целится из пистолета во врага. Мы давно видели эту картину, многое забылось, но нет никаких сомнений, что победа на этот раз достанется малой кровью. На другом, документальном, кадре — комвзвод, весь в бинтах, с окровавленным лицом, что-то кричит во время боя из окопа. К первому кадру подпись: «Кино...» Ко второму: «Жизнь...»

Само по себе именно это сопоставление в известной мере лежит, как говорится, на поверхности. Но я обращаю на него внимание потому, что оно в прямой, доходчивой форме отражает особенный характер течения авторской мысли в самом тексте книги, когда эта мысль развивается сложно и глубоко. Точно найденные примеры, в одних случаях взаимно дополняющие друг друга, а в других — подчеркивающие различия, как раз и придают мысли остроту и убедительность. Это могут быть сопоставления отдельных частей внутри фильма или отдельных героев, как скажем, Алексея Иванова из «Падения Берлина» и Алеши Скворцова из «Баллады о солдате». Это могут быть сопоставления целых фильмов и со-

поставления фильмов с литературой. В этом смысле особенно интересен анализ одних и тех же сцен в картине В. Петрова «Сталинградская битва» и в романе В. Гроссмана «За правое дело»: переправы дивизии Родимцева и боя за вокзал со знаменитым описанием гибели батальона Филяшкина в романе. Здесь интересна не только сама по себе характеристика изображения войны в разных произведениях, а выявление резко противоположных по существу тенденций в подходе к военной теме: фильм, в котором «общее заслоняет частное, армия — солдата», и роман, «главный предмет и масштаб» которого — «человек, его неповторимая судьба».

Это главное и в книге Ю. Ханютина. Хотя она посвящена фильмам о войне, на самом деле основным предметом ее исследования является изображение человека на войне. Ибо повороты, которыми отмечена судьба военного фильма на протяжении его тридцатилетней истории, в конце концов определялись тем, каков был подход к изображению героя. От этого зависела и проблематика и стилистика вещи.

В книге подробно прослежено, как в течение десятилетий изменение взгляда на роль и предназначение человека в свершающихся исторических событиях стояли в прямой связи со взлетами и падениями военной темы.

Вокруг проблемы изображения человека концентрировались и другие темы, которые достаточно подробно проанализированы Ю. Ханютиным, — темы патриотической верности и интернационального долга, темы подлинного и ложного пафоса, достоверности и историзма, документальности и художественности, тематического и жанрового разнообразия. А так как в самой практике киноискусства решение этих вопросов часто было связано с развитием кинематографа в целом и всегда зависело от развития общественного сознания, то Ю. Ханютину и удалось выполнить задачу, которую он поставил в начале книги, — на конкретном материале проследить определенные тенденции в движении всего киноискусства в связи с важными вехами духовной жизни народа.

Л. Рошаль.

★

С. БРАХМАН. «Отверженные» Виктора Гюго. «Художественная литература». М. 1968. 104 стр.

Обстоятельных работ о Гюго у нас немало. Это видно хотя бы из списка литературы, приложенного к книге С. Брахман. Между тем Гюго один из самых активно «живущих» писателей — не скажу на свете, но по крайней мере у нас в стране. Мы все испытали это на себе в отроческие годы и в юности.

Когда Гюго стал писателем для юношества? Трудно сказать, но, на мой взгляд, само по себе это большая честь. Может быть, счастье. Дети не обвиняют великого

романтика в сентиментальности, схематичности, длиннотах, риторике, наивности. Они это делают, становясь взрослыми. В работе, посвященной Гюго, разговор о его слабостях неизбежен. Но хорошо, если исследователь судит большого и противоречивого художника по законам, им самим над собою признанным.

С. Брахман предостерегает от соблазна — судить о романтизме Гюго с позиций реализма Бальзака и Толстого. Она пишет о том, что Гюго рассматривает социальные закономерности своей эпохи с точки зрения «вечных истин», что мир для него — некое гигантское ристалище Добра и Зла, Света и Мрака, что герои его, как правило, символизируют эти величавые отвлеченности, что поступки их мотивируются не логикой развития характеров, а торжеством или ущербом вечных начал, которые в них воплощены. При этом сила «Отверженных» — в единстве поэтического взгляда на мир, в лиро-эпической атмосфере повествования от автора — правдоискателя и человеколюбца.

Именно это наполнило мотивы и образы романа жизнью. С. Брахман стремится взвесить, что долговечно и что брэнно в знаменитом романе, на страницах которого так причудливо смешались мощь и слабость, демократические идеи и буржуазные иллюзии.

Но порой, желая проследить, как в «Отверженных» преломляется эстетика Гюго, автор работы словно не доверяет его непосредственной образной силе и прелести.

«Читая «Отверженных», все время ощущаешь «двуплановость» повествования», — пишет С. Брахман, имея в виду неизменную апелляцию Гюго к вечным ценностям. Вряд ли это верно: «все время» этого не ощущаешь. Напротив: пока читаешь роман, его герои чаще всего кажутся «реальными людьми XIX века». Никак нельзя согласиться, будто Гюго «незнакомы» оттенки и переходы». Рамки его романтизма были для них достаточно вместительны.

Анализируя ткань романа, С. Брахман останавливается главным образом на пламенной риторике Гюго, анализируя характеры, — на том, что в них обобщенно-символического. Вот и получается, что епископ Бьенвеню и Жавер — сплошные схемы: один воплощение Добра, другой — Долга; и «попытки» Гюго оживить эти схемы (эти и другие) ни к чему не ведут.

Гюго, однако, не так прост.

Епископ не оставил себе ничего, кроме шести серебряных приборов и двух серебряных подсвечников. Когда приходил гость, хотя бы один, все серебро выкладывалось на убогий стол. Что это — милое чудачество, придуманное писателем для «оживления» идеального попа? Отнюдь нет. Епископ хотел доказать себе и другим, что живет как следует, и тем отвести ощущение некоей нарочитости и фарнсейского щеголяния своей праведностью. Он хочет быть настоящим христианином, и романтизм Гюго не в том, что он это выдумал,

а в том, какое он придавал этому значению. Вряд ли справедливо считать навязанным, наложенным извне и христианство Жана Вальжана. Патриархально-евангельские идеалы владели тогда весьма широкими народными массами и были их оружием в борьбе с официальной церковью сильных мира.

«Идеальный носитель несправедливого закона» — так называет С. Брахман Жавера. Это — неточное определение. В глазах Гюго главное не то, что закон Жавера несправедлив, а то, что он конечен, отсюда — досюда. Все отдается «кесарю». А человек должен быть вместилищем бесконечности. Это очень интересный образ — человека, который лично совершенно порядочен, но убежден, что жизнь можно и нужно без остатка расписать по параграфам.

Роман Гюго и поныне несет благородную службу воспитания чувств, и хорошо, что небольшая книжка С. Брахман напоминает нам об этом, рассказывает об «Отверженных» как о живом и движущемся явлении. Это очень важно.

В. Портнов.

Баку.

★

Л. Е. РОДИН. По южным странам. «Мысль». М. 1968. 288 стр.

Автор книги — геоботаник, изучающий растительные сообщества и их связь с географической средой. Первые практические уроки ботаники он получил, еще будучи студентом Ленинградского университета, участвуя в 1928 году в Северо-Двинской экспедиции. Последующие его экспедиции проходят уже в южных широтах: в Прикаспии и Средней Азии, в Афганистане, Индии, Сирии, Объединенной Арабской республике, Бразилии, Аргентине. В районе хребта Кетмень, к югу от Джунгарского Алатау, Л. Е. Родин успешно ведет поиски каучуконосов, в Афганистане участвует в разработке мероприятий по борьбе с вредителями хлопчатника; в Бразилии собирает живые растения для восстановления оранжереи Ленинградского ботанического сада, разрушенного в годы войны; в Аргентине изучает распределение растительности по территории страны. Особое место в кругу его научных интересов занимают проблемы освоения пустыни: продуктивность пастбищ Сирии, причины губительных песчаных заносов в Западной пустыне (ОАР).

В своих очерках автор не только излагает методику и результаты полевых исследований. Не меньшее внимание уделяет он людям, особенностям их быта, уникальным историческим памятникам. В книге много запоминающихся зарисовок природы, диковинных растений, описаний ботанических садов, в которых собраны представители богатейшей тропической флоры.

Эта книга, увлекательно написанная и хорошо иллюстрированная фотографиями автора, порадует нашего читателя еще и тем,

что на ее страницах он найдет яркие доказательства той помощи, которую советские ученые оказывают народам развивающихся стран.

В. Владимиров.

★

К. РЭНД. Кембридж — научно-технический центр США. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1968. 197 стр.

Это не тот Кембридж, что в Юго-Восточной Англии, на берегу реки Кем. Кембридж Нового Света, научный комплекс-гигант, раскинувшийся по обоим берегам реки Чарлз, представляет собой своеобразный сплав научно-исследовательских и учебных учреждений, возникших на базе и вокруг Гарвардского и Бостонского университетов, Массачусетского технологического института (МТИ), научно-технических фирм, военных заводов и разведывательных центров правительства США.

Автор начинает свой рассказ с детального описания дороги-128, ультрасовременной магистрали, своего рода автомобильного циклотрона, опоясывающего комплекс городов и научных учреждений Нового Кембриджа. Журналист не шадит красок, чтобы изобразить значение и роль автомобиля в жизни современного ученого и рабочего электронной промышленности. Правда, автор вынужден признать, что рядом с этим автомобильным раем живут бедняки Большого Бостона и солидные кембриджские дома отгорожены совсем уж несовременными частокколами от трущоб Сомервилла. Частокколы эти, по выражению Рэнда, образуют границу между разными мирами.

Он исследует мир, в котором ученые и их квалифицированные помощники «ведут сытую благоустроенную жизнь людей средних классов», знакомит с новой категорией людей науки — учеными-бизнесменами («Несколько ученых со 128-й за последние годы стали миллионерами»). Автор вводит читателя в механизм массовой купли ученых, механизм корректный, учитывающий самые разнообразные потребности и индивидуальные вкусы тех, чьи умственные способности нужно поставить на службу, — вплоть до белки на дереве под окном кабинета, назначение которой — упрочить хорошее настроение и тем стимулировать творческий процесс.

Надо признать: масштабы деятельности Кембриджа вполне на уровне современной цивилизации. Одна только космическая программа потребовала в 1963 году 48 500 новых научных работников и инженеров! Населенная орбитальная лаборатория; высадка человека на Луну; обитаемая лунная станция; включение в полеты на Луну ученых — вот далеко не полный перечень проблем и идей, разрабатываемых в рамках этой программы.

По заказам правительства кембриджские «глобалисты» создали обилие институтов для изучения районов мира. Впитав в себя

множество эмигрантов из различных стран Европы, Азии, Африки (именно к берегам Чарлза направлено больше всего каналов известной «утечки мозгов» из Англии и других высокообразованных капиталистических государств), Кембридж смог организовать исследовательские агрегаты, подобные Дальневосточному, Средневосточному, Русскому (только в нем более 130 учреждений!). Тут изучается все — от «влияния китайских традиций на китайский коммунизм» до прямой телефонной связи между главами государств в Вашингтоне и Москве. Работы финансируются как военными и другими правительственными ведомствами, так и частными благотворительными фондами миллиардеров. Именно здесь зародилась «эрановых рубежей», ознаменовавшая правление Джона Кеннеди, черпавшего отсюда своих «мудрецов», здесь планировалась и в значительной степени планируется теперь политика правительства Соединенных Штатов. Именно отсюда низвергаются водопады книг по «советологии», китаеведению, японоведению, проблемам Африки и т. д.

Конечно, и в среде кембриджских ученых есть люди, которым отвратительны производство вооружений, милитаризм. Люди, которых воодушевляют идеалы человеческого благоденствия, а не ядерный бум. Они поддерживают студенческие организации, борющиеся за мир, участвуют в Пагуошских конференциях «Эти выступления,— пишет автор,— едва ли могут изменить ситуацию, но они отражают тревожное состояние умов в академических кругах».

Не надо закрывать глаза на то положительное, что делается в развитии науки кембриджским центром. Прежде всего это чисто технические достижения, ярко проявляющиеся, например, в кибернетике (Норберт Винер был профессором МТИ). «С Кембриджем, как с центром электронно-вычислительных исследований, на земном шаре могут соперничать лишь немногие», — утверждает Рэнд, и с этим следует согласиться. Какие только проблемы не пытаются здесь решить с помощью ЭВМ! И основы кибернетического управления предприятиями («индустриальная динамика»); и математическое программирование как средство решения коммерческих проблем; и построение различных моделей социальных и политических процессов, например, избирательных кампаний; и машинный перевод иностранных текстов; и попытки моделировать мозговые процессы животных и человека.

Советского читателя очерков Рэнда это наводит на мысль о том, какое обилие задач, разрешаемых с помощью ЭВМ, представляет наша социальная система — вопросы СЭВ, государственного планирования, материально-технического снабжения и т. д. и т. д.

Издательство «Прогресс» хорошо сделало, выпустив эту книгу. Жаль только, что это произошло через четыре года после того, как книга Рэнда появилась в Америке.

С. Щеглов,
инженер.

Тула.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Вопросы строительства социализма и коммунизма. Сборник. 365 стр. Цена 64 к.

В. И. Ленин. О руководящей роли партии в социалистическом строительстве. Сборник. 399 стр. Цена 71 к.

С. Александров, В. Афанасьев. XXIII съезд КПСС и некоторые актуальные проблемы ленинизма. 287 стр. Цена 60 к.

Ленин — вождь Октября. Монография. Коллектив авторов. 318 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ленин как философ. Коллективная монография. 446 стр. Цена 1 р. 3 к.

Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 335 стр. Цена 1 р. 4 к.

«МЫСЛЬ»

Ленин и международное рабочее движение. Коллектив авторов. Монография. 607 стр. Цена 2 р. 88 к.

Б. Маклярский. «Великое общество»: декларация и действительность. 160 стр. Цена 52 к.

А. Педосов. Партия большевиков и технический прогресс. 462 стр. Цена 1 р. 65 к.

Северная Америка, США, Канада. Экономико-статистический справочник. 303 стр. Цена 58 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Гусаров. Механизм цен. 166 стр. Цена 43 к.

З. Лехова. Потребительская кооперация и сближение уровней жизни сельского и городского населения. 128 стр. Цена 33 к.

Г. Шахова. Современные методы управления товарно-материальными запасами (на примере США). 101 стр. Цена 30 к.

В. Шепель. Стимулирование труда (Психологический аспект). 88 стр. Цена 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Афанасьев. Цепь золотая. Стихи. 111 стр. Цена 29 к.

А. Вальцева. Где этот дом. Рассказы и повести. 407 стр. Цена 78 к.

А. Григулис. Осенний дождь. Стихи. Перевод с латышского. 136 стр. Цена 37 к.

День поэзии. Главный редактор В. Соколов. 288 стр. Цена 1 р. 95 к.

День поэзии. 1969. Главный редактор В. Рождественский. Ленинградское отделение. 191 стр. Цена 1 р. 26 к.

Ю. Домбровский. Смуглая леди. Три новеллы о Шекспире. 183 стр. Цена 28 к.

М. Прилежаева. Удивительный год. Три недели покоя. Повести. 352 стр. Цена 82 к.

И. Соколов-Микитов. У светлых истоков. Рассказы. 326 стр. Цена 57 к.

С. Чилая. Екатерина Чавчавадзе. Хроника. Перевод с грузинского. 238 стр. Цена 57 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Х. Андерсен. Сказки и истории. Перевод с датского. Составление Л. Брауде. Вступительная статья Т. Сильман. Том 1. 583 стр. Цена 1 р. 8 к. Том 2. 655 стр. Цена 1 р. 18 к.

А. Бек. Талант (Жизнь Бережкова). Роман. 568 стр. Цена 1 р. 4 к.

П. Бровка. Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с белорусского. Вступительная статья М. Исаковского. Том 1. Стихотворения. Поэмы. 1928—1955. 327 стр. Цена 1 р. 21 к. Том 2. Стихотворения. Поэмы. 1956—1968. 455 стр. Цена 1 р. 32 к.

Р. Валье-Инклан. Избранное. Перевод с испанского. 624 стр. Цена 1 р. 87 к.

В. Ванчура. Три реки. Роман. Перевод с чешского. 287 стр. Цена 74 к.

О. Вацietис. Баллада о синем ките. Перевод с латышского. 207 стр. Цена 64 к.

С. Вургун. Вагиф. Драматическая хроника XVIII столетия. В 3-х действиях, 11-ти картинах. Перевод с азербайджанского А. Адалис. 183 стр. Цена 1 р.

И.-В. Гёте. Фауст. Перевод с немецкого Б. Пастернака. Вступительная статья Н. Вильмонта. 510 стр. Цена 1 р. 23 к.

Н. Джусойты. Доброта. Стихи. Перевод с осетинского. 91 стр. Цена 23 к.

М. Кульбак. Стихотворения. Поэмы. Перевод с еврейского. Предисловие М. Веленького. Составитель Р. Ваумволь. 207 стр. Цена 66 к.

И. Микелинскас. Мы — люди! — А часы идут. Романы. Перевод с литовского. 424 стр. Цена 88 к.

Польская лирика в переводах русских поэтов. Составители В. Слудский и Б. Стягеев. Вступительная статья В. Слудского. 431 стр. Цена 55 к.

М. Твен. Соединенные линчующие штаты. Перевод с английского. 143 стр. Цена 20 к.

К. Федин. Собрание сочинений в 10-ти томах. Вступительная статья М. Кузнецова. Том 1. Города и годы. Роман. 448 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Фефер. Стихи. Перевод с еврейского. 287 стр. Цена 72 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Колосов. Яшкина Одиссея. Повесть. 175 стр. Цена 25 к.

Т. Мотылева. Ромен Роллан («Жизнь замечательных людей»). 380 стр. Цена 94 к.

Теодор-Валенси. Берлиоз. Перевод с французского. Послесловие В. Левика («Жизнь замечательных людей»). 336 стр. Цена 1 р. 24 к.

В. Тонарева. О том, чего не было. Рассказы. 238 стр. Цена 26 к.

«ИСКУССТВО»

А. Арбузов. Драмы. Вступительная статья Н. Крымовой. 680 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Брюсова. Фрески Ярославля XVII — начала XVIII века. 147 стр. Цена 76 к.

А. Караганов. Кинематографические встречи. Статьи о зарубежном кино. 224 стр. Цена 1 р. 15 к.

И. Янушевский и В. Демин. Жан Марэ. Человек, актер, миф, маска. 240 стр. Цена 96 к.

«НАУКА»

Ленин и искусство. Сборник статей. 502 стр. Цена 1 р. 93 к.

К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения. Сборник статей. 256 стр. Цена 94 к.

Г. Крымский. Модуляция космических лучей в межпланетном пространстве. 152 стр. Цена 84 к.

Первые панорамы лунной поверхности. В 2-х томах. Том 2. По материалам автоматических станций «Луна-9» и «Луна-13». 72 стр. Цена 1 р. 15 к.

Проблема человека в современной философии. 431 стр. Цена 1 р. 84 к.

«ПРОГРЕСС»

А. Камю. Избранное. Перевод с французского. 543 стр. Цена 1 р. 67 к.

Д. Притт. Автобиография. Перевод с английского. 467 стр. Цена 1 р. 84 к.

П. Сэлкюдяну. Лишенный неба. Роман. Перевод с румынского. 348 стр. Цена 1 р. 14 к.

«МИР»

Карточный домик. Сборник научно-фантастических рассказов. Перевод с английского. 340 стр. Цена 71 к.

Г. Рей. Звезды. Новые очертания старых созвездий. Перевод с английского. 168 стр. Цена 82 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В граните вечности. Поэты Латвии о Ленине. Перевод с латышского. Составитель А. Балодис. Рига. «Лиезма». 119 стр. Цена 94 к.

М. Гин. Литература и время. Исследования и статьи. Петрозаводск. «Карелия». 274 стр. Цена 1 р. 17 к.

Э. Вильде. Ходоки из Ания. Роман. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 319 стр. Цена 55 к.

Ленину посвящается. В 3-х томах. Предисловие О. Берггольц. Ленинград. «Аврора». Том 1. Живопись 60 л. илл. Цена 2 р. Том 2. Графика. 36 л. илл. Цена 1 р. 80 к. Том 3. Скульптура. 46 л. илл. Цена 1 р. 70 к.

Литовское народное искусство. Юосты. Альбом. Вильнюс. «Вага». 196 стр. Цена 4 р. 34 к.

О. Мацневич. Страницы жизни генерала Лукача. Повесть. Предисловие В. Залки. Алма-Ата. «Жазушы». 96 стр. Цена 15 к.

Л. Мищенко. Истории, рассказанные в дождливые дни. Рассказы и повести. Кишинев. «Каргя молдовеняскэ». 355 стр. Цена 59 к.

В. Панова. Лики на заре. Исторические повести. Лениздат. 229 стр. Цена 33 к.

А. Платонов. Повести и рассказы. Воронеж. Центральное Черноземное книжное издательство. 487 стр. Цена 1 р. 6 к.

З. Скуинь. Серебристые облака. Роман. Перевод с латышского. Рига. «Лиезма». 259 стр. Цена 30 к.

Удивительный Галенц. Статьи и воспоминания. Ереван. «Айастан». 95 стр. Цена 29 к.

Н. Ушаков. Состязание в поэзии. Разведка спором. Воспоминания. Портреты. Характеристики. Теория поэзии. Искусство перевода. Киев. «Дніпро». 247 стр. Цена 69 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 20/XI 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/I 1970 г.
А01011. Формат бумаги 70×108^{1/8}. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.) Тираж 156.000 экз.
Зак. 4011.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.
Заказ № 3229

Цена 70 коп.

70636